Annotation

Воспоминания:
Глава 26. Qual cuor tradisti
Глава 27. Арест и симпатия
Глава 28. Вятка
Глава 29. Дом Ивана Алексеевича Яковлева
Глава 30. Реклама
Глава 31. Александр Лаврентьевич Витберг
Глава 32. Переписка
Глава 33. Украина
Глава 34. Вадим Васильевич Пассек
Глава 35. В Харькове
Глава 36. В селе Спасском
Глава 37. Одесса
Глава 38. Таврида
Глава 39. Москва
Глава 40. Утраты
Глава 41. <По приезде из Новгорода>
Глава 42. Тимофей Николаевич Грановский
Глава 43. За границей
Глава 44. Граф Федор Петрович Толстой
Глава 45. В Риме в 1845 году
Глава 46. По отъезде императора Николая Павловича
Глава 47. В Англии.

- Пассек Татьяна Петровна
  -
  - Т. П. Пассек
  - Из дальних лет
  - Глава 26.
  - Глава 27.
  - Глава 28.
  - Глава 29.
  - Глава 30.

- Глава 31.
- Глава 32.
- Глава 33.
- Глава 34.
- Глава 35.
- Глава 36.
- Глава 37.
- Глава 38.
- Глава 39.
- Глава 40.
- Глава 41.
- Глава 42.
- Глава 43.
- Глава 44.
- Глава 45.
- Глава 46.
- Глава 47.
- FORUM APII35
- Глава 26
- глава 5).
- Глава 27
- Глава 28
- Глава 29
- глава 1).
- глава 1). Ниже Пассек приводит еще четыре отрывка из той же главы. Включив сюда выдержки из этой поэмы, Пассек дала повод думать, что в ней Огарев описал И. А. Яковлева и его дом; однако такое мнение ошибочно (см.: Н. П. Огарев, Стихотворения и поэмы, т. II, Л. 1938, стр. 430).
- Глава 30
- Глава 31
- Глава 32
- Глава 33
- Глава 34
- Глава 35
- Глава 36
- Глава 37

- Глава 38
- Глава 39
- Глава 40
- Глава 41
- Глава 42
- Глава 43
- глава 9).
- Глава 44
- Глава 45
- Глава 46
- Глава 47

Пассек Татьяна Петровна

Из дальних лет. Том второй

Т. П. Пассек

Из дальних лет
Воспоминания.
Том второй

Серия литературных мемуаров
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 1963

СОДЕРЖАНИЕ

ТОМ ВТОРОЙ

Глава 26.

Qual cuor tradisti

Глава 27.

Арест и симпатия

Глава 28.

Вятка

Глава 29.

Дом Ивана Алексеевича Яковлева

Глава 30.

Реклама

Глава 31.

Александр Лаврентьевич Витберг

Глава 32.

Переписка

Глава 33.

Украина

Глава 34.

Вадим Васильевич Пассек

Глава 35.

В Харькове

Глава 36.

В селе Спасском

Глава 37.

Одесса

Глава 38.

Таврида

Глава 39.

Москва

Глава 40.

Утраты

Глава 41.

<По приезде из Новгорода>

Глава 42.

Тимофей Николаевич Грановский

Глава 43.

За границей

Глава 44.

Граф Федор Петрович Толстой

Глава 45.

В Риме в 1845 году

Глава 46.

По отъезде императора Николая Павловича

Глава 47.

В Англии

ГЛАВА 26
QUAL CUOR TRADISTI*1

* Какое сердце ты предал *(итал.).*

1833--1834

1833 года советовали мне, для поправления здоровья, провести лето в деревне. Мы решили ехать в Васильевское, так как владели там небольшой частицей земли. Не имея в Васильевском своего дома, располагали нанять получше крестьянскую избу, но Луиза Ивановна уговорила Ивана Алексеевича предоставить нам поместиться в их деревенском доме, -- тем больше, что самим им это лето нельзя было жить в деревне по случаю выпускного экзамена Саши.

В июне 1833 года Саша держал в университете экзамен и выдержал на кандидата2. Он писал нам в Васильевское, что это событие было возвещено на акте при звуках труб и литавр и торжественном собрании знаменитостей Москвы, в тридцать градусов жары, но что он лично при торжестве не присутствовал, потому что ему, вместо ожидаемой им золотой медали за сочинение, дали серебряную. Профессор Перевощиков, задававший тему, нашел в сочинении Саши слишком много философии и слишком мало формул. Золотую медаль получил студент3, который, говорили тогда, выписал свою диссертацию из астрономии Био и растянул на листах формулы.

Темой сочинения было *историческое развитие Коперниковой системы;*4 тут было можно развернуться. Саша взял Птоломееву Альмагесту, Коперника и астрономию Бальи. Ему ярко представилась последовательность развития астрономии от бессвязных отдельных замечаний египтян до ее высокого состояния, в котором она является в руках Ньютона, и показал, как отдельные сведения и наблюдения, являясь из разных начал, умножаясь, соединились в Альмагесте, этом первом опыте как науки, и образовали из нее систематический сборник. Потом, еще не касаясь Коперника, он представил общее направление мысли в его великом веке; высшие требования на науку, нежели во времена Птоломея; несостоятельность астрономии относительно этих требований и гениальное провидение Коперника. Но, чтобы дать понятие, как уничтожилось древнее воззрение и как дало начало истинному гениальное слово Коперника, и оценить величие его дела, недостаточно было только указать на него, надобно было проследить самое это развитие; то Саша, доведя историю астрономии до теории тяготения, изложил всю важность Коперниковой системы, показал необходимость Коперника именно в ту эпоху, в которую он жил; затем, показавши требования XVI века на науку, -- старался раскрыть, насколько им ответила астрономия Ньютоном и, наконец, Лапласом, и доказать, что наука развивается по законам в уровень с человечеством и по одним и тем же законам, как и мышление.

"Когда окончился экзамен, -- писал нам Саша, -- все студенты одного со мною курса собрались в небольшую кучку и ждали, не выйдет ли кто из совета, чтобы узнать свою участь, "быть или не быть". Несмотря на то, что я казался веселым, на душе было тревожно. Я слышал, что Павлов, у которого я ревностно занимался, поставил мне 2 за то, что я раз возмутил против него аудиторию и раза два уговорил студентов нейти к нему на лекцию, потому что Павлов, делая выговор какому-то студенту, сказал: "Стол и солдат у двери столько же меня понимают, как и амфитеатр". Из этого вышло дело, его разбирал Дмитрий Павлович Голохвастов. Он вызвал к себе вместе Павлова и меня. Павлов не мог мне этого простить. На вопрос из динамики я дурно отвечал, поэтому предполагал, что и Перевощиков, верно, больше двух не поставит. Остальное шло превосходно.

Когда вышел к студентам Гейман, все бросились к нему. "Поздравляю вас -- вы кандидат", -- сказал он мне. -- "Еще кто? кто?" -- "Такой-то и такой-то". Мне разом сделалось и весело и грустно.

Когда я по чугунной лестнице университета выходил *кандидатом* и с тем вместе из школы на божий свет, тогда иначе взглянул на все. Чувство самобытности и совершеннолетия никогда не бывает так ярко, как в минуту окончания публичного воспитания. Испанские башмаки5, шнуровавшие душу, лопаются, и фантазия гуляет на свободе. Нет более ни правил, ни направления извне. Это медовый месяц совершеннолетия.

С чувством собственного достоинства и достоинства кандидатской степени я явился домой и посвятил Нептуну мокрое платье, в котором плавал три года по схоластическому болоту на ловлю идей, то есть, говоря презренной прозой, подарил первогодичным студентам толстые тетради лекций, выучившие меня стенографии и разучившие писать удобочитаемо".

Теперь уже ничто не мешало Саше упиваться любовью к своему ландышу и любоваться им6. Любовь его была искренна, как и все чувства юности. Он не делал себе анализа, пока страсть брала верх над всем, предложил Марии объявить семейству, что он просит ее руки, и, как только позволят обстоятельства, на ней женится.

-- Если я объявлю о твоем предложении моему семейству -- это тебя свяжет, -- отвечала она. -- Я верю твоему благородству и -- твоей любви... если же изменишься,., да нет, это невозможно... сердце, как твое, изменять не может.

И он был уверен в неизменности своих чувств. Когда же, сверх чаяния, стал охладевать, то не мог устоять и не воспользоваться свободой, предоставленной ему этой благородной девушкой.

Спустя несколько лет, анализируя это уже угаснувшее чувство, он, как бы в оправдание перед самим *èо*-бою, говорил:

"Любовь моя была одностороння и отчасти натянута, тогда я этого не замечал. Чиста была эта любовь, как майское ясное небо; светлой речкой катилась она по зеленому полю надежды, только иногда волновалась, вспоминая о молодом человеке, бывшем женихе, и тем, что он скоро был забыт. Я отыскивал в своей душе давно забытые страницы сентиментальности, принаряжал ими душу, отчасти это чувствовал и к сентиментальности присоединял все мои либеральные

мечтания. Я говорил ей и говорил от души, что за осуществление моих политических убеждений пожертвую моей любовью, пожертвую ею, и вполне верил в истинность и неизменность этих слов, так, как и чувств моих".

В пламенных словах он писал о ней к Нику.

Саша точно чары набрасывал на Ника, и не только в их юности, но и во всю последующую жизнь. В какое бы положение судьба ни ставила Александра, Ник, как бы невольно, стремился стать точно в такое же. Под влиянием картины любви Саши он стал искать существо, которому мог бы также отдать первую любовь свою. Искать было недалеко. В доме их жила милая молодая девушка. Ник почти не замечал ее, -- читая письма Александра, он ее заметил, робко полюбил и в страстных выражениях говорил о ней своему другу7. Судьба этой девушки -- создания глубоко чувствовавшего, поэтического,-- разыгралась самым плачевным образом. Ник не был виной ее несчастия. Напротив, он до конца ее разбитой кратковременной жизни сохранил к ней чувство дружбы и озарял ее печально догоравшую жизнь своим сочувствием.

Пока Саша готовился к экзамену и держал его, я с Вадимом и пятнадцатилетним братом его Помпеем отправились в Васильевское.

Мы приехали туда около сумерек и поместились в барском доме. Прелесть места, глубокая тишина" воздух полей возбудили в нас чувство безотчетного счастия. От голубой ленты реки до лугов, осыпанных цветами мая, все как бы улыбалось нам, все манило нас к себе. Поручивши приехавшей с нами горничной разобрать и разместить наши небольшие пожитки и книги, сами поспешили в рощу и к реке. Тот же широкий камень лежал на берегу близ воды; та же лодка слегка колыхалась, привязанная в тростнике. Ею владел писарь Епифаныч и, плавая в ней, ловил рыбу. Солнце тихо закатывалось. Все алело. Жизнь ранних лет обступала меня. Я смотрела на все с тем чувством нежности и умиления, с которым смотрим на портрет милого нам младенца, напоминающий его ясный взгляд и его голубую улыбку.

Когда Вадим и Помпеи вывели из тростника лодку и придвинули к берегу, в нее мгновенно перемахнула Зюльма, собака польской породы, подаренная Вадиму моим братом, и села на лавочку; за Зюльмой легко перепрыгнула в лодку я и поместилась рядом с нею; за

нами Вадим с Помпеем; они взяли весла, весла шумно разрезали воду, и лодка поплыла. Берега, лес, вечерняя заря опрокинулись в реке. От времени до времени в голубом пространстве с легким криком проносились над нами в одиночку белые чайки...

И громко пел во тьме ветвей
Печаль и счастье соловей8.

В воде, в воздухе, в растениях чувствовался трепет жизни. В самой тишине, окружавшей нас, струилась жизнь.

Мы возвратились домой, когда наступил вечер, и принесли большие букеты ландышей и белых ночных фиалок, еще мокрые от росы. Фиалки тотчас разлили по комнате свой упоительный запах. В столовой, на большом липовом столе, нас ожидал чай. Мы раскрыли окно, в него стала пробираться роса, и из-за рва послышались голоса перепелов, перекликавшихся во ржи. В комнате, где, бывало, ворчал капризный старик, раздался веселый разговор и молодой, вольный смех...

Мы прожили в Васильевском до августа, не замечая жизни, мы жили -- и только. Природа, прошедшее, настоящее -- все как бы сосредоточилось в одной живой точке и билось одним пульсом жизни с нами.

Вадим в деревне писал свои "Путевые записки"9; я переводила роман Карра "Sous les tilleuls" {"Под липами" *(франц.).*} 10; иногда мы читали друг другу вслух.

Август наступил незаметно. В Васильевском мы получили письмо от дяди Александра Ивановича из Чертовой. Он приглашал нас к себе. Мы приняли приглашение и в первых числах месяца отправились к нему с присланными за нами в коляске старушкой Натальей Ивановной и Петром Семеновичем. Так же как и в первую мою поездку в Чертовую, когда мы выехали, день был серенький, в воздухе парило, пахло близким дождем, в лесу чувствовался смешанный запах лесных трав, деревьев, грибов. Вскоре стал накрапывать дождь, мало-помалу дождь разошелся и превратился в ливень. Петр Семенович раскинул поверх коляски кожу, застегнул кожей со стеклышками с боков и превратил коляску в карету. Сидя в полусвете, под шум дождя, скатывавшегося с кожи экипажа на землю, мы вступили в разговор с

Натальей Ивановной. Она нам рассказала, что дядя с кончины своей жены стал вести жизнь самую уединенную, даже по зимам перестал переселяться в Тулу, как бывало прежде. В отъезжие поля с соседями уже не ездит, а охотится иногда один с своими псарями и собаками, большею же частью сидит дома, занимается хозяйством, садом и оранжереей да забавляется с двумя детьми-воспитанниками. При этом старушка намекнула, что мать этих детей не чужда дяде.

-- Да вы не извольте тревожиться, -- добавила она, обращаясь ко мне, -- дяденька ей забываться не позволяет; у него "знай сверчок свой шесток". Кушанье ей идет со стола, чаю пей вволю; разносчик заедет, выбирай любого ситца на платье, любой платок на шею, а место свое помни. Боже упаси! ведь знаете дяденьку -- барин настоящий. Вы, чай, помните Дуньку Галкину -- она и есть. Лицо конопатое, некрасивая, да простая такая, не то чтобы она ему понравилась, и нравиться-то нечему-- мало ли у нас девок лучше ее, полна девичья пялешниц, -- ну, так у этой что ни год, то сын, вылитый барин, по детям и мать хороша. Двое старших померли--красавцы были, уж как он по них убивался! -- остались двое меньших. Он было их в воспитательный дом отослал, а как старших господь прибрал, то и приказал взять обратно. Утешается ими, а баловать не балует. Дети больше на моих руках растут: она ничего не смыслит. Не сладко мне все это, говоря по правде,-- добавила Наталья Ивановна, глубоко вздохнувши, -- греха много, против закона божия; лучше бы женился на ровне, еще какие невесты-то знатные шли за него! -- и теперь молодец из себя, ну, так слышать не хочет. Ничего не поделаешь -- его барская воля.

-- Я помню Дуняшу, -- сказала я, -- она девушка добрая, но недалекая, жила в загоне. Как она держит себя теперь?

-- Как? -- ответила Наталья Ивановна тоном, в котором слышалось пренебрежение. -- Никак. Где ей, дуре, держать себя. Встанет утром растрепанная, расстегнутая, сядет в девичьей на лавке за самовар и пьет чай до пота лица, крепкий, как пиво, да все внакладку. Потом нарядится в пестрое платье, накинет на плечи купавинский платок, подвернет под него руки и пойдет ходить по двору либо по дворовым, а то в сад отправится. Стал было барин ее грамоте учить -- в толк не взяла, так, научил какие-то стихи рассказывать да на гитаре бренчать, по ней таковское дело. Работать не умеет, в хозяйстве толку не знает. Дело ее было известное: чистить, мыть да полы подтирать. По Дуньке

и родным ее пошла честь и милость: отцу ее дяденька ваш пожаловал лесу на новую избу; матери новую плахту и кичку хорошую. От барщины отрешил. Дядя проштрафился -- просила, помиловал. А ведь знаете, у дяденьки расправа коротка, по-военному, позабудь шутить, по одной половице ходи, на другую посматривай.

-- А как прислуга на нее смотрит? ----Известно как -- ненавидит.

-- Почитает ли она вас, Наталья Ивановна?

-- Не забывается. Да ведь меня и дяденька-то, дай бог ему много лет здравствовать, уважает. Помнит, что выкормила, вынянчила его и добро его сберегаю.

Таким образом, разговаривая да рассуждая в дороге, мы знакомились с новым бытом дяди. В полдень останавливались кормить лошадей; с вечера приставали у знакомых другого нашего спутника, Петра Семеновича, на ночлег. На третий день, на закате солнца, перед нами засветился между вербами пруд сторожевой, поля сжатого хлеба, по которым кое-где синел забытый серпом василек. Вскоре показался плетень нижнего сада, бани, белый, с красными полосами, флаг на бельведере дома -- знак присутствия в нем помещика, наконец и сам дядя на крыльце, в белой артиллерийской фуражке с красным околышком. Он стоял один. Завидя нас еще издали, снял фуражку и замахал ею в знак привета.

Когда мы вошли в залу, дядя благодарил нас, что его навестили, и, показавши на ряд парадных комнат, радушно сказал:

-- Вся эта половина в вашем распоряжении, прошу быть как дома и ничем не стесняться, позвольте и мне вести мой обычный образ жизни.

Дом дяди был деревянный, большой, какие бывали у большей части помещиков того времени. Широкий коридор разделял его на две половины: на парадную и домашнюю. К одной стене коридора приделаны были шкафы, где хранились платья, дорогая парадная посуда, ненужные вещи, старые газеты. Парадная половина состояла из обширной залы, гостиной, спальной и небольшого кабинета, отворявшегося в цветочную оранжерею. Стены этого кабинетика были обтянуты в складку шелковой материей лимонного цвета, такой же материи драпировка затеняла окно, у которого стоял маленький письменный столик. Диван и кресла были обиты пунцовым казимиром. Вся эта половина дома окнами обращена была в сад. В

гостиной между двух окон находилась стеклянная дверь, отворявшаяся на широкий балкон с колоннами и широкими ступенями, убранными цветами. Песчаная дорожка отделяла балкон от длинной грядки лиловых ночных фиолей, душистого горошка и расписных турецких гвоздик, окаймлявших зеленый лужок.

Дядя расположился в половине домашней, обращенной окнами во двор; на нем виднелись голубятня, скворечница, конура цепной собаки и качели. Половина эта состояла из передней, столовой, довольно просторного кабинета дяди, в котором он проводил большую часть времени, маленькой спальной и галерейки, ведущей в обширную девичью, с дубовыми лавками и громадной лежанкой. У окон девичьей помещалось несколько пялец. Коридор, начинавшийся от столовой, оканчивался комнатой, которую я занимала, бывши девочкой. Я навестила ее. Те же диваны огибали стены, те же книги лежали в шкафу; я их пересмотрела и перенесла в спальную "Детей аббатства"11; прибавился в бывшей моей комнате только садок с канарейками, прикрепленный над дверью.

К обеду приехал сосед, приятель дяди, Никанор Иванович Чалищев. В два часа старый буфетчик Антоныч, с салфеткой, перекинутой через руку, бесстрастным голосом провозгласил: "Кушать готово", -- и все двинулись к столу. За стулом каждого севшего за стол стал слуга, держа левой рукой у груди чистую тарелку, и немедленно заменял ею ту, с которой было все съедено, затем снова вооружался чистой тарелкой. Обед дяди почти всегда состоял из пяти-шести блюд, превосходно изготовленных поваром, учившимся стряпать в Английском клубе. Между жарким и пирожным подали шампанское. Когда пили за наше здоровье, поздравляя с браком, раздались выстрелы из пушек. У дяди вблизи дома стояло шесть пушек.

После обеда в гостиной подали кофе и десерт из фруктов, между которыми находились тарелки с горохом и бобами. Дядя хвалился перед соседом ананасами, дынями и разными сортами яблоков и слив. Разрезая, объяснял достоинство, вкус и аромат каждого. На вечерней заре мы с Вадимом пошли с удочками на пруд, находившийся в саду, половить карасей. К нам подсел старик садовник с мальчиком-внуком и вступил в разговор о рыбной ловле, рыба клевала отлично. Мы беспрестанно выдергивали удочки с трепещущими карасями,

блестевшими золотистой чешуей, и сбрасывали их в ведро с водою. За ужином караси эти явились на сковороде, жаренные в сметане с луком.

Земледелие, особенно садоводство, были любимыми предметами занятий дяди. Поселившись на житье в Чертовой, он по своему плану разбил около дома сады, обнес их живым ивовым плетнем, провел около плетня широкую липовую аллею и сам образовывал садовников. Кроме дорогих фруктовых деревьев, в саду было пропасть цветов и такое множество розанов, что когда они осыпались, то листочки их, разносимые ветром, розовым ковром устилали землю около кустов и ближайших дорожек. Сад был образцовый и давал хороший доход.

Образ жизни и система хозяйства помещиков того времени, сколько я могу себе представить, были выработаны в определенную форму и передавались преемственно. В домашнем хозяйстве *все было свое*, начиная с прислуги: приказчики, конторщики, экономы, официанты, повара и всевозможные мастеровые; в девичьей -- экономка, барские барыни, фрейлины при барыне и барышнях, горничные, чистые и черные, кружевницы, пялешницы и проч. Таким образом, начиная от выевших до низших должностей служителей, от мебели До тончайших кружев -- все было свое. Полевым и в обширном объеме домашним хозяйством заведовал сам помещик; внутреннее мелочное хозяйство и воспитание детей было в заведовании помещицы. Когда дети подрастали, девочек отдавали в пансионы и институты, мальчиков -- в кадетские корпуса, в инженерное училище; помещать в гимназию считали унизительным. Большею же частию брали к себе гувернеров и гувернанток и приготовляли детей дома. Сыновья очень молодыми поступали в полк, достаточные -- в кавалерию; в полку кутили, на что старшие смотрели довольно снисходительно, предполагая, что молодому человеку надо "перебеситься". Молодой человек, в большинстве случаев, дослужившись до чина поручика, иногда до ротмистра, выходил в отставку, поселялся у родителей, разъезжал по соседям, охотился с собаками, ухаживал за барышнями, танцевал, влюблялся, женился, родители молодых награждали, отделяли, и те начинали жить с небольшими против родителей изменениями, сообразно с духом времени. Помещикам при крепостном праве трудно было представить себе возможность жить иначе; да и большая часть принадлежавших им людей считали этот строй жизни правильным, а власть помещиков над

собою законной до того, что без протеста допускали себя бить и покорно ложились под розги за косой взгляд, за собаку, и только разве в утешение себе высеченный выругает господ за глаза. Вообще же как владелец, так и принадлежавшие ему люди были уверены, что все, что ни сделает барин, он знает отлично за что и зачем. Конечно, такой порядок вещей мог продолжаться только до тех пор, пока большинство тех и других считали его законным.

Дядя неизменно держался этого же образа жизни и практического хозяйства без нововведений, без риска и больших затрат; по достаточным средствам своим он не отказывал себе ни в довольстве, ни в некоторой роскоши. Крестьяне у него работами не отягощались, но с них строго взыскивалось добросовестное исполнение барщины. Равномерно взыскивалось исполнение возложенных обязанностей как с дворовых людей, так и с комнатной прислуги. Дворовых и комнатных, состоявших при различных хозяйственных должностях, насчитывалось в Чертовой более полутораста человек. При взрослой прислуге для посылок держались девочки и мальчики-казачки, которые воспитывались щелчками и подзатыльниками. Кроме народа при деле, состояло до двадцати пяти человек при псовой охоте -- утешении дяди. Со дня своего водворения в деревне и до кончины дядя ни на волос не изменил ни системы хозяйства, ни образа жизни: вставал он в шесть часов утра, пил чай один и в это время читал газеты, затем ехал верхом осматривать полевые работы и другие хозяйственные заведения; возвратясь домой, осматривал сад, оранжереи, парники, завтракал, гулял, велись разговоры, в два часа обед, десерт, затем ложились отдыхать, и по дому распространялась непробудная тишина. Отдохнувши, развлекались прогулкой, полдником, разговорами; в шесть часов чай, в девять ужин, отдавался приказчику приказ по хозяйству, и в десять часов весь дом спал.

Эта жизнь не мешала им быть здоровыми и нередко доживать до глубокой старости {Дядя скончался ста лет, сидя на подвижных креслах, насвистывая марш. Отец его скончался ста десяти лет, прилегши на кровать, сложивши руки на крестное знамение, -- оба без страдания. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}.

Однообразная, неподвижная жизнь в доме дяди была до того глубока, что втягивала в себя всё и каждого, кто к ней ни соприкасался. Вещи многими годами стояли и лежали на одних и тех же местах,

прислуга ходила одними и теми же неслышными шагами, смотрела так же почтительно и так же подобострастно служила. Самое время в Чертовой как бы остановилось на одном моменте и отмечало свое движение единственно изменением черт лица ее жителей. Порой мы точно просыпались, чувствуя что-то похожее на упрек совести -- в праздности и умственном застое; но это скоро проходило. Мирно потекли дни наши в Чертовой. Какая-то нега праздности охватила нас, отталкивала не только что от дела, но даже от серьезных интересов. Мы целые дни гуляли, ели, отдыхали, упивались в оранжерее запахом ^жасмина и гардений, забавлялись, как "не тронь меня" трепетно сжимается и быстро опускает ветки от прикосновения к ней руки, как "мухоловка" удерживает опускавшихся на нее насекомых, и читали романы. Иногда после обеда, когда весь дом ложился отдыхать, мы приходили в комнату Натальи Ивановны и помещались там на ее кровати; старушка придвигала свои глубокие кресла к маленькому столику, стоявшему у ее постели, ставила на столик тарелочку с прозрачным желе, графин воды со льдом, садилась против нас, и у нас начинался разговор о бабушках и прабабушках, при которых она служила с детских лет в различных должностях, или толковали сны и гадали на Мартыне Задеке12.

Спустя дня три-четыре по приезде нашем в Чертовую, сидели мы одним вечером с дядей в его кабинете, на турецком диване, огибавшем три внутренние стены, и, разговаривая о том о сем, склонили речь на литературу. При этом дядя, как-то кстати, сказал, что одна из его горничных девушек имеет большую наклонность к поэзии и музыке и, не зная грамоте, по слуху выучила несколько баллад Жуковского, да самоучкой играет недурно на гитаре и поет, -- и предложил нам ее послушать. Мы изъявили желание.

-- Позвать Авдотью Васильевну, -- крикнул дядя казачку, постоянно дремавшему за дверью его кабинета.

Через несколько минут в комнату вошла полная белокурая девушка среднего роста, лет двадцати семи. Румяное лицо ее было осыпано веснушками, узкий лоб показывал тесный ум, маленькие глаза смотрели простодушно. Она почтительно остановилась у двери, сложивши руки под большим купавинским платком, покрывавшим ее полные плечи. Я знала эту девушку с моего детства и в прежние времена часто сиживала с нею на ступеньках заднего крыльца,

смотрела, как она усердно чистила толченым кирпичом тазы и самовары, и вела с нею ребяческий разговор. Я ее любила за простоту и загнатость. Все домашние иначе не называли ее, как "галка", а потом она стала Авдотьей Васильевной Галкиной.

-- Садитесь, Дуняша, на диван, -- сказала я ей шепотом.

-- Как еще дяденька позволят, матушка Татьяна Петровна, -- отвечала она вполголоса.

Дядя приказал ей сесть, спросивши наперед нашего позволения. Она приткнулась на краешке дивана и, по приказанию дяди, поломавшись и краснея немного, стала говорить, и очень недурно, балладу Жуковского "Людмилу"13. В комнате все притихло -- слышался только робкий голос Дуняши. Как бы в помощь ей, для усиления производимого ею впечатления, когда она говорила:

Вот и месяц величавый
Встал над тихою дубравой,
То из облака блеснет,
То за облако зайдет... --

полный месяц, перебегая из облака в облако, от времени до времени заглядывал в открытое окно кабинета. Переставши говорить балладу, Дуняща взяла гитару, постоянно лежавшую на диване, и, наклоняясь над нею, с затруднением перебирая лады и струны, наладила песню и запела:

Гусар, на саблю опираясь,
В глубокой горести стоял...14

Дядя просветлел, приободрился и принялся ей подтягивать, входя в роль гусара, отъезжающего на войну. Затем сам взял гитару, заиграл плясовую, дети пустились припрыгивать, какая-то душевная теплота распространилась между всеми и вызвала на лице дяди выражение признательности к нам, что не чуждаемся близких его сердцу и не затрудняем его привычной жизни.

И за что же бы иначе?

Отправивши на покой веселую компанию, дядя еще долго продержал нас в кабинете, насвистывал марши, рассказывал о

сражениях, в которых участвовал, об Алексее Петровиче Ермолове {А. П. Ермолов весьма любил и уважал моего дядю А. И. Кучина; это видно, между прочим, из писем к нему Ермолова, напечатанных в "Русской старине". *(Прим. Т. П. Пассек.)*15}. Между прочим, рассказал одно странное событие, случившееся с Алексеем Петровичем в его молодости, слышанное им от него самого. Если бы это рассказал не дядя, известный своей правдивостию, я бы не поверила.

Как необъяснимую странность, вписываю этот рассказ в мои воспоминания.

"Алексей Петрович Ермолов, будучи только что произведен в офицеры, взял отпуск и поехал в деревню к матери. Это было зимою. Ночью, не доезжая нескольких верст до своего имения, он был застигнут такой сильной метелью, что принужден был остановиться в небольшой деревушке. В крайней избе светил огонек, они к ней подъехали и постучались в окно, просясь переночевать. Спустя несколько минут, им отворили ворота, и путники въехали в крытый двор. Хозяин ввел их в избу. Изба была просторна и чиста. Перед широкими, новыми лавками стоял липовый стол; в правом углу перед образами в посеребренных венцах теплилась лампадка, -- на столе горела сальная свеча в железном подсвечнике. Наружность хозяина поразила Алексея Петровича. Перед ним стоял высокий, бодрый старик с окладистой бородой и величавым видом. В голубых глазах его светился ум и была какая-то влекущая сила. Денщик внес самовар, погребец с чаем и ром; Алексей Петрович, раскутавшись, расположился на лавке и, когда самовар был готов, пригласил хозяина напиться вместе чаю. Разговаривая с хозяином, Ермолов дивился его здравому уму и чарующему взгляду. Когда разговор коснулся таинственных явлений, Алексей Петрович сказал, что ничему такому не верит и что все можно объяснить просто; тогда хозяин предложил ему показать одно явление, которое он едва ли объяснит себе. Алексей Петрович согласился. Старик принес ведро воды, вылил ее в котелок, зажег по его краям три восковые свечки, проговорил над водой какие-то слова и велел Ермолову смотреть в воду, думая о том, что желает видеть, сам же стал спрашивать, что ему представляется. "Вода мутится, -- отвечал Алексей Петрович, -- точно облака ходят по ней; теперь вижу наш деревенский дом, комнату матери, мать лежит на кровати, на столике горит свеча, перед матерью стоит горничная, по-

видимому, принимает приказ; горничная вышла, мать снимает с руки кольцо, кладет на столик".

-- Хотите, чтобы это кольцо было у вас? -- спросил старик.

-- Хочу.

Старик опустил руку в котел, вода закипела, смутилась. Алексей Петрович почувствовал легкую дурноту. Старик подал ему золотое кольцо, на котором было вырезано имя его отца, год и число брака.

На другой день Ермолов был уже дома; он нашел мать нездоровой и огорченной потерею своего венчального кольца.

-- Вчера вечером, -- говорила она, -- я велела подать себе воды вымыть руки, сняла кольцо и положила на столик, как почувствовала дурноту и позабыла о нем. Когда хватились, его уже не было и нигде не могли отыскать.

Спустя несколько часов Алексей Петрович отдал кольцо матери, говоря, что нашел его в спальной; о случившемся же никогда ей не сказывал".

Находясь в прекрасном расположении духа, дядя разговорился, удержал нас в кабинете долее определенного для сна часа, рассказывал о своей военной жизни, о товарищах, сражениях, в которых участвовал, о битве под Аустерлицем16; говорил, что раны и теперь дают себя знать, особенно пуля в ноге, и что лучше всех лекарств ему помогает баня и березовые веники.

Мы пробыли у дяди до конца сентября. Перед нашим отъездом он подарил Вадиму дорогую верховую лошадь по имени Персик, богатое двухствольное ружье и молодого башмачника; мне тысячу рублей серебром и двух девушек, предложивши взять на выбор изо всей дворни. Все дворовые и горничные девушки были собраны в мою комнату, иных сопровождали матери с умоляющими взорами и заплаканными глазами. Я всех ласкала, старалась успокоить родных; одни были веселы и просили, чтобы я взяла их себе; другие робко говорили: "Воля ваша, матушка Татьяна Петровна, мы вас знаем, у вас обиды не будет, да со своими расстаться не хочется".

Дурная страница открывается в моих воспоминаниях, но и ее надобно внести в них. В этом сознании наказание и отрадное чувство примирения с собою через покаяние. Больше всех девушек мне понравилась единственная дочь у матери-вдовы, я указала на нее. Мать упала мне в ноги, девушка рыдала. Я их утешала, ласкала, дарила,

обещала, что ей у меня будет жить лучше, чем в деревне, -- и девушку удержала, и это не казалось мне бесчеловечным! Так крепостное право, забираясь в сердца, портило чистейшие понятия, давая возможность удовлетворять прихоти.

Впоследствии я эту девушку возвратила матери, но слезы, пролитые ими при разлуке, легли мне на душу. "Что ты, дура, плачешь, -- утешали избранную домашние. -- Благодари бога да молись за молодую барыню -- Москву посмотришь".

Было за что молиться обо мне.

Вторая девушка сама упросила меня взять ее.

На другой день нашего приезда в Москву, проходя гостиной, я увидала на полу раскрытое письмо, узнала почерк Саши и подняла его. Невольно взглянувши на написанное, я прочитала: "Ангел мой, вчера приехали Вадим и Таня, будем осторожны" и проч...17 Я была поражена, не стала читать дальше начала и отдала письмо Вадиму, чтобы он распорядился им, как найдет удобнее. Отчуждение Саши огорчило нас. Почему это? за что? -- а разгадка была недалеко: он начинал сознавать непрочность своих чувств и, помня наш разговор, стеснялся.

Пока увлечение брало верх над всем, он не делал себе анализа и не сомневался в своей верности; когда же сверх чаяния заметил, что чего-то недостает ему, то стал искать пополнения в товарищах; это вызвало в ней огорчение, упреки, как он после рассказывал, а в нем на несколько градусов упадок чувства, затем -- охлаждение.

Спустя много лет Саша, вспоминая об этой любви, говорил, что она мила ему как память прогулки на берегу моря среди цветов и песен, как прекрасное сновидение, исчезнувшее, как обыкновенно исчезают сновидения. Для него это был сон, для нее -- жизнь. "Когда же ландыши зимуют", -- продолжал он, сравнивая любовь эту с весенними цветами. И точно, любовь эта отцвела для него так же скоротечно, как отцветают ландыши, и даже скорее; но для него цветы весны заменялись цветами лета и даже осени. А для нее чем заменились цветы весны? чем она жила в то время, как он жил и сердцем и деятельностию? для нее с его любовью, с верой в него отцвело все!

С разбитой жизнию она тихо догорала, отдавшись одной религии, а он говорил: "Мне было бы грустно, моя Гаэтана, если бы ты не с той

же ясной улыбкой вспоминала о нашей встрече. Неужели что-нибудь горькое примешивается к памяти обо мне? мне было бы это очень больно!"18

Когда она узнала, что он женат, ни жалобы, ни укора не сорвалось с ее уст, только смертная бледность распространилась по лицу (это было при мне) : все горе, все страданье безмолвно замкнулось в ее груди и -- навсегда. С той минуты она и имени его не произносила, как будто его и не существовало никогда. Впоследствии ей много представлялось хороших партий -- она всем отказала. Она осталась верна воспоминанию, а может, и чувству...

Qual cuor tradisti!..

Слова эти Саша мог бы уместнее сказать, вспоминая о ней, нежели как он сказал их, разорвавши кратковременное увлечение в Вятке, которое он называл искусом, к одной замужней блондинке19.

"Прежде, нежели, -- говорил он спустя много лет, -- я понял мои отношения к ***, меня ожидал искус, который не прошел такой светлой полоской, как встреча с Гаэтаной, и стоил мне много печали и внутренней борьбы"20.

Гаэтане встреча с ним не прошла светлою полоской. Чего она стоила ей -- он и умер не зная...

Зимой мы поехали погостить к отцу в Тверь. Однажды, на бале в Благородном собрании, я заметила в толпе человека невысокого роста, с игривыми чертами лица, выражавшими детское простосердечие и яркий юмор. Небольшие глаза его, смотревшие наблюдательно, как бы улыбались шутливо; над высоким лбом был приподнят вверх целый лес волос с проседью. Движения его были торопливы и робки.

-- Кто это такой? -- спросила я одну даму, указывая на него.

-- Иван Иванович Лажечников, -- отвечала она, -- директор гимназии, писатель.

-- Автор "Последнего Новика"?21 -- поспешно прервала я ее. -- Это наш первоклассный романист! Что за прелесть его "Новик"! Если вы знакомы с ним, сделайте одолжение, представьте ему нас.

Спустя несколько минут Лажечников уже сидел между мною и Вадимом, и у нас шел такой оживленный разговор, что мы не замечали, как мимо нас мелькали танцующие пары и не слышали, как гремел оркестр музыки.

С первого дня нашего знакомства с Иваном Ивановичем мы так сблизились, что в продолжение почти трех месяцев, проведенных нами в Твери, редкий день с ним не видались. В этот-то период времени Иван Иванович писал свой роман "Ледяной дом" и читал нам из него отрывки в рукописи, входя так глубоко в роли героев и в события, что чувства и мысли их отражались в чертах его лица, в его голосе -- и картины оживали. Лажечникова чрезвычайно забавляли наши рассказы о странностях, оригинальных капризах и выходках Ивана Алексеевича. Его уединенный образ жизни, три польские собачки, постоянно находившиеся при нем и, с того времени как Саша поступил в университет, а я вышла замуж, заменившие нас; его поношенный халат на мерлушках, красная шапочка с лиловой кисточкой, мешанье в печи дров -- все это так нравилось Лажечникову, что он принарядил этими странностями своего добродушного чудака советника и при нас же вместил в свой "Ледяной дом"22.

В Твери к небольшому числу посещавших нас знакомых довольно часто присоединялся офицер стоявшего там кавалерийского полка князь Козловский. Он любил литературу и писал порядочные стихи. Но никто так искренно и глубоко не привязался к нам, как Лажечников. Почувствовавши к кому-нибудь симпатию, он отдавался весь, пылко, искренно, как юноша. Он и был юноша, несмотря на свои сорок лет. По живости чувств и впечатлительности казался ровесником Вадима.

Он был юноша из числа той фаланги юношей, которые названы Сашей героическими детьми, выросшими на мрачной поэзии Жан-Жака, к которым он причисляет всех детей революции и которые в наш настоящий деловой век встречаются так редко, так редко, как *южная птица у полюсов.* Быть молодым еще не значит быть юным. Можно встретить старика лет двадцати и юношу лет в пятьдесят. Для одного юность -- эпоха, для другого -- целая жизнь. В юности есть нечто, долженствующее проводить до гроба, но, конечно, не все. Юношеские грезы смешны и жалки в человеке старом. До гроба должна сохраниться юношеская энергия, беспрерывно обновляющая, развивающая, почти не имеющая способности стареться, она по преимуществу -- душа живая. Такова натура реальная, -- сказано в "Капризах и раздумье"23. Таков был Иван Иванович Лажечников.

Он женился на первой жене своей, будучи еще очень молодым, находясь адъютантом при генерале, не помню каком. Он увез ее из девичьей, из-за пялец, как-то через окно. Это была женщина рассудительная, хладнокровная, которая любила и берегла его, как нянька ребенка; но постоянным наблюдением и замечаниями стесняла до того, что он робел перед нею, был покорен и, выкинувши какую-нибудь неосторожную штуку или нарушивши программу порядка образа жизни, терялся и таился, как напроказившее дитя. Мы нередко проводили у них целые дни, еще чаще он проводил у нас во флигеле вечера, засиживаясь далеко за полночь. Вдали от сдерживающего взора жены он весь отдавался многосторонним интересам разговора; так свежо, сердечно хохотал иногда безделице, что заражал своей жизненностию все его окружавшее, и самый воздух, казалось, проникался молодой жизнью его души.

Иногда, слишком поздно засидевшись, он вдруг схватывался, как бы опомнясь от угара, улыбался улыбкой виноватого, предчувствующего наказание, и торопливо начинал сбираться домой, часто говоря: "Беда, как это всегда с вами заговоришься, Вадим Васильевич". И точно теперь вижу, как он, уже закутавшись в шубу, лукаво выглядывая из-за мехового воротника, поднятого выше ушей, иногда добавлял: "Вы точно светлая звездочка взошли на нашем тверском горизонте, так и тянет любоваться вами; не закатывайтесь от нас подольше".

Вадим первому Лажечникову читал некоторые места из своих "Путевых записок", делал поправки по его замечаниям и был благословлен им на путь серьезного исторического труда, на который призывали Вадима богатые умственные способности и наклонность и по которому ему не привелось идти, -- он едва ступил на этот путь, как и был сорван с него безвременной кончиною. Видно, свыше было не суждено.

ГЛАВА 27
АРЕСТ И СИМПАТИЯ

1834--1835

Их круг разрозненный
Становится тесней...1

Весной Вадим получил письмо от графа Александра Никитича Панина, которым он вызывал его для занятия в Харьковском университете кафедры2. Мы стали понемногу сбираться в этот дальний путь.

В конце июня было арестовано несколько молодых людей, по поводу пирушки, на которой пелись недозволительные песни. Из товарищей Вадима на этом празднике не было никого, даже никто и знаком не был с присутствовавшими там, только некоторые знали поэта Соколовского, в том числе и Н. М. Сатин. В бумагах Соколовского нашлась записка Сатина, в бумагах Сатина -- письмо Ника, и оба были арестованы. Саша, огорченный, встревоженный, домогался повидаться с Ником, и виделся. Иван Алексеевич и сенатор сердились на Александра за арест Ника. У нас все находились в томительном предчувствии беды3.

Занятая сборами к отъезду и изданием "Путевых записок" Вадима, я относилась к этим событиям спокойнее всех окружавших меня.

В это же время в Москве начались страшные пожары4. В одно утро матушка подозвала меня к окну и тревожным голосом сказала:

-- Посмотри-ка, Таня, какой ужас!

Я взглянула в окно и обомлела. Вдали стояла огненная стена и разгоралась все шире и шире. С замирающим сердцем мы следили за расстилавшимся пламенем и клубами серого дыма, обнимавшими полнеба. От времени до времени сквозь дым сияли, добела раскалившись, вновь загоравшиеся строения.

Горело Лефортово -- и выгорело дотла.

Так начался ряд зажигательств, продолжавшихся несколько месяцев. Полиция и жители отыскивали виновных и не могли найти. Составилась комиссия для розьн ска поджигателей. Начался разбор захваченных людей. Одних отпускали, подозрительных допрашивали,

судили и ничего не открыли. Два человека были наказаны, но и те оказались невинными. По распоряжению начальства они были награждены за каждый удар по двести рублей и паспортом с свидетельством их невинности, несмотря на наложенное на них клеймо преступников.

Из денег, полученных нами в подарок от родных, мы употребили часть на напечатание сочинения Вадима, часть на покупку книг, посуды фарфоровой и хрустальной, чаю, сахару и восковых свечей, не рассудивши, что все это можно было купить и в Харькове, не обременяя себя перевозкой. Остальные деньги отложили на путевые издержки и на первое время в Харькове.

Дней за пять до нашего отъезда Саша попросил меня прийти к ним обедать, а кстати и проститься с его отцом. После обеда он позвал меня в свою комнату и, взявши за руку, нетвердым голосом сказал:

-- Таня, ради бога скажи, что мне делать? я совсем теряюсь, Ник взят, наши сердятся, с Марией не знаю, как быть, не знаю, как развязаться.

Я была поражена. Я давно видела, что он стал к ней холоднее, но чтобы охлаждение дошло до такого градуса -- не ожидала и не знала, что сказать.

-- Что же ты молчишь, -- продолжал он, -- дрожь пробегает по мне, когда представляю себе объяснения, укоры, слезы, что ты скажешь?

-- Не знаю, Саша, -- отвечала я, чувствуя страшное замирание сердца. -- Кажется, лучше всего поступить, как говорит совесть.

-- Не могу думать. Спрашиваю тебя.

-- Как далеко зашла ваша любовь?

-- В чистоте наших отношений, конечно, не можешь сомневаться. Я предлагал ей жениться, она не связала меня словом, даст ли ей счастье брак без любви?

-- Твоя перемена убьет ее.

-- Меня убьет цепь без чувства любви, -- быстро возразил он,-- ведь мне только двадцать два года! -- Он грустно задумался и спустя минут пять сказал: -- Неужели я должен счастием всей жизни заплатить за порыв первой молодости?

-- А ей можно? Кроме нашего личного счастия, есть счастие и других. Вправе ли мы им жертвовать ради своего удовольствия,

пожалуй, даже счастья, жизнь ее будет разбита и навсегда. Не отзовется ли ее несчастие и на твоей жизни?

-- Быть может, а ты думаешь, прибавит ей счастья, если женюсь из чувства долга. Притворяться -- что любишь, да разве такое натянутое положение возможно. Боже мой, куда это я впутался!

-- За что ты разлюбил ее?

-- Почем я знаю. Логика чувства коротка, -- отвечал он раздражительно, -- любишь потому, что любишь, не любишь потому, что не любишь. Легко любить ни за что и очень трудно за что-нибудь.

-- В любви твоей ее жизнь. Неужели тебе не жаль ее?

-- Прибавит ли ей жизни брак без любви. Я буду губить ее своим несчастием. Быть близким из сострадания -- один из тягчайших крестов. Мне и так тяжело.

-- Ты скоро утешишься, -- она никогда; с твоей угаснувшей любовью угаснет жизнь ее сердца.

-- Да ведь и отношения вне свободной любви непрочны, они или разрушаются, или разрушают.

-- По крайней мере объяснись с ней дружески, с теплотой; простись с любовью и благодарностию с прошедшим. Слез, укоров не бойся -- их не будет. Я ее знаю. Такой разрыв будет человечнее, он оставит хотя одну светлую черточку в душе.

-- Едва ли. Не достанет сил. Я устал от своей любви, Отдаюсь на волю судьбы.

Судьба решила такими мерами, которые ни мне, ни ему даже, и в голову не приходили.

19 июля вся Москва ехала на скачку и гулянье, на Ходынское поле5. Народ, точно полипы всех видов, выползал из своих клеточек на Ходынку. Отправился туда и Саша, потому что существующему человеку надобно же быть где-нибудь. Занимала ли его скачка -- может судить всякий. Он стоял одиноко и смотрел на толпу, севшую, как туча саранчи на поле, -- на кареты, которые Двигались между саранчи, как майские жуки, и был очень грустен. Встречавшиеся знакомые толковали о скакунах и уходили. Он молил бога ни с кем не встретиться, отворачивался и вдруг увидал в карете Марью Степановну и Наташу. Они звали его. Когда он подошел, Наташа с участием сказала ему вполголоса: "Что ваш друг?" Саша был рад, что его видимое расстройство духа она отнесла к беспокойству о Нике, -- и

сочувственно взглянул на нее. Ему показалось в ее взоре что-то примиряющее. Он знал Наташу с ее поступления в дом княгини, звал кузиной, но близок не был никогда; напротив, больше удалялся, находил ее безжизненной, холодной, а теперь вдруг показалось ему, что он ее истинный друг.

"Я прежде судил о ней, -- говаривал впоследствии Александр, -- не понимая ее; огромное расстояние делило меня, студента-карбонара, от нее, религиозной, а между тем, мы шли бессознательно к одному и тому же миру, только с разных сторон. Религия чувством поднимает до созерцания тех истин, до которых разум доходит трудным путем, -- сверх того, она кладет печать божественности на чело и не допускает короткости. Наташа мало знала свет и высшей целью жизни ставила стены монастыря, чтобы, как стих псалма, как аккорд оратории, горячей молитвой вознестись на небо".

"Я не мог вполне оценить ее прежде, -- говорил он нам иногда, -- увлеченный, рассеянный страстями, друзьями, науками, планами, оргиями, влюбленный. В этот же день, душа, взволнованная несчастием, взглянула другим взглядом -- взглядом магнетизма".

Скачка кончилась. Они шли пешком к кладбищу. Первое, что открылось, был позлащенный шпиц высокой колокольни приходской церкви Николая. Переполненная душа Саши вылилась черным словом.

-- И эта колокольня ничего не говорит больше вашему сердцу? посмотрите, куда она указывает, -- сказала Наташа, -- там утешатся все скорби!

-- Там,-- отвечал Саша, -- а здесь иметь душу, полную сил, желаний добра, и быть не в состоянии что-нибудь выполнить!

-- Разве в этом *его* вина? От этого душа его не менее перед богом. Кто живет в боге, того оковать нельзя, сказал великий страдалец, снесший голову на плаху -- апостол Павел6.

В другое время Саша улыбнулся бы, а тут он не улыбнулся, однако возразил:

-- Вы все ссылаетесь на тот свет, а здесь мой друг за любовь к людям гибнет неоцененный, неузнанный. Апостол Павел снес голову на плаху тогда, когда обратил целые страны в веру Христа.

-- Неужели вы это говорите о рукоплесканиях? Сейчас мы видели, как их расточают лошадям. Одни поденщики требуют награды.

Александру показалось, что ему сделалось совестно, когда он вымерил расстояние ее воззрения от своего.

Они вошли на ниву божию. Человеку бывает всегда не по себе при виде крестов, холодных памятников. В церкви стоял покойник. "Для него нет больше ни страстей, ни тайны, тело не делит его от бога", -- сказала Наташа. На Сашу покойник сделал тяжелое впечатление, он опустил глаза и содрогнулся, думая, как и у него рука, живая, теплая, когда-нибудь скрестится с другой рукой на груди, и он уже не почувствует этого. На паперти стояли нищие старухи в лохмотьях, усердно молились богу и клали земные поклоны.

-- Посмотрите, -- сказал Саша, улыбаясь раздражительно:-- вот настоящая вера: эти старушки дожили до семидесяти лет и не теряют надежды, что их молитвы услышатся.

-- И вам смешно это доверие к богу? Все отрадное для простого народа -- в молитве, ею он отрывается от гнетущей жизни, сама молитва ему наградой, а вы смеетесь. Вероятно, от того это, что вы одиноки теперь. Ах, если бы я могла хоть сколько-нибудь заменить вам его! Но какая разница он и я.

"Где же эта холодность, -- думал Саша, -- она не приближалась ко мне, пока считала себя ненужною, а теперь, видя меня страдающим, протянула мне руку. Она поняла, как это мне необходимо, и облегчила своим участием мое горе".

-- Молитесь ли вы когда богу? -- спросила Наташа.

-- Не умею, -- отвечал Александр.

-- Молитесь, и ему будет легче, и ваша душа успокоится, и я буду молиться утром и вечером.

-- Один найду ли молитву в груди? Я завидую вам, жалок, мал кажусь я сам себе, а давно ли с самодовольством студента блистал я...

На этом слове речь его была прервана Марьей Степановной; она сказала, что время ехать домой.

В ночь на 20 июля Саша был арестован полицеймейстером Миллером7. Испуганная прислуга разбудила Ивана Алексеевича и Луизу Ивановну. В дверях, между залой и другими комнатами, стояли казаки. Вход в комнату Саши вел из залы. Отца и мать Миллер велел впустить и разругал казака, который хотел их остановить. Луиза Ивановна была почти без чувств. Иван Алексеевич говорил с полицеймейстером безразличные вещи. Прощаясь, Саша стал перед

отцом на колени. Старик поднял его, обнял и надел образок, говоря: "Этим образом благословил меня отец, умирая". Голос его дрожал, по лицу катились слезы. На образке, из финифти, изображена была *отсеченная глава Иоанна Предтечи на блюде.*

Вся прислуга и дворовые проводили его со слезами до дрожек полицеймейстера. Проходя передней, он успел шепнуть комнатному мальчику, чтобы он бежал к нам и сказал об этом. Оторопевший мальчик бросился к нам со всех ног, перебудил и перепугал у нас весь дом. Слыша шум и движение, у нас вообразили, что забрались воры, поднялась тревога; когда же узнали, в чем дело, встревожились еще больше.

Рассветало. Спать никто не ложился. В нашей комнате затопили печь, и мы сожгли все письма Саши и Ника к Вадиму и Саши ко мне, писанные с его восьмилетнего возраста и до моего замужества. Писем Сашиных ко мне сгорело более двухсот -- содержания самого невинного8. Это дела "из дальних лет, из жизни ранней"9.

Из этого круга молодых людей остались неарестованными только двое: Н. Х. Кетчер, живший тогда уездным медиком, и Вадим. Вадима спасла женитьба и беспрестанные отлучки из Москвы.

25 июля, день моего рождения, мы были с Вадимом на дороге в Харьков. По пути заезжали на несколько дней в Чертовую к дяде.

По дороге у нас отрезали привязанные позади коляски ящики с фарфором, чаем и сахаром. Восковые свечи, прикрепленные к передку, уцелели. Таким образом мы явились в Харьков с одними восковыми свечами и остановились в гостинице против площади. Вадим, отдохнувши, переоделся и отправился к графу Панину. Граф с глубоким прискорбием сообщил ему, что из Москвы получена бумага, в которой сказано, чтобы не допускать Вадима Пассека до чтения лекций вследствие его близких отношений с арестованными молодыми людьми, а если уже читает, то учредить строгий надзор. Вадим возвратился смущенный.

В комиссии, учрежденной по делу арестованных молодых людей, в бумагах Саши попалась записка Вадима.

-- Кто это Вадим, -- спросил один из членов комиссии, предположивши, что под именем Вадима таится что-нибудь подразумеваемое.

-- Вадим -- человек, -- отвечал Саша.

-- Да такого и имени нет, -- сказал член комиссии.

-- Посмотрите в киевских святцах, -- 9 апреля он именинник.

-- Где же этот Вадим?

-- Уехал в Харьков.

-- Зачем?

-- Читать лекции русской истории в университете10. В Харьков полетела бумага, чтобы не допускать Вадима до кафедры.

Боясь огорчить меня, Вадим сказал, что определение его в университет может состояться только тогда, когда приедут из-за границы молодые профессора11, которых уже ожидали, и что он намерен пока выправить свою диссертацию на магистра и защитить ее.

И вот мы, забравшись в Харьков, издержавши большую часть своих денег, остались при одних восковых свечах. Нам не оставалось ничего больше, как ехать в деревню.

Потуживши да потешившись из окон, как перекупки с лотками слив и крыжовника лаются друг с другом и дерутся лотками, выехали в село Спасское, отстоящее от Харькова, сколько помнится, верстах в шестидесяти.

Село Спасское, Пассековка тож, стоит при небольшой речке, впадающей в Донец. В полуверсте от села, на берегу Донца, находилась в то время барская усадьба, состоявшая из надворных строений и старого прадедовского дома, длинного, низенького, крытого очеретом, выстроенного покоем, разделенного широкими сенями на две равные половины. Снаружи и внутри дом был обмазан глиной и выбелен мелом. В иных комнатах полы были покороблены; окна так низки, что из них легко было вылезать в столетний сад, окружавший дом с трех сторон. Сквозь ветви длинной липовой аллеи из дома виднелся Донец, а в густоте листьев ворковали горлицы. К стеклам некоторых окон прижимались дико разросшиеся кустарники; когда мы окна раскрывали -- ветки врывались в них и трепетно склонялись на подоконники. В этих кустах шуршили мелкие пташки, весной запели соловьи.

По той стороне Донца, на которой была усадьба, стлались поля пшеницы, проса и рассыпались серебристым песком степи.

Молодость полна веры и надежды. Оставшись одни, совсем одни, вдали всего нам близкого, не зная, чем решится наша судьба, мы не упали духом, весело прикатили в деревню и к вечеру совсем

устроились на половине, обращенной к Донцу. Раскрыли все окна, в них повеяло запахом степей, и вступила тихая украинская ночь, горя бесчисленными звездами на яхонтовом небе...

Чтобы пополнять мои воспоминания и помочь своей памяти, я часто прибегаю к моему дневнику и ко множеству бумаг, оставшихся после Вадима. Между моим дневником попадаются заметки и записки, набросанные некоторыми из наших друзей, относящиеся к периоду времени, о котором говорится в моих воспоминаниях, а так как они пополняют их, то я и приведу из них выписки12.

"...Часов в восемь, -- сказано в одном из этих рукописных отрывков, -- навестил меня некогда бывший мой законоучитель -- отец Василий13; он уже не один раз был у меня, и беседа его всякий раз оставляла в моей душе светлый след. Я обнял почтенного пастыря. Когда он давал мне уроки, я не умел вполне оценить этого человека, с его восторженной, чистой душой. Что-то беспредельно торжественное было в беседе нашей; плавным, величественным maestoso {Торжественно, величественно *(итал.*-- музыкальный термин).} окончилась она: благословение пастыря, объятия друга напутствовали меня, слезы души любящей заключили ее. В эти минуты я был достоин принять высокие впечатления. Возбужденная душа раскрывалась всему святому. Взор мой покоился на двери, в которую вышел священник.

...Дверь снова растворилась. Видали ли вы на образах явление девы Марии в какой-нибудь бедной келье изнеможенному старцу монаху, во всем блеске просветленного образа человеческого, в котором от плоти едва осталось очертание, а дух божественности просвечивает в своей бестелесности? видали ль взор любви и кротости, обращенный на поверженного в прах угодника? и его взор, светящийся восторгом и благоговейным трепетом? Я был тот, которому явилась Дева...14, молча протянула она мне руку, я быстро схватил ее...

...Не так ли умирает человек? посланник божий, светлый, улыбающийся, подойдет к страдальцу, протянет руку, и тело мертво, а душа родилась в царство духа и свободы. Как ясно стало в душе моей, когда я держал ее руку; казалось, не о чем было и говорить, а когда стали говорить, говорили так, ничтожные вещи. *Разлука* укрепила нашу *симпатию,* дала возможность прийти в себя, в сознание,

превратиться в сущность жизни, в самую жизнь. Только тогда пало несколько сильных слов, которые носят в зародыше мир чувствований, мыслей, дел. "Брат, -- сказала она прощаясь, -- в дальнем крае помни, что твоя память о ней ей так необходима, как жизнь".

...Мы простились. Время опустило меч свой...

...Я остался с (моим сторожем) Терентьичем15. Ветеран мой часто рассказывал мне о своих походах и жизни за границей. "Там ведь, -- говорил он, -- не то, что у нас: города так застроены, что никакого пространства нет (уверяю вас, что не выдумываю) и дома все на один лад; если номер дома забыл, то и проищешь дня два". В лингвистике он тоже был силен. Есть о чем поговорить с бывалым человеком, нечего сказать.

...Иногда в праздничные дни Терентьич подгуляет; он от этого ничего не терял, напротив, приобретал сильный запах сивухи, и тут-то мой ветеран был удивительно гениален. Во все праздничные дни Терентьич получал порцию, да не пьет ее, а в стклянку, -- сами рассудите, стоит ли из-за полустакана рот марать. Набравши пять, шесть порций, он их употреблял вприкуску с черным хлебом. Так принятые пять порций ответствуют пятидесяти пяти. После этого déjeuner sans fourchette {Завтрака без прибора *(франц.;* шуточная переделка французского выражения déjeuner à la fourchette -- легкий завтрак).} усач принимался за трубку. Чубук в полвершка, трубка величиной с горшок для гречневой каши, а табак он покупал листьями *имбирку*, то есть венгерский, фунт пять копеек, и сам крошил. Вино и табак возбуждали в нем лиризм, и он затягивал свою любимую песню:

Сватался за девушку саратовский купец,
Говорил житья-бытья двенадцать кораблев,
Думаю, подумаю, не выйду за него...

...Между прочими достоинствами моего воина надобно упомянуть о патенте на ряд крестов и медалей, висевших на его молодецкой груди. Этот патент, не так как мой, на титулярного советника, не на телячьей коже был выпечатан, а на его собственной, прекрупным цицеро сабельных ударов, а знаки препинания были поставлены свинцовыми точками.

1835 год

Potentia romanorum hic nos relegavit*
*Надпись, сделанная римлянами на камнях в базилике*16.

И колокольчик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой17.
* Власть римлян сослала нас сюда *(лат.)*.

...10 апреля, в 8 часов утра, явился ко мне дежурный офицер и объявил, что через час я должен отправиться в путь. Он меня застал в сильном раздумье и в сильном волнении, но ни того, ни другого я описать не могу. В Душе было что-то торжественное, -- правда, грустное, очень грустное, -- но не отчаянное, напротив, грусть была проникнута сильной верой в будущее. Чувства, колыхавшиеся, как волны морские, в моем сердце, были не по груди человеческой, казалось, они разобьют ее. Я, по словам офицера, как по лестнице, начал опускаться на землю, и был рад этому, мне становилось тягостно в этом состоянии, так физически неестественно человеку дышать на высокой горе, несмотря на то, что там воздух составлен в десять раз чище из своих двадцати девяти долей жизни и семидесяти одной доли смерти, нежели в низменных местах18. Вчера вечером я мало и смутно чувствовал, но, когда я лег часа в два на постель и потушил свечу, явилась бездна чувств и мыслей. Не знаю, как с другими, а со мною всегда первое впечатление слабее, { нежели отчет в этом впечатлении. Погодя немного, всякое ощущение является ярче. У меня сердце, как болонский камень, покуда лежит на солнце -- не светит, солнце село, ночь пришла -- горит камень19.

...Пред отъездом, я зашел проститься с соседом 20; я никогда не был прежде с ним в коротких отношениях, но тут мне и с ним

расстаться было жаль: с ним можно было вспомнить былую жизнь, а вскоре меня окружат чужие люди, с которыми у меня ничего общего нет. Потом я взял лоскуток бумаги и написал Natalie: "За несколько часов до отъезда я еще пишу, и пишу к тебе; к тебе будет последний звук отъезжающего; вчерашнее посещение растопило каменное направление, в котором я хотел ехать. Нет, я не камень -- мне было грустно ночью, очень грустно! Natalie, Natalie, я много теряю в Москве, все, что у меня есть, и когда увидимся? где? все темно, но ярко воспоминание твоей дружбы. Не забуду никогда своей прелестной кузины"21.

...Терентьич проводил меня за ворота. Я обнял его; у старика навернулись слезы. Я обнял его еще -- от души. "Неси, брат, простую душу твою туда, где в одну шеренгу поставят и тебя и фельдмаршала Сакена; мало тебе было дано, мало с тебя и спросится на инспекторском смотру того света. Инвалидный дом там светел, обширен и тепел, места и про тебя будет, а о телесных наказаниях и думать нечего, ты тела туда с собой не возьмешь..."

...Дежурный сел со мной на извозчика, и мы поехали к генерал-губернатору. На лестнице встретился с Лахтиным, ему назначено было ехать завтра22. Он хлопотал об отсрочке и был очень сконфужен. В комнате наверху я нашел моих родных. Жалея их, я скрыл, как тяжело было мне.

...У подъезда стояла дорожная коляска, и мой человек суетился около чемодана, подпоясанный по-дорожному. Один я не собирался, а ехал. Наконец я в коляске, за заставой -- не было сил еще раз выглянуть на Москву, да и бог с ней... Колокольчику отвязали язычок -- мы едем. Вдруг провожатый, спокойно куривший трубку, привстал на козлах, снял фуражку и стал креститься, говоря моему камердинеру: "Креститесь, почем знать, увидим ли Кремль и Ивана Великого". Фу! я бросил извозчику четвертак, чтобы он поскорее ехал, и ямщик поскакал ветер-буря! На другой день я с любопытством смотрел на губернский город23. Воспитанный во всех предрассудках столицы, я был уверен, что за сто верст от Москвы и от Петербурга Варварийские степи, Несторово Лукоморье, и крайне удивился, что губернский город похож на дальний квартал Москвы.

...Вскоре очутились мы на берегах Оки. Она была в разливе; день был ясный, поверхность реки стлалась светло и гладко на несколько

верст. Куря сигару, я стоял, облокотясь на жердочку перил, и смотрел, как московский берег отодвигался все далее и далее; глубь, вода, пространство отделяли меня более и более, а тот берег -- чуждый, из темно-синей полосы превращался в поля и деревни, становился все ближе и ближе, а между тем у меня на московском берегу -- всё. Ярче разлуки я никогда не чувствовал. Тихое, покойное движение по воде наводило само собою грусть. Слезы навернулись на глазах и канули в голубую реку, вздох вырвался и исчез в голубом небе. "Дай-ка фляжку с ромом", -- сказал я человеку, проглотил два-три глотка и продолжал курить сигару; признаться, тяжелое дело спрягаться страдательно, как отлагательные глаголы латинской грамматики. На одной станции я стоял у окна и смотрел, как закладывали коляску, не знаю, как глаза мои попали на оконницу, на ней было написано: N. Ogareff exilé de Moscou le 9 avril 1835 {Н. Огарев, высланный из Моемы 9 апреля 1835 *(франц.).*}24, я подписал под ним свое имя и два стиха из Данта.

Per me si va nella citta dolente,
Per me si va nel chemo dolore *25.
* Через меня идут в город скорби, через меня идут на вечные муки *(итал.).*

Да, ею идут в страну бедствий, и я задумался о всех вздохах, поглощенных этим воздухом. Вдали от станции стоял этап.

...В Чебоксарах я вымерил всю даль от Москвы. Тут толпы чувашей и татар напоминали близость Азии. На Волге я чуть не утонул. Река была в разливе, переправа верст двадцать. Целая станция. Татарин поднял парус и при сильном ветре не мог сладить с дощаником, наехал на бревно, вода полилась из пробитого места и минуты две-три я не видел ни малейшей возможности спастись, -- верст пять от одного берега, верст десять от другого,-- татарин стал читать молитвы, мой человек плакал. В первую минуту я испугался, но ненадолго. Вдруг уверенность в будущность и какая-то непреложная вера победили страх, и я спокойно ожидал развязки. Купеческая барка шла недалеко от нас, мы все стали просить помощи. "Есть нам когда возиться с вами", -- отвечали с барки, и она проплыла. Потом мужик в коломяге подъехал, между тем паром встал на мель, и мы были почти спасены. Мужик придумывал, как исправить паром. Его исправили, и

мы поехали. Несмотря на сильную бурю с проливным дождем, мы доехали до Казани, где первым действием моим, как только стал на берег, было отправить провожатого за сивухой. Больше двух часов стоял я в воде вершка на три, в апреле месяце, и передрог как собака,

...Холодный утренний ветер дул со стороны Уральского хребта. Рассветало. Я крепко спал в коляске, как вдруг меня разбудил шум и звук цепей. Открываю глаза -- многочисленная партия арестантов, полуобритых, окружила коляску. Башкирец с сплюснутой рожей, с крошечными щелками вместо глаз, нагайкой погонял отсталых. Дети, женщины, седые старики на телегах, и резкий ветер, и утро раннее -- я отвернулся; на дороге стоял столб, на столбе медведь, на медведе евангелие и крест26.

Вскоре быстрая Кама, которая пенясь несла льдины, была уже за мною, и я очутился через день в Перми.

...В Перми я пробыл около месяца27, все это время было употреблено на приведение себя в какой-нибудь уровень с окружающим, на определение своих отношений с обстоятельствами и лицами, наконец на какое-то глупое бездействие.

Я начал разглядывать пустоту жизни, в которую попал. Никогда не выезжая из Москвы, да и в самой Москве не видав жизни чиновников, я теперь с большим любопытством рассматривал мир для меня новый. Губернатор был настолько великодушен, c'est le terme {это точный термин *(франц.)*.}, что не дал мне почувствовать тяжесть моего положения. Он поручил мне дела статистического комитета и оставил в покое. Пермь для меня была ad lectorem {предисловием *(лат.* -- буквально: к читателю).}, настоящий текст -- в Вятке. Не думая, не гадая, я уехал из Перми дней через двадцать. Коляска моя была сломана, я выхлопотал право остаться еще на два дня в Перми, и через пять с половиною суток вялая волна Вятки подвигала мой дощаник к крутому берегу, на котором красовалось желтое, длинное, неуклюжее здание губернского правления. Опять fatum! {судьба, рок *(лат.)*.} А я грустно подвигался к Вятке, душа предчувствовала много ударов, падений, грязи, мелочей, пыли -- это было в 1835 г. 20 мая вечером". . .

. . . . . .

Прочитавши этот отрывок, возвратимтесь в Москву, в Украину, в село Спасское, где мы совершенно основались с Вадимом и принялись за свои занятия. Вадим кончил свою диссертацию; в ожидании

кафедры был причислен к статистическому комитету и собирал сведения о Харьковской губернии, -- ему было поручено составить ее описание в отношении статистическом; вместе с этим изучал природу Украины, нравы и обычаи ее жителей -- и готовился к изданию "Очерков России"28.

В Москве, по отбытии Саши, дом Ивана Алексеевича затворился для всех, кроме близких родных. На другой День скачки на Ходынке пришел в дом Яковлевых товарищ Саши -- Николай Иванович Астраков. (Он познакомился и сблизился с его кругом через Н. М. Сатина, которому давал уроки математики.) Спрашивает: "Дома ли Александр Иванович?"

-- Дома нет-с, -- отвечает человек.

-- Где же он?

-- Куда-то вышли.

-- Когда?

-- Сегодня-с.

-- Да ты правду ли говоришь?

-- Сущую правду-с.

Вечером Астраков пошел снова туда же и получил тот же ответ. Впоследствии узнали, что Иван Алексеевич запретил говорить правду кому бы то ни было29.

Что же в это время делал Саша в своем невольном уединении? Под влиянием религиозного настроения Наташи, с которой он еще раз виделся, Саша стал изучать Четьи-Минеи и перелагал на литературный язык жития некоторых святых, которые посвящал своей двоюродной сестре Наталье Александровне Захарьиной.

Я читала некоторые из них. Описанный им "Мартиролог святой Феодоры", находящийся в житии святых за сентябрь, так ярко остался у меня в памяти, что отрывки из него в 1840-х годах я вписала в мои заметки30.

МАРТИРОЛОГ СВЯТОЙ ФЕОДОРЫ

Это было в то время, когда Александрия, уже христианская, придавала чистой религии свои неоплатонические оттенки и

мистическую теургию Прокла и Аполлония.

Храм Сераписа, этот Кельнский собор мира языческого, с своими сводами, галереями, портиками, бесчисленными колоннадами, мраморными стенами, покрытыми золотом, давно был разрушен, и колоссальная статуя Сераписа, на челе которой останавливался луч солнечный, не смея миновать его, была разбита и превращена в пепел31.

В это время из ворот Александрии вышел юноша в простой одежде, ни на что не обращая внимания. Сильные страсти боролись на его лице. Он был бледен, слезы тихо катились по лицу нежному, как у девы, осененному кудрями. В темных глазах виднелась грусть и что-то восторженно-религиозное.

"Я не гражданин твой больше", -- говорил он, прощаясь с Александрией.

Обратясь к востоку, он упал на колени с молитвой и слезами раскаяния. Сильна и пламенна молитва кающегося, и не для грешников ли создана молитва? Праведному -- гимн!

Вечером на другой день юноша приходит в пустынные места, к ограде монастыря, стучится и просит доложить о себе игумену. Юноша отрешился от мира земного, он слышит голос Спасителя, призывающий его в обитель любви и надежды, туда, где поют бога чистые ангелы, где душа праведника его видит, где между ними парят архангелы. Юноша, сидя на камне у ворот монастырских, склонив на руки голову, прождал ответа до утра. Привратник ночью входит в бедную келью игумена. Игумен, при свете лампадки, в восторге читает свиток Августина. Привратник прерывает его чтение, говоря, что у ворот стоит юноша, который просит принять его в монастырь и ждет ответа.

Игумен был человек лет пятидесяти, с лицом, выражавшим душу страстную. За строгими чертами виднелось возвышенное, теплое сердце. Он взрос сиротою. Узы родства, привязывающие множеством цепей к домашней жизни и маленькому кружку действий, ему были неизвестны. Он искал симпатии и не находил. Христианство открыло ему новый мир. Сильная вера наполнила пустоту его души; деятельность христиан открывала возможность для развития его идеи; беспредельное верование и чистое, святое самоотвержение -- поразили его. Это было время великой борьбы арианизма32. Рвение

христианского учения было самое обширное. Весь мир участвовал в спорах, гонцы спешили во все стороны передавать учение Августина. Эта деятельность с колоссальной целью пересоздать общество человеческое, опираемое на божественное основание евангелия, волновала его юную душу, -- он увидел, что нашел свое призвание, поклялся сделать из души своей храм Христу, то есть храм человечеству, участвовать в апостольском послании христиан, и сдержал его. С негодованием и ужасом он увидал в Византии, что христианство там ограничивается одними прениями без веры. Пороки Византии ужаснули его, он оставил ее и удалился в пустыню Фиваидскую, чтобы забыть все, кроме Христа. Он роздал свое богатство и вступил в Октодекадский монастырь. Братья избрали его игумном. Он был строг и поучал примером.

Этот-то игумен приказал сторожу лечь спать и до утра не давать ответа пришельцу для испытания его смирения.

Оставшись один, игумен думал о юноше и горячо желал, чтобы он оставался верен избранному им пути. "Тогда он сделается другом моим", -- говорил сам с собою игумен. Но прежде приготовил юноше ряд испытаний в труде и унижении. Юноша выдержал искус. Старец радовался, найдя в нем человека, который вполне понимал его, и открывал ему всю жизнь и все надежды свои, ходя с ним по платановой аллее среди пальм, алоев, лимонов, магнолий.

-- Весь земная падает, весь небесная созидается,-- говорил игумен юноше, -- что за торжественный день был для мира, когда он огласился в первый раз евангелием! мир, истерзанный войною, -- услышал слово мира, мир попранный -- слово свободы; мир ненависти -- слово любви; мир неверия -- слово веры! Всем говорило евангелие. Исчезли племена и состояния. Всех оно манило в лоно божие, всех в объятия братства.

Юноша слушал его с умилением и благодарностью. Старец продолжал:

-- Рим потрясен силою евангелия, и -- кто же потряс его? эти гонимые, униженные, скитающиеся в то время, как о силу его раздроблялись народы земли. Отчего же это? оттого, что голос их был голос истины, голос бога и человечества.

Когда игумен с ужасом и презрением выразился о женщинах, Феодор огорчился и подумал: "А Сирах называет женщину добродетельную -- солнцем, восходящим на небе господнем. Дева

рождает Христа. А кто остался при кресте и кто распял его? о! ты один справедлив, сын божий!"

За несколько лет перед этим в Александрии был богатый гражданин, женатый на прелестной египтянке, которую страстно любил, и она страстно любила его, как вдруг приезжает в Александрию греческий вельможа и с ним юноша-сын, красавец, с изящным образованием и нравами языческого мира -- жаждущего чувств.

Египтянка влюбилась в него и изменила мужу. Увлечение ее было кратковременно; в ней пробудилось раскаяние -- оно терзало ее. Она сделалась грустна, не могла смотреть на обманутого мужа и скрылась потихоньку.

Муж тщетно искал ее, -- о ней не было вести; пышный дом опустел, тоска снедала несчастного. Он не знал об измене и не понимал причины бегства жены.

Раз снится ему сон -- будто ангел с улыбкой летит к нему с неба, остановил над ним полет свой, качается на своих дивных крыльях и говорит ему: "У храма Петра", -- и летит в высоту. Он оделся и пошел к храму св. Петра. Раннею зарею он был на его ступенях, под колоннадами, и осматривал каждого человека. Люди различных сословий проходили мимо, толпы двигались по площади, никто не обратил на него внимания. Он увидал, что к храму подъехал на осле монах и был как бы поражен при виде сидевшего. Дрожащим голосом он сказал ему: "Добрый день, господин"; сидевший не обратил на него внимания, и он второй раз потерял жену. Когда солнце закатилось -- он тихо побрел домой.

Сбиралась гроза, Феодор, взволнованный встречей, садясь на осла, своротил в монастырь Энат, находившийся близ Александрии, и вошел в церковь. Шла вечерня. Близ углубления, где стоял Феодор, стояла прелестная молодая женщина и, не спуская глаз, смотрела на молящегося юношу -- он казался ей архангелом.

По окончании моления Феодор просил позволения переночевать в монастыре. Игумен повел его в свою келью, там он увидал женщину, стоявшую близ него в церкви. Это была дочь игумна. Когда Феодор остался один в келье, к нему вошла старуха и пригласила его идти за собою. Во дворе старуха исчезла. Нежная рука повела его в темноте дальше, по небольшому переулку. Отворилась дверь, й при свете

лампы он узнает дочь игумна, едва прикрытую легкой одеждой. Она стоит с потупленным взором, по лицу ее катятся слезы. Она говорит ему о любви своей и просит любви. Феодор тихо, спокойно напоминает ей долг ее. Она умоляет, она ревнует, она молит о минуте наслаждения. Он тих и спокоен. Вне себя, она бросает на пол лампу, душистое масло льется по ковру, светильня вспыхивает и дымится. Рука судорожно обвивается вокруг Феодор а, и горящие Уста коснулись уст его. Он тщетно хочет вырваться из ее объятий: "Нет, нет, ты мой", -- говорит она.

Ясно было утро, когда Феодор подъезжал к Октодекадскому монастырю, везя елей для храма. На лице его виднелось спокойствие, молитва была во взоре и на устах. Привратник ему отворил ворота, и он въехал на безмолвный, покрытый травою двор.

Раз позвал его к себе игумен и показал пояс, присланный ему из того монастыря, где ночевал Феодор, и спросил его: "Твой ли это пояс?" -- "Мой", -- отвечал Феодор. "Где ты потерял его?" -- "Не помню, -- отвечал Феодор, -- я хватился его, возвращаясь из Александрии домой". -- "Это пояс женский, -- прибавил игумен, рассматривая его, -- я так и знал, что это клевета. Бог не даст такой души порочному". Феодор рыдал.

Через несколько времени явились энатские монахи. Они принесли младенца и бросили его посреди двора, говоря:

-- Братия! ваше дело вскормить чадо вашей порочной жизни, -- и назвали Феодора. Никто не верил. Игумен ждал, что юный друг его оправдается, но Феодор, склонив колено, сказал:

-- Прости меня, отец святой, я обманул тебя. Горько поражен был игумен.

Феодора прогнали из монастыря, осыпая побоями и ругательствами. Люди, встречавшиеся Феодору, ругались над ним. Ему грозила бедность, голод. Никто, никто не подавал ему милостыню. На последние деньги он покупал младенцу молока, а сам питался раковинами.

Так описывает его жизнь мартиролог.

По кончине Феодора, грустно сидел подле его гроба игумен и александриец, ждавший жену у храма св. Петра. Входит энатский игумен с монахом, которого посылал обвинять Феодора. Игумен Октодекадского монастыря открывает лицо усопшего и спрашивает

собрата своего: "Это ли Феодор?" --"Он самый, -- отвечает тот, -- обесчестивший у нас девицу". Игумен с горькой улыбкой снял покров с груди усопшей, и увидали, что это -- женщина.

-- Это жена его, -- сказал игумен, указывая на александрийца, и, заливаясь слезами, склонил к ней голову.

ГЛАВА 28

ВЯТКА

От 9 апреля 1835 года до 1838 года

Potentia romanorum hic nos relegavit
*Надпись, сделанная римлянами на камнях в базилике.*1

Товарищеский круг Вадима распадался. Одни отправлены были на службу в дальние города России; человека два осталось в Москве. Ник уехал в пензенское имение к отцу, Сатин -- в Симбирск, Александр весной -- в Вятку. В это же время Зонненберг собирался на Ирбитскую ярмарку; Иван Алексеевич предложил ему проводить Сашу до Вятки, -- это ему было по пути, -- водворить его на новом месте жительства, как некогда водворил в университете, монтировать его дом и прожить с ним, пока тот осмотрится и привыкнет. Устроиться комфортабельно было не трудно: с Александром была отпущена значительная сумма денег, кроме того, множество книг, платья, разных вещей, даже ящик с лучшими винами и холодные пастеты. Все это отдано было под сохранение Петра Федоровича, того самого, который охранял самого Сашу в продолжение его университетского курса, сидя в университетских сенях, пока он

слушал лекции, и на козлах с кучером, когда возвращался с лекций домой.

Саша часто переписывался с родителями, а еще чаще с Наташей2.

Монтируя дом Саши, как выражался обыкновенно Иван Алексеевич, Зонненберг накупил множество ненужных вещей, между тем, для поддержания блеска дома вместо одной необходимой лошади купил трех. Кроме блеска, он сильно рассчитывал на эту тройку лично для себя, надеясь, что она придаст ему много веса в глазах живших против них барышень, -- Зонненберг был страшный волокита и приятно уверен, что ни одна женщина не устоит против него.

В саду, принадлежавшем к дому, занимаемому Сашей с Зонненбергом, находился еще дом, у которого ставни были заперты. В одно утро ставни растворились, и они узнали, что дом этот занял приезжий чиновник, старый и больной, с молодой, образованной женой, интересной блондинкой, и с детьми.

Саша с ними познакомился, увлекся молодой женщиной, и с месяц продолжался запой любви. Потом на него стали находить минуты тоски, он искал рассеяния. В письмах к Наташе, среди слов дружбы, проявлялась досада на себя. Ее писем он ждал как отрады. Любовь к блондинке откипала.

"Эта любовь, -- говорил нам Саша впоследствии, рассказывая о жизни своей в Вятке, -- уяснила мне мои чувства к Наташе. Образ отсутствующей вступил в борьбу с настоящей, и она стала ревновать, стала искать вокруг себя, кто ее соперница. Несколько времени думала на живую, молоденькую немку, которую я любил, как прелестное дитя, и с ней отдыхал3. Положение мое усложнялось; я малодушно ждал перемены от времени и обстоятельств, страдал, страдания мои были так жгучи, так ядовиты, душа порой падала с своего рая, оскорбленная, обиженная, мне хотелось передать стон свой, и немую боль разлуки, и мысль свою, -- для этого надобен был человек-друг. Господи! как я искал такого человека. Есть люди, у которых мысль так сильна, что они в своей внутренней жизни находят удовлетворение, мне же природа не дала столько созерцательности. Я привык к людям, я любил их..."

Долго не находил в Вятке Александр симпатичного себе человека, как 23 ноября 1835 г. на одном вечере встретился с только что прибывшим в Вятку Александром Лаврентьевичем Витбергом4. Саша

снова услыхал давно отвыкнувшим ухом святые слова: изящное, поэзия; понял гениального человека, полюбил его -- и они сблизились. Несмотря на то что Витберг был много старше Саши, художник был рад найти человека, с которым мог говорить об искусстве. Так как семейство Витберга еще не приезжало, то он и поселился в одном доме с Сашей. Зонненберга уже не было, и они вдвоем устроили какую-то артистическую жизнь; что-то строгое, .монастырское царило в их квартире. Целые дни они проводили в оживленных, нескончаемых беседах, часто вечерами засиживались до глубокой ночи, поверяя друг другу думы свои; в Витберге было высокое религиозное образование.

"Она, -- говорил потом Саша, вспоминая о Наташе, -- едва указала мне бога, и я стал веровать. Пламенная же душа артиста переходила границы и терялась в темном, но величественном мистицизме, и я нашел в мистицизме больше жизни и поэзии, нежели в философии. Благословляю то время!"

Когда приехало семейство Витберга, артист должен был низойти с поднебесья и хлопотать о нуждах будничной жизни. Беседы его с Александром сделались реже и короче.

"Странно, -- замечал Саша, -- что нет перехода между новым поколением и старым. Об искусствах, о науках мы никогда не спорили друг с другом, понимали друг друга, тут был артист; но как скоро доходило до жизни -- овраг нас делил, и я с прискорбием прятал свою тайну в душу свою, боясь его полезного, опытного мнения".

Тысячу раз вертелось у Саши на языке высказать Витбергу о том, что наполняло и что тяготило его; но страшная мысль, что услышит в ответ: "А думали ли вы о препятствиях и вполне ли убедились, что это не мечта?" -- зажимала рот. А он бы, может, и не сказал этого никогда, вся вина его была -- зачем он мог предполагать, что тот это скажет. Он молчал, жалея разрушить их дружбу, и находил, что с одной стороны одиночество его продолжается.

Около этого времени Саша познакомился с семейством одного аптекаря. Аптекарь звал его много раз. В один вечер, не зная, что делать, он отправился к нему. Его встретил самый теплый прием. Через час он был приятель, через два -- короткий знакомый. Саша любил всегда немцев, любил их некрасивую радость, их простодушный разговор. Аптекарь был целиком из комедии Коцебу. Его рассказы о Греции, о Египте, вечный разговор об экономии

чрезвычайно напоминали насмешки над немецкой расчетливостью и страсть к политике, к чалме с удивительными именами Али-паши, Ипсиланти, Мехмет-Али. Давно уже дела Греции были сданы в архив, а немцы все еще продолжали говорить об Инсаре, Хиосе, Боцарисе5. За то что Саша удовлетворял его вопросы, он впадал в удивление к его талантам и часто говорил: "Es ist doch schändlich, der Freiherr so viel studiert und sind noch so jung" {"Это ужасно, барон так много учился и так еще молод" *(нем.)*.}, несмотря на то что я почти ничему не учился и вовсе не был Freiherr, -- говорил Саша. "Немец -- это вещь технологическая, -- замечал он, -- немка -- или кухарка, или существо идеальное". Жена аптекаря не была кухарка -- бледная, болезненная, она напоминала чистейшее германское племя, какое только живет в Остзейских провинциях. Внутреннее сознание неизлечимой болезни развивало в ней, как и вообще в каждом человеке неизлечимо больном,-- особую меланхолию. Александр заставал ее всегда молчащую и нередко со слезами на глазах. Муж не понимал ее. У них жила молодая девушка, приехавшая из Ревеля в эту даль, в эту глушь из пламенной дружбы к Луизе. Такое пожертвование было чистым героизмом. Семейство это прибыло в Вятку незадолго до приезда Александра и с восхищением слушало немецкий язык на чужой стороне.

Саше у них было приятно. Он начал ходить к ним иногда. Молодая девушка, прелестная собой, огненная, живая, наивная, как дитя, не знала света, не знала людей и с ребяческим удивлением смотрела на них, живя безотчетно, как ласточка в небе, как роза на ветке.

Глядя на нее, он думал, что общество, в которое она, Полина, попадет, обидит, убьет ее нежную душу, -- ему стало жаль ее, и он сблизился с нею. Они сблизились шутя. Она откровенно радовалась его приходу, и едва узнала его, как отгадала священную мистерию его души и указала на нее полуребяческим перстом. Она больше поняла, нежели могла высказать. И вот для Саши открылось море симпатии и дружбы. Он подал руку Полине, так звали эту девушку, рассказал ей свою повесть и назвал другом, сестрою.

Возможность этого мудрено понять тому человеку, которого обстоятельства не отдаляли от всего родного, не забрасывали в чужой край, к чужим людям; мудрено понять и всю отраду симпатии, весь

отдых от страдания, который содержится в глубоком, сердечном участии. Кто испытал, тот знает, тот поймет.

Девушка эта принесла с собою из своей Германии пламенную, мечтательную душу, взлелеянную нежным, эстетическим воспитанием.

"Как мило развертывался этот цветок перед моими глазами, -- вспоминал о ней Саша. -- Мне становилось грустно без нее. Я любил смотреть на ее огненные глаза, на ее темные кудри, любил смотреть на ее шалости. Я рассказывал ей нашу встречу, разлуку, переводил ей письма. Она еще никогда не встречала эти бурные бытия, эти schwankende Gestalten {зыбкие виденья *(нем.)*.}6 и робко поверяла мне свою мысль -- мысль с улыбкой и слезой, и я берег эту мысль, напоминавшую мне ее. Она все больше привыкала ко мне, все больше и больше делалась мне сестрой. Сначала я боялся испугать ее пространным, безграничным миром фантазии; я переводил его на ее язык, и он легко на нем выражался; к языку порядочных людей я никак бы его не приладил. Ежели вы не понимаете, почему я, отданный навек одной, вдруг так сдвинул мое существование с этой девушкой, я не берусь объяснять".

Итак, maestro при своем обширном уме, по мнению Саши, не мог понять, а эта девушка поняла, и поняла потому, что смотрела просто глазами природы.

Часто утомленный, недовольный собою, Александр приходил к ней и отводил душу свою; она его, грустного, развлекала песнями Шиллера, пела ему "Das Mädchen aus der Fremde" {"Деву чужбины" *(нем)*.}, и баркароллу из "Фенеллы", и молитву из "Фра-Диаволо"7, -- и много раз вылечивала его: волнение души утихало, и он спокойнее приходил домой. В другие минуты прибегал делиться с ней счастьем, рассказать мечты свои, и она ее, незнаемую, -- любила.

Когда Саша оставил Вятку, то не раз обращал к ней печальные взоры.

А она? Она молила ему счастья с другой и плакала, плакала долго.

Несмотря на симпатические отношения Александра к Полине, задушевные беседы его с Витбергом не только что не охладевали, напротив, становились все жарче и задушевнее и, наконец, отразились на религиозных убеждениях Саши. Строгая догматическая речь художника увлекала и покоряла своему влиянию молодого человека.

Как сильно было это влияние, можно лучше всего видеть из переписки знаменитого художника с его молодым другом, когда тот оставил Вятку8. Письма эти любопытны не богатством и разнообразием содержания, но как непреложное свидетельство нравственной силы Витберга.

Эти письма относятся ко многим подробностям жизни Витберга и могут служить значительным историческим документом к жизни и нравственному облику великого художника.

В исходе 1837 года Саша был переведен из Вятки во Владимир, на службу в канцелярию владимирского губернатора Куруты -- превосходного человека.

29 декабря в сумерки Саша выехал из Вятки. Семейство Витберга провожало его. Туман пороховым дымом завешивал все, ветер дул с запада, Сашу провожали до Бахты и простились9.

Еще с дороги у Саши началась правильная переписка с друзьями, оставшимися в Вятке, где, сколько можно судить по некоторым местам из его писем, ему жилось далеко не дурно.

Первое письмо А. Л. Витберг получил от своего друга из Полян, находящихся в сорока шести верстах от Нижнего-Новгорода. Он писал:

"Сюда приехал я в первом часу. Итак, обнимемся, Александр Лаврентьевич, и все ваши! Вот вы все перед глазами. А Эрн отдал ли яблоки, пуще всего? Я сижу в пресквернейшей избе, наполненной тараканами, до которых M-me Medwedeîf небольшая охотница, и пью шампанское, до которого M-r Witberg не охотник. Оно не замерзло, и я имел терпение везти его от Вахты, а дурак станционный смотритель спрашивал: "Виноградное, что ли-с?" -- "Нет, из клюквы!" -- сказал я ему, и он будет уверять в этом проезжих. Из Нижнего буду писать comme il faut {как следует *(франц.).*}, а здесь ни пера, ничего, зато дружбы к вам много, много. Перед вами вспомнил только кого? Sapienti sat {Разумеющему достаточно *(лат.).*}.

*Александр"*10.

"1 января 1838 года, Нижний-Новгород.

Еще раз поздравляю вас, Александр Лаврентьевич, с Новым годом; как-то вы провели его? Я -- одиноко в гостинице с вечной одной мечтой и временами с вами, запивая вином слезу горячую. Наша встреча была важна. Вы были Виргилий, взявшийся вести Данта, сбившегося с дороги. Жаль, что вы не совсем поступили как Виргилий, -- он довел Данта до Беатриче, до рая, а вы должны были покинуть меня на Вахте, -- извините, что кончил глупостью. Вы понимаете, -- ну, стало, довольно. Прочтите мое письмо к Эрну -- оно напомнит вам меня... Прощайте!"

"3 января, Владимир.

Так, как христианин останавливается с благоговейным трепетом, не входя в храм, на паперти, так я остановился перед Москвою: еще нога пилигрима не так чиста, чтоб коснуться святого града. Москва! Москва! А как все переменилось; здесь на каждом шагу виднеется Москва; entre nous soit dit {между нами говоря *(франц.)*.}, теперь только я понял, что в смысле внешней жизни Вятка лишена всех гражданских удобств, что мы только прижились. Зато славные люди там",

"5 января.

О порядке моей жизни обязуюсь рапортовать нижеследующее: отвык обедать, ем ужасно мало, кофе пью еще больше, совершенное ниспровержение гражданских обыкновений! Сегодня для курьеза буду обедать в семь часов, а вчера совсем не обедал. Прошу в ответ писать о всем вашем,

Александр".

ГЛАВА 29

ДОМ ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА ЯКОВЛЕВА

1834--1849

В дому нигде не шелохнет --
И время крадется вперед1.

В 1830 году Иван Алексеевич купил дом с мебелью и большим тенистым садом, вблизи того дома, в котором жил сам, принадлежавший жене знаменитого Федора Васильевича Ростопчина. Дом был старинный, большой, с стеклянной террасой, выходившей в сад. Вскоре он купил еще смежный с ним дом Тучкова, небольшой, с тесным двором, почти вдвинутым во двор Ростопчинского дома2. Все три дома соединялись дворами. Опасаясь пожара, Иван Алексеевич купленных домов не отдавал внаймы, несмотря на то что они были застрахованы. Он их запер и три года оставлял без всякой поддержки; когда же они стали приходить в упадок, из старого дома перебрался в Ростопчинский, поправивши его предварительно. Старый дом запер; ворота его замкнулись засовом и замком, ход через двор прекратился, и он порос травой. Акации, окружавшие палисадники, забытые ножницами, раскинули ветки и прикрыли своей тенью цветники, проросшие высокой травой. Штукатурка на доме трескалась, обваливалась; надворные строения упадали; два душистые тополя у окна чайной комнаты и один под окном комнаты Александра

поднялись до бельэтажа и пышными ветками прижались к их стеклам. Когда покинутый дом освещало солнце или месяц, листочки тополей, колеблемые ветром, трепетно рисовались на полу, -- это было единственным признаком жизни в опустевшем жилище. Зимой все заносилось снегом, которого не нарушали ничьи шаги, ни самая узенькая тропинка.

И долго после грустный дом,
Между людскими и сараем,
До окон снегом заметаем,
Стоял в забвении глухом.
Лишь месяц, по небу гуляя,
Сквозь сучья голые блеснув
И робко в окна заглянув,
Лучом по комнатам блуждая,
Бросал безмолвно мертвый свет
. . . . . .
Часы молчат. . . . . .
. . . . . .и дверь замкнута,
В дому нигде не шелохнет --
И время крадется вперед3.

Дом Ростопчинский, как называли новое помещение все домашние, несмотря на то что был гораздо больше и лучше старого, имел в себе что-то мрачное и печальное. В обширных парадных комнатах с высокими окнами, в которые не заглядывало солнце, с тяжелой мебелью цельного красного дерева, крытою штофом, и такими же штофными занавесами на окнах и дверях -- веяло тоской.

Иван Алексеевич, как бы в тон окружавшего его целого, постарался устроить себе на новом месте образ жизни уединеннее и скучнее прежнего. Мертвая тишина в доме изредка прерывалась осторожными шагами прислуги, робким шепотом да недовольным голосом самого Ивана Алексеевича. Домашние, прислуга, самые стены -- все смотрело угрюмо, с неудовольствием; на всем лежала печать подавленности и страха. Всех недовольнее казался сам Иван Алексеевич. Характер его становился день ото дня раздражительней,

угрюмей и язвительней. Он все больше и больше делался странным и отчуждался от общества.

Из прежних посетителей -- одни, видя его постоянно недовольным, стали являться реже и реже; других не было в Москве, как-то: профессора химии Иовского, сослуживцев и приятелей Ивана Алексеевича двух братьев Бахметьевых, Алексея и Николая Николаевичей, Дмитрия Николаевича Волховского; Платон Богданович Огарев лежал больной в своем имении; племянник Дмитрий Павлович Голохвастов, занятый службой, стал посещать редко; брат его, Николай Павлович, совсем перестал бывать, рассорившись с дядей по случаю покупки у него села Васильевского, за которое не мог доплатить ему сто десять тысяч рублей {Сообщено Е. И. Герценом, при котором происходила покупка Васильевского. В "Русском архиве", 1876 г., кн. 2, стр. 234, замечено, что из купчей этого не видать; вероятно, в купчей показана продажа дешевле стоимости или, не желая сделать гласным семейного дела, когда Николай Павлович объявил, что не может доплатить сто десять тысяч рублей, и они поссорились, то Иван Алексеевич сказал, что эти недоплаченные деньги предоставляет в пользу детей Николая Павловича и ничего им после себя не оставит; может, потому в купчей и поставлено, что уплачено все. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}. Только наивный старичок, Дмитрий Иванович Пименов, которого каждое слово Ивана Алексеевича смешило чуть не до истерики, продолжал приходить по воскресеньям к обеду; но и он, смотря на мрачного, безмолвного старика, не покатывался, как бывало, от смеха, а только, широко раскрыв глаза, поглядит на него с изумлением, порывисто захохочет да, спохватившись, начнет робко озираться, -- и, отобедавши, спешит уйти домой. Кроме Пименова, бывали еще Григорий Иванович Ключарев, занимавшийся делами Ивана Алексеевича и его душеприказчик, да спасенный от потопления Карл Иванович Зонненберг.

Зонненберг, окончивший карьеру педагога при Нике, занялся торговлей. Ник дал ему около своего помещения две комнаты, выходившие в сени, в которых он открыл магазин галантерейных вещей и всякой всячины. Покупателей было мало, и то большей частью из семейства Яковлевых, да Ника с товарищами, которым он поставлял курительный табак, чернила, перья и писчую бумагу. Торговля Карлу Ивановичу в руки не шла, он вскоре прекратил ее с

почетным титулом ревельского негоцианта, не имея угла, куда приклонить голову. В это-то время Иван Алексеевич и предложил ему занять одну из комнат нижнего этажа в покинутом доме и исполнять при нем должность чиновника особых поручений. Он приютил Карла Ивановича не потому, чтобы действительно нуждался в нем, а в силу того, что тот занимал место воспитателя при сыне его родственника и открывал магазин, стало быть, приобрел толк в покупках.

Раз попавши в нижний этаж старого дома, Карл Иванович до конца дней своих сделался участником жизни семейства Яковлевых.

Порядок образа жизни Ивана Алексеевича на новом месте продолжался прежний. В десять часов утра Вера Артамоновна подавала барину кофе, только он пил его уже один, в своем кабинете, и в это время читал газеты. Затем являлся повар Спиридон с купленной провизией в решете и с запиской, почем что куплено, и каждый раз барин, посмотревши записку, замечал: "У! у! как дорого! подвоза, что ли, нет?" -- "Точно так-с", -- постоянно отвечал повар. "Ну, так будем покупать поменьше, пока подвезут". И повар отпускался. За ним являлся чиновник особых поручений за приказаниями. При этом каждый раз повторялась одна и та же проделка. Карл Иванович развязно кланялся, Иван Алексеевич делал вид, что не замечает его, да вдруг, как бы нечаянно увидевши, кланялся и, в виде развлечения, открывал против него военные действия: нападал на его золотистую накладку волос, на духи, которыми тот всегда был обрызган и щеголял; говорил, что ему делается дурно от запаха этих духов, что у него заболела голова, и требовал одеколону. Если Карл Иванович ловко бросался за одеколоном и подавал ему, он просил его, ради бога, не подходить близко, что от запаха его духов он упадет в обморок. Натешившись, отпускал своего чиновника поручений, большею частью ничего не поручивши или поручивши какой-нибудь вздор, как-то: посмотреть продающийся по газетам экипаж, который и не думал покупать, или купить стклянночку одеколону, мятной воды, магнезии. Карл Иванович, приятно расшаркавшись, уходил до обеда, довольный, что отделался.

Я останавливаюсь на характере и некоторых мелочах жизни Ивана Алексеевича, так как он, при замечательном уме, оригинальностью своею выступает из ряда лиц обыкновенных и может служить типом

такого рода личностей, которые в настоящее время уже немыслимы в русском обществе.

Нередко Иван Алексеевич открывал поход против s Егора Ивановича, к которому всегда был холоден и часто несправедлив до глубокого оскорбления; Егор Иванович с редким терпением переносил свою безотрадную долю4.

-- Что это, -- сказал однажды Иван Алексеевич,-- все, что ни подарю Егориньке, сейчас сбудет. Дал платочек, смотрю -- лакею отдал. Так и все, что ни дам ему, все вижу на прислуге.

-- Видеть вы этого не могли, -- возразил Егор Иванович, выведенный из терпения несправедливостью упрека, -- все ваши подарки как уложил получивши, так и теперь лежат. Вам, верно, кто-нибудь наговаривает на меня.

-- Что ты, что ты, -- сказал Иван Алексеевич, -- никто не наговаривает.

-- Откуда же вы все это взяли?

-- Виноват, соврал, -- бесстрастным голосом ответил старик. И в насмешку, низко поклонясь, коснулся рукой пола.

С того времени как Александр кончил курс в университете, Иван Алексеевич стал выдавать ему по три тысячи рублей ассигнациями в год на одеванье и прочие расходы его и говорил Егору Ивановичу, что когда он поступит на действительную службу, то и ему будет давать по стольку же. Вскоре Егор Иванович поступил на действительную службу архивариусом Кремлевской экспедиции и перебрался на казенную квартиру за Красные ворота, в Запасный дворец, где находился архив. При первом свидании Иван Алексеевич поздравил его с новой должностью и сказал:

-- Я обещал тебе давать по три тысячи, когда поступишь на действительную службу, но буду давать только по две.

Егор Иванович молча поклонился. Проходили недели, месяцы, об обещанных двух тысячах не было и помина, до тех пор пока Луиза Ивановна не вступилась в это дело; она же настояла со временем, чтобы оба сына получали поровну. Выдавая Егору Ивановичу деньги, всегда пропустивши сроки, Иван Алексеевич сердился и жестоко упрекал его, зачем он ему не напоминает, жаловался, что он весь болен, что у него совсем нет памяти, что он все перезабыл и, отдавая деньги, по нескольку рублей усчитывал.

Егор Иванович говорил, что лучше останется без копейки, нежели когда-нибудь напомнит отцу о жалованье, так оно тяжело доставалось.

Чтобы иметь право на владение имением, Егору Ивановичу надо было получить орден. Отец часто говорил ему, что когда он получит крест, то отдаст ему одну из своих деревень. Получивши Станислава, Егор Иванович, с орденом на груди, явился к отцу, и только что хотел, по обыкновению, поздороваться, как Иван Алексеевич отстранил его рукою, говоря:

-- Постой, постой, я прежде встану с дивана, -- и, упираясь обеими руками о диван, стал с трудом с него приподниматься. Поднявшись совсем, поздравил Егора Ивановича с царскою милостию, облобызал обеими щеками и сказал:

-- Я обещал тебе, когда получишь право на владение имением, дать деревню, однако же деревни не дам, даже советую не покупать имения и тогда, когда будешь иметь для этого средства: ты можешь умереть, не распорядившись, -- и тогда все, что после тебя останется, возьмет казна.

-- Что же это, -- заметил Егор Иванович, -- в насмешку, что ли, мне бог устроит все таким образом...

-- Что ты, что ты, -- благоговейно прервал его Иван Алексеевич, -- может ли бог делать что-нибудь в насмешку; я говорю только, что хотя и обещал дать тебе деревню, но не даю и советую никогда не покупать деревень. Какое же дело богу до моих распоряжений и моих деревень?

Такими и подобными этому выходками, исполненными каприза и произвола, Иван Алексеевич все чаще и чаще стал развлекать себя в уединении нового дома, все больше и больше тяготеть надо всеми. Он продолжал это занятие до тех пор, пока один случай заставил его если не совсем прекратить, то значительно умерить такого рода увеселения.

Раз, при мне, во время обеда, проходившего во всеобщем молчании, Иван Алексеевич был в особенно язвительном настроении духа и, не находя предмета, на который приходилось бы кстати излить его, прикинулся несчастным, стал жаловаться на свою участь, недуги, беспомощность и сиротливость.

-- И вот, -- повершил он свои жалобы, на которые никто не отозвался ни одним словом, -- вот, живу совсем одинок, а по-видимому -- с семейством, живет у меня барышня с своим сынком, воспитанник -- наградила им сестрица княгиня...

Александр не дал ему докончить этой речи. Вне себя, бледный, он встал из-за стола и дрожащим голосом сказал:

-- Далее выносить ваших оскорблений я не могу позволить ни себе, ни моей матери. При вашем взгляде на наши отношения между нами ничего не может быть общего. Позвольте нам сейчас же оставить ваш дом.

Старик был поражен и опомнился.

-- Полно, помилуй, -- заговорил он тихим, испуганным голосом, -- что ты, зачем, я так, ты понимаешь, ты знаешь меня, успокойся...

-- Вы нас притесняете, оскорбляете, -- говорил Александр в сильном волнении, -- упрекаете в чем... чья вина?., наша, что ли? Нет, переносить эту унизительную жизнь долее нельзя... не должно... Боже мой!

-- Полно, оставь, успокойся... прости меня, -- сказал старик прерывающимся голосом и зарыдал.

Александр закрыл лицо руками.

Все, страшно встревоженные, встали из-за стола. Старик, охая и сгорбившись вдвое против обыкновенного, увел Александра к себе в кабинет. Спустя час времени Саша вышел из кабинета мрачный, расстроенный. Иван Алексеевич смиренно лежал на диване, голова его была обвязана батистовым платком, намоченным одеколоном.

С этого времени старик сделался сдержаннее и с Сашей стал обращаться с некоторым уважением; даже бесприютного Карла Ивановича шпынял гораздо меньше; но, несмотря на такое улучшение, умел придать столько горечи всем отношениям и даже, по-видимому, самой простой должности чиновника особых поручений -- без поручений, что и тот не мог постоянно выносить этой жизни, терял терпение, с раздражением говорил: "Это совсем несносно", -- накупал разных безделиц, лошадь, таратайку, укладывался в путь и отправлялся торговать то на Дон, то на Кавказ. К несчастию, неудачи преследовали его повсюду, и через несколько месяцев он являлся к Ивану Алексеевичу, снова поступал на свою должность и поселялся в нижнем этаже старого дома.

Вскоре после того как Егор Иванович перебрался на казенную квартиру, Саша, в сопровождении Карла Ивановича, уехал в Вятку5, и дом Ивана Алексеевича сделался еще скучнее и уединеннее. Суровая тишина охватила его совершенно; только на половине Луизы

Ивановны чувствовались еще признаки живой души. Самые слуги, на звон призывного колокольчика, входили на цыпочках, как бы боясь пробудить тишину.

Здоровье Ивана Алексеевича стало видимо разрушаться, но нравственные силы оставались те же; та же была твердая память, тот же замечательный колкий ум, тот же увлекательный разговор, когда он этого хотел, но он этого почти никогда не хотел, а, напротив, хотел теснить всех капризами и мелочами больше чем когда-нибудь. Из всего этого мало-помалу соткалась целая жизнь этого дома.

И потянулись долгие дни до вечера; в четыре часа был обед, мелкие заботы утихали, наступал вечер...

В столовой пусто; втихомолку
Блуждает лампы тощий свет,
Часы стенные без умолку
Снотворно стукают: да -- нет...
В гостиной пусто и печально;
Перед диваном стол овальный,
Горят две свечки на столе;
Уныло кресла в полумгле,
Пустые ручки простирая,
Кругом стоят. . . . . .

В этой гостиной осенними и зимними вечерами Луиза Ивановна, сидя на диване у стола, вязала чулок, а Иван Алексеевич медленно ходил вдоль анфилады растворенных комнат...

Блуждая, точно дух пустынный
В тиши обители старинной,
И вторит шороху шагов
Глухое стуканье часов.

Наконец цель жизни и труда свелась на одно накопление капитала. Вместе с Григорием Ивановичем Ключаревым старик поверял приходы и расходы, продавал родовые имения, превращал деньги в банковые билеты и складывал их вместе с деньгами и деловыми бумагами в железный сундук, стоявший в его спальной.

Каждый день, после вечернего чая, он садился за свой небольшой письменный стол и погружался в расчеты...

Пред ним бумаги лист, кругом
Исписанный и разграфленный,
Следит за цифрой зоркий взгляд,
По счетам пальцами худыми
Рука, скользя из ряда в ряд,
Стучит кружками костяными.
Хотя б один сторонний звук!
И слышно в тишине суровой
Все только счетов беглый стук
Да ровный ход часов в столовой --
И время крадется вперед...
Старик проверил свой приход,
Рука притихла, смолкли счеты,
Часы в столовой, из дремоты
С внезапным шипом пробудясь,
Пробили звонко девять раз.

В девять часов Иван Алексеевич вставал из-за письменного стола, переносил свечу с шелковым зеленым зонтиком на ночной столик, ложился на кровать, читал несколько времени мемуары, путешествия или медицинские книги; отдохнувши, вставал и

Опять по комнатам старик
Идет бродить, как дух пустынный
В тиши обители старинной,
И снова шарканье шагов,
И снова стуканье часов,
И в вечер зимний, вечер длинный,
Вас так и давит и гнетет
Глухое чувство тайной муки,
Тоски подавленной и скуки --
И время крадется вперед.
А на дворе свое молчанье:
На небе месяц и светло,

По снегу робкое мерцанье,
Морозно, пусто и бело.
В саду деревья седы, голы,
Стоят недвижно их стволы,
Все сучья кверху устремив,
Как будто и у них порыв
Какой-то был, покуда жили,
Да тут же навек и застыли.

Когда часовая стрелка вместе с минутной касались XII -- и часы стенные, столовые, карманные, последовательно одни за другими, начинали звонить на разные тоны, Иван Алексеевич останавливался, осматривал все часы, прощался с Луизой Ивановной, и Noни расходились по своим комнатам.

Таким образом жизнь этого дома тянулась около трех лет. Только когда получались письма от Александра, проявлялось некоторое одушевление. Раз Саша писал отцу, что он очень сблизился с одним молодым человеком, чиновником губернатора, уроженцем Сибири, Гавриилом Каспаровичем Эрн, живущим в Вятке с матерью Прасковьей Андреевной, женщиной умной, самостоятельной, и с двенадцатилетней сестрой Машей. Что он не только радушно принят у них в доме, но во время его сильной болезни Прасковья Андреевна ухаживала за ним как за сыном, и он, с своей стороны, желал бы оказать им услугу, устроивши Машу в пансион в Москве, так как в Вятке учебного заведения для девочек нет.

Иван Алексеевич счел долгом отплатить за внимание к Саше участием в Маше; когда она с матерью приехала в Москву, он предложил им остановиться у него в низу старого дома, на свой счет поместил Машу в пансион и по праздникам стал брать ее к себе. Присутствие ребенка оживило несколько пустоту и однообразие его дома.

По выходе из пансиона Маша осталась в доме Ивана Алексеевича и сделалась участницей жизни этого семейства. В 1847 году она уехала с семейством Александра за границу, там вышла замуж за профессора музыки Рейхеля, приятеля Прудона и Бакунина, и до настоящего времени находится в дружеских отношениях с детьми Александра.

От Маши я узнала, что она услыхала в первый раз об Александре от своего брата, по приезде в Вятку. Он рассказывал о нем, как о замечательном, живом лице, заинтересовавшем собой весь город. "Когда Александр пришел к нам, -- говорила Маша, -- я увидала очень молодого человека, худощавого, белокурого, живого, остроумного, с огромным бантом на галстуке. Брат мой был с ним близко знаком и увлекался им, как и другие, Да и могло ли быть иначе, -- добавила она, -- закупающая личность Александра заполоняла: даже и меня -- ребенка он сильно занял". Александр бывал у Эрна часто, интересовался занятиями Маши и сам поправлял ее переводы с французского языка. По его совету и старанию, Машу отвезли в Москву и отдали в пансион.

"Я вошла в дом Ивана Алексеевича, -- говорила Маша, -- в первый раз вечером. Меня встретил полусвет, тишина и чинность.

Иван Алексеевич -- серьезный, мрачный старик, в сером халате и темно-фиолетовой бархатной шапочке (в новом доме он переменил полосатый халат на серый, а красную суконную шапочку -- на бархатную фиолетовую), окруженный молчанием и покорностию, принял меня благосклонно. Постоянно молчаливый, он иногда обращался ко мне с каким-нибудь вопросом или шуточкой, никогда не изменяя лица. В продолжение безмолвного обеда он только со мною говорил иногда несколько слов и, когда меня отвозили в пансион, давал мне маленькую монетку, позволяя на нее купить деревню. Мало-помалу старик привык ко мне, и если я попадалась ему на глаза при посетителе, то представлял меня как свою воспитанницу. Но, несмотря ни на что, я, как и все в доме, боялась его и от него пряталась"6.

Добродушная, кроткая Луиза Ивановна приняла Машу под свое покровительство, приголубила ее, и девочка привязалась к ней всей душой, не оставляла ее до своего замужества и до последних дней жизни Луизы Ивановны сохранила к ней эти чувства.

К этой-то Маше, бывшей уже замужем и жившей в Париже, в 1851 году Луиза Ивановна поехала погостить вместе с меньшим сыном Александра -- Колей, любимцем ее и Маши, с его гувернером Шпильманом, своей племянницей, молодой, красивой девушкой, и с горничной. Уезжая от Маши обратно в Ниццу, где Луиза Ивановна жила с семейством сына, она, Коля и Шпильман 15 ноября потонули в Средиземном море. Пароход, на котором они плыли, между островом

Иер и материком столкнулся с другим пароходом во время сильного тумана и пошел ко дну. Племянница и горничная спаслись.

В декабре 1839 года Александр приехал к отцу в Москву. Наташа с маленьким сыном осталась во Владимире, Иван Алексеевич, желая передать Саше имение, отправил его в Петербург хлопотать в герольдии об утверждении его в чине, который давал ему право на владение имением, а вместе с этим представиться графу Александру Григорьевичу Строганову, хотевшему определить Сашу в свою канцелярию. Саша в три недели все окончил, возвратился во Владимир и вместе с семейством переселился в Москву. "Мы с сожалением покидали наш маленький город,-- говорил нам Саша,-- душа предчувствовала, что не будет больше той простой, внутренней жизни, которой мы жили во Владимире". Тут оканчивается лирический отдел его жизни, чисто личной. "Далее, -- говорит он, -- труд, успехи, встречи, деятельность, широкий круг, далекий путь, иные места, перевороты, история... далее -- дети, заботы, борьба... еще далее -- все гибнет... с одной стороны -- могила, с другой -- одиночество и чужбина"7.

С приездом Саши в доме Ивана Алексеевича пробудилась жизнь: явилось движение, новые интересы, почувствовалось присутствие милой молодой женщины и светлая улыбка ребенка. Мне не раз приходилось видеть, как старик рукой, привыкшей считать деньги и билеты, ласкал белокурую головку ребенка и в задумчивом взоре его проявлялось что-то трогательное.

В это же время явился с Ирбитской ярмарки Карл Иванович, и Егор Иванович, всегда принимавший горячее участие в детях Александра Алексеевича Яковлева, выписал из Шацка меньшую сестру Наташи -- Катю, шестнадцатилетнюю прелестную брюнетку, которую Луиза Ивановна так же, как Машу, приняла под свое покровительство.

Свежая, молодая жизнь со всех сторон хлынула к пустынному дому. Сосредоточивалась она вся в небольшом Тучковском доме, который Иван Алексеевич предложил занять Александру. Из этого средоточия лучи кипучей жизни простирались до уединенного жилища и озаряли его своим животворным светом.

Ник был уже в Москве8. Он несколькими месяцами прежде Саши приехал туда из деревни и был окружен новыми товарищами; из

прежних друзей находилось только двое. Симпатичная, поэтическая натура Ника влекла к себе каждого. Он был из числа тех личностей, которые соединяют, греют, восстановляют силы: при них успокаиваются и отдыхают. В этот круг вступил и Саша. Это был не прежний их круг: тон, интересы, занятия -- все было другое. Люди, к которым примкнули Ник и Саша, были людьми кружка Станкевича. На первом плане стояли Бакунин и Белинский, каждый *с томом Гегеля в руках,* как выразился Саша, говоря об этом периоде времени9. Убеждения были страстны, нетерпимость -- юношеская.

В 1826 году кафедра философии была закрыта10; профессор Павлов, читая физику и сельское хозяйство, знакомил с природой, излагая учение Шеллинга и Окена. Станкевич, лучший ученик Павлова, одаренный большими способностями, изучал немецкую философию и завершил дело Павлова Гегелем. Он был первым последователем его и увлек много молодых людей к изучению любимого предмета его занятий. Из этого круга вышло много людей ученых, литераторов, профессоров -- из этого круга вышел и Белинский.

Когда Александр приехал в Москву, Станкевича там уже не было -- он двадцати семи лет угасал в Италии11.

"Меня приняли в этот круг, -- рассказывал нам Саша, -- с почетным снисхождением, как прошедшее, с требованием безусловного принятия *феноменологии духа* и *логики Гегеля* по их изъяснению. Об этом толковали напролет ночи, отчаянно спорили и расходились на целые недели, не согласившись в определениях, принимая за обиду разногласие в мнениях. Все сочинения по философии, даже самые ничтожные, выходившие в Германии, выписывались и зачитывались до дыр. Самый язык они приняли условный, к которому надобно было иметь ключ, как к шифрованным письмам. К жизни действительной относились как-то книжно и наивно. Самые простые чувства возводили в отвлеченную *категорию;* даже слезу, блеснувшую на глазах, -- говорил Александр, -- относили к своему порядку -- *к трагическому в сердце*. То же было и в искусстве: над каждым аккордом Бетховена производили философское следствие; Шуберта уважали за то, что брал философские темы для своих напевов. Моцарта только терпели. Итальянская музыка была в опале, ее делило с ней все французское и политическое"12.

В начале сороковых годов не было еще и мысли восставать против духа и вступаться за жизнь.

Вопросы более страстные не замедлили явиться.

Первый бой -- отчаянный -- закипел между Александром и Белинским, когда тот прочитал ему свою статью по поводу "Бородинской годовщины" соч. Ф. Н. Глинки. Они перессорились, размолвка их повлияла на других, и круг этот стал распадаться. Белинский уехал в Петербург13.

В 1840 году, спустя несколько времени по отъезде Белинского, пришла бумага о переводе Саши на службу к графу Строганову; он вместе с женой и сыном переехал в Петербург и там теснее прежнего сошелся с Белинским14.

В продолжение того времени, что Саши не было в Москве, мы с Вадимом побывали в Харькове, Одессе и в Крыму и в 1839 году, незадолго до возвращения Александра, приехали с двумя детьми в Москву, где Вадим тотчас сблизился с известным писателем и благороднейшим человеком, Александром Фомичом Вельтманом, и сошелся со всем его кругом, разделявшим интересы партии славянофилов как по убеждению, -- что цель, которой они стремятся достигнуть, серьезна и истинна, и достижение ее приведет к великолепным результатам, -- так и по роду занятий своих и по своему религиозному направлению. Эта партия составляла что-то среднее между западниками и славянофилами, как выражались тогда. Сближение Вадима с партией А. Ф. Вельтмана отчасти разъединяло его с кругом, в который попал Александр, но взаимное уважение сохранилось. Занятая детьми и домашними заботами, я не обращала ни малейшего внимания на все эти партии и нисколько не удивлялась тому, что мы редко видались с Сашей и его семейством, а когда видались, то по-прежнему дружески. В эти редкие свидания мы узнали от Александра и Наташи обо всем, что было с ними в продолжение нашей разлуки и о литературных трудах Саши. Кроме нескольких легенд из Четьи-Минеи, переведенных им на литературный язык, он читал нам некоторые статьи свои из "Владимирских губернских ведомостей", которых он был редактором15, отрывки из "Записок одного молодого человека"16 и написанные во Владимире сцены из римской жизни. Во всех его произведениях того времени видно, что он был под религиозным влиянием Наташи и Витберга. В Москве, под

влиянием философии Гегеля и нового кружка, религиозное настроение его изменило свою форму. О духе религиозного направления в Вятке и Владимире можно видеть из его писем к Витбергу {См. "Русская старина", 1876 г., т, XVII. стр. 274--296. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}17 из легенды о жизни святой Феодоры, помещенной выше в моих воспоминаниях, и из следующего, сохранившегося у меня отрывка из римских сцен18.

ИЗ РИМСКИХ СЦЕН

Одним сентябрьским днем грустные думы рядом туманной, сырой погодой навели на меня сильную печаль. Чтоб рассеяться, я вздумал читать, но книга выпадала из рук на второй странице... Перебрав несколько, мне попалась наконец такая, которая поглотила меня до глубокой ночи -- то был Тацит19. Задыхаясь, с холодным потом на челе, читал я страшную повесть -- как *отходил* в корчах, судорогах, с речью предсмертное бреда *вечный* город. Не личность цезарей, не личности их окружавших клевретов поражала меня, -- страшная; личность народа римского далеко покрывала их собою. Мельком и с чрезвычайным хладнокровием говорит Тацит о гонении христиан, на которых Нерон сложил известный пожар. До того *назареев* даже не гнали. Я знал, что в то время апостол Павел был в Риме; это дало мне повод раскрыть апостольские Деяния20, и рядом с мрачным, окровавленным, развратным, снедаемым страстями Римом предстала мне эта бедная община гонимых, угнетенных проповедников евангелия, сознавшая, что ей вручено пересоздание мира; рядом с распадающеюся весью, которой все достояние в воспоминании, в прошедшем,-- святая хранилищница благой вести, веры и надежды в грядущее. Я долго думал о времени, предварившем их встречу. Есть особое состояние трепета и беспокойства, мучительного стремления и боязни, когда будущее, чреватое целым миром, хочет разверзнуться, отрезать все былое, но еще не разверзлось, когда сильная гроза предвидится, когда ее неотразимость очевидна, но еще царит тишина; настоящее тягостно в такие мгновения, ужас и стремление наполняют душу, трудно поднимается грудь, и сердце, полное тоски и ожидания,

бьется сильнее. Этот трепет перед будущим -- неизвестным, но близким, это отрицание всех уз, которыми сросся человек с былым и существующим, это мученье неизвестности, мученье предчувствия и необладания хотелось мне уловить в тогдашнем состоянии умов. Не страдание города, а отчаянный крик человека -- и врачевание его словом евангелия. Здесь предлагается отрывок из тогда написанных сцен. Лициний -- мой герой, он еще не имеет понятия об учении Христовом, но веяние духа современности раскрыло в нем вопросы, на которые, кроме евангелия, не было ответа. Отсутствие религии, неудовлетворительность философии, наконец очевидное разрушение Рима сломили его для того, чтоб он воскрес новым человеком. Мевий -- благородная, прекрасная, античная натура, но не принадлежащая к тем организациям, которые шагают за пределы понятия своего века. В Лициний предсуществует романтическое воззрение, Мевий -- классик со всем реализмом древнего мира.

"Ну посмотри, посмотри, Лициний, около себя, -- сказал юный философ Мевий другу своему, указывая на вид с холма, -- неужели ты не чувствуешь теплое, живое дыхание природы и неужели это дыхание матери не согревает тебя. О космос! мое сочувствие к тебе велико, я поклоняюсь тебе потому, что ты не хочешь поклонения; ты все содержишь, и все свободно в тебе. Птица, червяк, зверь -- каждый волен, каждый чувствует себя дома, на месте, всем хорошо. Какое блаженство существовать, существовать и понимать, что существуешь, -- в этом бесконечное наслаждение; существовать, любить -- два великие начала и два великие окончания природы. Любовь -- огонь, льющийся по жилам космоса, без него бы все окоченело, все сосредоточилось бы в эгоизме. Лукреций прав, он постигнул тайну природы, положив в основу ей Венеру. Но послушай, Лициний, ни одной морщины не свел с твоего чела этот вид; что за странная грусть поселилась в тебе, давно ли в твоей груди обитали светлые образы, я перестаю узнавать тебя. Теперь даже, когда вся природа около нас дышит негой, когда все живое радостно припадает к лучам солнца, чтоб сосать из них огонь, ты один, как чужой, как пасынок в родительской храмине, стоишь мрачный и сосредоточенный в себе".

Противоположность двух друзей была разительна. Одушевленные черты Мевия, распростертые руки, как бы раскрывавшие объятия всему, и светлое чело, и ясный взгляд, разливавшийся на все

окружающее, делали его похожим на греческого бога; полнота и гармония, юность и избыток жизни громко говорили его чертами. О таком лице думал Платон, когда сказал, что есть нечто изящнее тверди небесной, усыпанной звездами,-- ^очи, рассматривающие эту твердь21. Бледное, нежное и худое лицо Лициния, болезненно-страдальческое выражение, скрещенные на груди руки и глаза, светящиеся как-то лихорадочно и независимо от окружающего, одним своим светом -- говорили совсем иное; казалось, душа, смотрящая так, -- бездонная пропасть, в которую, утягивается вся природа и пропадает безвестно; бледное и холодно-влажное чело его носило клеймо дум тягостных, безотходных и мучений нестерпимых. Он отвечал Мевию: "Я не виноват, что природа на меня не так действует, как на тебя; я завидую тебе, но перенять не могу: так, со слезою на глазах я смотрю на детские игры; их безотчетная радость, звонкий смех, совершенное поглощение игрой понятно, но оно невозможно, когда выйдешь из того возраста. Я, с своей стороны, дивлюсь тебе, как такой дешевой ценой ты сыскал мир душе и наслаждение; что птице, червяку хорошо -- не спорю, животные -- дети, у которых нет совершеннолетия, нет ума, нет вопросов; бедные, обманутые, они беззаботно живут, не подозревая, что вместе с грудным молоком сосут отраву. Но на этом детском празднике Изиды человек -- чужой. Сверх этих глаз, есть у него другие, и они видят -- чего бы не надобно видеть, и в душе теснятся вопросы, на которые плохо ответили мудрецы всех веков; я изучил их и бросил: одни слова и уловки. Скажи мне, объяснили ли они цель человека, для чего он? что после? что прежде?"

Мевий. Цель? да жизнь, -- вот и цель, мне это ясно; ты ищешь какой-то другой цели, вне человека, вне природы. По какому праву?

Лициний. Оно законно. Я выстрадал себе это право, оно запечатлено морщинами на моем челе. Ты легко удовлетворяешься, мой друг, но такое примирение не для всех: у иных в груди зарождается демон, которого не убаюкаешь эпикурейской песнью. Жизнь -- цель жизни! Да что мне в ней? Я принимаю только те дары, которых требую. Жизни я не просил... Я вдруг проснулся из небытия; кто разбудил меня -- не знаю, но моей воли не было. Мне втеснено тяжелое бремя жизни -- этой странной борьбы, не имеющей конца, борьбы беспрерывной, утомительной. В груди лежит сознание моей нравственной свободы, моей бесконечности, а я со всех сторон

ограничен, унижен телом. Я иногда возвращаюсь к религиозным вымыслам и верю, что людей создал возмутившийся дерзкий Титан22. Он затеял беззаконное смешение вещества и ума, а мы страдаем, искупая нелепость, невозможность такого смешения. Именно нелепость -- она очевидна: вложить дух, разум в безволосую обезьяну и оставить ее обезьяной, чтоб вся жизнь была страданье от двух противуположных влечений, одного, не имеющего силы поднять на небо, другого -- не имеющего силы стянуть на землю. Это аристофановская ирония!

Мевий. Одно слово. Зачем ты так делишь дух от тела, и точно ли они непримиримые враги, и мешает ли тело духу, не оно ли чрево, из которого дух развился?

Лициний. Как не мешает? Да кто же меня приковал ко времени и пространству, к этим двум цепям, ежеминутно бряцающим на моих руках и ногах? Мой дух хотел бы обнять всю вселенную, разлиться по ней беспредельным и вольным, а он сидит в этих костях, в этой оболочке мяса. Я колодник, которого пересылают куда-то, не сказавши ему за что, время влачит скованного с свирепой быстротой и само, кажется, не ведает куда, не внемлет слезам, стенанью, не дает остановиться: кто на дороге упал, того труп хищным птицам -- и мимо. Дух оскорбленный, униженный борется, но телу дана сила грубая и дикая, которую не сломишь. Дух понимает свою свободу от временного, да время не понимает ее. Оно идет безответно, тупо, однообразно. Могу ли я продолжить миг восторга? Могу ли сжать миг горести? Нет. У кого во власти Клепсидра?23 у случая, у судьбы. Судьба -- слово без смысла. И чтоб эта жизнь была Цель. Коли она цель, за ней ничего, понимаешь ли -- ничего! Я сделаюсь прошедшее, жизнь промчится по моим костям, раздавит их, и я не почувствую боли. Лучше царство Плутона, чтоб я исчез, как звук лиры в бесконечном пространстве, если я не вечен, Мевий; так и мир умрет когда-нибудь, одряхлевши, истощив свои силы, и не оставит следа и будет -- ничего. Памяти не оставит по себе, потому что некому будет помнить.

Мевий. В этом можешь быть обеспечен; для вселенной нет смерти. Космос *есть* -- ты понимаешь ли, что в этом слове заключена вечность? Это значит: мир был и будет, потому что он есть. Он живет, обновляясь поколениями.

Лициний. Да, он, как Хронос, пожирает своих детей24, бросая обглоданные кости, чтоб мы могли угадать свою судьбу. Когда я был в Египте, я посетил Фивы, этот стовратый город Гомера. Дворцы, столбы. аллеи сфинксов, грифы стоят, на скалах сидят страшные Мемноны, обелиски, испещренные целыми речами гиероглифов, стерегут ворота, в которые никто не входит, и говорят что-то каменной речью, которую никто не слушает и никто не понимает теперь25. Тишина страшная -- ни одного человека и пустые здания, формы бессмысленные, оттого что содержание выдохлось, черепы чего-то умершего! Куда ушел народ, толпившийся тут, работавший? ушел -- да куда? Где этот Пантеон или та Cloaca maxima26, куда стекает прошедшее -- люди, царства, звери, мысли, деяния? Хронос с ненасытной жадностью беспрестанно ест, но у него нет внутренностей, все, что он проглотит, исчезает и оттого он не сыт. и беспрестанно гложет.

Мевий. Ты после спросишь, зачем сегодня волна нанесла кучу песку на берег, а завтра смывает его, и как его отыскать в море. Все существующее существует во времени, в этом надобно убедиться однажды навсегда. Одна жизнь вечна. Когда ты бродил по Фивам, зачем не взглянул вверх, ты увидел бы прекрасного пестрого орикса; зачем ты не видал ни одного из красивых цветов, качавших яркими и благоухающими венчиками из-за трещин колонн и упавших капителей, между которыми ползла, извиваясь и блестя чешуей, змея? Где тут запах смерти, пустоты: жизнь человеческая перешла, жизнь природы, разлитая повсюду, осталась. Царства, дела рук человеческих -- падут; жизнь вечно юная цветет на их развалинах. Что за дело, куда ушли египтяне, чего жалеть их? Разве они в продолжение своей жизни не наслаждались по-своему, не имели минут блаженства и сильных ощущений, разве они не любили, не трепетали от радости, разве жизнь не подносила свой кубок наслаждений и к их устам?

Лициний. А несчастные, задавленные обломками, присутствовавшие при гибели родины -- тем много ли отпущено было наслаждений?

Мевий. Их участь была горька, но тут ненавистная тебе смерть явилась благодетельным гением, успокоила их в могиле, заменивши новыми поколениями так, как заменяет траву, скошенную на лугу. Ты

слишком много придаешь важности человеку, это нравится гордости: он не больше, как лист на дереве, как песчинка в горе.

Лициний. Счастлив ты, удовлетворяющийся такими объяснениями. Нет, я считаю жизнь каждого чело* века важнее всей природы. Человек -- носитель бессмертного духа, к которому природа только рвется. Каждая слеза, каждое страдание человека отзывается в моем сердце. Бесчувственно жертвовать какому-то отвлеченному понятию о жизни людьми, не жалея их. Варвары, приносящие на жертву людей, закалают их по крайней мере своим богам... Я с некоторого времени боюсь произносить это слово, оно утратило великий смысл свой в наших устах. Для нас боги -- какой-то сон, облекающий в образы идеи и мысли. А что прежде была религия? Зачем я не могу детски веровать, зачем я родился в развратный век, верующий в одно сомнение? Что мне дали философы? Ни одного полного решения, ни одной достоверности. Они лишили только покоя мою душу, приведя ее в вечное колебание. Фетишизм давал больше положительного, нежели разъедающий дух наших учителей. Подкопавшись под пьедесталы богов, свергнув, осмеяв их, что они поставили на эти пьедесталы? Скептический взгляд и удостоверение, что мы ничего не знаем? Нет, еще кое-что: стоическую нравственность и ясный взгляд.

Мевий. Ты всегда вдаешься в крайности и требуешь несправедливого. Что они поставили на пьедесталы, с которых сняли олимпийцев, -- помилуй -- они поставили *Нус*27, великий закон, великую энергию всего развития, они поставили живую душу мира, многие,-- хотя и не понимаю для чего, -- доказывали бытие богов.

Лициний. И в том числе наш Цицерон. И нечего сказать, хорошо написал он в их пользу, не хуже как за Архия поэта28. И я, так же как ты, не могу понять -- для чего они доказывали, для изощрения в диалектике вероятно. Доказывать можно только то, в чем можн сомневаться. Неужели голос мощный, звучащий в груди1 не говорит громче всех философов? Что вышло из философских доказательств? Холодный, бесчувственны деизм, с их богами мы чужие, нет связи между нами один Платон из всех провидел, как мало удовлетворяем такое признание богов. Я чувствую, что человек должен быть связан с божеством, в нем успокоиться, любовь возноситься к нему. Как? Не знаю, не понимаю как, оттого-то я и страдаю; я ищу, жажду и -- все

камень все слова, все мертвое, до чего ни коснусь. У одного Платона и его учеников есть что-то, намек, приводящий в трепет всю душу. Думал ли ты когда-нибудь, что значит *Логос?* Тайна, тайна, и мы умрем, не разгадая ее. Пусть явится, кто б он ни был, и откроет мне эту тайну -- я обниму его ноги, облобызаю прах его сандалий. Предчувствие мое меня мучит, знать, что не знаешь, -- ужасно. Логос, Логос-профорикос, в этом слове для меня заключено все -- идея, событие, гиероглиф, связь мира и бога -- и не могу понять29. *(Молчит.)*

Послушай, Мевий, что-то великое совершается. Этим путем мир дальше идти не может: он своими когтями разорвал свою грудь и пожирает свои внутренности; на такой пище долго не проживешь. Бродят вопросы, никогда не являвшиеся прежде. Если бы можно было приподнять завесу -- хоть для того, чтоб взглянуть и умереть. *(Задумывается и молчит.)*

Мевий. Мечтатель, милый мечтатель, люблю слушать его речь; она имеет какую-то магическую силу, как музыка, как лунный свет.

(Лициний садится на холме и не принимает, по-видимому, никакого участия в разговоре Мевия с подошедшим патрицием.)

Патриций. Я сейчас от Пизона.

Мевий. Много было?

Патриций. Да все наши.

Мевий. Эпихарис была?

Патриций. Была и говорила, как вдохновенная богами пифия. Великая женщина! Имя ее пойдет до позднейшего потомства, окруженное лучами славы. Странно, женскую руку избрали боги участвовать в великом деле, для которого так долго не находилось достаточно крепких рук мужчины.

Мевий. Что нового о цезаре?

Патриций. Каждое дыхание Нерона -- злодейство. На днях рабы убили какого-то сенатора, Отцы присудили всех рабов его, живших у него в доме и вне дома, казнить. Ты знаешь, на это есть прямой закон. Нерон, когда ему подали дело {Исторический факт. *(Прим. А. И. Герцена.)*}, сказал: "Безумно несколько сот человек казнить в то время, как подозрение падает на двух, трех из окружавших". -- "Император, -- вскричало несколько голосов, -- закон требует их казни!" -- "А я, -- возразил Нерон, -- требую казни этого закона, потому что он

бессмыслен". Видишь ли, как он пренебрегает законом и как льстит подлым рабам. И сенат поддался, но роптал больше, нежели когда-либо30.

Мевий. Он беспрестанно ищет случая унизить патриция и Отцов. Давеча я встретил недалеко от вновь строящегося дворца похороны. Чьи, ты думаешь? Тигр околел у него в зверинце, он велел его хоронить, как сенатора, завернувши в латиклаву31. Плебеи толпами шли за трупом гадкой кошки, с рукоплесканиями и хохотом; тут какой-то ободранный разбойник влез на камень и кричал: "Божественный цезарь, доверши благое дело; ты посадил тигра в сенат, посади же Отцов в зверинец". Толпа с восторгом слушала эти нечестивые речи.

Патриций. Подлое отродье подлых корней. Плебей никогда не был римлянином, -- это ложные дети Италии. Мевий, сегодня приходи непременно к Латерину, у него совещание; все поняли, что пора приступить к делу, еще несколько дней -- и заговор непременно будет открыт. От быстроты зависит успех. Мы утром Для того сходились, но было как-то смутно и бестолково. Латерин поссорился с Пизоном. Ты знаешь его -- воплощенный Брут, а Пизон туда же метит, в цезари. Лукан, который в Нероне ненавидит соперника-поэта больше, нежели тирана32, хотел выпить чашу вина за здоровье нового цезаря, Латерин и Эпихарис чуть не растерзали его. Пизон надулся; тут, как на смех, Сульпиций-Аспер стал требовать в раздачу тем преторианским когортам, которые пристанут к нам, каких-то полей близ Рима. Пизон испугался за земли, находящиеся века во владении Калпурниев без всяких прав, надулся вдвое и уехал к себе на дачу, а Лукан на него сочинил уморительное двустишие, -- однако у Латерина будут все.

Мевий. Латерин -- великий гражданин. Когда я смотрю на его открытое чело, на его спокойный, величественный и грустный вид, он мне представляется одним из полководцев времен нашей славы. Рим не погиб, если мог создать еще такого гражданина. Ну, а что касается до Пизона и...

Патриций. Всякий знает, да они нам нужны. Что мы сделаем без Пизоновых сестерций? А сверх денег, его происхождение глубоко оценено даже плебеями. Он -- имя. Да, кстати, я было забыл сказать, не знаю почему, пало подозрение на старика пафлагонца -- раба Пизона, знаешь, что играл на флейте, -- будто он доносит. Пизон велел его отравить и еще двух.

Мевий. Что ж, он узнал наверное?

Патриций. Эти вещи доказывать и узнавать мудрено. Он предупредил... если они не успели донести что-нибудь важное, и лишил себя трех рабов без пользы, если они уже сделали донос. Это обстоятельство заставляет еще более торопиться. Мне есть еще дела, итак сегодня ночью у Латерина.

Мевий. За мной дело не станет, моя жизнь принадлежит Риму, я буду уметь принести ее на жертву; а странно на душе -- вера и недоверие, страх и надежда. Да неужели это не сон, что раз, два сядет солнце и в третий взойдет над освобожденным Римом -- и он, как феникс, воскреснет в лучах прежней славы, пробудится от тяжелого лихорадочного сна, в котором грезил чудовищные события? И так скоро?

Лициний *(встает и подходит к ним).* Сон! И я скажу теперь -- мечты! Дом падает, столбы покачнулись, скоро рухнут, а вы хотите поддержать его; чем? руками?-- вас раздавит, а здание все-таки упадет. Убить Нерона -- дело возможное, ножом легко перерезать нить жизни; но трудно вызвать из могилы мертвого. Я участвовал в заговоре, вы знаете, и пойду сегодня и буду делать, что другие хотят, -- но вера моя остыла. Рим кончил свое бытие, убийством его воскресить нельзя: явится другой Нерон. И вот уже есть желающий, Пизон -- этот ограниченный человек, сильный только деньгами и предками, протягивает дерзкую руку. Мне жаль Латерина, жаль вас, жаль эту голубицу {Эпихарис. *(Прим. А. И. Герцена.)*}, назначенную летать по поднебесью в Элладе и залетевшую в горящий дом. Не то жаль, что вы погибнете, а жаль, что вы втуне употребляете вашу веру... Что хотите? Воскресить Рим? Зачем? Он был нелеп -- римляне были хороши. Не закон, начертанный на доскахЗЗ, покорил ему мир, а другой закон, который он сосал с молоком. Истинный Рим был построен не из камня, он был в груди граждан, в их сердцах; а теперь его нет -- остался его остов, каменные стены, каменные учреждения. И в этом трупе, уже загнившем, тлеет какая-то болезненная, лихорадочная, упорная искра жизни. Одряхлевший Рим один ходить не может, а вы, добрые люди, хотите отнять вожатого у калеки, чтоб он упал в первую канаву. Для кого вы работаете, на кого обопретесь? На плебеев, что ли? Да они вас ненавидят. Было время, плебей считал патриция за отца. Хорошо воспитал отец сына: он его ограбил, замучил на тяжкой

работе, прогнал из дома, раба принял на его место, резал мясо его на куски за долги, морил в тюрьме, ругаясь над ним, спрашивал, глядя на закорузлую руку, не четвероногий ли он? {Острота Сципиона Африканского. *(Прим. А. И. Герцена.)*} Он и в самом деле сделался зверем. Посмотрите вы на кровожадного барса, выходящего иногда погулять по площади, послушайте его рев; цезари поняли его характер, они ему, голодному, вместо хлеба бросают трупы гладиаторов, и зверь, упоенный зрелищем крови, рукоплещет. При первом шаге он вас растерзает на части, и нечему дивиться. Вы сейчас бранили плебеев за то, что они ругались над сенатом, а сенат разве несколько столетий не ругался над ними? На плебеев обопрется цезарь -- не вы; а вы обопретесь, может, на патрициат. Хорош и этот крокодил, не имеющий зубов, снедаемый нечистыми страстями, умирающий в руках рабов, египетских поваров и нагих невольниц! В основе своей Рим носил зародыш гибели. Время казни настало. Он богами посвящен! Рем, облитый кровью, встал, он требует наследия, отчета; он не забыл, что его зарезал родной брат из корысти. Он одичал в преисподней, безумье блестит в его глазах, лишенных света несколько веков, у него в груди одно чувство -- месть! Он, как Протей, является в тысяче форм: он Калигула, он Клавдий, он Нерон, он некогда колол булавкой в язык Цицерона и таскал его окровавленную голову по площади34, он был Каталина, он выводит теперь сенаторов на арену и заставляет бороться с подлыми гладиаторами и он же чернь, рукоплескающая около арены... Он -- огонь, прокравшийся всюду и сожигающии со всех сторон ветхое здание, воздвигнутое на его размозженном черепе... Когда-нибудь пожар кончится, тогда тишина наляжет на эту полосу, будут об Риме говорить, как о Карфагене, о Вавилоне. Звери поселятся, им ловко норы устраивать в развалинах, стаи хищных птиц прилетят доедать несведённое Хроносом. Поторжествуют животные падение человека --- нет, еще хуже, они просто будут жить, как дома, в берлогах своих на великом римском форуме.

Мевий. Остановись наконец, дерзновенный! что за ужасное воображение, след беззаконных, преступных мечтаний. Римлянин не должен слушать такую речь, полную отравы. Погибнуть лучше с верою в Рим, нежели дать место в груди ядовитым песням фурий.

Лициний. Мне самому досадно: больше сказалось, нежели я хотел. Я, видишь ли, долго молчал; грудь от этого стала полна, ей

надобен был исток, она не могла дольше хранить жгучие истины; мне горько, Мевий, что я дерзкой рукой тронул твое сердце гражданина. Но не брани меня, плачь обо мне; потерявши многое, у вас осталась вера в Рим, для меня и Рим перестал быть святым. А я люблю его, но не могу не видеть, что стою у изголовья умирающего. Если б можно было создать новый Рим -- прочную, обширную храмину из незагнивших остатков! Но кто? Кто мощный, великий, который вольет новую кровь в наши жилы, юную и алую, который огнем своего гения сплавит в одну семью патрициат и плебеев, согреет их своей любовью, очистит своей молитвой и, наполнив своим духом, всех гордою стопой поведет в грядущие века? Но и Зевс, сойдя на землю, не сделает этого.

Мевий. Друг, такие слова еще ужаснее; бешеные звуки твоей филиппики возбудили гнев... а эти слова -- послушай *(с отчаянием):* скажи, что нам делать, что нам делать?

Лициний. Наконец-то ты увидел весь ужас настоящего... что делать? В этом-то вся задача сфинксов. Во все времена, от троглодитов до прошлого поколения, можно было что-нибудь делать. Теперь *делать нечего.* Да, нечего, и это худшая кара, которая может пасть на людей, хуже Сизифовой, хуже Танталовой. Бедные, несчастные! Фатум призвал нас быть страдательными свидетелями позорной смерти нашего отца и не дал никаких средств помочь умирающему, даже отнял уважение к развратному старику. А между тем в груди бьется сердце, жадное деяний и полное любви. Ни Эсхилу, ни Софоклу не приходило в голову такого трагического положения. Может, придут другие поколения, будет у них вера, будет надежда, светло им будет, зацветет счастье, может. Но мы -- промежуточное кольцо, вышедшее из былого, не дошедшее до грядущего. Для нас темная ночь -- ночь, потерявшая последние лучи заходящего солнца и не нашедшая алой полосы на востоке. Счастливые потомки, вы не поймете наших страданий, не поймете, что нет тягостнее работы, нет злейшего страдания, как *ничего не делать!* -- Душно!

(Лициний закрывает руками лицо. Мевий, глубоко взволнованный, молчит.)

FORUM APII35

Кружок обтерханных плебеев окружает какую-то женщину; ее поставили на возвышение.

Голоса. Сама, сама ты видела?

Женщина. Братья мои, свидетельствуюсь богами -- видела; святого-то мужа, как преступника, вели в Цепях, поселяне его провожали. А он кротко, спокойно, просто все поучал своей вере36.

Голоса. Что ж он говорил, что?

Женщина. Он так утешительно говорил, так хорошо -- не могу всего пересказать. Говорил он, что пора каяться, что новая жизнь началась, что бог послал сына своего спасти мир, спасти притесненных и бедных. Мы плакали, слушая его. Потом он взял моего маленького, посмотрел на него ласково и сказал: "Ты увидишь уже сильным царство Христово".

Голоса. Слышите! слышите! говорят, и слепые стали видеть и мертвые воскресают!

1838 г. Владимир на Клязьме.

ГЛАВА 30

РЕКЛАМА

1834--1840

О жизни Саши во Владимире и по возвращении его в Москву я узнала много подробностей из находящихся у меня некоторых записок, в том числе и из записок лучшего друга Наташи -- Т. А. Астраковой1. Она была близкой участницей их жизни почти с самого приезда Саши во Владимир и до их отъезда за границу. Из-за границы Наташа до своей кончины вела постоянную переписку с своим другом. С какой любовью этот друг был предан Наташе и как понимал ее, можно видеть из выписок, сделанных мною из ее воспоминаний, замечательных чувством правды. Читая их, можно быть иногда несогласным с взглядом автора относительно некоторых лиц и событий, смотреть на них с другой точки зрения, но нельзя отказать в искренности и стремлении беспощадно обнаруживать истину. Вот несколько отрывков из этих записок.

"Летом 1834 года родственник мой, Николай Иванович Астраков, впоследствии мой муж, с которым я всегда была очень дружна, сказал мне, что на другой день скачки на Ходынском поле встретился он с квартальным надзирателем Яворовским (Александр называл его всегда: "Я -- воровской"), который сказал ему, что у него от бессонницы голова трещит. "Это отчего вы не спали? -- спросил его Николай. -- Где же вы были ночь?" -- "На ловле, батюшка, -- отвечал Яворовский, -- сынка Яковлева сарканили". -- "Какого Яковлева?" -- спросил Николай, стараясь казаться равнодушным. "Что на Сивцевом Вражке живет". -- "У меня позеленело в глазах, -- говорил Николай, -- я поторопился проверить сказанное квартальным и пошел к дому, где жил Александр. Слуга на вопрос мой: дома ли Александр, отвечал: "Дома нет, куда-то вышли". Николай пришел вторично и получил тот же ответ. Впоследствии он узнал, что Иван Алексеевич запретил сказывать правду. "Где же он теперь?" -- спросила я Николая. "Там же, где и другие, -- в частном доме". -- "Что же с ними будет?" -- "Будут судить". Я заплакала, хотя и не знала никого из них лично. Николай

отвернулся и, кажется, заплакал сам. Горе мое было искренно. Николай навещал их, от него я знала все, что с ними происходило.

Однажды Николай принес мне стихи Сатина, написанные им к сестре своей, вот они:

A NASTASIE

Из тесной кельи заключенья
Зачем ты требуешь стихов?
Там тухнут искры вдохновенья,
Где нет поэзии цветов!
А здесь их нет: больных стенанье,
Оружья стук, да шум солдат
Души высокой излиянья
Хоть в ком внезапно прекратят.
Но, может быть, мечта святая
И здесь зажжет восторга пыл,
И я, как феникс, воскресая,
Еще исполнюсь новых сил!
Быть может... сладко упованье,
Но нет, боюсь встревожить я
На миг замолкшее призванье
К иному миру бытия...
Боюсь души здесь пробужденья, --
Как знать -- могучее вспорхнет,
А где предел ее стремленья,
Как укротить ее полет!
Так замолчи, мечта святая,
В груди огня не раздувай,
Дай срок расти и, созревая,
Пока души не обнажай.
А ты, сестра, возьми терпенья
И не ищи восторга след
В моем отрывке вдохновенья:
Я узник здесь, а не поэт!

Н. Сатин 2 1835 года 1 января.

Николай Иванович Астраков, кандидат математического отделения, давал уроки математики Сатину и у него познакомился с Александром. Молодые люди того времени сближались скорее и теснее, чем нынешние. У них был общий интерес научный и один нравственныый.

По отъезде из Москвы товарищей Николай дома ходил точно в воду опущенный, потом развлекся приготовлением к защите диссертации на магистра. Получив звание магистра, женился на мне. Далее заботы домашние, неприятности так поглотили нас, что мы едва вспоминали об удаленных и уже спустя довольно долге время узнали, что Александр переведен во Владимир, а о Нике и Сатине хотят просить. Однажды весной 1838 года муж сказал мне, что Александр сбирается жениться на воспитаннице княгини Хованской -- Наталье, о которой я не имела и понятия, а 18 апреля ночь кто-то постучался к нам в ворота, -- дождь лил страшный, в доме все уже спали. Брат моего мужа, спавши в мезонине, открыл окно и спросил: "Кто стучится?" Ему отвечали: "Поручик Богданов". Николай, услыхавши это, вскочил с постели, наскоро оделся, говор мне: "Это приехал Александр, оденься и приходи к нам в кабинет"3. Я слышала от Николая, что это личности чрезвычайно замечательная, и интересовалась его видеть Когда Николай представил нас друг другу, Александр, как-то так просто, дружески подал мне руку, что с первого взгляда привлек к себе. "Я очень рад, -- сказал он, пожавши мне руку, -- счастию Николая и приехал сюда просить вас помочь мне быть так же счастливым".. Он говорил живо, иногда с чувством, иногда с юмором, и все, что ни говорил, было чрезвычайно увлекательно. Между прочим, он сказал, что приехал с тем, чтобы во что ни стало увезти Наташу, так как он слышал, что летом ее хотят везти в деревню и там выдать замуж, следовательно, время дорого и откладывать нельзя.

-- Скажи, пожалуйста, -- спросил его Николай,-- как же это ты уехал из Владимира и прибыл сюда?

-- Курута {Губернатор владимирский. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}, добрейший человек, и жена его знают о моем намерении жениться и готовы помогать мне. А так как я имею право быть возле столицы, только не въезжать в нее, то. и попросил себе отпуск на Воробьевы горы. Курута догадался, в чем дело, улыбнулся, дал отпуск и

посоветовал *осторожность*. Я взял вид поручика Богданова и въехал с ним в заставу.

Я ушла спать уже поздно, а Николай с Александром проговорили в кабинете чуть не всю ночь. Рано утром они поехали к Н. И. Сазонову, а от него к Н. Х. Кетчеру и вместе с Кетчером возвратились к нам.

-- Не смешно ли вам покажется, -- сказал Александр, обращаясь ко мне, -- что я, видя вас в первый раз, хочу просить вас пожертвовать для моего счастия, конечно, не жизнью, чего не позволил бы вам ваш муж, а вашим спокойствием. Возьметесь ли вы съездить с поручением к Наташе?

Николай объяснил мне, что я должна была ехать к княгине, с ливрейным лакеем (это для шика, -- говорил Кетчер), спросить прислугу, уже предупрежденную, о Наташе, и тогда меня проведут прямо к ней. Наташе я должна была сказать, что я близко знакомая ее брата, Алексея Александровича Яковлева, который, узнавши, что я еду в Петербург, поручил мне привезти ее к нему. В случае же, что княгиня не согласится отпустить Наташу со мной на слово, передать ей письмо от Алексея Александровича, которое мне и вручили. Они рассчитывали, что княгиня, прочитавши это письмо, смело и даже дерзко написанное, рассердится и выгонит Наташу вон, а этого только и желали.

Выслушавши инструкцию, я отправилась, а они остались ждать результата своей выдумки.

Мало бывая в обществе, я ехала со страхом и в продолжение пути обдумывала, как я явлюсь к княгине и что буду говорить.

Только что я вышла из экипажа, как слуга торопливо повел меня двором на заднее крыльцо, прямо в Девичью; там встретила меня молоденькая девушка и проводила наверх, к Наташе. Наверху на меня бросилась с страшным лаем собачонка, и из-за двери выглянула старуха в огромном чепце. Наташа, увидавши меня, бросилась мне на шею, сказавши "избавительница", и залилась слезами. Я загляделась на ее милое личико, на ее глубокие глаза и полюбила ее, полюбила навсегда. Ее нельзя было назвать красавицей, в строгом смысле этого слова, но она была до того симпатична, что все увлекались ею. Красота ее заключалась в выражении прекрасных синих глаз и всех черт ее лица.

Я рассказала Наташе, зачем меня прислал к ней Александр, отдала ей письмо, объяснив его значение. Наташа удивилась и сказала: "Какой Александр чудак, да разве можно, чтобы княгиня согласилась отпустить меня с незнакомой дамой, письмо же может только повредить мне".

-- Что делать? -- спросила я ее.

Наташа не успела еще ответить, как вбежала девушка и торопливо проговорила:

-- Наталья Александровна, пожалуйте поскорей к княгине.

-- Что-то будет! -- сказала Наташа. -- Может, вам придется явиться к княгине, как же быть? я боюсь за вас.

-- Не бойтесь, идите, я готова на все, -- отвечала я.

Когда дверь за Наташей затворилась и я осталась одна в ее комнате, невольный страх охватил меня: ну если Наташу запрут внизу, а меня оставят тут без ответа, что тогда делать? Минуты казались мне часами. В комнату вошла какая-то старушка с желтыми лентами на чепце, посмотрела на меня, взяла полотенце и вышла. Походивши по комнате, я отворила дверь, собачонка опять с лаем бросилась на меня. На лай вбежала девушка. "Где Наталья Александровна?" -- спросила я. "У княгини", -- отвечала она и ушла. Наконец меня пригласили к ее сиятельству. Сердце у меня сильно дрогнуло. Вхожу в кабинет. Княгиня сидит на большом кресле у окна, перед столиком, в чепце с лиловыми лентами. Подле нее стоит Наташа, бледная как полотно. Я поклонилась. Княгиня кивнула мне головой и строгим голосом спросила: "Вы от кого?" Не приглашенная сесть, я оглянулась, где бы усесться, но в комнате не оказалось никакой мебели (после я узнала, что мебель нарочно велели вынести), и я осталась перед княгини стоя. Это окончательно раздражило меня, и я полунасмешливо, полугрубо отвечала ей:

-- Я от брата Натальи Александровны; Алексей Александрович просил меня привезти ее к нему в Петербург.

-- Как же он смел прислать за нею, не спросясь меня? Еще позволю ли я? и с какой стати вы изволили ко мне приехать?

-- Я и не думала приезжать к вам, -- отвечала я,-- и если бы мне не сказали, что Наталья Александровна у вас, то и не пришла бы теперь к вам.

-- Это я знаю! И знаю, -- едва владея собой возразила княгиня, -- что все это штуки того негодяя, ссыльного (и еще как-то обозвала его), но этого не будет, я не отпущу ее!

-- Я вас и не спрашиваю, -- сказала я, -- Наталья Александровна в таком возрасте, что может сама решить этот вопрос, а до вас мне нет никакого дела.

И, обратясь к Наташе, сказала:

-- Что же -- едете вы к брату?

Наташе было не до ответа, она дрожала, и лицо ее приняло такое страдальческое выражение, что я испугалась, взяла ее за руку и, не глядя на княгиню, вышла с ней в залу, где едва успела спросить ее: "Как же?" -- а она ответила: "Так нельзя, будет хуже",-- как раздался грозный голос: "Наташа!" И она убежала.

Возвратясь домой, я с жаром рассказала все, как было, и разбранила их, зачем они все это затеяли и только наделали еще больше горя Наташе. Они согласились со мной. Но, несмотря ни на что, Александр был в восторге и находил, что я вела себя отлично. "Одно досадно, -- прибавил он, -- зачем вы не увезли Наташу -- так-таки и увезли бы".

-- Я дивлюсь, -- сказал Кетчер, -- не тому, что вы не увезли ее, а как не догадалась княгиня велеть лакеям вытолкать вас за дерзости вон. А если бы Наталья Александровна уехала, тогда, наверно, явились бы здесь жандармы, и тогда -- увы!

Александр расхохотался. Затем началось совещание, что делать. Недолго думая решили Наташу увезти, Александру сейчас ехать во Владимир, просить у Куруты позволения жениться, найти священника, который взялся бы их обвенчать, и, устроивши все, приезжать за Наташей.

Александр уехал. Вскоре они получили от него письмо с жалобой, что священник берется его обвенчать только с дозволения начальства; а невеста, хотя и совершеннолетняя, должна представить метрическое свидетельство, а где его взять? оно должно находиться у княгини.

Один из знакомых надоумил, чтобы Наташа подала просьбу в консисторию о выдаче ей нового свидетельства, объявивши, что старое она неизвестно куда затеряла. На это надобны были деньги, надобны были деньги и на то, чтобы сделать Наташе белье и платье, и все это как можно скорее, пока княгиня не уехала в деревню. Просить у Ивана

Алексеевича было невозможно, он также был против этого брака. Перед моей поездкой к княгине Кетчер пробовал склонить Ивана Алексеевича на брак Александра, представляя ему, что Александр от огорчения может заболеть и умереть. Иван Алексеевич так колко шутил над любовью Александра и Кетчером, что тот ушел от него взбешенный и впоследствии прятался от старика.

Все мы были люди безденежные и жили одним жалованьем. Один Сазонов имел довольно большие средства, к нему и обратились с просьбой о деньгах. Он охотно согласился и выдал четыреста рублей.

Деньги эти передали Эмилии, бывшей гувернантке или, скорее, подруге Наташи. Через Эмилию велась вся переписка, через нее же подана была просьба о метрике. Два раза просьба с подписью Наташи была неудачна; в третий за Наташу подписалась я, и дело закипело. Четырехсот рублей оказалось далеко не достаточно; Сазонов обещал дать больше, но не давал еще. Деньги были необходимы на многое, между прочим, на подарки и угощения. Наташа томилась под неприятностями. Александр приходил в отчаяние и писал письмо за письмом, укоряя друзей в медлительности; он и знать не хотел, кто в этом виноват.

Два раза назначали Наташе быть готовой, уйти из дома и приехать прежде всего к нам, и опять откладывали. Ожидания до того измучили ее, что она писала мне: "Ради бога, Т. А., скажите, что у вас делается. Эмилии третий день нет дома, я ничего не знаю. Сегодня было назначено наверное уехать. Я буду ждать вашего ответа, как смертного приговора. *Наташа"*.

Наконец Николаю, удалось залучить к себе Сазонова; он рассказал ему, что за ним дело стоит и может нехорошо кончиться. На следующий день Сазонов прислал деньги; по сделанному расчету, оказался недостаток еще в ста пятидесяти рублях. Николай добавил их из своего жалованья, взявши его вперед. К 7 мая все было готово, ждали Александра в Москву.

Княгиня, будучи в неудовольствии на Наташу, запретила ей сходить с антресолей; это затрудняло побег. По счастию, сенатор, брат княгини, Лев Алексеевич Яковлев, уговорил ее простить Наташу и позволить ей сойти вниз. Княгиня согласилась. Лев Алексеевич сам привел Наташу из мезонина, княгиня расчувствовалась и позволила ей заниматься по-прежнему музыкой и книгами.

Когда все было готово, решили увезти Наташу в Николин день, во время обедни. Княгиня еще накануне сбиралась ехать в церковь вместе с своей компаньонкой Марьей Степановной, велела приготовиться й Наташе. На другой день утром Марья Степановна объявила княгине, что у Наташи сильная головная боль и она не может ехать к обедне. Как только они уехали, Наташа сошла вниз и села в зале под окном, близким к воротам; ей было сообщено, что один господин проедет мимо окон и остановится у ворот, а другой пройдет по противоположному тротуару и махнет ей платком.

Между тем у нас в доме собрались Александр, Эмилия, Кетчер. Было десять часов утра. Николай торопил Кетчера, и они ушли. Мы остались втроем. Вдруг Николай возвратился и сказал мне: "Дай твою турецкую шаль, а то ведь она выбежит без ничего". Я подала ему шаль.

Все мы были страшно взволнованы. Александр хотел что-то сострить, но ему не удалось, я думаю, первый раз в жизни. Эмилия, сентиментальная немка, вздыхала и хныкала. Это нам надоело, и мы вышли в залу. Вдруг раздался крик Эмилии: "Ах! -- кричала она.-- Я чувствую, чувствую -- ее увезли... ах! ах! мне дурно!" Мы бросились к ней, схватили стакан воды, одеколон, гофманские капли -- ничто не помогало. Александр вышел из терпения и сказал: "Да разве вам хотелось, чтобы помешали Наташе уехать и мы были бы несчастны?"

-- Нет, ах, нет, -- говорила Эмилия, -- но мне страшно.

Мы с Александром взглянули друг на друга и поняли, что ведь и нам страшно.

Наконец явился Николай, объявил, что все окончено благополучно. Наташа уехала с Н. Х. Кетчером и находится в Перовом трактире, где ожидают Александра. Александр немедленно туда отправился.

Николай наскоро рассказал нам, что они до дома княгини переменили двух извозчиков (пролеток тогда не было, а были маленькие дрожки); по условию, Кетчер проехал мимо дома и остановился у ворот, а Николай, проходя противоположным тротуаром, заметил в угловом окне старушку, безучастно смотревшую на улицу. (Наташа сказала нам после, что это была тетка М. Н. Каткова, Вера Акимовна, очень добрая старушка, часто гостившая у княгини.) Николай несколько испугался, но пошел дальше; в крайнем углу к воротам сидела *она*. Николай махнул ей платком и видел, как она

вскочила и побежала. Он перешел к Кетчеру, накинул на нее мою шаль, усадил на дрожки, пожал ей руку и тихо пошел обратным путем. Старушка по-прежнему спокойно сидела под окном и смотрела на улицу.

Александр поехал в одном сюртуке, на простом извозчике, как бы для прогулки за заставу. Следом за ним надобно было отправить его камердинера Матвея с вещами; их набралось целый воз, послали Матвея за извозчиком, громоздкие вещи оставались у нас. Мы не поехали провожать Александра, думая, что, может, сделают у нас обыск, то быть бы налицо к ответу. Только что вещи были уложены на воз, как пришел Голубев. Николай наскоро сдал Голубеву вещи и просил его отправиться вместе с ними и Матвеем к Александру, а на заставе сказать, что он переезжает на дачу. Таким образом, и Голубеву (впоследствии женатому на дочери А. Л. Витберга) пришлось проводить наших милых беглецов.

Александр и Наташа приехали во Владимир около вечера. Александр завез Наташу в дом к одному чиновнику, где она должна была переодеться в венчальное платье, потом отправились в церковь венчаться4.

Вскоре мы все получили от Александра письма, проникнутые блаженством и благодарностию. Вслед затем я получила письмо от Наташи, в котором она просила меня прислать ей какое-нибудь платье, приличное для выезда. Эмилия, сделавши ей белье, домашние платья и венчальное, для выезда не сделала никакого. Денег у них больше не было и сделать еще платье не на что. Я послала Наташе мой шелковый голубой капот с вышитой тюлевой юбкой и шелковое нарядное платье. В этих платьях она и посещала владимирских знакомых. Только к концу лета они сбились деньгами да заняли у Егора Ивановича Герцена и поручили нам купить разных мелочей для туалета Наташи; но по молодости позабыли запастись шубой на приближавшиеся холода. Когда пришла зима, я послала Наташе мою вторую шубу;

Александр сообщил отцу о своей женитьбе; между прочим, писал, что бог соединил его с Наташей, на что Иван Алексеевич отвечал ему: "Я воле божией не перечу, но так как ты не нашел нужным сообразоваться с моей волей, а деньги мои, то к выдаваемому мною тебе жалованью ничего не прибавлю".

Отношения наши все больше и больше расширялись. Наташа, слыша, что здоровье Николая расстраивается, писала мне самые сочувственные письма; они облегчали мое горе.

1839 года 18 апреля мы получили из Владимира письмо:5

"Татьяна Алексеевна, вы понимаете ли, что это значит *18 апреля;* ведь это день нашей встречи, день, в который в мои святцы вписаны два новых угодника:

Раб божий Николай. Раба божья Татьяна -- иже за освобождение мученицы Наталии в Цареграде пострадавших.

18 апреля перед обедом явился я к вам печальный, смущенный, во фраке Сазонова. Вот вы поехали к княгине, а я жду... Кажется, вы года полтора ездили, а воротились все-таки 18 апреля.

18 апреля я, грустный еще больше, без положительных надежд и без фрака Сазонова, поехал... динь, динь...

Вспомнили ли вы? А мы вспомнили!

Да и каковы бы мы были, если бы не вспомнили. Еще раз благодарю вас дружески, братски и до тех пор мне не надоест благодарить, покуда богу не надоест повторять *18 апреля;* а это, спросите у Николаи, так тесно связано с путем солнца (которое не двигается ни с места), благосостоянием земного шара и разной планиды небесной, что никакой надежды нет к прекращению *18 апреля*.

Как я взгляну назад и припомню все, что было между этой парой 18 апрелей, то, ей-богу, готов броситься на колени и молиться, и молиться со слезами восторга: все было несбыточно -- все сбылось, все было черно -- все сделалось светло и дивно светло, и я сжился со светом. Право, в этот год мой путь я не променяю на путь Сатурна, несмотря на то, что он, как паяц в конной комедии, летит с обручем ежегодно верст 100 000 000 000 000 (добро бы в Воронеж богу молиться, а то, так себе, просто летит). Ну и ты, раб божий Николай, дай руку; да, брат, дай право еще раз сказать тебе *спасибо* и не сердись, ведь слово это истаскано; через чьи губы оно не цедилось, по чьему языку не сползало в воздух, да я смысл ему придаю поважнее. И у меня оно вовсе теперь не с языка ползет (ибо я всегда пишу закрывши рот, чтоб как-нибудь муха не залетела), а течет с пера прямым трактом из сердца, недаром я Герцен.

P. S. Соприкосновенному к 18-апрелю К<етчеру> поклон. Скажите ему, что Голубев был, благодарю его очень за книги. Только он велит скоро их прислать. Ну, пусть сам рассудит, ежели литература вздор -- можно пробежать быстро, но шесть томов (немецкой работы) Раумеровой истории не берусь отчитать ближе месяца. Пожалуйста, скажи ему и особенно благодари его за Раумера6. Может, К<етчер> долго не придет к тебе, тем лучше, -- это выиграет срок на чтение. Не собирается ли он ко мне?

Между владимирскими новостями тебя всего более тронет весть о кончине кн. Одоевского7, особенно когда ты узнаешь, что он лет семьдесят как родился и, следовательно, получил понятие, зачем он существовал. Memento mori {Помни о смерти *(лат.)*.}. *Александр"*.

"Вот скоро и час тот придет, когда вы вошли в темницу страдалицы; меня тогда жизненные силы оставляли, я, кажется, лежала со стуком в груди, который не многие испытали наверное, да и не дай бог! помните, как я бросилась вам на шею, крепко держала за руку, как мне страшно было после оставить вас, -- и этому уже год!

Довольно, довольно *слов*, чувство так громко и ясно говорит, что, верно, слышите их без помощи бумаги, несмотря на расстояние. *Наташа"*.

Пока Александр и Наташа жили во Владимире, мы часто переписывались с ними. Из их писем было видно, что счастье их невозмутимо, жизнь полна взаимного уважения и любви. Александр много учился, читал без конца и сам писал, и все, что он делал, делал с энергией, с увлечением, с страстностью. Он часто делился с моим мужем научными интересами, письма его были нам наслаждением, Николаю -- отдыхом от учительской кафедры и перевода ученых статей в журнал профессора Павлова к сроку8. Я помогала мужу в этом труде. Однажды Николай на упрек Павлова, что он долго не приносит статью с таблицами, сказал: "Невозможно скорее, жена моя и так сидит с утра до ночи за этими таблицами". Павлов перепугался и отвечал: "Помилуйте, она может все испортить, перепутать"; но дня через два, получивши статью и проверивши таблицы, удивился их верности и приехал к нам лично поблагодарить меня. Александр, узнавши это, говорил: "Поверьте, Павлов сделал это не из вежливости,

а из любопытства: ему, верно, представилось, что у вас две головы и две пары рук. По его понятию о женщине, он не мог поверить, чтобы женщина, да еще жена учителя, сумела написать таблицы. Он не догадался, что природа снабдила вас математической смекалкой, иначе вы не вышли бы замуж за математика. Вон посмотрите на Наташу, она вышла за меня, шалопая, -- ей и горя мало, что я математики ни в зуб".

Александр не мог вести даже серьезного разговора, чтобы не сострить.

Итак, из писем Александра мы видели, что они жили всем существом своим. Даровитая натура его ни на минуту не могла оставаться в бездействии. Наташа ни на шаг не отставала от него -- училась у него иностранным языкам, наукам. Хозяйство у них было маленькое, короткое, главное внимание было обращено на опрятность и изящество в пище и одежде. Предоставленные почти исключительно себе самим, им удобно было вместе заниматься. Читая и рассуждая о прочитанном, они многому научились. С своей стороны, деликатность и мягкость характера Наташи влияли на Александра благотворно, помогая ему выйти из студенческой дикости. Это делалось без упреков, без поучений -- бессознательно. Среди научного мира и личного счастья они не очерствели в эгоизме; небольшое число знакомых любили их и едва узнавали Александра. Он, пожалуй, был тот же живой, пылкий, страстный, но все это явилось смягченным, опоэтизированным. Его прежнее я уже не бросалось ярко в глаза, а как бы слилось с другим, ему дорогим я и сделалось мягче, уступчивее. Его уже не тянуло кутить с друзьями. Скромная, любящая, благоразумная Наташа не сочувствовала кутежам, не осуждая их резко, не оскорбляя замечаниями. Только в общих разговорах высказывала, что не понимает, как можно тратить время и силы на чувственные удовольствия.

Когда они узнали, что у них будет ребенок, восторгам их не было конца. Не оставляя прежних занятий, Наташа стала читать книги о воспитании детей; когда же родился их первый сын Саша9, то все заботы ее сосредоточились на ребенке. Жизнь стала еще полнее. Александр, желая помочь Наташе в ухаживанье за ребенком, не умел взяться за это: брался ли отыскать одеяльце -- приносил тряпку, хотел ли подать молока -- обливал им себя. Иногда Наташа, смотря на его

неловкость, смеялась до слез, а он терялся, конфузился и даже сердился.

Когда Иван Алексеевич узнал, что у Александра родился ребенок, то, не желая показать ему свое снисхождение, стал высылать деньги для *маленького Шушки*, приказывая, чтобы ребенок ни в чем не нуждался, писал наставления, как ухаживать за малюткой, беречь, не простудить. Доход их увеличился настолько, что они могли уплатить сделанные ими долги и возвратить мне мои вещи.

Наконец повеяло вестями, что скоро все съедутся в Москву. Сатин писал из Симбирска, что о, нем хлопочет сестра, но он боится еще надеяться. Жена Ника, женившегося в Тамбове {Марья Львовна Рославлева, племянница тамбовского губернатора Панчулидзева. Я ее совсем не знала. *(Прим. Т. П. Пассек.)*10}, Марья Львовна, ездила в Петербург просить за мужа и заранее известила друзей его, что едет и хочет со всеми познакомиться. В тот день, в который она должна была приехать, все поехали встречать ее, в том числе и Николай. Поздно вечером он возвратился домой в каком-то угаре: говорил, что Марья Львовна верх совершенства, умна, мила, проста до того, что все они в одну минуту стали с ней на дружескую ногу. Что она обещала побывать у всех друзей Ника, холостые они или женатые -- ей все равно; обещала приехать и к нам, наговорила Николаю пропасть любезностей. "Когда она приедет к нам, -- добавил Николай к своим рассказам, -- ты, пожалуйста, будь с нею полюбезней и поразвязнее, ведь надобно же чем-нибудь заменить незнанье французского языка!" Я промолчала, но подумала: "Так вот откуда повеяло несчастием! не видя ничего, Николай, кажется, начинает стыдиться меня..." Молодость, конечно.

Приехал Кетчер и еще кто-то, и те также сходили с ума от Марьи Львовны, так что заинтересовали этой личностью и меня, я стала ее ждать с нетерпением. Наконец она известила моего мужа, что в такой-то день приедет к нам вечером. Николай очень хлопотал, чтобы я не забыла чего эффектного в сервировке чая.

Марья Львовна явилась пышная, блестящая. Костюмировка ее была проста, изящна и ценна. Она пожала Николаю руку и, не дожидаясь рекомендации, обеими руками сжала мне руку и всех нас осыпала комплиментами, мешая русскую речь с французскими фразами. Я слушала, молчала, не знала, что сказать, и рада была, когда

возвестили, что в зале готов самовар, Я встала. "Вы сами разливаете чай, -- сказала восторженно Марья Львовна, -- как это мило, вы, верно, отличная хозяйка, да?" Николай смотрел мрачно и кусал губы -- я поскорее ушла. На мое счастье, пришли два товарища Николая. Поздоровавшись с ним и поглядевши на Марию Львовну, они вышли ко мне. Один из них сказал: "Это не нашего поля ягода; на что она вам?"

Марья Львовна попросила себе чаю в гостиную, сказавши, что она имеет надобность о чем-то переговорить с Николаем.

Все это мне не нравилось и вертелось в голове: что-то из всего этого выйдет, когда Ник с женой переедут в Москву. Чтобы не входить в гостиную, я нарочно дольше обыкновенного сидела за чаем. Когда муж объявил мне, что Марья Львовна уезжает, я не пошевелилась; она выбежала из гостиной, протянула мне руку, говоря, как она рада, как счастлива, что познакомилась со мною, что, переехавши совсем в Москву, надеется приобрести мою дружбу. Я молча, холодно пожала ей руку и села на свое место. Она уехала. Николай, проводивши ее, вернулся недовольный мною и высказал это.

Один из товарищей заметил Николаю, что и без ее комплиментов нам известно, что мы люди хорошие, а на замечание Николая, что это женщина замечательно умная и развитая, сказал: "Ты, брат, вижу, мелко плаваешь и вовсе не умеешь различать в женщине ум от светского лоска".

Долго еще говорили на эту тему. Я молчала. Николай обидел меня, это было в первый раз. Мало-помалу все смягчилось и стало забываться, как вдруг получили письма от Александра и Наташи, в которых они с восторгом описывали свою встречу с Ником и его женой. "Мы, как дети, все четверо плакали навзрыд. Когда они вошли -- сами не знаем, как очутились в объятиях друг друга".

"Я полюбила сразу мою сестру Marie, это ангел, -- писала Наташа, -- и еще больше полюбила за то, что она сумела оценить тебя: "Сколько в ней ума, скромности, грации, -- говорила она, -- я любовалась ими обоими" -- это ее слова".

Александр между тем писал:

"Друзья, мы бесконечно счастливы! Нас четверо -- и что это за женщина Марья Львовна -- она выше всякой похвалы. Ник счастлив, что нашел такую подругу.

У меня сохранилось распятие, которое дал мне Ник при разлуке. И вот, мы вчетвером бросились на колени перед божественным страдальцем, молились, благодарили его за то счастие, которое он ниспослал нам после стольких лет страданий и разлуки. Мы целовали его пригвожденные ноги, целовались сами, говоря: Христос воскрес!"11

Читая эти письма, Николай заметил мне: "Видишь, какая это женщина, а ты не сумела сойтиться с нею". -- "И не сойдусь, теперь больше чем когда-нибудь". -- "Это от чего?" -- "Я думала, она только светская женщина, а теперь вижу, что она лицемерна. Зачем она наговорила Наташе столько неправды обо мне, -- и когда же? -- в святые, чудные минуты первого свидания друзей: ведь муж ее, Александр и Наташа, конечно, от чистого сердца радовались, молились, плакали, а она? -- нет, это нехорошо". -- "Ты предубеждена, -- сказал Николай. -- Когда они приедут в Москву, надеюсь, вы сойдетесь". Я промолчала.

От Марьи Львовны все теряли голову, все чуть не молились на нее. Разочарование было горькое.

Мало-помалу разрозненные друзья стали собираться. Первый приехал Ник с женой -- прямо на дачу в парк. Поздно осенью -- Александр с Наташей, и поселились в маленьком доме Ивана Алексеевича, который он для них, кажется, купил и отделал12. Я у Наташи была беспрестанно, муж мой приходил к ним, как только имел свободное время. Так хорошо было у них, что мало-помалу весь товарищеский круг стал поздно вечером собираться в их доме, потому что до девяти часов Александр должен был оставаться у отца. Он говаривал: *"Вот жизнь! и вечер придет, когда вечер пройдет!"* Принимать друзей, без которых он не мог жить, чуть не украдкой, урывками было для него пыткой. Повидимому, старик не любил и ни во что не ставил товарищей сына. Александр покорялся воле отца не из одного расчета, он ценил в старике ум, любовь к себе и к своему маленькому сыну, несмотря на то, что все это у Ивана Алексеевича выражалось по-своему.

На зиму Ник нанял дорогую квартиру на Арбате, в трех шагах от Александра. Марья Львовна стала устраиваться с всевозможным комфортом. На меня все нападали за нее, а Наташа даже огорчалась. Весь круг их стал собираться и у Ника. Александр не мог проглотить,

что я там не присутствовала, и приставал ко мне, чтобы я съездила к ним, так как визит оставался за мною. Я согласилась. Наташа радостно говорила: "Увидишь, как она обрадуется, что ты приехала, и выбежит навстречу". Я поехала. Парадный вход, передняя, зала были завалены рабочими инструментами и разными вещами; как видно, перебивали и чистили мебель. Я просила слугу доложить обо мне. Не зная куда пройти, я стояла среди хлама и рабочих и ждала. Минут через пять слуга объявил, что Марья Львовна принять не может, что она не одета (было два часа пополудни). Я просила передать ей, что мне все равно, в чем бы она ни была, я желаю только повидаться с ней; ответ был тот же -- что не может принять. Из кабинета слышался говор нескольких голосов и хохот.

Раздосадованная на себя и на всех, зачем их послушала, я приехала к Александру. Увидевши меня, он крикнул: "Наташа! Наташа! здесь Татьяна Алексеевна, а мы только что хотели посылать за вами, у нас сегодня мороженое; да что вы такие, точно сердитые?" Наташа прибежала и тоже заметила мне. Я поблагодарила их за удовольствие, которое привелось испытать мне по их совету, и рассказала прием. Александр взбесился: "Мелко, дико, -- говорил он, -- мещанство!"

Через час явился Кетчер и, обратись ко мне, сказал: "Ну что, хорошо приняли? поделом -- очень нужно было ехать к..." -- он не договорил. "Да вы же все восхищались". -- "Да-с, другая роль игралась. Маска сброшена. Я давно говорю -- дрянь, а Ник -- тряпка; они вот не верят". Наташа была поражена и сказала: "Это было бы очень горько и за себя и за Ника. Неужели мы обманулись?"

Кетчер первый стал разочаровываться. Наперекор урокам Марьи Львовны держать себя приличнее, сорил курительным табаком в ее великолепных комнатах, мял подушки, ковры, даже ломал мебель; говорил при ней Нику, что он делает глупость, давая волю жене, что он тряпка, что глупо корчить из себя что-то.

Ник смеялся и мирил его с женой, говоря, что оба они люди славные, только во вкусах не сходятся.

Марья Львовна во многом уступала и была любезна со всеми товарищами мужа, но внутри у нее кипело, и она восстановлялась против них. Все, видимо, клонилось к разрыву.

Устроивши блестящим образом свой дом, Марья Львовна стала делать парадные визиты знакомым и родным из аристократического круга. Ник отказался ей сопутствовать, это раздражало ее и было началом внутреннего распадения. Ник не любил большого света,-- стеснялся им, начал кутить и почти не бывал дома; я его постоянно встречала у Александра. Он был прост, мил, кроток, деликатен, и, по-видимому, тяжелый камень лежал у него на сердце.

Между прочими визитами Марья Львовна заехала и ко мне. Я ее не приняла.

Вскоре Ник с женой собрался за границу; кончивши светские прощальные визиты, часов в восемь вечера они, как были в параде -- Ник во фраке и в белых перчатках, -- приехали к Александру. Нас было много; увидя меня, Марья Львовна, обратясь ко мне, сказала; "Вы не хотели принять меня". -- "Я не могла вас принять -- я была *не одета"*. Марья Львовна прикусила губы и замолчала.

Спустя полчаса они уехали. Завязался разговор о том, как Ник ошибся в своей женитьбе. Александр был мрачен, ему обидно было за друга. Выслушавши общее сужденье, он сказал:

-- Виноват ли Ник, что женился на женщине, не узнавши ее хорошо. Он был стеснен со всех сторон. Отец не позволял ему сближаться с молодыми людьми, переписка с нами была запрещена, душа и сердце его искали выхода, симпатии -- и симпатия явилась ему в лице Марьи Львовны. Да и все мы увлекались ею.

-- Ну, а теперь, -- заметил Кетчер, -- не увлекаемся больше, и сам Ник видит что она; чего же, дурак, ее слушает, -- прихвостень.

-- Ник, брат, -- возразил на это Александр, -- не нам чета, это душа нежная, любящая. Он полюбил ее и еще любит. На выходки ее смотрит как на детскую шалость. Их разногласие в понимании вещей такого рода, что или *мир*, или *развод*. Ник, конечно, предпочтет первое. Второе он не захочет даже из-за того, чтобы не бросить порицания на репутацию женщины, которую любил и любит еще. Он скорей пожертвует собой, чем кем бы то ни было.

Наташа, в свою очередь, горячо заступилась за Ника, Все же вообще чувствовали, что он несчастен и молчит.

Разговор в этом роде продолжался бы еще долго, как вдруг вбежала Марья Каспаровна с криком: "Иван Алексеевич! Иван Алексеевич!" Все встрепенулось и вдруг смолкло. Александр

засуетился и пошел навстречу отцу. Наташа сконфузилась, Катя бросилась спрятаться на мезонин, туда же убежал Кетчер. У стола, вокруг которого все сидели в диванной, остались только Луиза Ивановна, Наташа, Марья Каспаровна и я. Мужчины скрылись в кабинет Александра. Когда вошел Иван Алексеевич, я увидала худого, среднего роста старика с строгим, умным лицом, с гордо-самостоятельным выражением во всех чертах. Никому не кланяясь, он осмотрел нас всех с головы до ног. Все встали. Видя его невежливость, я осталась на месте. Он начал все оглядывать и, ни к кому не обращаясь, спросил: -- А где же маленький Шушка?

-- Он уже спит, -- робко ответила Наташа и закраснелась.

-- А кто же у него?

-- Няня-с.

Старик обошел все окна, прикладывая руку, не дует ли где, потом, обратясь к Александру, указал на те места, где в окнах вдвигались болты, которыми снаружи охватывались ставни, пропускались в комнаты сквозь стены и тут припирались.

-- Это никуда не годится. В эти дыры может дуть днем, и ребенок простудится.

-- У нас они закладываются, -- сказал Александр и почтительно показал сделанные для этого затычки.

-- Это все пустяки, -- возразил старик, -- ребенок, шаля, может их вытащить.

Мне надоело все это слушать, я вышла в гостиную, куда перешли Луиза Ивановна и Марья Каспаровна. Они сидели тихо и робко; перекинувшись с ними двумя-тремя словами шепотом, я пошла наверх, насилу взобравшись туда по темной лестнице. Наверху была та же темнота. Кетчер, с трубкою в зубах, на цыпочках ходил взад и вперед по комнате, Катенька ахала и уговаривала Кетчера не ходить, что шаги его услышат. Я села, и все мы говорили шепотом.

-- Отчего вы сидите в потемках? -- спросила я их.-- Снизу огня не видать.

-- Когда Иван Алексеевич пойдет по двору, то может увидать огонь, а он запретил жить наверху.

-- Ну как старик вздумает прийти сюда, -- шутила я, -- куда вы денетесь?

-- Не пойдет, лестница беспокойна.

-- Вы-то, Кетчер, отчего спрятались? остальные внизу.

-- Оттого, -- сказал Кетчер, -- что, во-первых, я его терпеть не могу и он меня терпеть не может. Это все с тех пор как я уговаривал его согласиться на женитьбу Александра. Пожалуй, он скажет мне дерзость, а я не смолчу -- Александру выйдет неприятность.

-- А вас-то за что преследуют? -- спросила я Катеньку.

-- Кто его знает. Узнав, что меня привезли сюда, сказал, что не потерпит у себя всей родни Наташиной. Я живу здесь у Луизы Ивановны и прячусь от него.

"Ну, старик! -- подумала я. -- Ищет возбудить к себе страх, а не любовь".

Наконец наверх вбежала Марья Каспаровна со свечой в руках и, смеясь, говорила:

-- Ну, узники, вас просят вниз, беда миновала. Иван Алексеевич благополучно достиг своих апартаментов. А уж как он зорко оглядывал весь дом, точно знал, что вы тут спрятались.

По счастию, старик редко делал такие нашествия. Да, я забыла сказать, что он увел Александра с собою и продержал сорок минут, не обращая внимания на то, что у него были гости. Когда Александр возвратился, беседа наша оживилась, он острил над собой, над отцом, над Кетчером. Говорил, что отец наказует его за прошлые грехи; что он учится у отца быть отцом своего сына; жалел, что Кетчер не состязался с Иваном Алексеевичем, что это оживило бы всю публику и вызвало бы из той испуганной молчаливости, которая обуяла всех при появлении владыки *дома* и *сына*.

Наконец Ник с женой уехал за границу, Александр с семейством стал сбираться в Петербург13; отец его желал, чтобы он там служил. Мне жаль было, что они уезжали, я начинала любить Наташу все сильнее и сильнее. Ее горячая, самоотверженная любовь к мужу и ребенку, не мешала ей принимать участие в других, жалеть, помогать, оплакивать, других -- ей как будто мало было своей семьи. Александр для себя, для жены и сына едва ли бы задумался пожертвовать другими; было бы хорошо ему -- до других дела мало. Его эгоизм, едва ли сознаваемый им самим, выразился во многих фактах его жизни. Наташа с горечью указывала ему на эту черту, извиняя средой, исполненной себялюбия и деспотизма, в которой он рос, всеобщей заботой о нем, всеобщим лелеянием и баловством. Влияние Наташи

смягчало в нем сердце, и он старался относиться к людям, -- не то что к массе людей, к человечеству, но в частности, к человеку, -- с большим сочувствием и иногда забывал свое *я*. Александр, с своей стороны, имел благотворное действие на Наташу, просвещая и развивая ее ум знаниями.

В продолжение этих нескольких месяцев, прожитых семейством Александра в Москве, я видала у них в числе многих лиц М. А. Бакунина, с которым все как-то робко, тоном ниже говорили. Во всей его фигуре было что-то дерзкое, вызывающее; лицо матовой белизны особенно неприятно поражало при коротких, курчавых, черных волосах. Мне он был антипатичен. "Да вы, вероятно, не разглядели этого человека, -- говорил нам Александр, -- плохо слушали, что он говорит"14.

В 1840 году семейство Александра уехало в Петербург..."

С отъездом Саши и его семейства из Москвы дом Ивана Алексеевича стал погружаться в прежнюю бесцветную тишину; но как закатившееся солнце отблеском лучей своих еще играет несколько времени в облаках, задержавшихся на горизонте, так и юная жизнь, весело кипевшая в Тучковском доме, отлетевши от него, еще отзывалась несколько времени в мрачной жизни дома Ростопчинского; мало-помалу одушевление, возбужденное интересами юности, стало истощаться, ослабевать и наконец заменилось привычным холодным безучастием ко всему, кроме дохода и расхода. Прежняя подавленность, стеснение, недовольство и тоска снова налегли на все и на всех, как темная туча.

Один Зонненберг избежал этого гнетущего влияния; напротив того, он сделался развязнее, веселее и самодовольнее чем когда-нибудь. Это произошло от изменения его финансовых дел. В воображении Карла Ивановича рисовались планы, исполненные розовых надежд на возможность блестящих результатов в его торговых оборотах, поездки на Ирбитскую, Коренную и другие ярмарки, торговля модными товарами. Улучшение положения и бодрое состояние его духа произошло совершенно случайно.

В исходе тридцатых годов Карлу Ивановичу удалось выгодно распродать на Кавказе ленты, духи, помаду, мыло душистое, перчатки, сережки, браслеты; на вырученные деньги он накупил живых фазанов

и персидского порошка. Все это привез в Москву и поместил вместе с собой в старом доме Ивана Алексеевича.

Фазанов он распродал очень выгодно, пиретрум же не шел с рук, несмотря на то что он роздал его по всем москательным лавкам, а главный запас поместил в кондитерской Пера (сколько помнится, на Тверской), возлагая надежду на многочисленных посетителей; но и это не помогло, пиретрум распродавался плохо. Такая неудача сильно огорчила Карла Ивановича. В это время приехал из Владимира в Москву в первый раз Саша и еще один. При виде его у Зонненберга родилась блестящая мысль попросить Сашу написать как можно позавлекательнее объявление о продаже персидского порошка и поместить его в каких-нибудь газетах.

Однажды вечером была я у Ивана Алексеевича, он отдыхал, а мы все сидели в комнате Луизы Ивановны. Карл Иванович горько жаловался на неудачу с пиретрум и вдруг, обратясь к Саше, сказал с упреком в голосе: "Вот вы, Александр Иванович, все пишете разные статейки в журналы, а нет того, чтобы написать объявление о продаже моего персидского порошка".

-- Помилуйте, -- отвечал Саша, ошеломленный таким неожиданным упреком, -- мне и в голову не приходило писать объявления о продажах.

-- То-то и есть, -- продолжал упрекать Карл Иванович,-- что вам даже и не подумалось помочь мне.

-- Да ведь объявления писать не штука, любой грамотный мальчик напишет, что то-то, там-то продается, -- отвечал Саша.

-- Там-то, то-то, конечно, да не в том дело, -- настаивал Карл Иванович, -- это ни к чему не поведет, а вы сочините объявление как-нибудь так, чтобы оно заманило покупателей. Вам писать ничего не стоит.

-- Право, я готов, только не знаю, с какой стороны и как за такое дело взяться; никогда не предполагал, что придется писать объявления о продажах. Впрочем, я не отказываюсь, я только изумлен, -- такая неожиданность, согласитесь сами, хоть кого поставит в тупик.

Сказавши это, Саша задумался и вдруг, лукаво улыбнувшись, весело сказал:

-- Извольте, Карл Иванович, я напишу вам объявление о продаже вашего пиретрум.

Говоря это, он поспешно взял бумагу, перо, и через час о продаже персидского порошка в кондитерской Пера было готово следующее объявление:

РЕКЛАМА

Истинная и последняя эманципация рода человеческого от злейших врагов его

Книгопечатание, открытие Нового света, железные;, дороги и пароходы сделали все, что только можно было, для беспокойства рода человеческого. Пора что-нибудь сделать для спокойствия людей, пора их приблизить к величавому отдохновению на лаврах.

Но можно ли при современном состояний цивилизации отдыхать на лаврах или на миртах -- все равно?

Целый мир небольших врагов везде ждет человека и делает ему большие неприятности, отравляет его существование, наводит на меланхолические мысли, мешает философствовать и смотреть сновидения до конца; эти ожесточенные враги обрекли себя с постоянством, достойнейшим лучшей цели, на беспрерывное, многостороннее огорчение человека.

Доселе историки мало ценили важное влияние тайных врагов на события; многое казалось необъяснимым в биографиях великих людей от опущения такого важного элемента.

Цицерон после своего знаменитого "Они жили" стал жаловаться беспрерывно на блох, которые мешали ему спать, и бранился с своей женой и дочерью, к которым писал такие скучные письма из Брундузиума15. Вот причина, отчего он так вяло рассуждал о натуре богов и как сквозь сон разбирал академиков.

Но оставим историю и обратимся к частной жизни нашей.

Сколько скрежета зубов, сколько взглядов отчаяния, сколько стону вызывают свирепые враги! Этот скрежет, этот вопль никто не слыхал: они раздавались во тьме ночной, и неизвестно было, отчего на другой день рушились браки, брались решительные меры против других, -- словом, переменялась жизнь.

Кто не был сам унижен среди гордых помыслов сильными, жгучими страданиями от сих врагов? Где средство спасения? "Коня

мне, коня! полцарства за коня!" 16 Но где этот конь?

Осмелюсь ли я дерзким пером дотронуться еще до свежих ран вашего сердца и напомнить грозное явление маленьких врагов.

Вы, которого я так уважаю, вы пишете стихи "К ней". Восторг в ваших очах, стих льется плавно, огонь и запах розы; но вот вам на нос села муха и прогуливается по нем; вы ее согнали -- она на лбу, вы ее согнали -- она в ухе, вы ее согнали -- она опять на носу и сучит ногами... И вот вы бросаете перо, и у вас завязывается упорный и отчаянный бой; может быть, вы и победите, но -- увы! -- где ваш восторг, где вечное слово любви, о котором вы писали? Все вяло, не клеится, вы в апатии оттого, что все силы души употребили на борьбу с... - мухой.

Вы смертельно устали с дороги, вы десять верст мечтали под дождем о ночлеге, добрались, слава богу, тепло и, кажется, довольно чисто -- вы бросаетесь на постель, сон уже смыкает глаза... а тут маленькая компания черных акробатов делает уже в тиши salti mortali и торопится обидеть вас, и, что хуже обиды, лишить покоя, и, что хуже беспокойства и обиды, уничтожить ваше человеческое достоинство, несмотря на дворянскую грамоту, которую вы, вероятно, имеете. Извините, эти акробаты принимают вас за съестной припас, для них вы -- огромное блюдо, в превосходстве которого они не сомневаются, но все же блюдо. Счастье ваше, ежели в это время ваша память так занята, что вы забыли микроскопическое изображение блохи, выставленное для поучения детей в книжной лавке, этот страшный хобот, выходящий из-под черного шлема, лоснящегося, как сапог. Может быть, вы и поймаете одну, две et ils crèveront comme des hérétiques {и они околеют, как еретики *(франц.)*.}; но что значат две, три, когда их сотни... и вот, вместо восстановительного сна, вы вертитесь со стороны на сторону,-- а на той стороне встречается смиренный и нескачущий товарищ акробатов, с задумчивым и благочестивым видом квакера и с небольшой семьей, которую он любит от души и которую привел из-под подушки попотчевать вами; если вы прибавите дух, в котором воспитаны эти квакеры, то картина готова. Данте не знал этого мучения, а то не мог. бы пропустить его. Вы в досаде, в бешенстве зажигаете свечу... только того и недоставало: тараканы вообразили, что вы им даете иллюминацию, и пошли из щелей по столу, а через стол к вам на подушку; русские тараканы,

капитальные, основательные, мирно и тихо идут, а за ними и жалкие прусаки, рыженькие, бегут со всех сторон. Конечно, они не так вредны, как boa constrictor {удав обыкновенный *(лат.* -- название, принятое в зоологии).}, но та только практик чески вредна, а тараканы обижают взгляд, наводят уныние. Наконец рассвет подтверждает вам горестную истину, что ночь прошла, что через час придет ваш слуга будить, на заспанные глаза которого вы бросите взгляд шакала. Но, может быть, вы еще уснете -- я, ей-богу, буду очень рад. При рассвете тараканы пойдут по щелям; они, как ночные извозчики в Петербурге, тогда только и видны, когда ничего не видать; будьте уверены, они уйдут в самое то время, как батальон мух, отдыхавший всю ночь, отправится по всем направлениям, а между ними есть с какими-то шилами между глаз... Я не оканчиваю страшную картину...

А после ваши друзья удивляются на досуге, отчего вы воротились грустны, исчезли светлые надежды, приветливость, etc..

Но, утешьтесь, великое совершено!

На высотах Кавказа, возле самой Персии, растет один цветок, происхождение которого никому не известно, кроме меня, а я вам расскажу его.

Однажды в Персии было очень много блох. Камбиз не мог спать, да и только; много переказнил он людей, призванных в совет о предохранении сына солнца от дочерей блох, -- ничто не помогало. Он рассердился и пошел разорять Египет. Счастие ему улыбалось. Однажды он, довольный, наевшись крокодиловых яиц всмятку, курил пахитос в Мемфисском храме; вдруг его укусила блоха.

-- Как, -- вскричал уязвленный Камбиз, -- и здесь та же непокорность! Нет, этого не потерплю, клянусь Ормуздом и Зендавестой!

Он тут же отдал приказ сломать до основания храм, потом весь Мемфис; но, справедливо полагая, что этого будет недостаточно, он велел кстати предать огню и мечу весь Египет по ту и по другую сторону Нила, даже, если найдется третья сторона, и ее разорить. Но перед ним предстал мудрый жрец, его все уважали; он до того был умен, что сорок лет молчал. Старец бросился к ногам Камбиза и сказал: "Сын солнца, гармония мира, представитель Ормузда, брат быка Аписа и близкий родственник фараоновой мыши, нареченный супруг Ибиса *ь* etc., etc.". Коротко сказать, он ему открыл тайну, плод

всей его жизни -- растение, уничтожающее блох и всех их приятелей, и тут же поднес ему фунт порошка. Камбиз сомневался и велел при себе сделать опыт над тремя любимцами: собакой и двумя сатрапами. Сатрапы накрали поскорее у собаки блох, чтоб оправдать доверие Ормуздова представителя, и -- о восторг! -- опыт удался. Камбиз, пораженный, велел старика сковать и отослать в Персию, чтоб он посеял Pyrethrum. Тогда в "Персидских ведомостях" были помещены прекрасные стихи, воспевавшие Ормуздову попечительность Камбиза.

Вся Персия плакала от умиления и, освободившись от блох, никогда не хотела никакого другого освобождения. Ей казалось этого довольно.

Вот как успокоительно действие порошка!

Недавно второй Камбиз -- из Ревеля, К. И. Зонненберг, нашел потерянное сокровище.

Лет десять он усиливался взойти на утесы Кавказа, несколько раз срывался, падал с высоты 2800 футов, тонул, замерзал, таял от жара -- но любовь к ближнему и высокая мысль эманципации все превозмогли, он набрал Pyrethrum -- и, когда он сорвал первый цветок, тень молчаливого старца явилась на небе и благословила его.

Спешите к кондитеру Перу, там есть еще несколько картузов этой травы, посыпьте ее везде и скажите: "Теперь я свободен, и отныне да побледнеют враги мои!"

NB. Некоторые предосторожности необходимы при употреблении порошка. Один наш знакомый насыпал его по стенам и окнам и запер комнату; на другой день, представьте его удивление: он не мог найти No "Москвитянина", оставленный им по небрежности в той комнате.

Дня через три эта реклама явилась, кажется в "Инвалиде", потом была перепечатана в "Пчеле". Она привлекла к Перу множество покупателей. При порошке показывался и сам Карл Иванович, с золотистой накладкой на голове, обрызганный духами à la violette {фиалка *(франц.)*.}, теми самыми, которые Иван Алексеевич, желая огорчить его и поколебать его самодовольный вид, находил пахнувшими чем-то тяжелым, чем тела бальзамируют.

В кондитерской Пера Карл Иванович, приятно рисуясь и улыбаясь посетителям, сам отвешивал фунтами персидский порошок, и в

короткое время распродал на значительную сумму весь находившийся у него большой запас "эмансипирующего растения".

ГЛАВА 31

АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ВИТБЕРГ,
строитель храма Христа Спасителя в Москве
(род. 1787, ум. 1855)

Не здание хотел он воздвигнуть, а молитву богу1.,

Шведский дворянин Лаврентий Самойлович Витберг в 1779 году с женой своей выехал из Швеции в Россию и поселился в Ревеле. Спустя несколько времени, он переехал в Петербург, где 15 января 1787 года у него родился сын Карл, впоследствии знаменитый художник Александр Витберг. Рожденный в протестантской религии, он получил первое религиозное направление от своего отца, а тот, в свою очередь, заимствовал его от своего родителя, человека глубоко религиозного и строго нравственной жизни. Все это отразилось в жизни и Александра Лаврентьевича. На религиозное настроение его деда имел большое влияние следующий случай. У него была дуэль, на которой он убил своего противника. Под впечатлением чувства раскаяния в нем росла духовная жизнь и укрепилась еще больше раз явившимся ему видением: однажды ночью он был пробужден звуками восхитительной музыки; желая увериться, что это не сон, он открыл глаза и был поражен необыкновенным светом, распространенным в комнате. <Он> привстал2, сел на кровать и увидал у себя на коленях раскрытую книгу; он стал читать ее и в конце второй страницы прочитал на шведском языке следующие стихи, которые <сын> его потом перевел на немецкий язык:

Bleib nun fest und glaub an Gott,
Halt dich an sein heiligen Gebot;
Ich will dich in Freuden führen
Um dein Gebet in Gnaden hören *.

* Будь тверд и веруй в бога, соблюдай его святые заповеди; я поведу тебя стезею радости, милостиво внемля твоей молитве *(нем.)*.

Когда он хотел перевернуть лист -- все исчезло. Можно понять, в каком духе он воспитывал сына. Сверх всего, шведы, спокойные, твердые, с достоинством, по природе своей наклонны к религиозности и таинственному.

В Петербурге Александра Лаврентьевича определили в горный корпус, где, по слабому здоровью, он не мог продолжать своих занятий и был взят домой. Когда же поправился, его поместили в Анненскую школу3, где впервые проявился в нем талант к живописи. Родители, готовили его в медики; к медицине он чувствовал отвращение и сознавал, что призвание его -- изящные искусства. Он объявил это отцу, отец не препятствовал его склонности и предоставил ему полную волю. Молодой Витберг поступил в Академию художеств. Граф Строганов, бывший тогда президентом Академии художеств4, узнавши о талантливости Витберга, доставил ему возможность быть принятым в Академию на казенный счет. Он поступил в четвертый возраст, по исторической живописи и на все ежемесячные экзамены представлял эскизы на задаваемые темы так успешно, что получил за них несколько наград. За рисунки с натуры ему дана была первая серебряная медаль; за картину "Три отрока" (из библии) -- большая золотая, аттестат 1 степени, чин 14 класса и был оставлен при Академии пенсионером с правом на путешествие за границу. За картину "Русская правда" ему дана была медаль золотая. В 1809 году Академия художеств присудила ему большую золотую медаль за картину "Андромаха оплакивает Гектора" и назначила помощником к профессору Угрюмову для обучения воспитанников натурного класса Академии5.

В это время Александр Лаврентьевич случайно приобрел расположение известного мистика, конференц-секретаря Академии художеств Лабзина.

Воспитанники Академии, с разрешения президента, устроили театр. В пьесе Коцебу "Сын любви" Лабзин был так восхищен игрой

Витберга, что пригласил его участвовать в театре одного из своих друзей; это их сблизило, и он стал чаще и чаще бывать на христианских беседах умного, пылкого издателя "Сионского вестника", переводчика религиозных сочинений Штиллинга, Эккартсгаузена и многих других в этом роде. Обладая широким взглядом и даром слова, Лабзин одушевлял беседы и сильно действовал на религиозное настроение молодого человека. К сожалению, несмотря на ум и добродушие Лабзина, излишнее самолюбие делало его иногда тяжелым, раздражительным и резким до того, что раз при президенте Оленине несдержанность навлекла на него гнев государя.

В одном из общих собраний Академии, президент предложил выбаллотировать в почетные члены-любители Академии -- Аракчеева, Гурьева и Кочубея. На вопрос конференц-секретаря, что отличного в этих лицах и чем они могут быть полезны Академии и искусствам, представил на вид, что по положению только такие баллотируются в почетные члены, которые имеют или музеи, или известны особенной любовью к искусствам. Президент отвечал, что это люди близкие к государю.

-- А когда так, то всех ближе к государю Илья кучер, да и сидит к его величеству спиной.

Президент, мимо министра просвещения, донес чрез Аракчеева об этом государю, пользуясь случаем избавиться Лабзина.

Лабзина удалили в Симбирск. Он не мог перенести ссылки, впал в чахотку и вскоре умер6.

Через Лабзина Александр Лаврентьевич познакомился с Державиным, с которым Лабзин был так близок, что держал корректуру его стихотворений и в обществе "Русского слова"7 читал за него его сочинения. Витберг был хорошо принят Державиным, нередко посещал его и нарисовал две виньетки к его лирическим сочинениям. Дом поэта находился на Фонтанке, у Обухова моста, внутри был изящно расположен, снаружи в колоннадах. Прием у Державина был чрезвычайно приветлив, разговор одушевлен. Поэт почти всех посетителей принимал в теплом халате, как ходил дома, и постоянно держал за пазухой маленькую собачку.

Детей у Лабзина не было, а была сирота воспитанница Софья, которую он и жена его желали выдать за человека богатого, но таких

женихов не являлось. Когда Витберг стал бывать у них в доме, Софье было четырнадцать лет, она ему понравилась. Чтобы поближе узнать характер этой девушки, он предложил давать ей уроки рисования; это принято было с благодарностью. По-видимому, Лабзин и жена его имели на Витберга виды относительно Софьи.

В это же время богатый помещик Артемьев привези в Петербург своего сына для помещения на службу вверил его Лабзину. Вскоре Витберг заметил, что у Лабзина родился план женить Артемьева на своей воспитаннице, несмотря на строптивый, тяжелый характер этого молодого человека. Богатство давало ему преимущество над Витбергом, которого также не теряли из вида; это оскорбило Александра Лаврентьевича, и он отклонился от Софьи. Когда же в 1809 году приехало к Петербург семейство Артемьевых, то и совсем охладел к ней. Меньшая дочь Артемьевых Елизавета Васильевна сделала на него сильное впечатление и сама увлеклась им. Они объяснились во взаимных чувствах, но решили до времени хранить это в тайне. Зная гордость ее родителей, они боялись затруднений и неприятностей, несмотря на то, что те были хорошо расположены к Витбергу и по отъезде вступили с ним в переписку.

Во время войны переписка их прервалась. Поместье Артемьевых находилось на смоленской дороге и было занято неприятелем. Сами они бежали в Нижний-Новгород. Когда молодой Артемьев, получивши чин коллежского асессора, вышел в отставку и собрался в деревню к отцу, то, уезжая, открылся Лабзину в любви к его воспитаннице и просил руки ее. Ему дали согласие с великой радостью. Ко всеобщему удивлению, по приезде в семейство, Артемьев с первой же почтой писал Лабзину, что он отказывается от руки Софьи и даже от переписки и знакомства с ним. Лабзин оставил это дело с презрением. Виды его снова обратились на Витберга, на новую привязанность которого он смотрел с неудовольствием и старался отклонить его от нее. По-видимому, это было поводом к их внутреннему разрыву.

Между тем, по окончании войны, 1812 года 25 декабря император Александр благословенный в Вильне издал манифест, в котором возвещал своему народу, что он желает воздвигнуть храм во имя Христа Спасителя, как памятник славы России, как молитву и благодарение искупителю рода человеческого за искупление России.

Государь хотел храмом возблагодарить бога и ему отдать свои победы.

Конкурс о храме Спасителя был напечатан и заявлен даже за границей. А. Л. Витберг был восхищен идеей, посвящения храма Спасителю. Идея новая, обширная! Храм Христу -- это храм христианству, храм -- человечеству. Художник как бы читал в душе государя, и в нем родилось пламенное желание, чтобы храм этот, удовлетворяя требованию царя, был бы достоин и народа; он хотел, чтобы храм во имя Христа был величествен и колоссален, чтобы он перевесил славу храма Петра в Риме, чтобы каждый камень его и все вместе были не произвольными формами архитектуры, не мертвой массой камней, но выразили бы собою духовную идею живого храма божия -- человека: по телу, душе и духу, следуя изречению Христа: "Не ведаете бо, что храм божий есте, и дух святой в вас обитает". Сверх всего, он хотел, чтобы, независимо от главной идеи, храм Спасителю был и памятником доблестных подвигов из истории своего времени.

Мысль эта долго жила в душе Александра Лаврентьевича, но, никогда не занимаясь архитектурою, он считал невозможным ее осуществление. Между тем многие уже трудились над составлением проектов, которые должны были быть внесены на высочайшее усмотрение. Рассматривая проекты своих товарищей по Академии, Витберг во многих находил талантливость, но ни водном не находил одушевлявшей его идеи и невольно приводил ее в самом себе все в большую и большую ясность.

Летом 1813 года Витберг взял отпуск от Академии и первый раз в жизни поехал в Москву; давно желал он видеть первопрестольный город России. Он увидал его сожженный, обгорелый, пустой и над развалинами его Кремль, один уцелевший от погибели. Лабзин дал ему поручение к гр. Ростопчину, которого он не мог исполнить вскорости. Это раздражило Лабзина, и он в письме к почт-директору Дмитрию Павловичу Руничу осыпал Витберга укоризнами. Александр Лаврентьевич написал Лабзину, что письмо его к Руничу глубоко огорчило и оскорбило его. Лабзин ответил холодным извинением, Витберг так же холодно известил Лабзина, что поручение его исполнил. Этим, по-видимому, как переписка их, так и близкие отношения прекратились.

Витберг был знаком с Ростопчиным еще и в Петербурге {Граф Ростопчин увидал у конференц-секретаря Лабзина картину Витберга "Марфа Посадница", которая чрезвычайно понравилась ему. Витберг картину эту поднес Ростопчину. *(Прим. Т. П. Пассек.)*} и очень интересовался им, как человеком гениальным, принимавшим важное участие в последних обстоятельствах России. Ростопчин принял Александра Лаврентьевича чрезвычайно приветливо, пригласил поселиться у него в доме и заняться виньетками и картинами к предполагаемому им описанию патриотически подвигов Отечественной войны {Осталось неизданным. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}8. Витберг отказался от житья у Ростопчина и предпочел предложенную ему квартиру у Рунича в почтамте.

Однажды Витберг, гуляя с Руничем в Кремле, восхищенный величественным видом открывавшегося полгорода, высказал свою мысль о храме. Одушевленный этим рассказом, Рунич просил его неотступно набросать"; главный очерк его идеи. Витберг отвечал, что, не зная архитектуры, трудно исполнить его просьбу; но внутренно влекся к ее осуществлению и решился приняться за дело.

На другой день он начал означать чертежами свои идеи, взялся за архитектурные книги, чтобы идеи подчинить правилам науки, и стал изучать древности и сочинения знаменитейших писателей. С лишком два года; провел он в беспрерывных трудах. Всем пожертвовав он для этого дела, даже и Академией, со всеми соединенными с ней выгодами, обещавшими блестящую будущность. Идеал прояснялся, принимал определенную форму. Наконец художник почувствовал, что он стал на настоящую дорогу, что основание готово, надобно только усовершать.

Усиленные труды доводили иногда Витберга до изнеможения, его поддерживали в Москве архиепископ Августин с находившимся при нем духовенством, бывший министр юстиции поэт Иван Иванович Дмитриев; в Петербурге граф А. К. Разумовский и синодальный обер-прокурор князь А. Н. Голицын.

Занимаясь проектом, Витберг не забывал и любимой им девушки. Он ждал все семейство на зиму в Москву, но о них полтора года не было ни слуху ни духу. Считая это волею провидения, он решился по окончании работ ехать в Петербург, но прежде отъезда желал слышать суждение о своем проекте людей истинно просвещенных. От многих

вельмож, с которыми его познакомил граф Ростопчин, он слышал бесплодные, ни на чем не основанные похвалы и искал больших авторитетов; этому помогла встреча с Матвеем Яковлевичем Мудровым. Однажды Мудров предложил Александру Лаврентьевичу ехать с ним в деревню к Николаю Ивановичу Новикову; Витберг принял предложение с восторгом. Они поехали.

Верстах в шестидесяти от Москвы, по Бронницкой дороге, открылась им небольшая деревушка с ветхой барской усадьбой и запущенным садом. Их встретил чрезвычайно радушно старичок, бледный, болезненный, со взором, исполненным ума, огня и жизни. Это был Николай Иванович Новиков, гениальный деятель, разливавший в России свет Европы9.

"Чего я должен ждать, -- думал Витберг, глядя на старца, -- от взгляда на храм, воздвигаемый Россией, такого человека, который всю жизнь свою воздвигал в России храм иной -- колоссальный, великий".

Новиков жил отшельником в своей деревушке -- единственном достоянии, с одним из оставшихся друзей и сотрудником -- Гамалеем.

Когда вошел Гамалей, о котором Витберг слышал, как о человеке строгом, неприступном, то крайне удивился, увидав старичка, исполненного приветливости и любви, но несколько резкого и молчаливого. Новиков Же, напротив, говорил много, голос его был приятен и Речь до крайности увлекательна. Витберг сказал Новикову о цели своего приезда. Новиков говорил, что он Уже много слышал о его проекте, благодарил, что он вздумал навестить старого страдальца-отшельника, и пожелал видеть проект. Витберг развернул проект и стал объяснять его, сколько можно строже. Новиков слушал внимательно, горячо, как любитель прекрасного. Кончивши, Витберг просил их суждения,

Гамалей сказал:

-- Лучше всего то, что вы расположили храм свои в тройственном виде; если вам удастся это выработать как следует, -- это будет хорошо.

Новиков хвалил идею, советовал откинуть некоторые подробности, чтобы чище оставалась главная идея, и добавил:

-- Очень рад, что вы посвятили свой талант на предмет столь достойный, и предвижу успех. Если люди воздвигают себе памятники и дворцы, то какой же наружный храм надобно воздвигнуть богу

живому? Конечно, надобно, чтобы он не ограничивался красотою формы, в каждую форму должен глубоко врезаться внутренний смысл.

Старики полюбили художника; он провел у них несколько дней, после не раз приезжал к ним в деревню и всегда подолгу беседовал с ними. Во время этих бесед Новиков рассказал ему, как он старался познакомить Россию с лучшими литературными произведениями Европы; как на сильный призыв его стекались друзья во имя общей пользы и любви к просвещению, чтобы совокупно работать; как он завел книжную лавку и огромную типографию, превзошедшую все, заведенные правительством; издавал литературный журнал "Живописец"; как на образование множества молодых людей, на путешествия их по Европе он и друзья его отдавали все свои средства, пропагандируя просвещение. Результаты были блестящие. Рассказывал, как успех его типографии возбудил внимание, потом зависть и, наконец, опасения на счет огромной типографии в руках частного человека. Этот взгляд подкрепили подозрением на счет избрания цесаревича Павла Петровича протектором, и как, несмотря на то что Новиков был далек политических замыслов, он был схвачен, посажен в Шлиссельбургскую крепость, просидел там семь лет, и только при воцарении императора Павла его освободили; но семь лет тюрьмы разрушили его здоровье. По освобождении он удалился в свою расстроенную деревушку, где и жил в глубоком уединении.

Витберг застал обоих старцев за литературными занятиями. Они показали ему свою библиотеку, в которой находилось до пятидесяти книг, переплетенных Новиковым, причем он сказал:

-- С искренней скорбью вижу, что столько труда пропадает даром; некому завещать все это, некому передать мысли для продолжения начатого.

В числе множества разговоров Витберга с обоими друзьями, неоднократно шла речь о снах и видениях вообще и о пророческих снах, виденных Витбергом в его юности.

В одно из своих посещений Витберг просил позволения снять портреты с Новикова и Гамалея. Новиков согласился, Гамалея уговорить не могли.

Когда проект был готов окончательно, Витберг стал думать о поездке в Петербург, как совсем неожиданно приехал к нему молодой Артемьев; он ночевал у него и взял с него слово с ним переписываться.

С первой же почтой Артемьев писал ему, что домашние бранили его, зачем он не привез с собой старого друга, и приглашали его к себе. Витберг принял приглашение и вскоре поехал в их селение Величево. На селении и на барской усадьбе лежали еще следы неприятельского посещения. Витберг вступил в дом Артемьевых в большом волнении. Он чувствовал, что здесь судьба его решится. Спустя несколько времени он сделал предложение Елизавете Васильевне и получил согласие как молодой девушки, так и ее родителей.

Их помолвили.

Витберг уехал в Петербург женихом, располагая через шесть месяцев возвратиться и обвенчаться, но вместо шести месяцев прошло около года, самых тяжелых. Бездна дела, неприятности в Академии, неудовольствия родных и невесты за долгое отсутствие и редкие письма, даже подозрение, что с переменой обстоятельств переменились и чувства, все это вместе огорчало и тяготило его.

20 июля 1816 года Витберг обвенчался с Елизаветой Васильевной Артемьевой в деревянной церкви села Царево-Займищево {В трех верстах от имения Артемьевых. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}, место, где Кутузов принял начальство над войском.

Наконец проекты по строению, храма Спасителя как Русских, так и иностранных известнейших архитекторов были готовы и повергнуты на высочайшее рассмотрение императора Александра I.

Не проект Витберга император обратил особенное внимание и, выслушавши его объяснение идеи храма, прослезился и при князе Голицыне сказал ему:

-- Вы угадали мои мысли, мои желания. Я хранил их в себе, не думая, чтобы архитекторы удовлетворили меня. Вы заставили камни говорить.

Избран был проект Витберга.

Вместе с этим он был причислен к ведомству кабинета его величества с годовым окладом трех тысяч рублей и с выдачей в разные времена до двенадцати тысяч.

Слезы, скатившиеся по лицу государя, были высшею наградою художнику.

Он был осыпан вниманием всей царской фамилии, изустной похвалой короля прусского и прусского наследного принца, в бытность его величества в Москве {Нынешний король Фридрих-Вильгельм IV.

(Прим. Т. П. Пассек.)}. Принц Оранский посетил его чертежную {Нынешний король нидерландский Вильгельм II. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}. Он наперерыв получал похвалы от полномочных представителей почти всех европейских держав, многих знаменитых путешественников и замечательных соотечественников. Проект этот называли "архитектурного поэзиею и поэмою храма". Граф Воронцов желал способствовать к изданию проекта в свет и переводу его на греческий язык. Известный мюнхенский инженер Вибекинг в издании своем "История архитектуры" писал о заложенном на Воробьевых горах храме, как о величайшем зодческом произведении новейших времен по смелости и колоссальности идеи10.

Императорская Академия художеств в отчете своем за 1835 год назвала проект этот трудом, достойным своего назначения11. Столько наград вперед выкупает много несчастий и гонений.

Наружный вид плана храма Спасителя -- тройственный, крестообразный. Как в целом, так и каждая часть его выражают внутренний смысл. Тройственность эта соответствует человеку, который, по словам священного писания, есть "храм духа святого", состоящий из трех начал: тела, души и духа. Такая же тройственность обозначает и три периода жизни Спасителя: воплощение, преображение и воскресение.

Первый храм -- нижний, *храм телесный*, тремя сторонами вдается в гору; свет проникает в него с четвертой стороны -- восточной. Алтарь освещают огромные стекла с изображением рождества Христова, Свод поддерживается столбами из гранита. Стены украшены черным, белым и серым мрамором. Барельефы изображают историю и смерть Спасителя и апостолов. В углублении катакомбы в память всех воинов, павших за отечество. Свод образует фундамент второго храма и завершается катакомбой, в которой должны быть положены воины, павшие за отечество в 1812 году. Внутренние лестницы соединяют нижний храм со вторым.

Второй храм, *храм душевный*, начинается на поверхности горы. Форма второго храма -- пересечение двух линий -- *крест*. Свет в полутонах сообщается ему от верхнего храма из окон, размещенных невидимо. Алтарь освещен образом Преображения. Барельефы изображают жизнь и деяния Христа и апостолов. Внутренние лестницы ведут в храм третий.

Храм духовный представляет собою следствие креста-- *круг*, выражающий безначальность и бесконечность духа. Плафон в куполе верхнего храма изображает отверстое небо, ярко освещенное искусственным светом. Алтарь озаряет воскресение Спасителя. Барельефы представляют историю Спасителя по его воскресении и его вознесение от этого мира.

Главный вход в храм ведет лестница на первую площадь; лестница эта разделяет большую террасу на две половины, с которой идет вход в храм нижний, С обеих сторон террасы поднимаются уступы на верхнюю площадь ко второму храму. Главный купол храма поддерживается сквозной чугунной колоннадой, с каждой стороны колоннады помещается кольцеобразно по пяти статуй главных добродетелей. С одной стороны -- Ветхого завета, с другой -- Нового, с текстами священного писания.

Наружный обход второго храма украшают изображения пророков.

Верхнюю часть третьего храма окружают ангелы. Стиль всего храма, в греческом характере, поражает правильностию, изяществом и величественной красотой12.

Не здание хотел воздвигнуть художник, а молитву богу!

1817 года 12 октября на Воробьевых горах, между дорогами Смоленской и Калужской, в то самое число и на том самом месте, где арьергард французский имел последний ночлег, торжественно и всенародно, в присутствии государя и духовенства совершена была закладка храма Спасителя. Первый камень положил император, второй -- художник-строитель храма Витберг. Из Тарутина был доставлен военный понтон, служивший императору Александру в походе 1812 года. Он был накинут на Москву-реку и государь переехал на нем к месту своего обета.

При избрании Воробьевых гор принято было в соображение не только красота местности и исторические факты, соответствующие значению отечественного памятника, но и экономический расчет: тут находилось достаточно материала для кирпича.

В день закладки храма Витберг был произведен в коллежские асессоры. Когда он явился к князю Голицыну с благодарением, князь объявил ему по поручению государя, что государь, хотя и не находит надобности в его присоединении к православию, но что при

настоящих обстоятельствах видит в этом необходимость для народа и желает этого, если это согласно и с его желанием.

Предметы религиозные всегда сильно занимали Витберга. Вследствие же близкого знакомства с Лабзиным и беседы с ним он уже давно находил в обрядах греко-российской церкви глубокие указания. Сверх того, Августин постоянно склонял его присоединиться к православию, и Витберг был близок к этому, но не видел еще надобности; теперь же, сообразуясь с указанием государя, -- согласился.

Государь изъявил желание быть его восприемником и дал ему свое имя "Александр".

1817 года 24 декабря, в сочельник, в домовой церкви архиепископа Витберг был присоединен к православной церкви при священнодействии Августина. От имени государя находился князь А. Н. Голицын. При обряде присутствовали только жена Витберга с его сыном, двое друзей его, священник из кадетского корпуса и доктор Мудров.

Затем Витберг сделан был потомственным дворянином, о чем тогда же были разосланы печатные указы.

На другой день обряда князь Голицын, вместе с поздравлением от государя, объявил Витбергу высочайшую волю, чтобы он в наискорейшем времени занялся составлением *"проекта комиссии"* сооружения храма Спасителя, дабы народ не думал, что государь ограничился одной закладкой, и ему желательно бы было, чтобы к его отъезду все было готово.

На закладке храма Витберг сильно простудился и был тяжело болен. Это замедлило дело.

Уезжая в Петербург, государь предоставил Александру Лаврентьевичу вполне ведение дела, а в случае надобности лично явиться в Петербург.

Оправившись от болезни, Витберг тотчас занялся изложением общей мысли учреждения комиссии. Везде он отрывался от форм, утомляющих силы, сковывающих действия и только в необходимых случаях жертвовал рутине и обыкновенным затруднениям.

Чтобы ближе познакомиться с чуждой ему частью хозяйственной, Витберг советовался с опытными людьми, вдумывался, трудился. Наконец проект был готов.

Экономическая цель проекта состояла в том, чтобы умеренными средствами совершить это великое дело; сколько можно, избегать разорительных подрядов и не зависеть от неограниченной, корыстной воли подрядчиков, в случае войны или других затруднений в финансах не могло бы быть остановки в работах храма от неотпуска суммы.

По воле государя, проект комиссии поступил на рассмотрение министра финансов Д. А. Гурьева.

Гурьев проект одобрил.

Затем последовало высочайшее одобрение, и Витберг, с причисленными к нему чиновниками, был откомандирован приступить к отысканию строительного материала и приобретению работников.

Он открыл много мест, изобилующих хорошим камнем, с возможностию доставки по Москве-реке вплоть до Воробьевых гор, сделавши реку судоходного. С тем вместе отыскал несколько помещичьих имений по назначенной им умеренной цене, некоторые даже с понижением против цен, высочайше утвержденных.

В 1820 году Витберг отправился в Петербург для донесения о благополучном успехе возложенных на него поручений. Он явился к князю Голицыну, который объявил ему, что министр финансов подал формальное опровержение его экономического проекта.

На следующий день, по воле государя, мнение министра финансов передано было Витбергу с тем, чтобы он сделал на него объяснения.

Витберг написал возражение. Государь остался им доволен и утвердил проект комиссии с экономической частью.

7 июля 1820 года составился следующий рескрипт на имя князя А. Н. Голицына:

"Князь Александр Николаевич! Манифестом, данным в Вильне в двадцать пятый день декабря 1812 года, возвестил я намерение соорудить в первопрестольном граде Москве храм во имя Христа Спасителя, вследствие чего и заложен сей храм октября 12 дня 1817 года на Воробьевых горах по утвержденному мною плану академика, коллежского асессора Витберга. Ныне, для производства строения по сему плану и для распоряжения4 назначаемыми к тому денежными и другими пособиями, признал я за нужное учредить комиссию из двух первенствующих и двух непременных членов; первенствующими членами сей комиссии повелеваю быть митрополиту московскому

Серафиму и московскому военному генерал-губернатору князю Голицыну; непременными -- коллежскому асессору Витбергу, в звании директора строения и экономической части, и одному советнику, который от меня впредь назначен будет.

Я поручаю вам привести сие в надлежащее исполнение и объявить о сем первенствующим членам комиссии. Пребываю вам всегда благосклонный

Александр".

8 конце 1820 года комиссия для сооружения храма была открыта. Кроме упомянутых лиц, находились два советника; для практической искусственной части в штате архитектор с помощниками, каменный мастер, инженер-механик и чиновники по канцелярии.

Комиссия состояла под непосредственным ведением государя. О делах комиссии государю докладывал министр духовных дел и народного просвещения князь А. Н. Голицын.

Успех в исполнении экономического проекта превосходил ожидания. В 1822 году комиссия имела до 24 000 душ крестьян и приступила к земляным работам. Для хозяйственных строений, плотин, постройки барок, дамбы, набережной и проч. приобретено было большое количество материала. Все с значительным понижением справочных цен. Построена была и водоподъемная машина -- первая в России. Оставалось только совершенствовать и исполнять.

Но высокая мысль и чистое стремление часто встречают противодействие. По отбытии в Петербург преосвященного Серафима некоторые из лиц комиссии задались нечистою целью и увлекли за собою незлонамеренных, но слабых. Витберг необходимо стал в оппозицию с комиссией. С точным исполнением проекта соединена была его слава, его существование. Другие же искали только своих выгод и не останавливались ни за ложью, ни за клеветой. Первым поводом к такого рода действиям был разлад графа Аракчеева с князем Голицыным по поводу строения храма. Чтобы дать иной ход этому делу, органом своего желания граф сделал сенатора Кушникова, только что поступившего в комиссию. Не рассмотревши дела, Кушников поехал в Петербург и подал государю записку, в которой представил в

опороченном виде все действия экономической и хозяйственной части, бывшие до его поступления. Содержание этой обвинительной записки было до того ничтожно, что государь оставил ее в безгласности. Витберг узнал о ее содержании спустя много времени, при чтении из нее экстракта в уголовной палате. В это же время занял в комиссии вакансию советник Маслов, с тайным предписанием действовать к поддержанию записки Кушникова. В 1824 году Кушников исходатайствовал некоторые постановления, изменявшие коренное учреждение комиссии. Вскоре князь Голицын был заменен синодальным обер-прокурором князем Мещерским, и комиссия лишилась своего сильного представителя.

Такими смутными обстоятельствами воспользовался чиновник особых поручений при Витберге Балкашин. Он стал принимать на себя подряды под чужим именем. Затем сблизился с Масловым, посредством которого увлек в свою пользу первенствующих членов до того, что они произвольно заменили прежнее экономическое положение новым, которым предоставляли себе непосредственное распоряжение по заготовлению материала, и привели его в действие, не выжидая высочайшего утверждения.

В бытность Витберга в Петербурге казенные барки с камнем, сделавшие в одно лето четыре сплава, были отняты от заведовавшего ими и переданы Балкашину. В последующее лето барки ни разу не были сплавлены, а затем злонамеренно потоплены.

Такие же злоупотребления были и со складами камня, с известью, с подводами, с лошадьми, с подрядами на камень.

Окончательно же восстановились против Витберга заинтересованные в этих делах тем, что он не допустил состояться подряду по одним торгам на доставку камня, последняя цена на который осталась за поверенным Федоровым по сорок четыре рубля с кубической сажени; первенствующие члены соглашались утвердить, советник спешил скрепить журнал, Витберг удержал его руку и заметил, что цену можно понизить слишком на сто тысяч. Сделали переторжку: разницы вышло против первой цены в пользу казны триста девяносто тысяч рублей.

За это, в отмщение Витбергу, стали прибегать не только что к ложным доносам и клевете, но вооружили против него первенствующих членов и увлекли их в пользу неправой стороны.

Тогда Витберг открыто объявил в комиссии о беззаконных действиях Балкашина, который по вредным связям своим с советниками употребляет во зло доверенность первенствующих членов, вовлекая их подписывать фальшивые доклады и неправильные определения, и добавил, что так как их подрядные виды угрожают ввергнуть в ответственность всю комиссию, то он. считает себя обязанным довести обо всем до сведения государя. В заключение предложил первенствующим членам приостановиться действиями комиссии до высочайшего разрешения о должном направлении дел. Князь Дмитрий Владимирович сказал, что действительно лучше приостановиться действиями комиссии, чем отвечать за чьи-нибудь дурные дела, но не устоял в этом намерении и во время отсутствия Витберга не только что подписывал с прочими членами все, что ему представляли советники, но еще в том числе выдал Балкашину сто пятнадцать тысяч рублей за противозаконно выломанный им камень в чужом имении и на освобождение его залогов по каменноломному подряду,

В Петербурге Витберг подал государю письмо, в котором объяснял все дело комиссии и что он не в силах противоборствовать. Государь собирался в Таганрог. Перед отъездом своим назначил ему вечер для личного объяснения, но, задержанный прощальными свиданиями, поручил ему объяснить все дело графу Аракчееву, к которому поступили и все бумаги по комиссии.

Из свидания с Аракчеевым Витберг заметил, что ему хорошо известны дела комиссии и правильность его действий; меры Кушникова он называл опрометчивыми, а относительно неприятностей, вынесенных Витбергом, сказал ему: "Ну, уж что делать, за то, верно, государь император наградит вас". Таким образом, граф, завязавший интригу, хотел развязать ее наилучшим образом в пользу великого памятника России. Но он вскоре заболел и был отстранен от дел. Через два месяца император кончил жизнь. Воцарившемуся государю были неизвестны дела комиссии, и Витберг остался один против нескольких лиц с сильными связями, неутомимо стремившимися к его гибели.

Комиссия вошла к императору Николаю Павловичу с докладом, в котором повторила обвинения строителя храма; государь поручил статс-секретарю Николаю Назаровичу Муравьеву отобрать от

Витберга объяснения. Муравьевым на поднесенное от комиссии обвинение представлен был следующий доклад:

"Сооружаемого в Москве храма директор и экономической комиссии член, коллежский советник Витберг с полной обстоятельностию отразил все обвинения комиссии, причем изложил сущность той экономической системы построения, которою он руководствовался и то зло и те убытки для казны, какие проистекали от "подрядной системы", которой упорно держались его сочлены по комиссии".

1826 года с ноября месяца, по высочайшему повелению, приказано было генерал-адъютанту Стрекалову исследовать весь ход дел комиссии по построению храма, вследствие жалобы отставного капитана гвардии Ивана Алексеевича Яковлева, состоявшей в том, что каменноломный подрядчик Балкашин самовольно открыл ломку камня в его имении, селе Васильевском, при Москве-реке, взорвал порохом находящиеся в Васильевском горы камня и мрамора, завалил обломками на большое пространство поле и берег реки, чем нанес ему большой вред.

Витберг принужден был давать формальные ответы и показания на запросы следователя.

Следователь был весь на стороне противников художника. Ревизия Стрекалова продолжалась два месяца, сам он лично был только один раз в комиссии. Делом занимался его секретарь с советниками без присутствия Витберга.

Объяснение советников пущено было в ход, Витбергово задержано; он препроводил куда следует с него копию, это послужило к правильному рассмотрению дела, и решением сената подверглись *подсудимости не только советники, но и первенствующие члены, которые избавлены были. от оной только по званию своему,* а за ними проскользнули и действительные виновники.

Для рассмотрения ревизии Стрекалова был высочайше учрежден комитет. Результатом комитета было высочайшее повеление 1827 года 16 апреля о закрытии комиссии сооружения храма и отдача членов комиссии под суд московской уголовной палаты.

Присланные из Петербурга чиновники контроля, больше по догадкам и соображениям, как писал об этом Рунич, насчитали до девятисот тысяч разного рода растрат и передач во вред казны.

Действительные же выгоды, как-то: при покупках имений, заготовлении леса, строении барок и проч. были скрыты.

Ревизия была представлена на высочайшее внимание государя, помимо мнения государственного контролера, и передана сенату.

Дело это тянулось около десяти лет и окончено в 1835 году. Все лица, бывшие под судом, в том числе и Витберг, признаны виновными "в *злоупотреблениях* и противозаконных действиях в ущерб казны".

В вознаграждение таковых ущербов, исчисленных до пятисот восьмидесяти тысяч рублей, описаны были имения подсудимых {Находились под секвестром. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}; Витберг в том же 1835 году был сослан в Вятку.

Решение дела было для Витберга страшным ударом,-- он не ожидал его. Великий художник был уверен, что будет оправдан и даже вознагражден.

История построения храма Витбергом и все течение этого дела соединены, хотя не ясно, с воспоминаниями моего отрочества и юности, об этом деле я слыхала частые, горячие разговоры в доме Ивана Алексеевича, особенно с того времени, как замешались в него его личные интересы, вследствие взрыва порохом мраморных гор и камня в Васильевском. Взрыв, рассказывали, был неожидан и так ужасен, что на селе у крестьян и в барском доме вылетели из окон стекла и пошатнулись некоторые из старых построек. Громадные глыбы камня и мрамора версты на две завалили поле и берега Москвы-реки. Живши в Васильевском, мы иногда ходили среди этих развалин, дивились их величию, и каждый раз при этом приходилось слушать повторение печальной истории постройки храма Спасителя на Воробьевых горах. Чтение записок Витберга, соединившись с моими воспоминаниями, вызвало у меня желание попространнее поговорить об этом времени, об этом замечательном обете императора Александра Павловича и о величественном плане храма Спасителя, возникшем в религиозной душе художника, так дивно совпавшем с идеалом храма, жившим в душе государя.

Сверх того, впоследствии с художником-страдальцем судьба сплела довольно тесно судьбу товарища и друга моих дальних лет -- Саши, что можно видеть из приложенных здесь нескольких писем его к Витбергу.

ГЛАВА 32

ПЕРЕПИСКА

1835--1838

.....Письмо твое
Пахнуло жизнью благодатной,
Сердечный голос песни внятной
Смягчил страдание мое1.

За три года до своего осуждения Витберг лишился отца и любимой жены. Он сильно тосковал, дети оставались без присмотра, он женился вновь на бедной девушке Авдотье Викторовне Пузыревской и вскоре после женитьбы был выслан на жительство в Вятку. Собравшись наскоро, захватив с собою свой проект, свои бумаги, он отправился в ссылку один; семейство его, состоявшее из жены, двух дочерей и двух сыновей, приехало к нему спустя несколько месяцев.

1835 года в ноябре месяце бывший строитель храма Христа Спасителя прибыл на место своей ссылки.

Приезд Витберга в Вятку произвел там сильное впечатление. Когда он появлялся на улицах, прохожие останавливались и с любопытством осматривали его. Купцы, сидельцы бросали лавки и выбегали посмотреть на знаменитого ссыльного.

В Вятке Витберг повел жизнь самую уединенную, терпел сильную нужду, никому не жаловался на свою участь, долго не терял надежды оправдаться и восстановить свое честное имя, даже надеялся

со временем видеть свой проект осуществленным и с неостывшей любовью продолжал заниматься его обработкой.

Душевное состояние его неожиданно нашло поддержку в дружбе Александра, случайно попавшего в Вятку.

В 1835 году осенью они встретились на одном вечере и сблизились.

В 1837 году Саша был переведен во Владимир2,

По приезде во Владимир он писал Витбергу3:

"Покорнейше прошу всех сесть кругом, а читать заставить Веру Александровну {Старшая дочь Витберга. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}.

Я понемногу начинаю привыкать к совершенно одинокой жизни, начинаю отвыкать от людей и с тем вместе от шума; мысль, чувство не испаряется словом, а кристаллизуется глубоко в душе. Довольно мне люди последовательно передали все, что у них есть. Сначала материальное существование, потом одной рукою симпатию и дружбу, другой -- гнет и ненависть; одной рукой подали библию, а другой -- Фоблаза; больше нечего мне получить. Мысль славы, и тобою я жертвую. Вы ее назвали ребяческою в одном из последних разговоров и были неправы; мысль деятельности -- прощай, и ты! И мне жаль их, так как жаль вятских друзей и друзей московских; но делать нечего, -- я *не ваш*, так, как монах, не принадлежу свету, а принадлежу вселенной. Недавно сладко и изящно мечтал я о смерти, она мне являлась с чертами ангела, и, скрестив руки на грудь, я смотрел вверх. Эти дни моя душа не болела так судорожно, не рвалась так на клочки, как прежде, -- и вот гармония разлилась по ней. Часто обертываюсь и смотрю на это прожитое пространство, и оно выходит из гроба, и я, как "покойный император" Жуковского, делаю смотр4: вот оргии, в которых все-таки нет того вреда, который вы предполагаете, вот смех, вот слеза, слезы, -- я не отворачиваюсь ни от чего. Душа моя -- offne Tafel {чистая доска *(нем.)*.}. Да, *я изведал жизнь* не так, как поэты нашего века, а свинцом и зажженной серой. Святого искал я и нашел наконец святое, а в нем, как в белом луче солнца, соединено и изящное и великое.

Моя владимирская жизнь, повторяю, это сорок дней в пустыне, это крест на паперти.

Вы не узнали бы меня, нет, вы-то бы, кажется, узнали, а многие, любившие во мне не мое -- *разгул*, не узнали бы теперь. Дай бог сил

совершить начатое; но он и дает силы, он сам своей десницей подносит к устам моим чашу небесного, святого питья. Александр Лаврентьевич, высока жизнь и на земле для того, кто умеет ее постигнуть.

Теперь ко вздору, то есть к подробностям обо мне. Головная боль sui generis {своеобразная *(лат.)*.} продолжается, то есть не боль, а сильные приливы; совсем напротив, кажется, что надзор не продолжается5, но я еще ничего не предпринимаю.

Далее, я совершенно отвык есть; доселе и копченая телятина, и рябчики, и все цело; тут еще из Москвы наслали всякой всячины, и мне смешно смотреть на заботу об еде. Что на это скажет Эрн?

Квартира довольно велика и удобна, но нечиста до бесконечности; я тут не останусь, хочу иметь un joli chez soi, un chez soi comfortable {прелестный уголок, уютный уголок *(франц.)*.}, а дорого -- 25 рублей в месяц. Здесь на все дороговизна непомерная. А может, скоро и не надобно во Владимире chez soi, -- я солнцем {В подлиннике нарисовано солнце. *(Прим. Т. П. Пассек.)*} буду намечать эту мысль.

Но, в самом деле, я эгоист, говорю все о себе, и так, сим оканчиваю *ячество.*

Что, вы долго ли грустили обо мне и как теперь? Пожалуйста, подробнее пишите: и дым Вятки Герцену сладок и приятен6; извините, что не сказал отечества, отечество мое -- Москва.

Как теперь, вижу: вот Вера Александровна разливает чай, а дежурная идет за Прасковьей Петровной {Вдова Медведева, друг Витбергов, жившая вместе с ними. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}, а вы ходите по комнате с Авдотьей Викторовной. Когда-то увидимся? ежели и никогда, не ужасайтесь: души наши увидятся; где бы ни был пилигрим, он благословит дуб, под сенью которого отдыхал (в альбоме у Веры Александровны)7, он не забудет родительский дом в чужом доме, Бога ради, Прасковья Петровна, берегите ваше здоровье. Вы не можете о жизни говорить так, как я: ваша жизнь имеет определенную, святую цель, и эта цель требует не токмо жизни, но и здоровья. Взгляните на этих милых, прелестных херувимчиков и не неглижируйте.

Ах, как хорошо провели мы время в один из последних вечеров, когда с Полиной перечитывали "Деву Орлеанскую"8, помните, Вера Александровна? но перед тем как вы пели "Матушка, голова болит",

как континуацию {продолжение (от *лат.* continuatio).} Деве Орлеанской, у которой часто болела душа. Опять начал вздор говорить; прощайте, прощайте, прощайте",

"24 февраля 1838 г.9

Письмо ваше, Александр Лаврентьевич, от 15-го, получил, и вот ответ; сперва об вас, потом о себе... {Вятский друг пишет Витбергу о растрате его имущества, вверенного в Москве одному родственнику жены Александра Лаврентьевича. Все подробности здесь опущены. *(Прим. Т. П. Пассек.)*} Я вам пишу, как сын, как близкий родственник, смело говорю вам, на меня считайте. Благодарю вас за письмо и возвращаю его10 *(но с тем вместе решительно прошу вас с моего письма списка не посылать, я говорю с вами).* Я прочел это письмо, Александр Лаврентьевич! Ваша душа -- храм одной мысли, чистая и высокая -- очень доверчива; я мало верю словам, может, потому, что сам бросал их направо и налево, теперь обращаюсь к себе, и вот вам полная исповедь, судите сами:

Половина тягостного положения, в котором я писал к Эрну, снята. "Le grand secret de la révolution, -- говаривал знаток в этих делах Saint Juste, -- c'est d'oser".

En bien, j'ai osé, j'ai écrit à mon père une lettre feu et flamme, on y voyait le fils prosterné devant son père et l'homme résolu. La lettre était vraiment belle, mais acre en divers points. Les vexations qu'elle souffre étaient la cause de ces âcretés {"Великий секрет революции... это -- дерзать". Так вот, я дерзнул, я написал своему отцу письмо, горячее и неистовое, в нем выступал и сын, поверженный к стопам отца, и решительный человек. Письмо было поистине великолепно, но местами вышло язвительным, и причину этой язвительности следует искать в получаемых ею оскорблениях *(франц.).*}.

Ну, слушайте же: получаю ответ, как обыкновенно, без удивления, довольно холодный; потом другое письмо, в нем прямо и ясно сказано: "Однажды и навсегда благословляю тебя на жизнь твою и следственно на все предприятия. Но так как ты придумал сам, то сам и делай как хочешь, я уверяю в одном, что мешать не стану.

Capisco, capisco, как говорят итальянцы: capisco, caro Padre! {Понимаю, понимаю, милый отец! *(итал.).*} Мешать не стану -- значит в переводе: "Я знаю, что ты не можешь обойтиться без моей помощи"; ну, признаюсь, у меня все было готово в случае отказа, двадцать человек просили быть помощниками, но это полудозволение все остановило, и я хочу попробовать тихо кончить и, ежели можно, нынешним летом; да, непременно нынешним летом, ибо вы не можете себе представить, что делает княгиня11. Я готов отложить, потребую формального обручения. Вот и все. Перестрадал я в это время ужасно много, несколько раз бледный и отчаянный обращал я взор к небу и молился. Теперь лучше, и я спокойнее жду, как судьба развяжет узел, завязанный рукою бога!

Вот вам довольно странный случай. В Москве простой народ говорил: "Горе работникам, которые коснутся до. Алексеевского монастыря", -- и что же? в первый день при огромной толпе, работник, снимая крест, сорвался и расшибся вдребезги!12

Вы угадали -- Жуковский вымарал пять последних строк в I Maestri...13

P. S. Вчера обедал я у проезжавшего здесь сенатора Озерова; я завел речь об вас, pour épier, und manches möchte ich schreiben, er hat eine wichtige Stelle bei der neuen Commission {чтобы разведать, и вот, многое хотелось бы написать, он занимает важное место в новой комиссии *(франц.* и *нем.).*}14.

Вина не пью, сижу все еще безвыходно дома, пишу новую повесть и, кажется, удачно заглавие: "Его превосходительство"15.

"7 апреля 1838 года.

Ежели вы прочли письмо к Эрну, то не для чего писать о том же, Александр Лаврентьевич, да и у меня на душе рассказать вам три восторга, три вдохновенья. Господь очищает мою душу, слава ему, слава!

Я говел -- холодно пришел на исповедь; священник-поэт увлек меня, мы расстались тронутыми, я каялся, обличал себя и клялся исправиться;16 он молился обо мне -- и не для формы, Вот первая

минута. В молитве провел я время до причастия; прихожу в церковь, подхожу к дарам, в то же самое время женщина подняла маленького ребенка, и священник сказал: "Причащается раб божий Александр", и прибавил: "И раба божия Наталия". Вы это понимаете, толковать нечего -- это вторая минута. Третья -- обедня в праздник, архиерейская служба. Да, греческая литургия -- поэма, это мистерия и драма высочайшая. Вот идут четыре дьякона на четыре конца мира проповедовать евангелие, вот его наместник в прахе молит бога благословить жертвоприношение. Но прежде он у ног клира, который целует руку его, потом у ног народа -- чистым идет к престолу. Это высоко! Маститый старец выходит из алтаря, то есть с востока, как Геспер, и говорит западу: "Христос воскресе!" Тысячью голосами подтверждает запад, говорит югу, северу -- и север и юг подтверждают. Тогда старец обнимает и целует клир, целует всех, и все целуются, все ликует. Искупление мира совершилось! Поверите ли, что я совершенно увлекся поэзией литургии и так от души целовался с священниками, как сын с отцом. О, вот каким хотел Христос человечество, чтобы весь род человеческий обнялся и прижался бы к его неизмеримому сердцу! Весь род человеческий должен любить друг друга, как я и Наташа любим {Влияние мистицизма Витберга было так сильно на его "вятского друга", что в это время Герцен написал исторические сцены в социально-религиозном духе. В некоторых из них представил борьбу древнего мира с христианством; тут апостол Павел, входя в Рим, воскресил мертвого юношу к новой жизни. Одна из этих римских сцен помещена в 29 главе "Из дальних лет". *(Прим. Т. П. Пассек.)*}.

А что они сделали, люди? -- Снисхождение! они еще поправятся, они дети, будут взрослые.

Ну, еще новость. Из прошлого письма вы могли догадаться, что я виделся с Наташей; это было в седьмом часу утра, на полчаса. Она требовала, чтобы седьмой час каждого дня был посвящен молитве. Я исполнил волю посланницы божией -- и, поверите ли, никогда не просплю седьмого часа и теперь так привык, что, как проснусь, рука поневоле складывает крест и уста поневоле начинают молитву. Моя молитва проста, одна благодарность за то, что существует ангел, -- больше ничего. Потом часто опять засыпаю.

О, какое необъятное расстояние между моей вятской жизнию и здешней. И сухая мысль о славе падает, и все, все обращается в одну светлую область любви.

Мы умрем от любви.

Желал бы умереть в самое то время, когда кончится венчание, тут, в церкви, тут, перед престолом, -- или нет, выйти на воздух. Природа та же церковь, но зодчий-- бог. Моя фантазия делается шире, а ум -- глупее. Хороший признак. Обнимаю вас, как сын".

"11 мая 1838 г. Владимир.

Александр Лаврентьевич, не ждите ни рассказа, ни отчета, ничего; довольно, ежели скажу, что 9 мая я венчался во Владимире. Слишком светло, слишком свято, чтоб переносить на бумагу. Наконец гармония заменит судорожное развитие. Как и что, напишу после, гораздо после... довольно -- я ее увез, прямо в церковь и с благословения архиерея, с соблюдением всех форм обвенчался18. Счастлив ли я? ну, тут нечего и говорить, пусть скажет это M-me Herzen сама.

Поручаю aux bonnes grâces {благосклонному расположению *(франц.).*} ваших *мою жену.* Прощайте.

По вашему наставлению, Наташино кольцо серебряное19. *Александр".*

...Нет меры, нет пределов нашему блаженству... Но мысль, что эти строки наведут улыбку на ваше сердце, на ваши уста... Великий! расширяет его еще больше! Наконец совершилось то, к чему я шла со дня моего появления в мир. И как все было дивно, торжественно! Я уверена, что и в Вятке 9 мая небо было яснее. Вы благословили Александра на пути терновом, благословите теперь сына и дочь на пути, усеянном цветами рая, любимыми цветами бога! *Наташа.*

Сообщите всем любящим и помнящим меня о 9 мае. Всем, всем. *Александр".*

"3 июня 1838 г. Владимир.

С искренним и живым восторгом прочли мы, почтеннейший, любезнейший Александр Лаврентьевич, ваше письмо от 24-го. И вы не хотели тогда дать мне поцеловать вашу руку, я целую ее теперь. О, я умею чувствовать эту струю теплоты, умею понимать слова с уст ваших!

Вы ближайший мне родственник. Боже мой, как я богат, как счастлив -- и любовь и симпатия венчают меня. Дайте остановиться, волнуется сердце. О, как бы я прижал вас к груди моей, как пролил бы вместе слезу! Ведь тогда, в 1835 году, я, слабый, неокрепнувший, увлеченный, в вашем объятии нашел опору отца, я был еще не устроен, а теперь этот юноша, этот сын... нет, нет, не словом, не звуками, а слезой и взором я бы сказал вам, что я теперь.

Как было, какие последствия -- вот несколько слов, но уж *лично* подробности; я *верю,* что мне еще суждено видеть *семью родных.* Папенька объявил полное прощение, амнистию -- и доказательство приложил государственными ассигнациями; первое я сохранил навеки в сердце, второе -- на два дня в шкатулке. Теперь история. Я прискакал за Наташей, взял ее в коляску, в чужом платке, в чужом салопе, 8 мая, в обед и поскакал назад. Тут все было готово. Смутно было по дороге, и опасения и необъятность счастия -- словом, ни я, ни она не поняли, что мы едем вместе. Минутно вспыхивала душа, но постоянно была оглушена счастьем. Ночью мы проезжали маленький город; было темно, город спал, но в часовне теплилась лампада, а свет ее, обращенный туда, к деве чистейшей, затрепетал на лице моей Наталии; тут я проснулся, сказал ей: "молись" и молился; потом опять дорога, хлопоты, "пожалуйте на водку" и т. д. В пять часов после обеда мы приехали. Все было готово, но -- что всего лучше -- и души наши изготовились. Когда я подал руку ей, чтоб вести в церковь, тогда душа полным размахом взлетела. О, тогда мы были изящны, а пышное солнце на закате нас освещало, провожало! В церкви почти никого не было; рука об руку взошел я с нею, Вы знаете, что я уже понимаю теперь важность таинства, что я понял "любите друг друга, зане повелевает бог". О, это было торжественно и величественно! И священник дивный, ну все, все, даже "многая лета" на конце гремело торжественнее обыкновенного. Несколько дней после мы дивились

друг на друга, как это случилось, спрашивали друг друга; а когда настало гармоническое, спокойное чувство, когда мы развернули наши письма, когда вместе стали читать отрывки этой поэмы, которая поднимала нас к небу, и потом бросились друг другу на шею, -- ну, опять граница. Язык мал, беден, недостаточен (и притом говорю я, а вы знаете мою способность *языческую).* И как для меня ново это гармоническое бытие после судорожной юности; я чувствую, что становлюсь сильнее, -- да, имея такой залог от бога. Однако пора из вашего кабинета идти, прощайте. Да я не со двора, а в ту комнату, то есть к Авдотье Викторовне.

Да, сестра, ангела, ангела дивного послало мне небо. Ежели ему довольно любви пламенной, беспредельной, любви души широкой, ежели достаточно, что эта душа, алкавшая и славы, и шума, и поприща, и власти, вместо всего смиренно обратилась к подножию его, то она счастлива. А вы знаете любовь ее ко мне...

Верите ли, что я дал бы теперь половину, что у меня есть, чтоб провесть неделю с Наташей в дальней, холодной Вятке. Богу угодно было соединить, переплесть жизнь Витбергов с жизнью Герценых. Да исполнится воля его.

Ну, позвольте теперь поговорить о вздоре -- неизлечим, грешный человек: ну, представьте вы себе меня женатым, комфортабельным человеком; воля ваша, а это смешно. Ну, мы сущие дети, маленькие дети, и я и Natalie -- шалим, учимся. Впрочем, по хозяйственному отношению, я занимаюсь много, а именно с султанскою настойчивостью требую, чтобы Madam-дитя ходила *затянутая* и одетая car tel est le bon plaisir de Monsieur{ибо таково желание господина *(франц).*}-дитя.

А получили ли вы канву? Я с тех пор, как женат, сделался вот как аккуратен20. А на душе светло, светло!

Где Вера Александровна, меньшая сестра? в саду или дорисовывает розан, начатый лета 1673, ну, тот, что Александр Лаврентьевич смыл? все равно, где бы она ни была, она мне даст руку, а я ее сожму крепко, от души...

Через месяц ваше рождение, -- поздравляю. Какой дивный был вечер в 1836 году -- помните?

P. S. Да, я забыл было: 1) брак был с благословения архиерея, 2) все денежные издержки фурнированы {выполнены (от *франц.*

fournir).} были благородным Косьмой Васильевичем Беляевым; мне, приятно упомянуть об этом, тем более что все это требовало довольно значительной суммы.

P. S. А уж княгиня Марья Алексеевна как бесится. А Голохвастов все скачет по Москве и судит; говорят, от него в Москве проезда нет"21.

Спустя несколько времени Витберг получил от того же счастливого друга следующее письмо:22

"Вам, верно, будет очень приятно узнать, Александр Лаврентьевич, как высокие души симпатизируют. Василий Андреевич Жуковский не забыл встречи с вами 23; он говорил в Москве везде, что жалеет, зачем храм будет не ваш, предлагал даже спросить вашего мнения о новом проекте и вообще отзывался, как поэт Жуковский.

Что касается до моего дела, более перевода во Владимир ничего нельзя было сделать. Государь сказал: "Я для них назначил срок". Но теперь что же мне Владимир -- угол рая, и, ежели человеку надобна земная опора, не все ли равно, где она -- на Клязьме или на Эльбе. Я до того счастлив, что мне иногда становится страшно. За что же провидение меня так наградило? Неужели за мои мелкие страдания? В самом деле, как необъятно наше блаженство, даже все эти непреоборимые препятствия исчезли, растаяли от чистого огня любви чистой. Папенька и Лев Алексеевич с первой же почтой писали мир и поздравление, и хотя, кажется, папенька хочет немножко меня потеснить материальными средствами, но это больше отцовское наказание временное, нежели сердце. Еще раз прощайте. Целую и обнимаю вас".

"Июля 14 1838 г. Владимир.

Почтеннейший Александр Лаврентьевич! Вас удивят приложенные тысяча рублей; итак, с них начну речь. Вам деньги нужны, вот тысяча рублей, когда будут не нужны, вы их пришлете, и дело с концом. Деньги эти не мои, они принадлежат одному человеку,

душою преданному вам, и который, имея деньги в руках, мог, нисколько не стесняя себя, дать взаймы тысячу рублей. Для вас все это загадка, *и вы ее не отгадаете*, только верьте, что мое только *труд*, и больше ничего. Ежели вы откажетесь от них, вы оскорбите меня самым горьким образом, и разве возможно христианину отвергнуть руку брата?..24

Читали ли вы речь Филарета при перенесении закладки храма? Ну, человек, нечего сказать, -- *великий!* ("Московские ведомости" за 1838 г. июля 2, No 53)25.

Ну, что я вам скажу о себе? Счастлив, сколько может человек быть счастлив на земле, сколько может быть счастлив человек, имеющий душу, раскрытую к светлому и высокому и симпатическую к страданию других.

Наташа -- поэт безумный, неземной, в ней все необыкновенно: она дика, боится толпы, но со мною высока и изящна. Кстати, я хотел вам написать, она, *тоже*, *как вы*, не любит смех, никогда не произносит напрасно имя бога и не любит Гогартовых карикатур26. Это напомнит вам нашу жизнь совокупную. А я думаю, подчас вам сладко вспомнить мрачные 1836 и 1837 годы: и в дальней Вятке вы нашли человека, душевно преданного, с пламенной любовью к вам.

Я воображаю, что в Вятке скука ужасная.

Что новый губернатор?*27* что Величко, с которым, *мне казалось*, я был довольно знаком? Разумеется, что здесь лучше жить, здесь Европа (вчерне) и зато европейская дороговизна. Прощайте, душой любящий вас *А. Герцен"*.

"10 августа 1838 г. Владимир.

Часа два тому назад приехал я во Владимир из деревни28 и, нашедши письмо ваше, тотчас принялся отвечать вам. Мне было необходимо писать к вам, сообщить толпу дум и чувств, наполнявших меня на месте святом для нас. Путь мой лежал около Москвы, он меня привел на Воробьевы горы. Душа стеснилась, когда я издали увидел лестницу. Тут я -- ребенок -- в каком-то восторге понял высокую душу Ника, тут заходящее солнце благословило нашу дружбу; с тех пор

Воробьевы горы для нас святыня. Потом я узнал вас, мы сдвинулись, и снова Воробьевы горы стали святы. И вот этот двукраты святой холм явился, но не тем торжественным, как прежде; дождь лился, сырой ветер дул. Я велел ямщику остановиться и пошел с Наташей по ужасной грязи на место закладки. Место закладки, как открытая могила, приводило в трепет; камни разбросаны, я прислонился к барьеру, смотрел вдаль, одна серая масса паров, и больше ничего. Я думал о дальнем друге, о брате Николае, и слеза наливалась в глаза мои и ее, я думал потом об вас: вот на этом месте, может, стояли вы с широкой думой, и опять слеза навернулась. Мы молились об вас. А сырой ветер выл, растрепывал деревья, было страшно; я взял два камушка -- их сохраню в память торжественной минуты. Когда я ехал обратно, была ночь, и Воробьевы горы едва виднелись. Итак, пал туман на них. Они подернулись флером, крепом.

После четырех лет я увиделся в деревне со всеми своими, У нас совершенный мир.

Вы ошиблись, думая, что присланные деньги Наташины. Повторяю вам -- они принадлежат человеку благородному душою, но который не желает, чтоб вы знали, кто он.

В газетах помещена не вся речь Филарета. Ваш *Александр"*.

"Нет сомненья, почтенный друг наш, что вы слышите, чувствуете, когда мы говорим о вас; а это бывает так часто, так долго -- о! я уверена, душа ваша видит и тот жар, тот восторг, с которым рассказывает о вас Александр, и то умиление, благоговение, с которым я слушаю его.

Я не умею выразить вам, что наполняло мою душу, когда он со слезами говорил мне о вашем дивном проекте, как пламенно хотелось мне взглянуть хоть на *то место* (я никогда не бывала на Воробьевых горах), помолиться хоть у колыбели храма. Совершилось желание. Несмотря на ужаснейшую погоду, мы стояли там долго, долго, молча... колыбель и могила! Великий страдалец! Тот, кто ниспосылает тебе такие испытания, да вознаградит тебя здесь и там! молитва моя искренна и пламенна, он слышит ее... Ваша *Наташа"*.

С отъездом Александра художник значительно упал духом. Вынесенные им душевные страдания, при- отсутствии лица его поддерживавшего и ободрявшего, стали действовать на здоровье

Витберга: у него появились припадки падучей болезни, сначала редкие и слабые, потом стали повторяться чаще и чаще и все сильнее потрясали и без того ослабевший организм. Медленно, день за днем, тянулась для него скучная жизнь, без дела, без цели, без одушевления, в тяжком раздумье...

В 1838 году Витбергу представился случай опять посвятить себя своим любимым архитектурным занятиям.

8 октября 1824 года император Александр I, на возвратном пути из Пермской губернии посетил Вятку {Об этом посещении см. в "Воспоминаниях почетного лейб-хирурга Д. К. Тарасова" ("Русская старина", изд. 1872 г., т. V, стр. 373--374). *(Прим. Т. П. Пассек.)*}. Вятчане, никогда еще не видавшие в своем городе ни одного венценосца, тотчас по отъезде государя, решили ознаменовать это посещение каким-нибудь памятником. Тогдашний городской голова, Иван Степанович Машковцев, предложил построить храм во имя Александра Невского. Общество одобрило эту мысль, и дело пущено было в ход. Тянулось оно чрезвычайно медленно. Началась переписка с консисторией, с синодом и проч., и только в 1835 году выбраны были сборщики пожертвований на постройку предположенного храма. В этом же году, по предложению губернатора Тюфяева, принят был обществом, не совсем охотно, и план для храма, один из "нормальных" планов, утвержденных императором Александром I в 1823 году (изданных министерством внутренних дел, No 28, литера Б). При новом губернаторе, Корнилове, план этот был отвергнут, и Корнилов, вероятно, по поручению общества, просил министра внутренних дел о дозволении обществу избрать для храма другой, более величественный план. Комитет министров, на рассмотрение которого представлено было это желание вятчан, с высочайшего соизволения, дал свое согласие, о чем и было объявлено вятскому городскому обществу 8 июля 1838 года, уже новым губернатором, Хомутовым. Тогда городской голова Аршаулов предложил обществу сделанный карандашом, в миниатюре, новый проект храма. "Разумеется, общество не могло не прийти в восторг от этого эскиза, -- говорит г. Алабин в брошюре своей "Александро-Невский собор в Вятке", -- так как творцом его был знаменитый Витберг, и приговором 7 октября 1838 года постановило просить г. Витберга составить по этому эскизу

план и чертеж для проектируемого храма, о чем обратились к нему с официальным письмом 20 октября"29.

И вот опять наступили для Витберга счастливые минуты труда и вдохновения; на этот второй проект он перенес всю свою любовь, с какою смотрел на своего первенца, тем более что в это время от знаменитого храма Христа Спасителя и следов не осталось. Около этого же времени учреждена была новая комиссия для приведения в исполнение данного императором Александром обета; избран был план другого архитектора, академика Тона, и самая постройка перенесена на другое место. Друг Витберга с горестию поспешил его уведомить об этом и послал ему фасад тоновского храма. Переписка с Сашей продолжалась Витбергом довольно оживленно.

"1 октября 1838 г. Владимир.

...Видели ли вы памятник Сусанину (картинка в журнале министерства внутренних дел30, следовательно, в канцелярии губернатора)? Мне нравится. Работник упал в самом деле с Алексеевского монастыря. Я писал, что вы не поняли *тон,* в котором я рассказал это происшествие...

Я пишу стихи -- вот новость..."

"24 ноября 1838 г. Владимир.

Давно, почтеннейший Александр Лаврентьевич, вы не писали ко мне. Получили ли вы посланный мною фасад Тонова храма?..

Что вы поделываете? Вятка, вероятно, с каждым часом делается скучнее. Я занимаюсь, иду с человечеством, сколько могу и понимаю. Нынешняя немецкая философия (Гегель) очень утешительная, это слитие мысли и откровения, воззрения идеализма и воззрения теологического. На днях я перечитывал известные вам тетради, которые мы вместе писали31. Полна была жизнь ваша и совершила высокое предназначение жизни. Я возвращаюсь к мысли, которую

имел очень давно: сознание всех трудов, совершенных вами, сознание, что жизнь не тщетно была прожита, должно служить опорой теперь, и с этой опорой не тяжело настоящее. Оно тяжело мелочами, реальностью, но не душе; душа взмахнет крылами, и исчезает болотистый, грязный мир реального.

А ужасную пыль наносит на душу суета и хлопоты домашнего, я их отталкиваю "обема рукама", и как ничтожны они, почти стоят на одной доске с сплетнями и пересудами, от которых в провинциях почти никто не изъят...

Вспомнили ли вы меня 23-го -- день, в который в 1835 году я первый раз слушал ваши морали, Александр Лаврентьевич?.. Душевно преданный *А. Герцен"*.

Проект Тонова храма Витбергу не понравился; он назвал его "простой деревенской церковью".

"Декабря 8 1838 г. Владимир.

...Итак, артистический инстинкт мой был верен касательно Тонова проекта32. Боюсь сомневаться, что вы исполните ваше обещание, но прошу, ежели можно, не долго томить -- пришлите обещанное33. Это одно из давних, заповедных желаний -- иметь ваш проект и притом именно в византийско-тевтонском стиле. Здесь, во Владимире, есть древний собор, строенный при великом князе Всеволоде; он не велик, но масса его очень хороша: в нем есть что-то стройное, конченное и, признаюсь, он для меня в десять раз лучше тоновского. Между прочим, как нелепо огромное окно над дверями. Может, тевтонская розетка не шла, но уж и это pseudo-венецианское очень нелепо. Да и вообще масса ничтожна,-- подобных соборов в Киеве, Москве и проч. много, Тон прибавил только мамонтовский размер. Я желал бы вам прислать фасад нашего Дмитровского собора: он одноглавый, четыреугольный, но чрезвычайно гармоничны части. Строен из дикого камня, весь покрыт барельефами *(ныне поправленными!)* и, конечно, строил какой-нибудь греческий зодчий. Другой собор, Успенский, тоже четыреугольный, нелеп34. А ведь византийское зодчество, то есть зодчество с plein cintre {с полукруглой аркой *(франц.)*.}, куполом,

переходами и проч. имеет, мне кажется, большую будущность. Древнее греческое окончено, оно же сводится на несколько типов; тевтонское богаче, но что воздвигать после соборов в Реймсе, Париже, Кельне, Милане? Но византийский стиль, рожденный у гроба господня, сроднившийся с покойной, созерцательной идеей Востока, -- ему будущность большая, которую Тон не понял. Слышали ли вы, что Кельнский собор достроивается совершенно по первоначальному чертежу? 35 Душевно рад, что вы заняты. Я занят очень много и, разумеется, не службой: много читаю, пишу и доволен собою. Мне так страшна эта жизнь постоянного, безмятежного счастья, этой полной симпатии между мною и Наташей. Нет мысли, нет мечты, нет идеи, которая не находила бы больше, нежели отзыв в ее душе, -- развитие поэтическое, высокое. Александр Лаврентьевич, помните, вы говаривали, что "я паду"; я вам всегда отвечал: "Провидение поддержит". Ужели вы не уверены теперь, что я не паду? Но душа моя все та же бурная, порывистая, еще больше она поюнела, весь прежний пыл, все надежды возвратились. Небо дало залог, с ним я окреп, с ним силен! Прощайте, к Новому году пришлю детям книг. А скоро и 29 декабря -- вспомните меня, я вас вспомню, год тому: Addio, Вахта, проводы... прощайте. Весь ваш".

"8 декабря36.

Теперь я к вам, Александр Лаврентьевич, с весьма важной просьбой. У Наташи есть меньшой брат, несчастный юноша, совершенно всеми оставленный37. Этот молодой человек, не имевши возможности образоваться, сам собою немного выучился рисовать и пламенно желает быть живописцем. Я придумал обратиться к вам с всепокорной просьбой. Так как он вовсе бесприютен, то я бы прислал его в Вятку, буде возможно, к вам, в противном случае к Скворцову, с тем только, чтоб он мог пользоваться вашими советами. Si cela est faisable {Если это возможно *(франц.).*}, вы меня обяжете чрезвычайно и спасете молодого человека; само собой разумеется, что вы нам позволите ежегодно за него, по возможности, платить, vu les circonstances dans lesquelles vous êtes à présent {имея в виду

обстоятельства, в которых вы теперь находитесь *(франц.)*.}. Буде же вы не сочтете это за возможное, то напишите, что. нам с ним делать...

Боже мой, как дорого выкупает наш век порочную нравственность прошлого, вот еще бедная жертва. А сколько их! И у него есть родной брат, у которого пятьсот душ etc., etc. Но бог с ними, надобно как-нибудь помочь... Пожалуйста, поспешите ответом. Юноша ждет, и так он много потерял, ему восемнадцатый год...

Прасковье Петровне посылаю отрывок из моей поэмы38, которая сама есть отрывок из меня самого, а я отрывок человечества, а человечество -- вселенной. Прасковье Петровне советую его раза два прочитать и потом в торжественное собрание, в Новый год прочитать, буде позволено, вслух...

Людиньке, Любиньке, Соничке, Николиньке посылаются книги; да простят мне, что не все новые; то значит, что они были в руках у одного ребенка, a cet enfant c'est moi {этот ребенок -- я *(франц.)*.}".

"10 января 1839 г. Владимир39.

В одном из последних нумеров "Живописного обозрения" находится политипажная картинка, представляющая ваш храм. Я очень этому удивился; кто его дал в редакцию и кто писал всю статью? Впрочем, это недурно: пусть сличат, чувство изящного принадлежит не одним артистам, всякий, имеющий очи, увидит {"Живописное обозрение", изд. Авг. Семена. М.. 1838 г., ч. IV, стр. 177. Политипаж исполнен плохо, вслед за ним помещен рисунок храма по проекту Тона. В жиденькой заметке автор глухо и сбивчиво говорит о первом, то есть Витберга проекте, и восхищается созданием Тона. *(Прим. Т. П. Пассек.)*40}.

На днях день вашего рождения. Поздравляю с этим днем Академию художеств и вообще зодчество. Подвиг ваш не останется втуне, нет, человечество имеет свою мерку великому, и ваше место в истории искусства занято. Вспомните, как в 1837 году я был Дантом, этот вечер отмечен в моей памяти светлой чертою41. Вы были тронуты тогда, и ваша слеза принадлежала отчасти мне.

Как встретили вы Новый год? Отчасти грустно, но в вашей душе награда за все. Эрн писал мне, что в праздник (25 декабря) он обедал у вас, много было говорено обо мне. Меня обрадовала эта весть, не из суетного самолюбия, а из той симпатии, глубокой и сердечной, которая соединила нас в горькую эпоху жизни.

Читали ли вы посланный отрывок из моей поэмы? Впрочем, по нем нельзя судить обо всем. Когда угодно прочесть все, то попросите у Скворцова; я ему посылаю черновой, измаранный..."

"11 января.

Новый год я встретил у постели больной Наташи, которой, впрочем, теперь лучше. Однако вас не забыли, а в двенадцать часов без *вина* поздравили вас. "Благословенье друзьям в Вятке", -- сказал я и сделал крест рукою. Дружба хиротонисала42 меня, и она дает право благословлять.

Вы, кажется, хороши с губернатором. Это меня удивляет, потому что я об нем со всех сторон слышу пакости43.

Я еще не чиновник особых поручений, понеже это будет зависеть от министра внутренних дел, ну, да впрочем, я иначе теперь помышляю о службе: лишь бы асессорский чин, а с ним в отставку44. Теперь я все еще редактор газеты45, и она идет, кажется, недурно. Ежели министр утвердит, то буду получать тысячу двести рублей жалованья да пятьсот за редакцию (потому так мало, что я требовал помощника), да домашние стипендии, и все это вместе мне далеко не хватает, ибо здесь дороговизна ужасная.

В том письме, которое пропало, я спрашивал вас, не обяжете ли вы нас тем, что возьмете en pension {на пансион *(франц.)*.} Наташинова меньшого брата, который мечтает быть живописцем. Но теперь, кажется, его определяют в медико-хирургическую академию".

"17 января.

...Наташа вообще получила от природы в обратной пропорции души и тела. Сколько здорова и тверда душа, столько утло и хрупко тело...

...Я, кажется, догадываюсь, с какой целью Прасковья Петровна не читала вам отрывка, она его берегла к пятнадцатому. Итак, чтобы не отстать, посылаю я вам отрывочек, судите и пишите ваше мнение"46.

"23 марта 1839 г,

Вчера в ночь уехал Эрн, пробывший двое суток. С жадностью расспрашивал я обо всем, касающемся до вас, и много разных чувств волновалось. Наша встреча-- важнейшее событие в моей вятской жизни. То беспредельное чувство любви и уважения к вам и к вашим страданиям, которое заставило меня на Вахте схватить вашу руку, с тем чтоб прижать ее к устам, -- это чувство живо во всей полноте.

...Всего более радует меня, что вы заняты {Занятия Витберга состояли в изготовлении плана, фасада и разрезов Александро-Невского собора в Вятке. После четырехмесячного безвозмездного труда проект этот был готов. *(Прим. Т. Л. Пассек.)*}; сверх того, что это отвлекает вас от ряда мыслей очень черных, -- высший закон творчества требует *не зарывать таланта*47, а особенно таланта столь мощного, как ваш. Я видел слезы на глазах одного священника, рассматривавшего проект в "Живописном обозрении" (à propos {кстати *(франц.)*.}, вы мне не объяснили, кто напечатал его?). Итак, да благословятся ваши труды, творите вопреки толпы, вопреки цепи... Не ждете ли вы чего при предстоящем бракосочетании?48 Мое дело идет забавно: в феврале месяце писал гр. Б<енкендорф>, что не находит удобным снятие надзора (после пяти лет) и, следственно, я еще поживу здесь49.

Счастье мое так беспредельно, что подчас кружится голова от мысли: заслужил ли я хоть долю того, что имею, или не есть ли и это испытание? Преданность провидению безгранична тоже. Я чувствую огромную перемену, душа становится шире; чистота первобытная и утраченная юношеским разгулом, возникает, и хотя налетают минуты

горького сомнения в себе, минуты, в которые я кажусь себе ничтожным карлой...

Одного недоставало в моей жизни -- это свидания с тем дивным другом, которого портрет висел у меня в комнате. Сбылось и это. *Он* и *она* были, и мы четверо стали на колени перед распятием и молились с горячими слезами и благодарили провидение50. Больше счастия не может поместиться в груди. Теперь в путь -- трудиться... чтоб заработать столько блаженства, данного богом.

Ваше замечание насчет лица апостола Павла в Лициний принять я никак не могу. *Во-первых,* области искусства принадлежит вся вселенная, вся история и все лица. Почему Рафаэлева кисть не задрожала от мысли писать Мадонну и еще больше, придавая ей черты Форнарины. Почему резец Буонаротти не остановился, изображая Моисея. *Во-вторых,* в мистериях, разыгрываемых в средние времена, выводится на сцену Иисус. Ваше выражение *"вольная поэзия"* я не понимаю. Поэзия есть одна. Перенесите ваш широкий взгляд на зодчество к поэзии, -- и вы увидите, что я прав51. Хорошо ли я представил апостола -- это будет другой вопрос. Скворцов имеет черновую тетрадку, попросите у него "Intermezzo", где и является апостол. Именно в том-то и вопрос нашего века -- помирить религию с жизнью, откровение -- с мыслью... Salut et amitié {Привет и дружба *(франц.).*}.

"Le 18 Avril 1839 г. Wladimir.

...Ma veine poétique ne s'épuise pas, il y a un nouveau poème commencé, "Williame Penn", c'est à dire non le christianisme en germe, le christianisme -- religion mystique, poétique, orientale, comme il parait avec l'apôtre Paul à Rome (Лициний), mais le christianisme -- religion sociale, progressive, le Quakerisme enfin52. Mais je n'ai pas le temps. Adieu -- salut et amitié..." {18 апреля 1839 г. Владимир. ...Мое поэтическое вдохновение не иссякло -- начата новая поэма "Вильям Пен", то есть не христианство в зародыше, не христианство -- таинственная, поэтическая, восточная религия, каким оно кажется при появлении апостола Павла в Риме ("Лициний"), но христианство -- религия

социальная, прогрессивная, одним словом, квакерство. Но у меня нет времени. Прощайте -- привет и дружба *(франц.).*}

"18 мая 1839 г. Владимир53.

Когда Александр с вами прощался, он хотел поцеловать у вас руку, как у отца. Артист и друг моего Александра, и я склоняю перед вами колена. Ваше творение велико, и ваша любовь велика. В вашем творении есть мысль мировая, ибо троичность бога повторилась везде в человечестве. Но ваше творение не могло выполниться при узких условиях настоящего. На него хотели надеть крышу, а вы его хотели поставить под открытое небо, под то небо, откуда слетал дух святой в виде голубином, в символе любви. Артист! Юноша пророчит вам, что ваше творение будет выполнено, и юноша доживет до той минуты, когда склонит перед ним и напечатлеет поцелуй веры и любви на камне одушевленном с той же горячностью, как теперь готов поцеловать руку самого художника, которого Александр готов был назвать отцом.

Прошу вас, позвольте мне взять у Александра проект и сообщить художникам неизвестным, и которые, может, никогда не будут известными, но которых душа стремится к бесконечному богу на небесах и к прекрасному в его творении на земле. Позвольте. Разве не сказано "научите немудриих"?

Чем я кончу это письмо, художник, благословенный богом? Вот чем: дайте мне ваше благословение в этом пути земном, дайте его, как отец дает сыну. И у меня в душе живет чистая любовь к богу. Ваше благословение не падет на бесплодную почву.

Вот, Александр Лаврентьевич, несколько строк, писанные вам человеком, которого вы только знаете через меня, -- Огаревым). Он был в восторге от мысли вашего храма и просил, чтоб я ему списал из ваших "Записок" о проекте; но я не смел этого сделать, потому он и просит вас. Напишите ему хотя строчку, это человек дивной чистоты душевной, любите его -- он вас любит.

Вам предстоит разлука с Прасковьей Петровной54, одиночество ваше еще увеличится. Где то время, когда я иногда служил вам отдохновением (ибо в вашей любви я не сомневаюсь). Зачем это было тогда, а не теперь? Теперь я больше чист, теперь я достойнее вашей дружбы.

Прежде, нежели вы получите это письмо, Наташа будет матерью. Какое великое дело -- воспитание раскрывается перед нами, на нашу ответственность бог дает существо -- человека. Господи! дай же силу вести его по закону твоему. Помолитесь о нас, помолитесь и об малютке...

Пришлите мне, пожалуйста, с Прасковьей Петровной один из ваших проектов (большого храма) в тевтоно-готическом стиле; это будет священный залог вашего внимания ко мне. Прощайте. Ваш друг до гроба.

Наташа жмет вашу руку. 9 мая мы торжественно прочитали ваше поздравительное письмо, 1838 г., в мае писанное55. Оно так тепло, так дышит любовью, что без слез не можем перечитывать..."

"7 июня 1839 г. Владимир.

Любезнейший и почтеннейший друг Александр Лаврентьевич! Многое совершилось с тех пор, как я писал к вам, но третьего Герцена нет; неопытность наша ошиблась целым месяцем, впрочем, ждем с часу на час56, Бог да благословит новое существо, назначенное представителем его славы на земле! Но что же это многое? Огарев прощен высочайшим повелением в конце мая, и теперь ждут многие того же, и я в том числе; все это по случаю свадьбы великой княжны. Он скоро поедет в Москву, и тогда я ему передам ваш привет, и он его примет со слезою. Не обижайтесь *нескромностью,* как вы пишете, его выражений; он был так увлечен рассказом о вашем великом создании, так увлечен рассказом жизни, которая почти с первой юности посвятилась во славу и прославление бога и перешла все земное -- от кабинета артиста, через кабинет императора, до кабинета, засыпанного снегом в Вятке, и что nonobstant {Невзирая на *(франц.).*} всего этого, творение росло, идея выражалась яснее, идеал не померкнул. (Он

говорит, что надобно его воздвигнуть в Англии, там не пожалеют денег.) Вот отчего с таким восторгом писал он к вам, и да будет и это доказательством, что есть люди, вполне понявшие величие вашего идеала и у которых ни годы, ни расстояния не охладят любви к художнику, творцу идеала.

Ежели придет моя индульгенция, то я уеду на август и сентябрь в отпуск, потом возвращусь сюда прослужить до ноября. В ноябре пойдет обо мне представление в чин асессора, и тогда я тотчас перееду в Москву. Батюшка купил для нас новый дом, рядом с своим (принадлежавший генералу Тучкову); намерен потом в виде прогулки съездить в Петербург. Только не на службу... О нет, пока довольно! Мне кажется, если б в ваши желания входило возвращение в Москву, то это не совсем трудное дело теперь. Но что вам Москва с своею дороговизной?..

...Александр Лаврентьевич, пришлите же большой проект в византийском стиле. Наташа -- одна из самых фанатических поклонниц ваших -- жмет вам руку дружески, крепко. Любите нас, любите и не забывайте Л. *Герцен"*.

"8 июня.

Моя поэма "Вильям Пен" идет очень успешно. Сообщите, пожалуйста, Скворцову приятную весть об Ог<ареве>..."

"14 июня 1839 г.

Вчера в двенадцать утра явился на свет Саша57. Все до сих пор чрезвычайно легко и благополучно.

Вы знаете очень хорошо чувства, которые волнуют отца при рождении, особенно первенца. Я плакал, я стоял на коленях перед распятием, я дрожал от страха, и этот страх происходил не от одного вида ее страданий, а от огромности дела отцовского. Мой сын относится ко мне так, как новое поколение к старому, moi je donnerai la

première impulsion {это я дам первый толчок *(франц.).*} его верованиям, его убеждениям, я устремлю его к тому или другому и, следственно, часть судьбы его зависит от меня. Какая ответственность, но у него есть еще мать с душою ангела, -- ей предстоит религиозно-эстетическая часть.

Господи, помоги нам исполнить великое дело воспитания, помоги поставить его на путь правдивый (хотя бы с этим и были сопряжены тяжелые несчастия земной жизни)! Молю тебя!

Сообщите эту радостную весть для нас Авдотье Викторовне, Прасковье Петровне, буде ее письмо мое застанет (вероятно, она получила посланные ей пятьсот рублей), Вере Александровне...

Обнимаю ваших малюток. Да будет над ними благословение неба. Проект-то пришлите, сделайте одолжение, и -- довольно. Друг ваш.

15 июня, одиннадцатый час. Все пока, благодарение богу, хорошо. Помолитесь же о малютке и о матери",

"11 июля58.

...Читая ваши строки к Ог<ареву>, написанные со всей поэзией и огнем юности, я еще более удостоверился в истине слов Жан-Поля, что душа высокая юнеет, очищается с каждым годом. В начале августа он проедет здесь, и тогда я ему вручу. Вы совершили ваш храм, видите ли, какой энтузиазм производит один рассказ. Толпа не восхищается, что за дело, ей надобно отлить мысль в камне, чтоб заставить понять. Но есть люди, умеющие постигать великое в идее. Ваш храм *будет* и из камня, вы оставляете богатое наследие детям, благословите их в зодчие и велите идти строить *там, где укажет бог.* Вот мой совет!

Все время после нашей разлуки я очень много занимался, особенно историей и философией; между прочим, я принялся за диссертацию, которой тема "Какое звено между прошедшим и будущим наш век?" Вопрос важный, я обработал очень много59. Вдруг вижу, что-то подобное напечатано в Берлине, Prolegomena zur Historiographie, выписываю, и, представьте мою радость, что во всем главном я сошелся с автором до удивительной степени. Значит, мои положения верны, и я еще больше примусь за обработку ее. Поэма

"Вильям Пен" почти окончена. Видите ли, что и я не поджав руки сижу.

28 июля. Высочайшим повелением 20 июля я прощен60. Сегодня еду в Москву на несколько дней".

Спустя месяц и для Витберга настал день великой радости. 28 августа 1839 года он был официально извещен об утверждении в Петербурге проекта Александро-Невского собора в Вятке.

30 августа 1839 года произведена была закладка храма в присутствии академика Витберга. Во все время церемонии закладки художник рыдал как дитя!.. Кто объяснит глубокое, горькое значение этих слез? Что совершалось с Витбергом в это мгновенье? Перед очами Души его не проносилась ли *другая* закладка, при *иной* обстановке, в присутствии царя и царственных особ, перед лицом всей Москвы, перед лицом лучших представителей войск, едва возвратившихся с пути мировых побед; не вспоминался ли ему тот светлый ореол, которым его окружала слава, та безвозвратно прожитая жизнь без счастия видеть олицетворение своей лучшей идеи, которое осталось бы достойным памятником грядущим поколениям, обессмертило бы и его имя61.

Из письма его друга, писанного из Москвы 13 сентября 1839 года, видно, что грусть и меланхолия вновь овладели Витбергом.

"...Последнее письмо ваше, -- писал Витбергу Александр,-- я получил в Москве, где проживу весь сентябрь... Что сказать вам о продолжительном свидании моем с Москвою? Москва похожа на тех добрых людей, о которых часто поминаешь в разлуке и до которых дела нет, когда они налицо. Москва скучна, несмотря на то что теперь шум, беготня, треск. Именно эта суета суетствий наводит подчас грусть. Я виделся здесь с Жуковским, но особенно замечательного сказать не могу62. В публике вас часто поминают, особенно теперь, когда новая закладка sur le tapis {является предметом разговоров *(франц.).*}, и знаете ли, что большая часть за ваш проект, кроме аристократов. Есть даже громогласные партизаны и в том числе архитектор Мирановский и др....

Прасковья Петровна передала мне все, что вы ей поручили, -- ряд грустных обстоятельств наводит на вашу душу меланхолические мысли; ежели вы вызовете из прошедшего все мое поведение

относительно вас и вашего семейства, то ясно увидите всю дружбу мою, всю преданность. А что не было ответа на письмо вашей супруги, то совестью клянусь вам, что я вовсе этого не помню и совсем не знаю, о каком письме идет речь. Скворцов пишет на три письма от меня одну записку, и я, право, не сомневался в его дружбе. Конечно, я с вами более сблизился, нежели с Авдотьей Викторовной, что же из этого? Между мною и вами больше общего, симпатического (хотя я не скажу, чтоб была полная гармония)63. Отвергнете ли вы дружбу искреннюю, примете ли ее, как прежде принимали, это не изменит ни моего уважения, ни моей любви к вам, et cela sera le dernier mot de ma lettre. Salut et amitié... {и это будет последним словом моего письма. Привет и дружба *(франц.).*}

Государь и иностранные принцы еще здесь. Двенадцатого была новая закладка".

Из Москвы Витберг получил еще письмо от своего друга, от 18 сентября 1839 года. Он писал:64

"...С восхищением читал я (в письме вашем) о 30 августе, я понял все, что вы должны были чувствовать при закладке (собора св. Александра Невского в г. Вятке). Это росинка благодати на ваше больное сердце. Молю бога, да благословит он новое начинание во славу его, во славу вашего благодетеля, во славу вашу..."

"1 октября 1839 г.60.

...Я утвержден министром чиновником особых поручений,-- писал Витбергу его друг. -- В январе поеду в Петербург. Папенька желает, чтобы я там служил. Москву увижу только проездом; я часто скучал в Москве, а жаль расставаться было с нею. Таков человек!

Эрн, кажется, решительно нанимается у Огарева. В Москве виделся с Владимиром Машковцевым, вятским ренегатом. У меня все еще бьется сердце горячее, когда вижу вятских, когда могу говорить о вас, о Скворцове. Черные годы провел я там, но полные многого, полные поэзии, мощной поэзии жизни. Виделся я с Жуковским, но как-то в шуме, в вихре, когда все в Москве торопилось, суетилось, и Василий Андреевич торопился, суетился. Душой ваш *Александр"*.

15 октября 1839 года Витберг, среди непрестанных и по-прежнему безвозмездных трудов по наблюдению за постройкой вятского храма, получил высочайшее разрешение вернуться из ссылки. Друг его, вероятно слышавший об этом от самого Витберга, как видно из дошедших документов, говорит, что проект вятского собора был, так сказать, предстателем у царского престола за художника. Высочайшим повелением Витбергу было разрешено жить в России, где пожелает, это объявлено было 19 сентября 1839 года Бенкендорфом. 28 сентября министр юстиции Блудов объявил это повеление сенату, который послал о том 4 октября указ вятскому губернскому правлению. Весть об освобождении произвела живейший восторг в семье Витберга и с таким же восторгом принята его друзьями.

"1 ноября 1839 г. Владимир68"

Душевно и искренно порадовались мы, любезнейший и почтеннейший друг Александр Лаврентьевич, получивши ваше письмо, в котором извещаете о повелении, полученном 15 октября. Конечно, это еще только начало, но, стало, вы прошли Culminationspunkt {кульминационную точку *(нем.)*.} гонений, и день после тяжкой полярной ночи возвращается. Пусть вы и не скоро оставите Вятку, но великое дело -- сознание права. Не думаете ли вы теперь занять место в Академии художеств? я думаю, на это есть прямые права у вас, и тогда мы увидимся в Петербурге.

А как же без вас пойдет храм вятский, памятник ваших страданий, лет изгнания? Он будет ваша Divina Comedia {Божественная комедия *(итал.)*.}67, как же его оставить неисполненным? Зачем вы поскупились сообщить о духе и содержании полученной бумаги?

Итак, мы увидимся! Я сожму опять руку вашу, вы обнимете Наташу, и слезою радости смоем прошедшее. Не могу без восторга вздумать о нашей встрече. Вы найдете во мне перемены: я больше развился, скажу с гордостью, я вырос духом с 1837 года. Я много занимался, много думал с тех пор, и все это оставило следы, развило новые стороны духа, характера. О, приезжайте, приезжайте!

Наташа бредит скорым свиданием с вами, она теперь едва оправляется после горячки. Весть о счастливой перемене вашего положения была радостною вестью, выкупившей горькие недели болезни.

Вот вам программа, где (буде ничего особенного не случится) меня искать: до половины января (1840 г.) я решительно *во Владимире, на Дворянской улице, в доме Рагозиной.* В половине января думаю ехать один в Петербург; на случай, ежели вас туда прямо призовут дела, то вот адрес: *на Невском проспекте, дом Петилиа* (с Адмиралтейской площади второй дом), *спросить Сергея Львовича Львицкого* (sic); *его же можно найти в канцелярии министерства внутренних дел, это -- мой двоюродный брат.* Ну в Москве вы знаете, как меня отрыть.

Теперь к вам, Авдотья Викторовна, обращаю мое поздравление; дайте руку поцеловать, вы знаете, что я без важных оказий не целую дамских рук; и вашу руку, Вера Александровна. Не вините меня насчет Медведевой, вина ее, -- она решительно не имеет таланта пользоваться настоящим. Так, в Москве она пропустила уж одно место. Готов все делать для нее, но je m'en lave les mains pour les suites et résultats {я снимаю с себя ответственность за дальнейшее *(франц.).*} "Сам возраст имашь", -- как вы говорите. Прощайте".

(Рукою Натальи Герцен). "Не стану описывать вам, почтеннейший друг Александр Лаврентьевич, радости, которую принесло последнее ваше письмо. Итак, *есть надежда,* что я вас увижу!!. Да пошлет вам всем господь неистощимые блага! А у меня в глазах потемнело от этих немногих строк.

Прощайте, ваша всею душою -- *Н. Г<ерцен>",*

23 ноября друзья Витберга письмом поздравили его с помолвкой его дочери Веры Александровны с Яковом Ивановичем Голубевым, другом Николая Михайловича Сатина, служившим чиновником в канцелярии вятского губернатора Хомутова68.

"3 января 1840 г, Владимир.

Только что приехал и спешу уведомить вас, что я в Петербурге виделся с В. А. Жуковским, который принимает в вас участие художника и поэта. Я говорил ему насчет ваших финансов, и он поручил написать вам следующее: напишите к нему письмо, известите, что получили право выезда и что не едете оттого, что нет средств. Он в большой силе. Адресуйте просто В. А. Жуковскому, в Шепелевском отделении императорского Зимнего дворца.

Меня, кажется, скоро переведут в министерство внутренних дел69.

Поздравляю вас и с Новым годом, и с будущим днем рождения; три года, как я представлял Данта, -- богатые и полные жизни три года для меня; чего, чего не было прожито в них.

...В Петербурге я слышал от бывшего вашего слуги Лукьяна, который теперь у двоюродного брата моего, что вы тотчас после свадьбы будете в Петербурге. Правда ли это? В таком случае мы ждем вас во Владимир, где пробудем, наверное, до половины марта. В Петербург я поеду не прежде конца апреля..."70

"7 марта 1840 г.

Истинно уважаемый наш друг, Александр Лаврентьевич! Наконец-то я получил от вас письмо, успокоившее меня; не могли понять мы, отчего вы вдруг замолкли. Поздравляю вас со свадьбой, поздравляю с рождением Софии71; кажется, в искреннейшем участии вам сомневаться нельзя.

Поручение Жуковского вовсе не было сделано как тайна, -- даже по тому можете заключить, что он просил *меня* написать по почте из Питера. Я полагаю, что нет сомнения в необходимости поездки вашей в Петербург. Ежели бы вы были к концу апреля в Москве, я предложил бы вам место в своем дилижансе.

На Владимир больше не адресуйте ко мне писем, я жду окончательной бумаги от министра внутренних дел (формуляр и прочее уже потребовали) и тотчас по получении поеду в Москву; там предполагаю пробыть до Фоминой и, следовательно, к 1 мая -- в

Петербург. Письма туда адресуйте просто на канцелярию министра внутренних дел.

Я знаю, что вы уже говорили о моем "легкомыслии, ветренности". Призму, сквозь которую вы смотрите на людей, Александр Лаврентьевич, я имел случай узнать; знаю особенность вашего взгляда, и потому не требую исключения для себя; я в самом этом умею ценить высокую чистоту вашей души. Душой преданный *Александр"*.

"Вот и мы оставляем наш мирный уголок, в котором два года жизнь наша текла так светло, так счастливо, так свято. Благословите нас на путь... Всей душой преданная вам *Наташа"*.

Когда Александр оставлял свой мирный уголок, художник оставлял Вятку и не воспользовался предложением писать о денежном пособии к Жуковскому. Он, продолжая трудиться для вятского общества, составивши для города, кроме проекта собора, еще проект решетки общественного сада и публичной библиотеки, не имел, как говорится, гроша в кармане. Только в конце 1840 года ему сделана ссуда комитетом по сооружению храма в двести восемьдесят пять рублей, "скинутая в 1843 году за дальнейшие труды Витберга со счетов", и с этими деньгами художник отправился в Петербург.

В 1840 году, в сентябре месяце, Витберг приехал в Петербург. Прежде всего он принялся хлопотать о пересмотре дела по сооружению храма Спасителя в Москве. По старой памяти, он обратился за ходатайством к князю А. Н. Голицыну; но князь прямо объявил ему, что уже ничего нельзя сделать, дело проиграно и возобновить его невозможно72. Витберг остался почти без всяких средств к существованию с многочисленным семейством.

В это время открылось место архитектора в ведомстве путей сообщения, которым управлял Клейнмихель. Витберг пожелал занять его и отправился к Клейнмихелю. Клейнмихель принял его чрезвычайно сухо и не предложил* даже стула. Витберг подождал приглашения сесть, но, не получая его, сам взял стул и сел, сказавши: "Извините, ваше превосходительство, что я сажусь, я стар и болен, да и не привык стоять". Клейнмихель растерялся и поспешил извиниться. Такое начало не предвещало успеха, и, действительно, Витберг не получил места. Принужденный крайностью, он прибег к помощи

сестры своей Христины Лаврентьевны Гельн, со всей семьей своей поселился в ее скромной квартире на Песках и стал жить чрезвычайно тихо. Изредка посещали его кой-кто из московских знакомых, а сам он почти не выходил из дому и бывал только в семействе президента медико-хирургической академии Дубовицкого. Из числа немногих друзей, посещавших Витберга, были: Александр Иванович Герцен, Николай Степанович Кожухов, Дмитрий Павлович Рунич, Капитон Павлович Ренненкампф. Самым же частым собеседником Витберга был его ученик, вывезенный им из Вятки, Дмитрий Яковлевич Чарушин.

Между тем Саша внезапно переведен был из Петербурга на. службу в Новгород73; это до того огорчило Александра Лаврентьевича, что с ним сделался сильнейший припадок падучей болезни; с этого времени припадки стали все сильнее и сильнее, и здоровье видимо разрушалось.

Вскоре он получил от друга своего следующее письмо:

"2 августа 1841 г. Новгород.

Нужно ли говорить, с каким чувством глубокой горести читали мы ваше письмо; несчастный случай, бывший с вами и поводом которому, хотя косвенно, был наш отъезд, -- сильно огорчил нас.

Кажется, тяжесть креста иногда бывает несоразмерна с силою плеч человеческих.

Позвольте мне вам дать совет побывать у доктора Пирогова (он живет на Гагаринской пристани, в доме Косиковского); это человек, стяжавший европейскую славу, глубоко ученый врач; полагаю, что он вам даст хороший совет.

Что касается до нашей жизни, то она идет здесь уединенно и тихо. Не могу равно сказать ничего хорошего и ничего худого об ней. *Александр"*.

"Любезнейшая Авдотья Викторовна! Сколько грустного, сколько грустного принесло ваше письмо. Истинно вас должно ожидать в будущем счастие и наслаждение, в награду за претерпенное. И вы со мною согласитесь, что в самом сознании в себе силы нести такой

тяжкий крест есть уже наслаждение. Как бы хотелось о вас знать часто и подробно.

...Вы, верно, хотите знать о нас -- не много интересного и хорошего теперь найдется сказать. Александр каждый день в одиннадцать часов отправляется в губернское правление и остается там до четырех. Должность трудная, ответственность большая, -- здесь же все партии, немудрено попасть в беду. Я целый месяц сидела дома. Квартиру мы наняли далеко, в глуши, с огромным садом, мимо и проезда почти нет и не ходит никто, точно деревня; перед глазами Волхов -- грязный, желтый; но наконец была у здешней вице-губернаторши и познакомились с семейством Рейхеля, который был некогда товарищем Александра Лаврентьевича и сохранил к нему доныне большое уважение74. Это человек необыкновенно образованный, проведший двадцать пять лет в чужих краях. Остальные визиты думаю отложить до приезда из Москвы, а туда мы думаем ехать в конце этого месяца. Граф Строганов прислал уже отпуск. Не забывайте истинно вас любящую *Наташу"*.

Витберг не послушался совета друга и обратился за советом не к Пирогову, а к доктору Маркетти; леченье успеха не имело. Живя в большой крайности, Александр Лаврентьевич вынужден был содержать семью помощью друзей. Больше всех помогал ему Федор Иванович Прянишников, бывший впоследствии петербургским почт-директором; по щекотливости Витберга, пособие делалось чрезвычайно осторожно; преимущественно же старались доставлять ему работу.

12 ноября 1841 года Наташа писала Витбергу из Новгорода:

"Милые и дорогие друзья наши! Здоровы ли вы? что поделываете в вашей пышной, шумной столице? вспоминаете ли о погрязнувших в болоте? Мы провели в Москве целый месяц и, разумеется, приятно и весело; время мчалось незаметно, и вот мы опять в нашем тихом, уединенном уголке, все идет прежним порядком75. Александр от одиннадцати до четь рех часов в правлении, я с Сашей дома, ни круг знакомства, ни круг рассеянности не увеличился, и так время идет, идет... скоро и Новый год. Летом, бог даст, поедем в деревню, а там -- куда? Бог знает.

Ваша *Наташа"*.

"9 февраля 1842 г. Новгород.

Встречая в прошедшем 1841 году Новый год, я думал в 1842 году быть уже не в Новгороде, почтеннейший Александр Лаврентьевич, но богу угодно было иначе. Я не ропщу, впрочем, хочется переменить род службы и избрать климат получше, для Наташи, которой здоровье плохо. Вероятно, вы уже слышали о том, что мы имели несчастие лишиться новорожденной76. Пора отдохнуть от всех ударов, хочется спокойствия...

Дай-то бог вам силы нести ваш крест.

Дайте нам весточку о себе, не мстите за наше молчание тем же...

Передайте усердный поклон Авдотье Викторовне и поцелуйте деток. Душевно преданный вам *Александр"*.

"Милые и любезные друзья наши! Верно, вы на нас сердитесь за долгое, долгое молчание и приписываете его бог знает чему, -- что мы вас и забыли, и разлюбили. Сердиться имеете право, а догадки несправедливы. Я думаю, от Якова Ивановича77 вы знаете все, что с нами было; уж много времени прошло с тех пор, а все грустно, и физические силы плохо возвращаются...

Мы все еще сидим в нашем болоте и не знаем, когда выйдем на свет божий. Александр не очень здоров и не бывает в присутствии с начала моей болезни. По-прежнему жизнь наша течет тихо, уединенно. Я до сих пор никуда не выезжала, бывает у нас только почти один Рейхель, знакомый Александра Лаврентьевича. Как ни ясен, как ни богат внутренний мир души, наружное все же имеет влияние, и подчас так кажется темно.

Хотелось бы знать о ваших; обстоятельства, время и пространство не кладут преград искреннему участию; да хранит вас всевышний. Ваша *Наташа"*.

"10 июля 1842 г. Новгород.

Почтеннейший Александр Лаврентьевич! Тем приятнее мне отвечать на ваше письмо, что я начну с Доброй вести: доля наших молитв сбылась, и я еду на днях в Москву. Это было всего необходимее для расстроенного здоровья жены, необходимо также в финансовом отношении. Это счастливое улучшение моей судьбы случилось очень недавно, и я усердно молю бога ниспослать все благое виновникам благополучного оборота дела78. Признаюсь, я в последнее время уж начинал грустить не на шутку. Я еду в воскресенье или в понедельник, и из Москвы буду писать к вам обстоятельнее. Теперь у нас разгром, укладка и проч. Душевно преданный вам *Александр*.

Уверена, любезнейшая Авдотья Викторовна, что вы и Александр Лаврентьевич будете разделять нашу радость от всей души. Великий и счастливый переворот в нашей жизни: у нас все было уложено, мы собирались ехать, не зная сами куда, я хотела провести дней пять в Москве, чтоб посоветоваться с докторами, потом в деревню и потом бог весть куда. Грустно и тяжело было, тем более что бедный папенька очень слаб и также не имел уже надежды видеть Александра, но вдруг такая перемена! Мне не верится до сих пор... теперь мы поселимся в Москве, вообразите счастье всего семейства... *Наташа"*.

"9 апреля 1843 г. Москва.

Почтеннейший Александр Лаврентьевич! Письмо ваше от 24 марта мы получили, как всегда, с искренним удовольствием. Мы редко переписываемся, и я первый слагаю вину на себя, но что делать -- я отвык писать или, лучше, отучил себя намеренно79. Тем полнее бывают минуты наслаждения, читая письма.

Благодарю за память дня моего рождения и жму вашу руку. Да, и в Вятке мы проводили хорошие дни; не внешняя обстановка, а внутренние события души определяют свет и темноту в жизни.

Последняя весть, которую я имел о вас от очевидца, была от Зонненберга; он сообщил мне подробности о вашей болезни. Дай бог,

чтобы магнетизм помог. Что касается до нас, мы проводим здесь время и хорошо и нет. Почему хорошо -- предоставляю вам решить, а почему нет -- сам скажу. Здоровье жены худо поправляется. Надобно ехать непременно в Италию, хлопочу, и не знаю как сделать. Это вплетает темную нить в нашу жизнь, остальное хорошо. Саша растет, умен, жив, быстр -- в меня. Занятия идут своим чередом. Летом я непременно уеду, сам не знаю еще куда, но уеду. Приближаются праздники, желаю от всей души, чтобы вы их провели покойно и безболезненно. Мое желание очень ограниченно, но я знаю, остальное -- в вас. Душевно любящий вас *Александр*.

P. S. Апреля 9 1835 г. я уехал из Москвы!"80

"Москва. 7 января 1844 г.

Письмо ваше, в ноябре, я через Григория Ивановича81 получил с искренней радостью. Благодарю вас за память, хоть, впрочем, я уверен, что люди, так душевно встретившиеся на несчастной полосе жизни для обоих, не могут охладеть.

Сообщу вам важную новость для меня. Вы помните несчастные разрешения моей жены, расстраивавшие ее и физически и морально, а потому можете себе представить всю радость нашу, когда 30 декабря родился сын, совершенно здоровый, которого вчера и крестили Николаем. Более о себе ничего не могу сказать. Лето я жил в деревне и опять собираюсь с мая месяца82.

О ваших делах справляюсь иногда у Григория Ивановича. В досужую минуту напишите строчку. Душевно любящий вас *Александр"*.

В 1844 году Витбергу удалось выхлопотать себе пенсию в четыреста рублей в год. Он переехал от своей сестры на отдельную квартиру на Песках. Усилившаяся болезнь заставила его серьезно подумать о своем лечении. Врачи посылали его за границу, для этого у него не было средств. Жизнь Витберга проходила чрезвычайно однообразно. В доме все делалось по заведенному порядку, и всякое нарушение его выводило Витберга из себя; он горячился, и вслед за этим с ним делался припадок падучей болезни, после которого он

становился мрачен, сердит; раздражение его доходило до такой степени, что с ним нельзя было слова сказать. С детьми он обращался чрезвычайно строго; они его боялись, старались не показываться ему на глаза и сидели большею частью в задних комнатах. Вставал Витберг обыкновенно рано и тотчас запирался в своем кабинете. Там он читал, преимущественно книги духовного содержания, или рисовал, чертил. Из дома выходил раз или два в месяц. У него бывали посетители весьма редко, да и то он никогда не выходил к гостям или выходил хмурый, сердитый.

Переписка с Александром сделалась вяла. Витберг угасал.

В 1846 году он получил от него письмо, в котором тот подает надежду на скорое свидание83.

"Ваше письмо, почтеннейший Александр Лаврентьевич, обрадовало меня безмерно. Отчего я молчал так давно, отчего вы? Сначала так, а потом потому, что молчали. Vous avez brisé la glace {Вы сломали лед *(франц.).*}, и вам честь за то, что вы напомнили мне и долг и собственное желание. Последний раз я писал к вам с Юрием Федоровичем Самариным. Вы не пишете, получили ли это письмо?..

О себе не много могу вам сообщить. Живу в Москве, почти исключительно занимаюсь естествоведением, не совершенно бесплодно. Это вы можете видеть по некоторым статьям в журналах84. В семейном кругу я так же счастлив, как был в первый день после свадьбы: детей у нас теперь трое; здоровье жены хотя далеко от крепости, но по крайней мере не хуже. Теперь важное дело предстоит в воспитании Саши (ему около шести лет) жизнию, опытом. Я думаю, воззрение мое на этот предмет не будет совершенно совпадать с вашим. Может быть, я сам побываю в Петербурге до осени...85 До свидания, весь ваш *Александр"*.

Скучная жизнь Витберга оживилась было в 1846 году с приездом в Петербург Саши. Встреча была самая радушная, оба нашли друг в друге много перемен. Витберг постарел, опустился; друг его возмужал. Они видались часто. Известный уже писатель посещал художника, и опять начались у них долгие, задушевные разговоры, но это были не прежние вятские беседы. Перед Сашей был уже не мощный ум, который некогда был ему опорой, а обремененный нуждой и

болезнями старец, схоронивший все свои надежды, всеми забытый, ничего впереди от жизни не ожидавший. "Если бы не семья, не дети, -- говорил Витберг другу в минуты горести, -- я вырвался бы из России и пошел бы по миру с моим Владимирским крестом на шее, спокойно протягивал бы я прохожим руку, которую жал император Александр Павлович, и рассказывал бы мой проект и судьбу художника". Он гибнул, самый гнев его против врагов своих, который так любил его друг-юноша, стал потухать; надежд у него больше не было, он ничего не делал, чтобы выйти из своего положения, и ровное отчаяние доканчивало его, существование сломилось -- он ждал смерти.

Александр вскоре уехал с семейством за границу -- и об Александре Лаврентьевиче уже ничего не знал, а художник прожил еще восемь лет и, кроме рисунков для иконостаса вятского собора, составил еще один проект88.

В 1847 году приехал в Петербург с Кавказа какой-то казацкий полковник. Неизвестно как он познакомился с Витбергом, часто бывал у него и, наконец, предложил ему составить проект храма, который тогда предполагали построить на Кавказе. Витберг согласился, проект скоро был готов, и по этому проекту в Тифлисе построен Георгиевский собор.

Между тем болезнь Витберга усиливалась, припадки повторялись чаще и чаще.

В 1848 году Федор Иванович Прянишников стал доставлять Витбергу работу -- составлять рисунки для корзин, в которых он подносил высокопоставленным лицам в Новый год заграничные журналы и кипсеки.

В то же время Витберг брался составлять по заказу памятники и монументы. В его положении это была единственная доступная для него работа. Заняться чем-нибудь более важным ему не приходилось, да он едва ли бы и мог: болезнь окончательно его одолевала,

Когда кому то вздумалось устроить в Петербурге сообщения в общественных каретах и понадобился для этого рода экипажей рисунок, то заказ был сделан Витбергу, и он его исполнил.

В 1851 году скончалась вторая супруга Витберга. Утрата ее была для него новым и последним ударом, за которым последовал паралич.

В 1854 году на него обрушилось еще несчастие -- пожар, в котором он едва не погиб; его спас бывший его ученик Чарушин,

живший в его семействе. В этом пожаре погибли почти все рисунки и чертежи многолетних трудов Витберга; затем, что было спасено, погибло в семействе, после *его* кончины, также в пожаре.

12 января 1855 года Витберга не стало. Он кончил жизнь шестидесяти восьми лет от роду и похоронен на Волковом кладбище. При последних минутах художника присутствовал его любимый ученик из Вятки Д. Я. Чарушин; похоронил его на свой счет П. И. Репин, член комитета по сооружению Александро-Невского собора в Вятке87.

Витберг изведал все муки, которые могут быть знакомы только людям, обладающим даром творчества: чувствовать, что мог бы привесть в восторг всех красотою своих созданий, величием и блеском идей, воплощенных в прекрасные формы, и в то же время ограничиваться изображением их на бумаге, зная, что никогда они не воплотятся в те формы, которые увековечили бы их для потомства. Тем не менее, имя Александра Лаврентьевича Витберга навсегда принадлежит истории искусств. Справедливость этой мысли провидел вятский друг художника и, вспоминая о его гениальном проекте храма Христа Спасителя в Москве, с полным убеждением писал ему: "Подвиг ваш не останется втуне, нет, человечество имеет свою мерку великому, и ваше место в истории искусства занято"88.

ГЛАВА 33

УКРАИНА

1834--1836

Украина, чистое произведение Малороссии,
слита с нею: климатом, местностию, произведениями.
*Вадим Пассек. "Путевые заметки"*1.

Воскрешая в памяти нашу жизнь в Украине, мне показалось, что прежде чем говорить о том, как мы жили в Украине, следует сделать краткое извлечение из путевых записок Вадима о том, что такое Украина:

"Украина, -- сказано у Вадима, -- есть чистое произведение Малороссии, той страны, где возникли первые элементы нашего отечества, откуда разлит в нем свет христианства, где возник и развился наш уделизм!" -- и продолжает, указывая на историческое значение этой страны:

"Кто первый из нас вошел в связи с европейскими державами? Кто остановил гибельный поток первых татарских орд и так сильно, так пламенно воспел битвы с кочевыми половцами?

-- Малороссияне!

Какой народ без твердых, постоянных пределов, которые могли бы его защитить от воинственных соседей, без неприступных гор, которые могли бы спасти его независимость, умел быть страшным для своих врагов, успел развить свою национальность и удержать ее впять веков насилия татарского, литовского и польского? Какой народ в пять веков неволи, когда пепелили его города, мучили за преданность религии, умел ее сохранить, в это время был не раз грозою своим притеснителям, и среди этих пыток созидал училища для образования юношества? Этот народ был -- малороссияне! Греческая религия впервые принята Малороссией. В победных походах Святослава были толпы малороссиян. Воспоминание о песнях боянов и теперь навевает мечтой и переносит в минувшее -- бояны были поэты Малороссии. Бессмертное Слово о походе Игоря есть произведение Малороссии; воспетые в нем дела свершены малороссиянами2. Они бились с половцами и печенегами; они пробудили жизнь на севере России и перенесли сюда все зачатки государства, перенесли уделизм, самые названия своих южных рек и городов, даже самый вес и монеты перешли к нам не из соседственного, самобытного Новогорода, но из Киева.

Что же виною такой сильной деятельности души народа? Неужели такие великие события -- дело случая? Или народы не имеют отличительного характера и жизнь их можно выразить одною

формулою? О! дайте место народности для каждого племени, -- не отнимайте его величия, стертого бедствиями и веками, смытого кровью!

Но где же искать источника, из которого льются все законы жизни, начала, по которым существуют все племена и народы? Где найти первый гармонический звук, по которому располагаются все события и стройно следуют одно из другого?

Этот источник, это начало -- в душе человека, условия -- во внешней природе.

Природа Малороссии имеет свою собственную характеристику в климате, почве, положении земли, в системе рек; почва ее земли тучна, пажити обширны, воздух благорастворенный. Чистое, светлое небо, цветущие поля, луга просветляют характер жителей, непосредственно сближают с миром внешним, с соседними державами и предрасполагают к жизни общественной более, нежели природа стран северных и палящего юга".

В пословице: что деревня, то обычай, Вадим видит глубокий смысл и говорит: "Знаю, что это различие часто видоизменяется от политических направлений, не везде резки его оттенки, не для всех оно заметно, не может быть исследовано силами одного человека; но оно есть и сильно проявляется в жизни русских и малороссов -- этих двух родственных народов".

Указавши, какое влияние имеет на народность среда, в которой народ возникает, Вадим переходит к его обычаям и указывает на уделизм. "Уделизм, -- сказано в "Путевых записках", -- по характеру своему возник и должен был возникнуть из духа южных славян, из самого быта малороссийского народа и погибнуть на севере".

Взгляд этот Вадим основывает на семейном разделе у малороссиян и на целости и единоначалии у великороссов; затем указывает на некоторые обычаи, подтверждающие этот взгляд. "Северная Россия имела также свою удельную систему, -- говорит он, -- но она носила в самой себе все начала единодержавия. Она не была действием семейного отдела; она была разделом отцовского наследства, с соблюдением семейного старшинства. И самое название великого князя в Киеве приобрело значительность только во Владимире и Москве"3.

Далее, указывая слегка на многие события, которые объясняют преимущественно различие характеристики и быта обоих племен, переходит к борьбе рода Мономаховичей с родом Ольговичей и кончает тем, как борьба эта была подавлена гнетом татар, доломавшим наш, в самом себе угасавший уделизм и остановлена завоеванием Малороссии Литвою и Польшей.

"Под властию Польши, -- продолжает он, -- Малороссия испила до конца все бедствия! дворянство не пользовалось польскими вольностями; крестьяне были истощены работами, стеснены на каждом шагу. Все было оскорблено, угнетено, и для малороссиянина не оставалось ни наслаждения, ни безопасности в доме, ни прав в государстве, оставалось одно прибежище -- быт казацкий, быт, полный дикой поэзии. Польша хотела истребить в малороссиянах самую мысль отторжения, хотела привязать к себе всеми отношениями гражданства и религии. Борьба религиозных понятий больше всего ожесточила народ малороссийский; и чем сильнее становились действия Польши, чем тягостнее ее власть, тем быстрее переходила Малороссия из быта гражданского в быть казацкий. "Воинства же казацкого, -- говорит летописец, -- никто исчести не может, сколько бо конных, столько и пеших, и сколько на Украине и Малороссии людей, столько и казаков, не треба нуждою собираться, як по иных, чужеземных странах творят; не треба великого найму обещевати; речет старейший слово, абие войско числом, аки трава будет..." Так легко обращало угнетение каждого гражданина в воина и быт гражданский -- в быт казацкий!

Казаки стали страшны для Польши; Польша задумала об их истреблении. Малороссияне схватились за меч!

Тяжел был полякам меч казацкий!

Когда Малороссия отдыхала временно, поляки обещали ей льготы, обещали все права своего отечества, и снова начинались угнетения -- и снова битвы.

Притеснения Польши последователей православия сильно обнаружили ее неприязнь к Малороссии, показали, как различны их народности, и сблизили в политическом отношении южную Россию с северной -- родственную ей по религии.

Замученные малороссияне -- одни бежали к своим землякам, в страну Приднепровскую, к переселившимся туда их

соотечественникам еще во времена тяжкого владычества татар. Там, скрывшись среди неприступных скал, огражденные глубиной и быстриной реки и лабиринтом островов, образовали общину, подвластную одному атаману, и стали громить своих врагов на суше и на морях.

Они разгуливали по морям в бедных челнах, бока которых обшивались тростником, без пушек, с одними саблями и пищалями.

Сухопутные набеги их были столь же неожиданны, бурны, дики и разгульны.

Ни Крым, ни малоазийские города, ни самые окрестности Константинополя не имели от них покоя, и не раз турки падали под их ударами у самых стен Константинополя.

Сколько раз Сагайдачный опустошал берега Черного моря и бился под Хотином, и этот же буйный казак строит церкви и училища, отдает все состояние в пользу учащихся, а сам поступает в монахи и ведет тихую, смиренную жизнь4.

Таковы были запорожцы!

Другая половина малороссиян в первой половине XVII столетия переселилась на берега Ворсклы, Сулы, Харькова, Донца и образовала русскую Украину.

Они нашли там природу, обильную многими произведениями, готовую воздавать десятерицею за труд человека. Леса и степи были полны птиц и зверей; реки кипели рыбою, в озерах она часто задыхалась от чрезмерного размножения.

Здесь было привольно жить первым выходцам, но какая судьба предстояла им? Они не имели за себя ни Днепровских порогов, ни отдаления от сильных государств, они поселились вблизи польских владений, сопредельно с Россией, на самом перепутье татар.

Чувствуя эти невзгоды, казаки при самом начале своего переселения стали искать подданства России. Этим средством надеялись вернее защититься от насилия и за подданство просили только беспрепятственного пользования хозяйственными заведениями и промыслами, из которых главным было -- винокурение.

Государи российские были довольны водворением воинственных малороссиян на опасном перепутье из Крыма в Россию.

Много терпела едва родившаяся Украина от крымских татар. Набеги их были жестоки. Почти целое столетие жизнь переселенцев

была непрестанною войною с крымцами. Они осуждены были выдерживать весь жар первого гибельного удара. Не прошло еще ста лет, как орда крымских татар врывалась в Украину со всеми ужасами опустошения. Страна, где теперь университет5 и десятки учебных заведений, где наготове стоит целый корпус войска, была границей России, и не по одному только имени была Украиной. За этой Украиной тянулись пустынные степи...

Подверженные беспрестанным набегам татар, в соседстве с Малороссией, кипевшей войною, украинцы жили точно в военном стане; самые земледельцы ходили не безоружные за своим плугом. Малая обеспеченность собственности и неизвестность в наслаждении жизни заставили их укрепить свои слободы, преобразовать их в города, сделать вокруг них насыпи, иные обвести стенами и составить из себя постоянное войско.

Первые из этих укрепленных слобод были Харьков, Ахтырка и Сумы; к ним причислены остальные села, местечки и деревни. По этим трем открывшимся городам названы три слободские полка: Харьковский, Ахтырский, Сумский.

Вскоре харьковский полковник Г. Донец построил Изюм.

Так возникли первые города Украины с их военным устройством.

Все жители этой страны разделились на полки, вся земля, ими занимаемая, со всеми селениями, местечками и деревнями была приписана к четырем полковым городам: Харькову, Сумам, Изюму и Ахтырке.

Главой каждого полка был полковник, избирался старшинами и чиновниками всего полка. В полковники могли быть избраны и из рода простых казаков; но заметно, что выбор падал больше на фамилии дворянские, вышедшие из Польши: так, в Изюмском были почтены выбором фамилии Кондратьевых и Захаржевских, в Харьковском: Квиток и Куликовских.

Власть полковника была так велика, что он жаловал землями и мог наказывать преступников смертью. Каждый полк делился на сотни.

Сотнями распоряжались сотники. В их власти были сотенные атаманы, асаулы (должность полкового адъютанта), хорунжие (охраняли полковые значки) и писаря, В полковых городах были пушки, к ним определялись пушкари.

Таково было военное устройство Украины. Оно возникло из самых обстоятельств и носило на себе отпечаток простоты и бурной военной жизни.

Привольно жили слободские поселенцы, охраняемые военным устройством. До них не доходило угнетение поляков, их не касалось насилие самих начальников, потому что и земледелец и полковник равно были необходимы друг для друга: опасность, защита, довольство были для них общими. И простой казаки полковые чиновники почти ничем не различались. Кто был сегодня казаком, тот завтра мог сделаться асаулом и даже сотником. Сегодня он пахал землю, а завтра распоряжался войском, и для него были готовы сотни земледельческих рук. Все зависело от личных достоинств, обстоятельств и службы.

Богатство страны доставляло все средства обеспечения.

Различные промыслы, торговля, винокурение -- все отправлялось свободно, беспошлинно. А полки Изюмский и Харьковский, пользуясь местоположением, по воле занимали южные пустые степи, распространяли на них скотоводство, пахали, косили и беспрепятственно употребляли земли под хозяйственные заведения.

Только с 1732 года проведена Украинская линия от устья Ореви до Северного Донца, и по ней поставлены укрепления, населенные великороссийскими жителями: это обозначило границы слободских полков.

Еще больше определились их владения на правом берегу Донца поселеньем колонии сербов, вышедших в 1752 году из Австрийской империи под начальством Шевича и Депрерадовича.

В 1669 году царь Алексей Михайлович оставил прежние права за казаками. Петр Великий подтвердил привилегии казаков.

Вместе с тем всеизменяющий гений Петра коснулся и некоторых из их преимуществ. Он потребовал от казаков определенности в их военном устройстве.

Вскоре избрание полковников стало зависеть от утверждения государей; все полки были отданы в распоряжение генерала; все гражданские дела поступили в ведомство белгородской провинциальной канцелярии.

После Полтавской битвы Петр оставил в Украине пятнадцать полков под начальством князя Репнина и назначил украинским

дивизионным генералом Петра Матвеевича Апраксина. Ему были поручены и слободские полки".

Этот период времени Вадим считает началом поселения в Украине русских крестьян, так как некоторые из дивизионных слободских начальников, получивши в Украине деревни, поселяли здесь своих великороссийских крестьян. Так, фамилия Апраксиных владела Нижним Салтовом и некоторыми деревнями, из которых были и русские.

Впоследствии времени переселились сюда из Венгрии фамилия Хорватов, из России -- фамилия Пассек, из Валахии -- Кантемиры и Куликовские {Хорват в первой половине XVIII столетия вышел из Венгрии и привел с собой венгерских выходцев. Богдан Иванович Пассек, бывший белгородским губернатором, купил слободу Спасскую и сельцо Нитайлово, что в Волчанском уезде. Куликовские вышли вместе с Кантемиром из Валахии. В фамильной летописи Квиток, под 1711 годом, есть любопытное место -- именно, что князь Кантемир просил себе у государя всю Украину во владение; "но сей край,-- продолжает летописец, -- должен благодарить князя А. Д. Меншикова за предстательство, -- он внушил государю, каково есть волошских начальников правление над подданными сурово, малоумно и деспотично, а потому это не сбылось..." *(Прим. В. В. Пассека).*}.

Большая же часть переселения произошла при совершенном присоединении Украины к России.

Постановления при императрицах Екатерине I и Анне Иоанновне коснулись всех сословий и всей жизни украинцев и с каждым годом сливали Украину с Россией. Императрица Елизавета Петровна увеличила комплект рядовых и позволила недовольным на решения полковых канцелярий жаловаться в Белгородския губернии, в Юстиц-коллегию и переносить апелляции в сенат.

Обрадованные этой грамотою, полковые начальники дополнили каждый полк назначенным числом рядовых и, по собственному желанию, учредили для каждого полка особенный мундир. Этим нововведением сделали шаг к наружному сближению казаков с великороссийскими войсками и обозначили, что Украина уже носила в себе самой семя своего изменения.

Затем постепенно отменялись разные привилегии и повелено было набрать из казачьих семейств слободский гусарский полк.

Все предвещало, что решительный час преобразования Украины близок.

При Екатерине II слободские полки переименованы в гусарские.

С этого времени вся Украина, как живая, неотъемлемая часть организма целого государства, привитая к нему устройством военным и гражданским, должна была сочувствовать его жизни и подвергаться его общим изменениям.

Чтобы глубже вникнуть в жизнь Украины, говорит Вадим, надобно проследить ее в самом ее источнике, в племени малороссийском, и с любовью обращается к Малороссии, как это можно видеть из начала главы и из краткого извлечения, сделанного мною из его "Путевых записок", для того чтобы, указавши его взгляд на Малороссию, перейти к протекшей и настоящей жизни Украины, куда судьба привела нас с Вадимом в 1834 году.

Еще во вторую поездку свою в Украину, по делам семейства, Вадим в нескольких письмах познакомил меня с этою страною. Впоследствии эти письма частию вошли в состав его "Путевых записок"6.

ПИСЬМО I

"Какие мечты пробуждает во мне Украина! -- писал мне Вадим из села Спасского в 1833 году. -- Как сильно сочувствует душа моя ее бурной, изменчивой судьбе, ее безмолвным курганам, ее неразгаданным изваяниям! и весь я влекусь думами к ее минувшей жизни, к ее воинственным ордам и раздолью природы. Мне кажется, передо мной еще прежние широкие равнины и степи от возвышенного берега Донца через Днепр идут к берегам моря Каспийского: по ним едва катятся чистые воды их рек; поля застланы зелеными коврами, оживлены рассыпанными по ним табунами; темные леса и рощи тянутся широкой полосой к полтавской границе. Почва этих степей песчана, вкуса морской воды, усеяна солончаками и раковинами. Это обратило внимание натуралистов; Тур-нефорт первый заметил, что было время, когда пролив Константинопольский не существовал, море

Черное не соединялось с Средиземным и земля разорвалась от землетрясения или от сильного напора воды.

Почти спустя столетие после Турнефорта наш Паллас подтвердил его догадку доказательствами7. Кто не задумается, бродя по этим безбрежным для взора степям, зная, что они были некогда дном обширного моря, что здесь беззаботно покоились морские чудовища, а там, в высоте, где вьется теперь жаворонок, сыпля на землю звонкие песни, там завывала буря, вздымала волны, и погибавшие пловцы страшились упасть на эти роскошные равнины.

Это море захватывало часть нынешней Украины.

Ты не можешь себе представить, Таня, того впечатления, которое произвел на меня дивный вид с горы Нижнего Салтова; под горой Донец, равнины и степи, с разбросанными деревнями, тонут в вишневых садах, а мне, полному дум прошедшего, казалось, я стою на высоком утесе: равнины -- море, деревни -- суда! на море штиль, ничто не трогается; порой на горизонте безмерного пространства как бы всплывавшая телега казалась чудовищем; рассыпанные стада -- морскими птицами.

Да, украинские степи казались мне затихнувшим морем!

Море это извергнуло тысячи чудовищ на берег нашего отечества -- извергнуло набеги половецкие.

Половцы врывались в наши пределы, пепелили города и селенья, уничтожали леса, брали пленных, которых редко обращали в рабство, а больше меняли на золото; но завоевать России не могли -- это было противно элементу их кочевой жизни.

Когда исчезло племя половцев, украинские степи запустели, только половецкие кумиры {Кумиры половецкие теперь стоят по степям и курганам в Украине, колоссальные, грубо высеченные из камня. В Украине их называют "бабами". В 1830 годах Вадим доставил в московский музей две каменные бабы из Харьковской губернии. *(Прим. Т. Л. Пассек.)*}, покинутые своими поклонниками, стояли одинокие, забытые; их заносило снегом, они зарастали травой, местами курганы, как часовые, стерегли свое пустынное жилище; порой крымцы делали набеги через обезлюдевшие равнины; орел, в высоте, сливая круг за кругом, ширялся над стадом драхв или гусей, да пустынный ветер шумел и волновал песчаное море.

Украина запустела!

Пусто бывало в Украине, когда покидали ее половцы; пусто бывало, когда татары, рассеявши половцев, привольно гуляли по обширному пепелищу; но никогда не бывало в Украине такого запустения, как во времена владычества Польши над Южною Россией. Тогда Украина обезлюдела, и редко заходил сюда человек.

Кто же первый решился основать здесь постоянное жилище? Что привело в пустынную, дальную страну, беззащитную от набегов крымцев и ногайцев?

Привели -- угнетения".

ПИСЬМО II

. . . . . .

"Украина -- чистое произведение Малороссии -- до сих пор удержала характеристику *своего* происхождения.

И теперь в Украине существует отдел в семействах, и теперь язык сохранил свою национальность, даже влияние чужеземного Запада. Слова: крейда, шмак, шлях, шмальц и проч. отзываются влиянием Польши и Германии.

В пляске каданс и выкрутасы подходят к польскому краковяку. Гопак, метелица, журавель -- танцы малороссийские. Козачок -- пляска собственно украинцев. Песни разнообразны и дышат простосердечием. В иных сохранились воспоминания исторические. Многие думы еще не забыты и исполнены мысли и чувства. Думы и песни -- это поэтические летописи. В Малороссии не был" лица, ознаменовавшего чем-нибудь свою жизнь, которое не почтили бы думою или песнию, и могло ли быть иначе? В каждом событии участвовал последний казак, последний крестьянин; от этого-то и теперь не забыты имена Палия, Дорошенки, Свирговского, Серпяги, Хмельницкого и др., оттого-то и теперь простые песни и сказки доставляют пищу разгульным бандуристам и бедным старикам.

Характер Малороссии и влияние природы отпечатлеваются в самой постройке домов: хата почти всегда сделана из нескольких бревен, кольев, даже прутьев, неровно сложенных, крепко и гладко замазанных глиною, выбеленных мелом. Издали деревня похожа на ряд палаток, разбросанных между фруктовых садиков. Хатки эти малы, в них живут только муж с женою да неженатые и незамужние еще дети. Двор огорожен плетнем, покров его небо; для каждой хозяйственной потребности отдельная постройка. Все это указывает на то, что народ наделен дарами природы, мало страдает от жестокости климата и не привык жить только жизнию своей хаты и своего двора. Это по преимуществу заметно в Украине.

Украина, родная Малороссии по происхождению, военное поселение от XVII до XVIII века, не могла привыкнуть к хозяйству -- беспечность образовалась одним из отличительных признаков ее жизни в низшем классе.

Самое переселение в Украине не встречает такого затруднения, как у других народов. Редко услышите ропот переселенных.

Легкие хатки перевозятся, лепятся снова, замазываются глиной и белятся мелом {Так, в три господские дня перевезена была графом А. И. Гендриковым обширная деревня Лиманная. В понедельник перевезли хаты, во вторник сложили, в среду замазали глиной. Остальные три дня работали на себя. В воскресенье выбелили стены и -- деревня готова. *(Прим. В. В. Пассека.)*}. Дело другое, если разлучают с родными или украинец сочтет себя обиженным, стесненным, тогда он утечет на Дон или в степи. Он легко покидает свою хату, к которой не привязан ни большой семьей, ни хозяйством.

Раздел семейный вредит хозяйственной части; но обычай силен. Украинец говорит: "Хоть гирше, да инше".

Разгул и беспечность жизни украинцев больше следствие, нежели причина их исторического быта и свойств страны.

Еще бывши казаками, когда собственность их была не обеспечена, жизнь измерялась битвами, а счастье жизни решалось мечом, они привыкли к бездомовной жизни, приучились жить как бы на один день и желали только скорее насладиться неверною жизнию -- это поселило в их характере стремление пользоваться настоящим.

С какой беспечностью думает малороссиянин о полевой работе: ему ненадобно возить на поля удобрения, ненадобно управлять сохою.

Он запрягает в плуг волов, и они, привыкнувши к делу, верно ходят взад и вперед, и плуг сам, без управления, режет борозду за бороздою, и тучная земля разверзает свое лоно. Крестьянин идет только возле плуга, да какой-нибудь мальчик погоняет передних волов, и за малый труд получается богатый урожай.

Иногда, возвратясь с работы, неутомленный, идет с своею жинкою и дочкою ловить бреднем раков. Вот они подошли к реке, женщины отправляются в воду, бродят там часто по грудь, а чиловик сидит на берегу, выбравши получше место, курит люльку и, скрививши свою казацкую смушковую шапку, поглядывает на все стороны, любуется ловом и спокойно идет домой; за то жинка не знает, как покупать наряды: ее чиловик привозит ей и запаску, и плахту, *и* очипок, и даже чоботы на высоких подборах".

ПИСЬМО III

. . . . . .

"Загляни в хату украинца.

Вот она: бедная, без крытого двора. Но как она чиста и бела! как убрана и вымазана ее завалинка! как вымыты слепленные окна. У ворот лежит груда хвороста и щепок: это украинские дрова; плетень оброс крапивой и шиповником. Навстречу хозяину идет дворовая собака, высокая, поджарая, с широкой головою и продолговатой мордою: это порода собак крымских; она напоминает набеги, времена военной смуты. Вы подымаетесь на крыльцо... над вами висят длинные вязанки яблоков, пачки табаку -- важного условия для малороссиянина -- и капустные листья, на которых пекут хлебы. В хате нет полатей, никогда она не бывает курною, земляной пол ее, вымазанный глиной, чист, выметен, пересыпан песком, пища хозяев бедна, но борщ их вкусен, хлеб бел, все чисто и опрятно. Разговоры их вертятся около предметов, близких с крестьянским бытом: то вдаются в воспоминания о пережитых бедах, то переходят к знахарству какой-

нибудь старухи или к надеждам на борщ с хорошей свининой, на вареники и галушки со сметаной или к сладкой мечте прогулять в первый праздник последние гроши, которые еще надеется получить за мешок пшена или гречихи. Временем вспоминают о предстоящей работе; но мысль, что им достане хлиба до нового, утешает их беспечность. Временем полупьяный чиловик бранит свою жикку, а жинка сидит отвернувшись к окну, поколачивает коваными чоботами и грозит ему худыми паляницами и борщом без сала или сердится и бранит своих ребят бисовыми детьми.

Но есть время, когда живая душа малороссиянина разыгрывается в веселых песнях какого-нибудь парубка или заслушивается сказок и дум какого-нибудь старика о делах минувших, временах казацких, когда жили Палий и Дорошенко, Хмельницкий и Сагайдачный, когда татарская орда впала в Изюмский полк и много шкоды сробила, щоб ей, поганой, борщу у глаза не видати.

Иногда сбирается толпа вечно кочующих чумаков. Поразгулявшись, они садятся около огня, разложенного среди разбросанных телег и рассыпавшихся волов, и напевают свои дико-унылые песни; временем звучит торбан, сипло напевает скрипка, и под эту музыку и песни слышен топот гопака или живая метелица. Это время народной поэзии".

ПИСЬМО IV

. . . . . .

"Дворянское сословие в Украине, как и везде, высшее по образованию. Оно волей-неволей подвергается влиянию времени и, часто безотчетно, движется поступательно.

Еще до сих пор осталось в памяти народной, как богатые помещики решали свои распри одним оружием" Вывозили на поле брани пушки, и после гибели нескольких крестьян все оканчивалось веселой, роскошной пирушкой помещиков-феодалов.

В их делах и словах мы узнаем чуждые для нас понятия: "Све мое, -- говорил старый Хорват, -- све мое, земя моя, небо мое, воды мои и черти, що у блатах,-- све мое!.." И он на самом деле исполнял это правило жизни.

Однажды с многочисленной свитой поехал он в отъезжее поле через деревню Т. Его собака зашла во двор к крестьянину; он хотел ее выгнать, собака укусила его, а крестьянин как-то неосторожно ударил собаку и перешиб ей ногу; грозному Хорвату недостаточно было наказать своим судом чужого крестьянина. Нет, он велел своим охотникам обнести всю деревню соломой и спалить ее до последнего двора.

Однажды испугались чего-то его лошади под двенадцатью венгерскими гусарами. Хорват велел на месте же всех их перестрелять, чтоб не подумали, что у старого Хорвата лошади могут чего-нибудь бояться.

Однажды он приехал на землю своего соседа Пассека с ватагою вооруженных людей и велел им насильно свозить к себе чужой хлеб. Пассек, не имея возможности противиться, упрашивал Хорвата, чтобы он из дружбы остановил насилие. Но Хорват, не ссорясь, отвечал: "Коли маешь силу, озьми све мое". Делать было нечего. Пассек в разговоре отвлек Хорвата от его толпы вооруженных людей, выхватил из кобура пистолет, приставил его к груди старого Хорвата и сказал: "Выбирай -- смерть, или весь хлеб вези ко мне на двор".

Неожиданность смутила Хорвата, и он согласился на требования противника. "Этого мало, -- прибавил Пассек,-- целуй землю и клянись, что ты не будешь мне мстить и мы останемся друзьями". Хорват целовал землю, как благородный рыцарь, позвал к себе на пирушку храброго соседа и дружно запил с ним минутную обиду.

Все это было за семьдесят или восемьдесят лет.

Еще и теперь видны в некоторых именьях остатки земляных крепостей, некогда защищенных пушками.

Эти насыпи, вместе с заржавленными пушками, с остатками многих редутов и крепостей, которые некогда противопоставляли ордынским набегам, вместе с неразгаданными изваяниями, разбросанными по пустынным степям, -- все это без слов еще долго будет говорить о судьбе Украины {Деспотизм, проявлявшийся в грандиозных формах старины, отзывался еще и в их потомках,

выродившись в уродливое колобродство и тиранию, и давал себя чувствовать гораздо ближе к нашему времени, как это можно видеть из одного очень оригинального наказания провинившихся, бывшего в употреблении у одного из украинских помещиков, перед самым освобождением крестьян. Виноватому связывали руки и ноги, завязывали его в мешок из рядна, клали на землю и засыпали пшеницей, оставляя отверстие для дыхания. Затем пригоняли стадо индюшек, индейки принимались клевать пшеницу. Когда пшеница была склевана, наказанного освобождали из мешка, он оказывался весь исклеванным, в синяках и едва мог держаться на ногах. *(Прим. Т. Л. Пассек.)*}.

Дворянство мелкопоместное посвящает себя более хозяйственным занятиям и службе по выборам. Послуживши, устраивают свой хутор, прикупают к нему землю и крестьян, разводят хорошие груши и дули, делают наливки, ездят на охоту и на ярмарки.

Если есть дочь, она лет до двенадцати -- четырнадцати учится грамоте, потом хозяйничает, занимается уездными модами, танцует, влюбляется, вздыхает и выходит замуж.

Сын лет до десяти ничему не учится. Потом ходит к нему дьячок или пономарь, и его отправляют в уездное училище, оттуда, полелеявши на хуторе, отдают в военную службу -- узнать житье-бытье; корнетом он приезжает в отпуск, вскоре выходит в отставку, выбирает невесту, женится и живет на хуторе.

Но и он, и дети его, и все движется вперед, не столько воспитанием, сколько неуловимым духом времени.

Внуки высшего сословия уже не решают спорных дел пушками и саблями. В кругу их найдете людей с новыми понятиями. Большая часть из них воспитывается в столицах или с помощию гувернеров и учителей. Многие образуются в университете, институте и пансионах, устроенных в этой губернии.

В. душе моей я воскрешал минувшие века Украины, видел, как изменялось бытие народа, как возникали и гибли воинственные племена, чувствовал их жизнь и прожил с ними столетия.

Зачем измерять эту жизнь короткими годами, жалкими удачами и мелочными несчастиями? Зачем бежать в толпу? Бегите в свою душу -- неизмеримую как вселенная. *Вадим".*

ГЛАВА 34

ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ ПАССЕК

1834--1836

Половина дома, которую мы заняли, состояла из трех комнат, одной стороною обращенных во двор, остальными в сад; сквозь столетние деревья светился Донец, за ним белели меловые горы, на них Верхний Салтов в вишневых садиках, -- по нижней стороне Донца степь, поля проса и пшеницы. По совету приказчика нашего Петра, из двух разобранных хат, хвороста и хранившихся в экономии досок пристроили мы к нашей половине спальную и девичью с обширными хворостяными сенями, выходящими в сад, а на берегу Донца, под кленами, устроили беседку, заменявшую кабинет, и там в жаркие дни читали и писали. Умственные занятия Вадима разнообразились хозяйством, рыбными ловлями и охотой. Вадим любил охоту с ружьем, иногда на охоту и меня брал с собой. В легкой тележке, в одну лошадку, с Зюльмой и винтовкой он ездил в степь за драхвами и стрепетами; с ружьем ходил на озеро за утками. На озере, в густых, высоких очеретах, уток водилось такое множество, что они под выстрелами шумной тучей поднимались над водою, и Зюльма едва успевала приносить нам подстреленную птицу.

В темные вечера, мы вместе с рыбаками, в лодке с подсветом, ловили на Донце рыбу. В праздничные дни закидывали невод и вытаскивали множество различной рыбы; лучшую пускали в садок, остальную делили между рыбаками и дворовыми людьми.

Жизнь наша текла, как тихая река, наружно -- неподвижная, внутренно -- полная содержания.

Ясное состояние духа нашего возмущалось только страхом ареста. Едва слышался звон колокольчика и показывалась повозка с чиновником в фуражке с красным околышем, как я бледнела и у меня

занимался дух, до тех пор пока грохот колес замолкал вдалеке. Когда же мы увидели, что Вадима не только что никто не арестует, но даже никто и не навещает, то страх наш заступило такое глубокое душевное спокойствие, что скрыло от нас весь мир, кроме маленького уголка земли, занимаемого нами.

В это-то время Вадим внимательно изучал Украину и Малороссию, живописные очерки которых впоследствии появились в "Очерках России", написал диссертацию на магистра и небольшую статью под названием "Странное желание", выразившую настроение его духа. Защищать диссертацию ему не привелось. Вследствие его близких отношений с арестованными молодыми людьми в кафедре ему было отказано. По приезде из-за границы молодых профессоров кафедру, которая была назначена Вадиму, занял в Харьковском университете профессор истории Лунин1. Статья "Странное желание" пролежала восемь лет в портфеле Вадима и была напечатана по кончине его, в малоизвестном, а в настоящее время и совсем исчезнувшем, небольшом сборнике, изданном в память его близко знавшими его литераторами, под названием "Литературный вечер"2. Редакцию "Литературного вечера" хотел взять на себя Саша, но ее удержал за собою Вельтман, вероятно сколько по расположению к Вадиму, столько и по общему с ним направлению, склонявшемуся к делу славян. Саше это было так неприятно, что он не поместил ни одной статьи своей в "Литературном вечере". Все это делалось помимо меня. Мне тогда было ни до чего.

Чтобы спасти статью *Вадима-юноши* от забвения, я поместила ее в моих воспоминаниях,

СТРАННОЕ ЖЕЛАНИЕ

Крутом меня раскинулись цветущие степи и, синея, сливаются с далеким небосклоном. На них, вечерами, как звезды, мерцают огни, подле которых любит отдыхать украинец, там и там белеют чистые хаты, обсаженные вербами, потонувшие в зелени фруктовых садов. Над ними подымается беловатый дым, сливается в вышине в неподвижную полосу, а за нею догорает заря майского вечера.

Глубока синева украинского неба, жарко обнимающего землю! тихо в вышине! ничто не пролетит, не прошумит, и ни одно облачко не затеняет лазурного свода. Тихо на земле, люди, отдыхая, собирают силы для житейских забот. Только звучное стрекотание кузнечиков сливается в какой-то металлический говор, и вы слышите его по желанию. Оно не нарушает тишины, оно наводит как бы полусон, и все нервы, все жилы бьются медленно, стройно, и тело предается отрадному покою вместе с его родной землею, а душа тихо, тихо оставляет его и несется в мир духа и разливается по вселенной. Если бы человек мог беседовать лицом к лицу с создателем -- не было бы в его жизни минуты более невинной, более чистой.

Так прелестна вокруг меня природа, так много пробуждает светлых чувств!

А я? кто поверит? я часто желал бы снова перенестись на мой родной Иртыш или в глубину лесов, не пробужденных от века ни секирою, ни голосом людей. Но отдайте мне мои родные леса, отдайте мои поля и горы, и опять мне будет жаль моей Украины, и станет грустно по ней! Так бывает мне грустно и по тебе, родимая Москва; по тебе часто болит мое сердце, тобой часто оно радуется. Что же приковало к тебе мою душу? твои ли вековые страданья? или твоя слава, твой заветный Кремль с его святыми храмами, или люди с чистой, высокой душою? Нет! оставьте меня в пустыне, где от создания мира не было следа человеческого, и перенесите из нее в родную семью, я не забуду моей пустыни, она моя, она изумляла меня своим величием, путала дикостию, я с нею беседовал и переживал много дум и чувствований, я люблю ее, люблю, как любим мы предмет воспоминаний и не забываем, что нас волновало.

Я люблю все места, всю землю, мне тесно одно избранное место, мне жаль, что я не живу везде, где живут или могут жить люди! Зачем я не в колыбели рода человеческого! зачем надо мной не раскаленное небо Индии, зачем не благоухают девственные леса, не льются заветные воды, не возносятся от земли исполинские храмы, где за тысячелетия до нас человек падал в прах, полный благоговения к своему создателю? Зачем я не в песчаных степях Аравии? как быстро понесся бы в беспредметную даль, как летел бы вихрем мой степной конь и занималось бы дыханье, и было бы чудно весело! для чего я не среди океана, не в самом отдаленном из всех краев мира, откуда по

воле мог бы нестись к любой стране? мне бы хотелось в одно время предаваться неги и роскоши в странах юга и на самом краю севера любоваться ночными сияньями и запустеньем природы, скитаться в пустынях и искать пути в дремучих лесах! хотелось бы в одно время быть среди всех племен и всех народов, пережить вместе с ними всю грусть и все радости земной жизни.

Странное желание! оно недостижимо, но живет в душе моей и жаждет удовлетворения. Что же оно? не мечта ли, не игра ли болезненного воображения?

Нет! это жажда, действительная потребность духа человеческого. Человек наслаждается каждым местом и в каждой стране, но и место и страна слишком тесны, чтобы заключить дух его в своих пределах. Для духа нет исключительного пространства, он жаждет знания и наслаждения всех мест, всей земли, всей природы, и еще в земном покрове стремится слиться со вселенной.

Дух вечен, и нет для него избранного времени, человек не весь прикован к настоящему: он любит воскрешать минувшие века, углубляться до дня созданья, в бесконечность времени и уноситься думой в будущее.

Оттого-то и мне хотелось бы всюду жить в каждое мгновенье времени, во все возрасты человечества и природы: хотелось бы присутствовать при всех переворотах земли, взгромоздивших горы и разъединивших все ее части, когда еще кипели реки металлов и раскаленная атмосфера неразлучно носилась с земным шаром! Хотелось бы взглянуть, как после стихийного состояния отделились воды, заструились реки, зацвели первыми цветами поля и послышалось первое пение птиц. Хотелось бы видеть, как прибавлялись к созданиям новые созданья и устроилась и дышала жизнию вся земля как бы в ожидании лучшего гостя. Желал бы перечувствовать все чувства, все впечатления первого человека, переходить с ним из поколения в поколение, от состояния невинного до дня падения, когда, одичавший, он вступил в борьбу с природою, с ее непроходимыми лесами, с водами и страшными жителями этих лесов и вод! Потом развиваться, искать лучшего, снова жаждать бога и падать, и снова приближаться к нему, доколе не услышал мир святого слова откровения! Зачем я не слыхал этого слова из божественных уст

Спасителя мира? зачем не мог коснуться края риз его? Как связан человек местом и временем!

Не истинна ли, не врожденна ли эта жажда всеместной и всевременной жизни? не сам ли он, облеченный в земную персть, стремится к вечности и вездеприсутствию и томится желанием быть во всех местах и во все века?

И что мне жизнь, если я не составляю живой части целого мира, что мои бедные дни, если они не сливаются с вечностию!

Страшно быть отторгнутым от общества людей, невыразимо страшней быть отторженным бытием от вселенной и жизнию от вечности. Я теряюсь, гибну при одной мысли об этом отчуждении, оно роняет человека ниже ничтожества.

Не оттого ли мы нередко томимся желанием представить всю минувшую жизнь вселенной, узнать ее настоящее и разгадать будущее.

Но человеку не воскресить прошедшего, не удовлетвориться и разгадкой будущего! Где же полное удовлетворение жизни? Где найду наслаждение жизни всевременной и вездеприсутствующей.

В святой и жаркой вере на земле --
И там, где нет уже земных преград.

Тогда, тогда душа моя
Постигнет тайну бытия,
И вся, как часть души одной,
Сольется с вечною душой.
Вадим Пассек.

Мы прожили в Спасском до глубокой осени, спокойно, тихо, без всяких бурь, кроме бурь небесных. Грозы небесные бывали у нас нередко; одна из них осталась у меня в памяти.

Раз, в душный полдень, на жаркое небо надвинулись густые облака и заволокли солнце; мы заметили их только тогда, когда солнце выглянуло из них, осветило страшную тучу и скрылось в нее. Деревья зашумели и стихли. Загремел гром, и разразилась страшная буря.

Вадим любил грозу, он вышел во двор. В то же мгновенье с страшным треском пробежала по небу зигзагом огненная стрела,

ударила в стоявший посреди двора столетний дуб, расщепила дуб надвое и зажгла его.

Вне себя от ужаса я выбежала к Вадиму,

Дуб пылал.

Мы вошли в комнаты и, когда гроза стала утихать, сели у раскрытого окна. Темные тучи, надвигаясь одни под другими, торжественно опускались за Донец, то освещая реку и сад широкими молниями, то снова покрывая их мраком, под которым краски цветов и деревьев выступали ярче обыкновенного.

Эта сильная гроза вызвала в Вадиме воспоминания о летних бурях и зимних буранах в Сибири, о его детстве и первой юности, проведенных в Тобольске.

Рассказы Вадима были до того живы, что уносили всю душу мою в ту дальную жизнь, в тот неведомый мне край, в котором он родился и вырос.

Вадим родился в Тобольске 20 июня 1808 года. В это время, по происках врагов отца его, находившихся в Петербурге, тобольский губернатор фон Брин жестоко теснил и гнал семейство Пассек и в глубокую, холодную осень вытеснил, с малолетними детьми, за двадцать верст от Тобольска, в селенье Абалат {Селенье Абалат находится вблизи Абалатского монастыря, основанного в XVII веке, во имя явленной иконы богоматери, названной Абалатской. 20 июня совершается ежегодно великолепный крестный ход по Иртышу из монастыря в Тобольск и обратно с явленным образом. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}.

Инспектор медицинской управы Иван Христофорович Керн и жена его, люди добрые, благонамеренные, бывшие в дружеских отношениях с Пассеками, желая облегчить их тяжелое положение, предложили оставить у них маленького Вадима; родители согласились, сознавая, что при таких условиях ребенок вернее сохранится у Кернов, нежели у них, и передали им его, с остальными же детьми переселились в Абалат. В Абалате они были лишены всех удобств жизни до того, что даже за съестными припасами матушка принуждена была каждую неделю ездить сама в Тобольск. Поездки эти были утомительны и опасны. По пути подкупленные убийцы не раз хотели убить ее; преданность и находчивость крестьянина, с которым она постоянно ездила, спасали ее. Заслышавши за собой погоню, они

въезжали в лес и там прятались. Тобольский полицеймейстер Кривоногое, преданный Брину, по предписанию его, держал в своем распоряжении двух человек из приговоренных к каторжной работе, и случалось, что из числа приезжавших в Тобольск благонамеренных молодых людей для следствия иные внезапно исчезали, других находили как бы замерзшими на льду или убитыми в лесу с пистолетом в руке.

Спустя несколько времени, стараньем и хлопотами батюшки {Василий Васильевич Пассек -- отец Вадима Васильевича. *(Прим. Т. П, Пассек.)*}, им разрешили возвратиться в Тобольск, где они и устроились в собственном доме, который подарил им кто-то из старинных зажиточных сибиряков. Дом этот находился на горной части Тобольска, на большой улице, был просторен, с двумя садами и большим огородом. По возвращении в Тобольск родители Вадима просили Кернов возвратить им его, но Керны, не имея своих детей, так привязались к ребенку, что пожелали оставить его у себя по крайней мере до его поступления в училище, и так горячо упрашивали, что родители Вадима не имели духа, отказать, тем более что считали себя им обязанными, только просили по воскресеньям и праздникам отпускать его к ним поиграть с братьями и сестрами. Когда Вадим подрос, то Керн нашел необходимым приглашать и к себе в дом для него товарищей; но, любя покой и строгий порядок, боялся звать его братьев-шалунов, а временами брал тихую сестру его Оленьку. Это связало детей взаимной привязанностию и доверием. Вадим был ребенок кроткий, умный и впечатлительный. Он рано стал задумываться над своим положением и соображать, почему братья и сестры его живут с родителями, а он один отчужден от них. Недоумение свое он высказывал товарищу детских игр своих -- Оленьке, которая была годом или двумя его моложе, и они не раз, втихомолку, беседовали об этом, горевали, но объяснить друг другу, почему это так, -- не могли.

Когда Вадиму минуло десять лет, доктор Керн скончался, и его возвратили родителям.

Несмотря на грусть об отчуждении, Вадим долго и глубоко тосковал о прежней жизни своей, и часто с вечера, когда лежал в своей кроватке, слышны были его сдержанные рыданья, и не раз видали следы пролитых им горьких слез.

В своем семействе Вадиму пришлось испытывать лишения, о которых он прежде не имел и понятия.

Первое время по приезде Пассеков в Тобольск высылали им из их харьковского именья -- села Спасского -- ту часть дохода, которая приходилась на долю двоих сыновей, рожденных до ссылки, взятых ими с собою в Сибирь, но мало-помалу высылка сокращалась все больше и больше, а наконец и совсем кончилась. Между тем семейство с каждым годом умножалось, вместе с этим увеличивались и расходы, далее наступила нужда, затем крайность, временами доходившая до жестоких размеров; но, несмотря ни на что, все были сильны духом, деятельны, уверены в себе. Такого рода всеобщее настроение истекало из воспитания, основанного на свободном, самобытном развитии, искренности, семейной любви и взаимном несчастии. Вадим скоро впал в тон своего семейства, вполне сродный его открытой, благородной натуре, несмотря на то что в доме доктора приучали его к формальности и к выдержке; особенно этой системы воспитания держались две племянницы Ивана Христофоровича, которым был передан на руки ребенок по кончине жены доктора. Племянницы были девушки в летах, добрые, благонамеренные, но, по ограниченности образования, многое понимали по-своему, вследствие чего поступки их иногда противоречили их наставлениям. Ребенок скоро это заметил, но так как был еще не в состоянии отличать правильные действия от ложных, то случалось, и сам поступал не по тому, что слышал, а по образцу, который видел. Так, однажды зимою, рассказывал мне Вадим, когда ему было около семи лет, зо время рекрутского набора он заметил, что воспитательницы его иногда тихонько от дяди, с заднего крыльца принимают от крестьян приношения, а прислуга, украдкою от господ, берет с них гроши и пятаки. Это возбудило в ребенке желание и самому попользоваться чем-нибудь от добровольных дателей и также ото всех украдкою. Составивши план, как достигнуть своей цели, он рано утром, пока в доме все еще спали, встал с постели, оделся, но, не находя своих ботинок, натянул на босые ножки лежавшие в комнате теплые рукавички доктора и на цыпочках, едва касаясь рукавичками снега, подбежал к воротам, у которых уже стояла многочисленная толпа крестьян. Отворивши калитку, Вадим сказал им:

-- Что же вы мне ничего не даете, ведь я сынок доктора, вы всем даете, надобно и мне дать что-нибудь.

Крестьяне радушно дали ребенку несколько медных денег, которые, конечно, ему ни на что были не надобны, и он не знал, что с ними делать.

Благородная натура Вадима, честные правила доктора Керна, добродушие его племянниц и высокое настроение родного семейства не допустили зародиться в его душу ничему порочному, и он уже в отроческом возрасте, по врожденной тонкости, не только что чувствовал, но частию и сознавал истинное в мире нравственном, строго следил за собою и учился с любовью и увлечением. Отец сам занимался с детьми естественными науками. Вадим внимательно слушал его уроки о тайнах и законах природы, которые он объяснял им не столько по книгам, сколько по живым явлениям, а мир минералов по богатому минералогическому кабинету, собранному им самим в Сибири, который расположен был у него на полках, вокруг всех стен их довольно большой залы {Выезжая из Сибири, они не могли взять с собою этого богатого собрания минералов -- по недостатку средств, и оставили их в Тобольске, уложивши в несколько больших ящиков, где они и теперь находятся, если еще целы. Василий Васильевич Пассек взял с собой только несколько дорогих каменьев, из числа которых замечателен был величиной рубин, к сожалению, на нем была трещина, что лишало его настоящей ценности. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}.

Наклонный к внутренней жизни, Вадим всегда тихий, всегда задумчивый, рано стал чувствовать и красоты природы. Еще ребенком он любил приходить один на берег Иртыша и засматривался на раскинувшиеся за рекой луга, на синевший бор и низменный Сузгун, испещренный деревьями, на темные воды Тобола, впадающие в Иртыш, и на Липовую гору, видневшуюся из-за девяноста верст; засматривался, как небо отражается вводе, как всполоснется рыбка, вода задрожит, разбежится кругами, и все затихнет. Больше же всего он любил слушать рассказы о жизни народов, о минувших веках, и в душе его росло стремление знать жизнь всего человечества, везде быть, все видеть, все перечувствовать.

Из братьев он дружнее всех был с Диомидом, подходившим к нему и по возрасту и по душевным свойствам. Они вместе учились, вместе играли, в жаркие дни вместе купались в Иртыше. Иногда, купаясь, выплывали к крутой горе, на которой стоял обгорелый дом бывших сибирских воевод, взлезали на гору, карабкались на окна и

сквозь их железные решетки с любопытством рассматривали связки старинных ружей и сабель или бросали камни в огромный барабан, обтянутый медью, и прислушивались, как он издает звук, похожий на стоны. Вслушиваясь в этот звук, Вадим думал о рассказах, как этот барабан своим страшным голосом сзывал дружину Ермака, заменяя вестовую пушку за недостатком пороха. Иногда он рассуждал с братом про гибель Ермака -- героя Сибири, о жизни и смерти которого они часто слыхали такие дивные, сочувственные тому времени рассказы, что рассказывавшие как будто и сами жили с Ермаком в одно время, вместе переходили Урал и присутствовали при его погибели.

В Тобольске, в саду, где были некогда развалины какого-то театра, стояло деревянное изваяние Ермака; он был представлен в полукафтанье, перетянутом ремнем; на плечах накинута мантия, на голове -- черный шишак, лицо смуглое, продолговатое, над глазами нависли густые брови, в руке держит длинное копье. Рассматривая этот памятник, Вадим задумывался о судьбе и подвигах героя и просил показать ему Кучумово городище. Ему его показали, -- он увидал разметанные кирпичи, глубокие колодцы, обросшие травою, отрывки земляных валов и над Иртышом, на высоком утесе, только бедные развалины бывшего Искера. Утес временами трескается, шумит и с остатками зданий катится в Иртыш, -- вероятно, река скоро поглотит и последние следы его. Эти картины, эти рассказы волновали душу отрока и пробуждали его исторические способности.

Не раз, слушая рассказы Вадима о жизни их в Сибири, мне казалось, я не слушаю, а переживаю эту жизнь вместе с ними; вижу и широкие реки, и высокие горы, и дремучие леса, и как в этих лесах Вадим и братья его, с ружьями за плечами, пробираются по темной чаще, над ними шумят вековые деревья, в чаще раздаются их выстрелы, повторяются эхом, умолкают, в лесу тишина, и юные охотники возвращаются домой с ягдташами, полными дичи. Охотой они помогали содержанию своего многочисленного семейства. То виделось мне, как матушка рано утром будит меньших детей своих, кормит их и отправляет на горы собирать травы, которые за деньги поставлялись в аптеку; виделось, как дети весело взбираются на высокую гору и скрываются, а матушка задумчиво идет к своим дневным заботам, тревожно думает весь день о детях, и в сумерки, когда все дела покончены, выходит за ворота, садится на лавочку и

устремляет печальный взор на горы. Вечерняя заря догорает; вдруг лицо матушки озарила радостная улыбка, на горе показались малютки, обвешанные связками трав и цветов, из-за которых едва виднеются их милые личики.

В первой юности Вадима одним из его наслаждений было следить взорами за птицами, когда они отлетают на юг, и самому мне, говорил он, хотелось лететь за ними в неведомые страны, недоступные для нас, и он писал:

Казалось мне, видел я край тот далекий,
О котором лишь дивные речи слыхал.

Кто не мечтает о том, чего его лишают, кто не живет надеждой от кого все отнято в настоящем и кто лучше нас изучил и прочувствовал это состояние!--добавлял он грустно.

Нет слов высказать то, что чувствуется в первые дни свободы, -- говорил Вадим. -- День, в который было объявлено нам освобождение, никогда не забудется в семействе Пассек3.

С молитвами и слезами они покидали Тобольск, в котором вынесли столько страданий, пережили столько печалей и надежд; он казался им мрачен, как темница, -- он и был их темницею, -- и они спешили оставить его. Кроме родителей, ехало четыре сына взрослых и четыре младших, еще в детском возрасте, да пять дочерей, из которых старшей было не больше четырнадцати лет, а меньшую еще кормила кормилица, решившаяся ехать вместе с ними. Путешественники отправлялись на трех тройках. Молодые люди были обвешаны оружием. Только что они разместились по повозкам и лошади готовы были тронуться с места, как явился полицейский чиновник и остановил их. Все были поражены ужасом. Батюшка вышел из повозки и отправился к полицеймейстеру, возвращения его ожидали в страшном волнении, -- думали, что их снова хотят задержать в Сибири, -- так они были напуганы и замучены произволом и притеснениями. Внутри России у Пассеков были враги, в интересах которых было не выпускать их из Тобольска; но все обошлось благополучно, батюшка возвратился вместе с полицеймейстером; полицеймейстер пожелал им счастливого пути -- и тройки тронулись.

Первое время свободы наполняет такой радостью, от которой захватывает дух, -- говорил глубоко тронутый этими воспоминаниями Вадим. Чувство это может понять только тот, кто не мог жить там, где хотелось, не мог ехать туда, куда желалось, кто перенес тысячи бед, оскорблений и страданий.

Мысль, что и они недоступны насилию, отрадно отозвалась в сердцах освобожденных.

Раз, по дороге ночью, на них едва не напали разбойники, незадолго перед этим разграбившие обоз, но, увидя вооруженных людей, удалились -- только лес затрещал и затихнул.

В летний день, на закате солнца, они приблизились к селенью Ключи- Перед ними высилась сопка, на вершине ее виднелся крест, подле креста сосна, а на сосне орел. Путешественники стали подниматься на сопку. Орел, испуганный приходом многочисленной толпы, поднялся и улетел. Перед ними открылся Уральский хребет, поросший лесами и мохом, местами виднелись гранитные скалы с полуживыми соснами. Под ними расстилалась широкая долина, по долине струилась быстрая река и толпилось множество народа, -- был какой-то праздник. Народ веселился, пение рассыпалось по скатам гор. Когда закатилось солнце, вся эта картина скрылась под густым туманом, из-за которого выглядывали только косматые сопки, как бы склоняясь друг к другу головами.

С Суксунской горы, последней на пути из Сибири в Россию, начался спуск в Европейскую Россию. На вершине Суксуна они остановились, -- перед ними были обе половины России с их народами и судьбою. Они бросили последний взгляд на Сибирь -- там всходило солнце; посмотрели на запад и стали спускаться с Урала. Покатость Урала шла до Вятской губернии дремучими лесами, среди которых встречались деревни вотяков и черемисов. Вадим с любопытством всматривался в образ жизни, черты лица, одежду и кереметы этих народов. Его уже и тогда занимали нравы и обычаи народные.

В Казани прежде и больше всего привлек внимание молодых людей университет и возбудил в них пропасть планов и желаний. Они осмотрели также каменные стены казанской крепости, полуразрушенный дворец татарских ханов и памятник над павшими русскими воинами при взятии Казани.

В Нижнем-Новгороде они попали в разгар ярмарки, были изумлены лесом мачт на Волге и пестрыми толпами разных народов. "Все это я видел, всему дивился, как полуребенок, -- говорил Вадим, -- теперь остались одни отрывочные воспоминания -- они слились в какой-то улетевший сон... Много лет минуло с тех пор, как виделся мне этот сон! Много пережили в это время народы! Много сменилось в душе моей желаний! одно осталось неизменным, одна жажда все знать, все видеть, все перечувствовать". Наконец перед несчастливцами раскинулось широкое поле, блеснули главы церквей и открылась Москва.

В Москве им все было чуждо.

Двадцать лет ссылки прервали почти все прежде бывшие связи батюшки в России. В Москве их встретила крайность. Думая, к кому бы на первых порах обратиться за советом и помощию, батюшка прежде всех обратился к графу Александру Никитичу Панину. Граф едва только узнал о возвращении пострадавшего семейства, как поспешил с ними видеться, и с своей обычной добротой, деликатностью и тактом напомнил им свои родственные с ними связи и первый предложил услуги и помощь. Затем приняли в них участие: родственница батюшки -- Вязмитинова, Лев Николаевич Энгельгардт, князь Е. А. Баратов; Иван Николаевич Корсаков предложил им квартиру в своем доме, на Тверском бульваре. Впоследствии дружеское участие приняла в них Варвара Андреевна Новосильцева {Внучка ее -- Надежда Владимировна Новосильцева была замужем за Дмитрием Павловичем Голохвастовым. *(Прим. Т. П. Пассек.)*} и сохранила близкие отношения с семейством Пассек до своей кончины. С большой теплотой и дружбой отнеслось к ним семейство Алябьевых {Родители Александры Васильевны Киреевой, урожденной Алябьевой, матери Николая Алексеевича Киреева, павшего в 1876 году в Сербии за освобождение славян. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}.

"Я помню, -- писала мне несколько времени тому назад из Флоренции Александра Васильевна Киреева, -- когда Василий Васильевич навестил нас в первый раз в Москве. Все его прошедшее, о котором рассказывал мой отец {В то время как Василий Васильевич Пассек находился в Тобольске, дед Александры Васильевны Алябьевой, Иван Осипович Селифонтов, был генерал-губернатором Сибири. Он радушно принимал у себя сосланных из своей среды и

особенно отличал между ними Василия Васильевича Пассека. Дочь Ивана Осиповича, по мужу Алябьева, крестила у Пассека одного из сыновей, и оба семейства находились в дружеских отношениях, которые продолжались и по приезде Пассеков в Москву. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}, живо представилось мне, и я полюбила его до того, что высказывала ему все свои задушевные, полудетские понятия. Он меня, четырнадцатилетнюю девочку, не только что выслушивал с удивительной добротой и терпением, но рассуждал со мною, давал читать избранных им писателей и объяснял рождавшиеся во мне вопросы. Разговор его и обращение были чрезвычайно увлекательны.

С возвращением свободы Василию Васильевичу не возвратили прав дворянства. Я помню, как во время коронации императора Николая Павловича, когда государь, желая почтить своим присутствием обед, который давался солдатам в экзерсисгаузе, подъехал к нему, то все дети Василия Васильевича, от старших сыновей до двухлетней дочери, дожидавшиеся государя у дверей экзерсисгауза, опустились на колени и подали императору прошение о возвращении принадлежащих им прав.

Дворянство им было возвращено спустя несколько лет после этого.

Василий Васильевич провел последние годы своей жизни в беспрерывных хлопотах и заботах о семейных делах, и в 1830 году окончил жизнь как истинный христианин, в присутствии моего отца, очень любившего его. Несмотря на направление, по тогдашнему времени называемое либеральным, Василий Васильевич был чистосердечно религиозен. *А. Киреева".*

Когда мы жили в селе Спасском, Вадим, иногда рассказывая мне о их жизни в Сибири, рассказы об отце пополнял чтением его записок. Слышанное мною от Вадима о батюшке и часть уцелевших у меня его записок поместятся в следующих главах моих воспоминаний, а пока перейду опять к нашей уединенной жизни в селе Спасском.

Мы не заметили, как наступила осень.

Осенью стал навещать нас сосед наш, двоюродный брат Ника, жандармский полковник Григорий Дмитриевич Колокольцев {Женат был в первом браке на графине Гендриковой; в преклонных летах вступил во второй брак со вдовой Леонида Васильевича Пассека, Прасковьей Станиславовной, урожденной Вишневской. Несколько

времени Григорий Дмитриевич был губернатором в Вилъне после Львова. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}. Это был человек лет тридцати пяти, роста среднего, стройный, умный, образованный, он скоро сблизился с Вадимом и проводил у нас целые дни в жарких, многосторонних разговорах. Однажды Колокольцев увидал у нас висевший на стене портрет Карла Занда и, смотря на него, сказал:

-- Вы бы, Вадим Васильевич, портрет-то этот припрятали куда-нибудь. Что за удовольствие смотреть на убийцу.

-- Помилуйте, Григорий Дмитриевич, -- возразил Вадим,-- какой же это убийца, ведь вы понимаете, что тут была идея, жребий, жертва, -- что это юноша...

-- Все это прекрасно, -- прервал его Колокольцев,-- жертва, судьба; но, несмотря на это, вы сделаете лучше, если уберете этот портрет подальше.

При этом совете Колокольцев доверил нам, что у него есть предписание иметь надзор над Вадимом и ежемесячно доносить о его образе жизни, занятиях, знакомствах, нравственности и что он уже отправил один отчет.

Мы оцепенели от изумления и испуга. Широко раскрыв глаза, я несколько минут смотрела на него с недоумением и ужасом.

-- Что же вы донесли о Вадиме? -- спросила его я, опомнясь, прерывающимся голосом.

-- Я писал, -- отвечал Колокольцев, улыбаясь нашему смущению, -- что Вадим Васильевич живет тихо, скромно в своем именье, занимается хозяйством, знаком только с исправником Артюшковым.

Действительно, мы один раз были у нашего соседа, старичка Артюшкова и -- больше ни у кого.

-- Как же вы это узнали, Григорий Дмитриевич? -- спросила его я с изумлением.

-- Слухом земля полнится, -- отвечал Колокольцев серьезно.

-- Стало быть, я у вас под надзором, -- заметил Вадим еще серьезнее.

-- Нисколько, -- с видимым участием сказал Колокольцев,-- поверьте, Вадим Васильевич, я бываю у вас совсем не за тем, чтобы следить за вами, а из искреннего расположения к вам и желания насладиться вашей беседой. Люди такие, как вы, встречаются редко везде, а здесь и подавно.

Осенью мы переехали в Харьков, Григорий Дмитриевич также переселился туда, по-прежнему часто посещал нас и постоянно относился к нам дружески.

В Харькове мы получили от Ивана Ивановича Лажечникова следующее письмо:

"Тверь, 26 ноября 1834 г.

Знаю, что добрый, милый Вадим Васильевич не причтет моего молчания к забвению: сойдясь раз душою с человеком, не могу его разлюбить. К такому человеку хотелось бы писать в часы, когда грудь не отягчена заботами ежедневной прозы, мысли не съежились от форменных бумаг и приличий света, сердце просит беседы с другим сердцем. Улуча такие минуты, пишу к вам.

Читал я ваши записки, и сколько в них поэзии души юной, кипящей любовью к родине и благу человечества! Много в них и светлых, зорких наблюдений, светлых идей! Видно только, что все это высыпано в беспорядке из груди, которая не могла долее носить их в себе, что это эскиз великолепных зданий, -- части, отрывки прекрасны, но нет целого. Между тем любуешься и недоконченным творением; оно обещает истинного художника.

Плюньте на суд Брамбеуса и его шайки, нападающей на все прекрасное, старающейся вырвать или истоптать цвет, обещающий пленить нас4. Я наперед скажу: буду гордиться, если барон побранит мой личный труд. Пишите только, но давайте вашим творениям, как зовут французы, plus de consistance {больше плотности *(франц.)*.}, сплачивайте их в нечто великое целое. Более всего, не спешите издавать. Я сам боюсь за "Ледяной дом", который сверх того, что пишется за деньги -- и это уж отрезывает крылья у вдохновения, -- будет скороспелкой. Знаю, что идея хороша, но вряд ли исполнение будет ей соответствовать.

Пришлите мне перевод Татьяны Петровны (Повестей Фоа); постараюсь продать книгопродавцам6.

Как жаль, что вас нет здесь!.. Хотел бы беседы вашей, чистой, первородной -- в ней черпал бы я новое вдохновение и силы жить *в*

свете... Люблю вас, думаю, что и вы меня любите; продолжайте меня любить по-прежнему, пишите ко мне, когда можно, обо всем, что вы делаете, о вашей природе, но более всего о себе; в вас обоих прекрасный храм ее, не осквернённый ни одним из тех позлащенных идолов, которые большой свет называет уменьем жить и которые мы называем пороками.

Да будет над вами благословение Аполлона! Да хранит сам бог вас, милых друзей моих, которых люблю воображать парою горлиц среди украинских черемух! Воркуйте нам про свое родимое гнездышко, про тайны вашей души и про небо, под которым вы любите летать неразлучно! Не забывайте и про тверские рощи, которые посещались мимолетными гостями. Зачем мы не могли подрезать вам обоим крылышки?

Дуняша обнимает от души Татьяну Петровну; я целую ее ручки, наверное закапанные чернилами и не менее того прекрасные. Ваш верный друг *И. Лажечников"*.

В "Библиотеке для чтения" было сказано, что, вероятно, автор "Путевых записок" путешествовал в воображении, сидя покойно на диване в своем кабинете, и больше по протекшим векам.

Замечание "Библиотеки для чтения" было частию верно.

В "Путевых записках", этом первом опыте Вадима на литературном поприще, почти ничего не говорится о предметах, встречавшихся по пути. Они по преимуществу выразили собою исторические наклонности еще юного писателя, душа которого переполнена знаниями, чувствами, мечтами, любовью к родной стороне и к человечеству6.

Выезжая из Москвы в Украину, автор "Путевых записок" прощается с Кремлем. Вид Кремля будит в нем воспоминания о татарах, литовцах, поляках, разрушавших его, и о событиях, которых он был свидетелем.

Вдали от Кремля новые картины не вытесняют воспоминаний, с которыми автор оставил Москву, они отнимают у него от настоящего и слух, и зрение, и чувство; перед его внутренним взором рисуется картина постепенного освобождения России от притеснявших ее народов. Он вспоминает имена ее освободителей и когда называет

Петра -- Россия перед ним колоссально поднимается до запада, и автор говорит: "Гряди же, о моя родина! к развитию всех сил своих!"

Далее Вадим рассуждает о памятниках, о зодчестве России, о религии и характере славян вообще.

Отличительной чертой всех славянских народов он находит перевес внутренней жизни над внешней; тишины, спокойствия над деятельностью; вследствие чего считает их всех предрасположенными к принятию греческой религии, имеющей много общего с их характером. Даже и те славянские племена, которые приняли католицизм, по его мнению, не выразили ни его силы, ни его фантазии, и как на один из наиболее ярких примеров указывает на Богемию.

"Богемия, -- говорит Вадим,-- страна славянская, первая обратила критический взгляд на свою религию, меньше всех увлеклась блеском католицизма и первая водрузила знамя реформации. Восстанием Гуса она доказала, что ищет в религии не посредничества пап, не блеска, не внешней торжественности, но истины, идеи и прямого созерцания. Она делом доказала, как ей близка религия греческая и как она близка всем славянским племенам, и все они усвоили бы ее, если бы Запад не распространял с такой силой и быстротою своего учения. Богемия, принявши католицизм, никогда не действовала вполне в его характере; принявши его формы, присвоивши многие из его понятий, не сделалась вполне католической {В Чехии исповедание католическо-протестантское. В протестантизме чехи примкнули к тому его исповеданию, которое меньше отзывается германизмом и имеет больше общего с воззрениями чешско-братского исповедания -- к католицизму. Теперь вновь возносится в Праге православный славянский храм, посмотрим, не оживит ли он в Чехии преданий их собственной древней независимой церкви. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}". Вадим находит, что вообще перевес внутренней жизни над внешнею во всех славянах проявляется одинаково: в невежественном народе -- беспечностию; в простом воине -- равнодушием в опасностях и уверенностию в судьбе; в несчастий -- непостижимым терпением; в ученой деятельности -- созерцательностию ума. "Какая преданность судьбе, какая наклонность жить внутреннею жизнию! Какое терпение! -- говорит он, -- но когда переполняется чаша его страданий, когда испытаны все оскорбления, все бедствия, когда наступает великий час его деятельности, -- с какою силою он восстает против врагов своих!

Кажется, вся сила, сохранившаяся в века тишины и внутренней жизни, разом облекается во внешнюю деятельность; но после великих переворотов всю славу успехов отдает богу, и вновь наступает тишина и внутренняя жизнь".

Указавши на факты, подтверждающие этот взгляд на славян, Вадим говорит, что жизнь народов надобно исследовать, кроме летописей и памятников, в быте и характере живущих поколений и в влиянии на нее внешней природы; но и исследование, добавляет он, тогда только будет точно и ясно, когда найдется *элемент*, который, как главный деятель, движет всеми событиями, по которым развивается ткань жизни того народа, который хотят не *описать, а воссоздать.*

Тот не понимает истории-народа, кто не объемлет умом, не сочувствует сердцем всем движениям его внутренней жизни, кто думает воссоздать жизнь только по летописям и остаткам искусств; кто не видит основных начал, по которым действовало минувшее и станет действовать грядущее. Чтобы понять настоящее народа, надобно быть среди него, видеть его под всеми изменениями и впечатлениями обстоятельств и под условиями внешней природы.

Для этого надобно *путешествовать.*

С чего начать?

Вопрос этот разрешает история государства, -- говорит Вадим.

Государство имеет свои центры, из которых развивается и слагается его жизнь. Центры заключаются в определенной местности и характеристике известного племени и разливают на жизнь государства свои оттенки.

В истории России Вадим указывает на три главные центра:

Первым центром народности он полагает Новгород с губерниями: С.-Петербургской, Вологодской, Олонецкой, Архангельской, Пермской, Вятской -- где главный город населен из Новгорода.

Вторым центром -- Киев с областями: Новгород-Северским, частью Подолии, Волынью, Запорожьем и Украиной.

К третьему центру относит губернии: Московскую, Ярославскую, Владимирскую, Рязанскую, Тверскую, Костромскую, Тульскую, Калужскую, Орловскую и даже Курскую.

В изучении третьего центра он видит один из важнейших исторических вопросов.

Остальные части России с Крымом, Сибирью, Остзейскими губерниями, Кавказом, частями Польши и Швеции, считает вопросом второстепенным, что они хотя и не без влияния на Россию, но не составляют центров, а стоят на окружности.

"Изучать Россию по ее *центрам* -- заветная цель моя, -- говорит Вадим. -- Как радостно оживает душа, когда только воображаю все *начала* исторических событий *живыми*, в живых племенах, исследую эти начала в уме, сердце, в самых заблуждениях настоящих поколений и переживаю все века и все переливы жизни".

Не знаю, передала ли я в своем сжатом очерке хотя немного исторические воззрения Вадима, широко, отчетливо выступающие в его путевых записках.

"Да и возможно ли это?" -- сам автор сомневается.

"Нет, -- говорит Вадим, заканчивая свои "Путевые записки", -- не во власти автора передать вполне свои думы, свои чувствования, он должен искать для них слова, краски, кисти, резцы; и слова, и кисть, и резец стесняют душу автора".

ГЛАВА 35

В ХАРЬКОВЕ

1834--1835

Мы наняли небольшую квартиру за Лопанью, в доме Филоновых, и повели такую же уединенную жизнь, как и в деревне. Но этот образ жизни вскоре изменился. Прежде всего с нами познакомилась хозяйка дома, милая, умная молодая женщина; она стала довольно часто бывать у нас и нас к себе нередко приглашала. У нее мы познакомились с двумя братьями Задорожными, чистейшими малороссами, с оттенком быта казацкого. Они глубоко любили и понимали свой народ и были связаны внутренно со всем прошедшим и

настоящим бытом Украины. Старший из братьев, Кирилл Семенович, служивший секретарем в гражданской палате, часто говорил нам, что, как только выйдет в отставку, поселится в своей деревне, отрастит бороду, сядет на пасеку стеречь пчел и рои огребать. Впоследствии он почти так и сделал: засел на деревенское хозяйство и слился всей жизнью с родным его душе народом. Другой Задорожный -- Тихон Семенович, скромный, сосредоточенный в самом себе художник-живописец, мечтал об Италии. Оба брата были симпатичны Вадиму; особенно близко он сошелся с Кириллом Семеновичем. В оживленных разговорах они проводили целые вечера, засиживались порой до глубокой ночи, и так все время нашего житья в Украине. Кирилл Семенович был ума глубокого, наблюдательного, сколько помнится, он кончил курс в Харьковском университете, любил историю, особенно историю своего народа, и не только сочувствовал народу, но и вполне понимал народ и много помогал Вадиму в его исторических и бытовых исследованиях Малороссии. Тихон Семенович, большей частию молчаливый, уклонявшийся от общества, также сошелся по душе с Вадимом и провел часть лета у нас в деревне, где вместе с ним снимал виды по Донцу и виды степей, народные группы, жилища, одежду, хозяйственные принадлежности, даже цветы и растения, исключительно принадлежащие природе Украины. Осенью Тихон Семенович уехал в Рим, там устроил студию и с жаром отдался живописи; но, к сожалению, ненадолго: он заразился горячкой Понтийских болот и умер на чужбине, там, куда много лет стремились все его желания.

Задорожные познакомили с нами двоюродного брата своего, студента медицинского факультета Константина Ивановича Сокологорского -- красивого юношу, со взором, выражавшим чистую душу. Кроткий, спокойный, религиозный -- таков он был в то время, таким он и остался до сих пор. Из основ христианской религии истекла вся жизнь его, исполненная бесконечной любви к ближнему и тишины духа. В продолжение житья нашего в Украине он окончил курс в Харьковском университете на медицинском факультете и с рекомендательным письмом от Вадима к другу нашему, Федору Ивановичу Иноземцеву, уехал в Москву. Иноземцев был человек замечательного ума и редко доброго, благородного сердца. Из множества молодых медиков, которым он открыл дорогу, некоторые

отплачивали неблагодарностью; Федор Иванович не возмущался этим, он не искал благодарности, он был счастлив сделанным добром. Константин Иванович был не из этого числа. Спустя немного времени Иноземцев доставил ему частное место в Вологодской губернии, там он женился и уехал с женой за границу -- слушать лекции лучших профессоров медицины. В Германии и Франции он неутомимо отдавался занятиям, исключительным предметом которых была гигиена, сближался с кругом умнейших людей и везде оставался тем же кротким, скромным, каким мы знали его студентом в Харькове. За границей он пробыл семь лет; возвратясь в Россию, думал занять кафедру гигиены, -- в наших университетах такой кафедры не оказалось, поэтому принужден был ограничиться частной практикой в Москве, где и до сих пор живет, пользуясь всеобщим уважением и известностью знающего, добросовестного врача и истинного христианина.

С первого дня нашего знакомства с Константином Ивановичем в Харькове, за Лопанью, он так привязался к Вадиму, соответствовавшему его светлой душе по своему характеру и правилам, что почти каждый день с лекций приходил к нам, незаметно пробирался в кабинет Вадима и, был ли, не был ли Вадим дома, помещался там на диване, читал или чистил ружья, приготовляя их к охоте, на которую он и оба брата Задорожные часто отправлялись с Вадимом. Они все трое были такие же страстные ружейные охотники, как и Вадим, знали места, где водилось больше дичи, где были перелеты дупелей и вальдшнепов, и нередко возвращались с охоты прямо к нам, с ягдташами, полными дичи, которая и подавалась им жареною за обедом или ужином.

В марте мы ожидали наше первое дитя; он был уже тут, хотя его еще и не было; его еще не знали, но уже страстно любили и страстно желали; для приема которого была готова и колыбель с белыми кисейными занавесками, и тонкие рубашечки, и теплые одеяльца, и как снег чистые пеленки.

Весна наступала ранняя, трава, едва зеленея, красноватыми стебельками осыпала землю, в лесу из-под опавших осенних листьев вылезали синенькие пролески, на деревьях наливались почки. Все пробуждалось к жизни, к свету, к любви. Солнце обливало землю ослепительным блеском и живило теплотой. У нас уже подавали за

столом шпинат, щавель, салат, редиску, спаржу, свежие огурцы. Во всей природе чувствовался какой-то радостный трепет, и я радовалась весне и радостно ждала милого гостя. 10 марта у нас родилась дочь-- мертвая. Я едва осталась жива. Медики нашли, что сильное нервное потрясение и долгая душевная тревога, во время страданий, произвели судороги, которые и удушили нашего младенца.

Когда я опомнилась -- мне показалось, что я вдруг откуда-то очутилась в нашей комнате, и с безотчетным удивлением осматривалась, -- тишина глубокая, горят свечи, -- в отдалении Вадим с акушеркой и няней хлопочут у корыта; что же это не слышно детского голоса, думаю я, и зачем свечи? вечер это, что ли? Помню ночь, страшную ночь, помню долгий, долгий день -- и больше не помню ничего. Должно быть, есть дитя. Спрашиваю тихонько: "Родился кто-нибудь?" -- "Дочь", -- отвечают мне. "Дайте сюда".-- "После, лежите спокойно". Лежу -- смотрю... Что-то вынули из корыта, завернули в пеленку и унесли. Тишина непробудная! Ко мне подошел Вадим. "Неживая", -- говорит... Слушаю равнодушно, дивлюсь его грустному голосу, -- мне не грустно и не весело. Спустя немного времени прошу показать мне дочь. Подали спеленатую неподвижную девочку, положили подле меня. Я прошу всех выйти вон.. Оставшись одна, -- распеленываю мое дитя, рассматриваю ее ручки, ножки, целую их -- холодные, холодные; целую ее личико -- холодное; задумываюсь, что-то сказалось в душе, что-то больно стеснилось. Я наклонилась к ребенку, приподняла его, прижала к груди -- не согрею ли, и--зарыдала. Ее унесли от меня.

Понемногу я оправилась, встала. Вот и колыбель с беленькой занавесочкой, и рубашечки, и пеленки, и никого не ждут они, те же, да не те, точно жизнь отлетела от них, -- не надобны, вот и все. И как тихо! и как пусто! и какое солнце! так и обливает и блеском и теплом. Небо глубокое, темно-голубое -- под ним восхитительно белеют и розовеют точно от зари осыпанные цветами яблони и вишни. А какая тоска в душе! Куда же ты девалась, радость, -- солнце души! Должно быть, под иной точкой зрения освещало ты мне жизнь! Да, освещало ты и для меня чистые, святые минуты! благодарение же создателю за то, что они были. Дух любви и примирения, молилась я, озари больную душу мою!

Не только душой, я болела и телом. У меня открылась сильная боль в груди и кашель опасного характера. Вадим встревожился, решился обратиться к медикам, но не знал, которому лучше довериться,-- одни указывали на одних, другие на других.

Весной познакомился с нами профессор естественных наук Харьковского университета, Криницкий, такой же страстный охотник с ружьем, как и Вадим, -- наука и охота их сблизили. С особенным интересом он изучал пауковидных и имел их большую коллекцию в спирту, в стеклянных банках. Бывая у Криницких, мы видели у него в садике, с книгой или тетрадкой в руках, небольшого роста молодого человека, с истомленным, умным лицом; заметивши нас, он обыкновенно сейчас же робко удалялся из садика. Это был кончавший курс студент медицинского факультета, занимавший маленькую комнатку во флигеле у Криницких. Профессор относился о нем, как о человеке очень даровитом и трудолюбивом. Когда Вадим обратился к Криницкому за советом, кого бы пригласить к нам из известных медиков, Криницкий отвечал: "Не обращайтесь вы к этим разным знаменитостям, а пригласите молодого медика, только что кончившего курс, которого вы видали у нас. Он знает дело и добросовестен, поверьте мне, со временем он приобретет большую известность -- увидите". Вадим согласился.

В одно после обеда ко мне в комнату робко вошел рекомендованный молодой медик; несмотря на застенчивость, во взоре его виднелась проницательность, в приемах -- такт. Расспросивши меня, что чувствую, он посоветовал мне, пока мы в городе, пить парное молоко с сахаром эстляндского моха, а когда переедем в деревню, -- кобылье молоко, начиная со стакана и до шести в день, и так же постепенно убавлять- Лошадь, определенную для моего леченья, пасти в степи, где больше душистых трав и цветов. Провожая медика, я подала ему руку и вместе с этим вложила ему в руку полуимпериал; почувствовавши в руке монету, он до того растерялся, что выронил ее, и золотой, звеня, покатился по полу. Я растерялась не меньше его, однако подняла полуимпериал и, подавая его ему, попросила принять, говоря, что он принесет ему счастье в практике. С моей легкой руки практика его расцвела великолепно и быстро. Этот молодой человек был Иван Осипович Калинченко, в настоящее время

знаменитый медик Харькова, обладающий огромными средствами {Недавно кончил жизнь. Осталось семейство. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}.

В июне мы переехали в село Спасское. Я в точности исполняла предписание И. О. Калинченки, и здоровье мое стало поправляться.

Жизнь наша в деревне была уже не та, что в прошедшее лето. В Спасском нас стали навещать близкие соседи: владелец Нижнего Салтова Лев Дмитриевич Хорват, граф Ивлич, женатый на сестре Хорвата, Григорий Дмитриевич Колокольцев бывал чаще прежнего и оставался у нас целые дни. Сверх того, стали появляться владельцы хуторков и жители Сороковки. По рассказам я знала, что Сороковкой называется селение, состоящее из нескольких хуторков, устроенное на земле, данной правительством сорока военным офицерам, выслужившимся из нижних чинов. Некоторые из поселившихся семейств на отделенной им земле еще земли прикупали, строили себе порядочные домики, заводились хозяйством и обработывали свою землю с помощию нанятых работников, участвуя и сами в этих работах. Менее достаточные довольствовались отведенным им небольшим участком, быстро строили на малороссийский лад хату, обмазывали глиной, белили мелом, обводили карнизы из желтой охры -- и новоселье готово. Затем являлись также несложно необходимые хозяйственные принадлежности.

Таким образом эти соединенные хуторки образовали довольно большое селение, с фруктовыми садиками, с пестревшими маком и подсолнечниками огородами, бахчами золотистых дынь, арбузов и лохматой кукурузы, с раскинутыми кругом полями пшеницы, жита, овса, проса и ячменя.

Сколько помню, в Сороковке была и своя церковь и свое училище, бывали свои увеселения, вечеринки, со скрипкой и танцами; сверх того постоянные споры и тяжебные дела.

Соседи из Сороковки приезжали на нашу мельницу, построенную на Донце, чтобы смолоть мешок жита, пшеницы или ободрать ячменя на крупу, с мельницы завертывали к нашему писарю Тузу закусить и выпить вкусной гранатного цвета барской терновки. Когда сороковцы узнали о нашем приезде в деревню, то с мельницы стали завертывать к нам. Побеседовавши, выпрашивали себе бутылочку наливки, раков, мешок гороху, круп, словом, что случалось в то время года или попадалось на глаза. Если кто-нибудь из сороковцев набегал в своей

тележке в то время, как у нас ловили в Донце неводом рыбу, то посетитель тотчас присоединялся к рыбакам, -- сбросивши верхнее платье, влезал по ворот в воду, тянул с рыбаками невод, кричал, хлопотал, вываливал на берег тоню, сортировал рыбу, делил, отобравши лучшую для нас, остальную отдавал, часть на застольную, часть рыбаками Затем из отобранной нам выпрашивал себе линьков, окуньков, щучку покрупнее и проч. Мы всегда чем могли делились с соседями и радушно приглашали к чаю или отобедать. При отъезде укладывали в тележку и рыбу, и наливку, и крупы, когда поспевали дыни -- и дынь, если попадалась чудовищной величины тыква -- вваливали и тыкву. Чаще всех нас навещал из Сороковки лысый, кругловатый, небольшой старичок Андрей Иванович Нестеров, участвовавший когда-то в опекунстве над Спасским. Он являлся обыкновенно, исключая самых знойных дней, в заячьей шубке, покрытой нанкой цвета незрелого лимона, по которой подпоясывался полотенцем, и проходил всегда прямо в кабинет Вадима; если мне случалось войти туда, то каждый раз он извинялся, говоря, что приехал с мельницы и не может снять шубку, потому что под ней ничего нет, кроме белья. Бывал еще из Сороковки майор, тот всегда в сенях переодевался в мундир и вступал в комнаты с воинственными приемами.

Кроме сороковцев, приезжали помещики и больших хуторов, некоторые из них заявляли претензии на образованность и остроты. Так, один из достаточных хуторян, приехавши к нам в первый раз, рекомендуясь мне, сказал свое имя и отечество, а фамилия моя, добавил он, извольте догадаться сами -- это имеется у вас на мельнице; думала я, думала -- что у нас водится на мельнице: мука, крупа, колеса, плотина -- не могу догадаться. Остроумный помещик от души радовался, что задал мне трудную задачу, и наконец сказал: извольте, признаюсь кто я, если прикажете наловить к обеду раков, которых я люблю без памяти, и наградите мешком раков домой. "С большим удовольствием", -- отвечала я, и немедленно распорядилась насчет ловли раков. "Теперь я помогу вам отгадать мою фамилию, -- сказал помещик. -- Как зовут на мельнице мельников, -- знаете?" -- "Мельниками", -- отвечала я. "Совсем нет, здесь зовут их "мирошники", а я Мирошниченко, выхожу".

Этого Мирошниченку едва не задушил, шутки ради, другой помещик-хуторянин. Мирошниченко раз ночевал у какого-то соседа; в ночь прикатил туда же другой хуторянин-забавник и вздумал напугать спавшего Мирошниченку; завернутый в медвежью шубу, он навалился на сонного, входя в роль медведя, заревел по-медвежьи и начал душить сонного, да так усердно, что тот едва отдышался.

Кроме помещиков, стали навещать нас и служащие из Волчанска, знавшие Вадима в его первые приезды в Украину по разделу имения. Многие из посещавших нас, желая похвалить Вадима, с лукавой улыбкой говорили: гусар! настоящий гусар! хотя в Вадиме не только того гусара, которого они подразумевали и высоко ставили, то есть гусара-молодца, кутилы, шалуна, забияки, и тени не было, но даже и вида воинственного он не имел; им до этого дела не было, -- они желали его похвалить, и выше этой похвалы ничего не находили. Приемы и воззрения большинства еще сильно отзывались простотой времен казачества и слободских полков. Когда я ближе всмотрелась в жизнь украинцев, мне, как и Вадиму, многое пришлось по душе.

К концу лета здоровье мое совсем поправилось; я уже не так сильно тосковала об утраченной малютке, но по некоторым слышанным мною замечаниям во мне родился страх, что и будущих детей моих ожидает такая же несчастная участь, как и первого ребенка. На этом опасении стали сосредоточиваться все чувства мои и выразились нервным страданием и частыми слезами. Чтобы развлечь меня, Вадим старался заинтересовать различными занятиями: давал мне рисовать гуашью снятые им виды, переписывать сделанные им наблюдения, читал вместе со мною и временами рассказывал об его прежней жизни и о жизни и страданиях своего отца, которые пополнял чтением его записок. Записок батюшки Вадим нашел в Спасском несколько тетрадок и разрозненных листков между хранившимися там бумагами; он привел их в систематический порядок и впоследствии хотел помещать в своем обширном труде -- "Очерках России", но успел напечатать только один отрывок, под названием: "Записки моего отца. Картины Сибири, 1804--1809 года"1.

Одна тетрадка из записок покойного Василия Васильевича Пассек начинается эпитафией, написанной им самому себе, стихами, на французском языке, в Петербурге, 15 августа 1794 года, и другими стихами, по-русски, на Василия Степановича Попова, также 1794 года

26 апреля. Стихи так стерлись от времени, что восстановить их нельзя, видно только, что они писаны под арестом, в сильном негодовании на Попова, притеснявшего Василия Васильевича ради того, чтобы выручить своего приятеля, екатеринославского губернатора Каховского, и угодить Петру Богдановичу Пассеку. В этом листочке сказано: "С 10 апреля по 15 августа содержался под стражею у Попова, потом переведен был к г-ну прокурору Самойлову". О Самойлове Василий Васильевич говорит с признательностью и уважением, и написано несколько строк стихами к нему, которые начинаются так:

Разрушены страх и стенанья
Под покровительством правдивым твоим.

Далее, как в этом, так и в других листках говорится о родителях В. В. Пассека, его детстве, юности, службе, огорчениях, притеснениях дяди Петра Богдановича2. Из всего этого видно, что Василий Васильевич Пассек родился в Слободско-Украинской губернии, Волчанского округа, в слободе Спасской, от подполковника Василия Богдановича Пассека, отличившегося в Семилетнюю войну, и от двоюродной сестры его, Елизаветы Ильинишны Обруцкой, которую Василий Богданович украдкой увез из родительского дома. Гостивши у дяди своего Обруцкого, в Смоленской губернии, в имении его жены, он увлекся их четырнадцатилетней дочерью; но так как постановления нашей церкви не дозволяют брака с двоюродной сестрою, то, в отсутствие дяди, он уговорил ее скрыться. По совету Василия Богдановича, Елизавета Ильинишна, купаясь в реке, оставила на берегу свое платье, переоделась в другое и была отправлена им в Спасское под именем Надежды Петровны. Сам же Василий Богданович, чтобы отклонить от себя подозрение, прожил еще несколько недель у дяди, утешал их в утрате дочери, которую родные считали утонувшей и горько оплакивали. Желая окончательно скрыть свой поступок, Василий Богданович, отправляясь через Москву в свое именье, пригласил с собой брата Елизаветы Ильинишны, продержал его в селе Спасском довольно долго, но сестры ему не показал.

По отъезде брата Василий Богданович обвенчался с своей двоюродной сестрой в церкви села Спасского, в присутствии родного брата своего Петра Богдановича Пассека, которого очень любил и

заступал ему место отца. В записках Василия Васильевича сказано: "Сколько мне известно, покойный мой отец был сопряжен тайным браком с двоюродной-пестрой своей Обруцкой".

Вспоминая о своем детстве, Василий Васильевич говорит: "За несколько времени перед смертью моего родителя, препоручен я был в завещании графу Ивану Семеновичу Гендрикову и родному дяде моему Петру Богдановичу Пассеку, так же как и имение, кое по возрасте моем, сказано было, мне возвратить".

Граф Гендриков скончался вскоре после Пассека, и Петр Богданович остался единственным опекуном своего пятилетнего племянника. Приехавши в село Спасское, он то ласками, то угрозами старался принудить жену брата своего не отыскивать законных прав своих, повиниться во всем родителям и просить прощения, в достижении которого обещал ей содействовать, а так как родные, считая ее умершею, следовавшую ей часть имения между собой разделили, то выдавать ей по пятьсот рублей ежегодно и провизию. Если же она станет отыскивать утверждение своего брака, грозил, что он от нее откажется так же, как и ее родные, которые на ее брак всегда будут смотреть, как на грех и преступление, и желаемых прав она никогда не отыщет.

Пока шли переговоры, опекун распоряжался всем в доме своего племянника; забрал на несколько тысяч рублей разных вещей, принадлежавших его брату, и отправил в смоленское имение Марье Сергеевне Салтыковой. Чтобы избежать притязаний и исков со стороны невестки, а может, и родных ее, оставалось отделаться от нее. Он прибегнул к самому простому средству. Однажды Елизавета Ильинишна поехала навестить кого-то из соседей. Пользуясь ее отсутствием, Петр Богданович приказал, когда она возвратится, не впускать ее в дом. Ее и не впустили. На другой день с служившей при ней горничной отосланы были ей ее вещи и несколько десятков рублей. Таким образом волею, а вдвое того неволею Елизавета Ильинишна возвратилась к своим родным. Петр Богданович, оставшись один в Спасском, пересмотрел все уголки, перерыл все сундуки, отыскивая спрятанных сокровищ, и, уезжая из Спасского, взял с собою своего племянника. В Петербурге он отдал его в пансион Масона в 1781 году, а в 1785 взял из пансиона, несмотря на просьбы племянника оставить его там продолжать свои занятия, и зависал в

Вологодский мушкетерский полк, невзирая на то, что Василий Васильевич уже был записан в гвардии.

В гвардию Петр Богданович записал племянника под именем Паскова и говорил одним, что это его племянник, другим -- приемыш, самому же Василию Васильев вичу сказал, что он переименован из Пассеков в Паскова ошибкой писаря военной коллегии, и обещал, по приезде в Петербург, ошибку эту исправить, в удостоверение чего отправил его с поручительными письмами, в которых называл его Пассекам.

"В 1787 году, -- сказано в записках Василия Васильевича,-- выпущен я, по именному ее величества указу, из конной гвардии в Рижский карабинерный полк ротмистром и правил эскадроном, расположенным на рубежах Польши, за проезд его светлости князя Григория Александровича Потемкина. До того и пред тем беспокоил я дядюшку об увольнении меня в войско, действующее против неприятеля под предводительством князя Потемкина, что и воспоследовало. Его светлостию определен я в Сумский легко-конный полк, в коем обретался против неприятеля под Каушанами, при обозрении Бендер, где его светлости угодно было взять меня к себе в дежурство. С тех пор я и находился при князе Потемкине безотлучно везде и был, между прочим, охотникам.

С дозволения фельдмаршала, я был во всю осаду и при приступе к крепости Измаила, за что произведен ее императорским величеством в майоры, пожалован похвальным листом и знаком отличия.

По приятельской связи Петра Богдановича с Василием Степановичем Поповым, был выключен из числа произведенных, состоявших в дежурстве при князе".

В 1787 году Петр Богданович продал вдове Александра Михайловича Салтыкова -- Марье Сергеевне Салтыковой, урожденной Волчковой, смоленское имение своего племянника, как бы принадлежащее ему, упросив между тем Анну Родионовну Чернышеву отправить на это время Василия Васильевича за границу к графу Ивану Григорьевичу Чернышеву. Василий Васильевич пробыл за границей до 1792 года. Когда он возвратился в Москву, графиня Чернышева предложила ему жениться на очень богатой девушке и взять в управление ее вейделевское имение с тем, чтобы доход делить пополам. Василий Васильевич отказался. Он располагал ехать в

Лозанну, поступить там в университет и по окончании курса продолжать служить. Графиня назначала ему две тысячи семьсот рублей ежегодного пособия, и при этом сказала: "Все, что я ни сделаю для тебя, ничего не будет значить сравнительно с тем, что отец твой делал для меня. Он был мой опекун и второй отец".

Поступление в Лозаннский университет не состоялось, граф Александр Васильевич Суворов посоветовал Василию Васильевичу прежде Лозанны съездить в Дубоссары, куда отправлялся его дядя для размена посланников, повидаться с ним и постараться устроить свои дела. Василий Васильевич послушался Суворова. Дядя принял его ласково, объявил, что по кратковременности своего пребывания в Петербурге не успел исправить ошибки в его фамилии, но по возвращении непременно это сделает. Когда размен послов был окончен, Василий Васильевич подал дяде письмо, в котором просил его объявить ему, как велико наследство, оставшееся ему после отца, и когда он может получить его. Дядя отвечал, что до расчета дает ему украинское имение с условием, *не продавать, не закладывать, не дарить*, в случае его смерти -- без законных наследников -- *оставить это имение сыну его Петру Петровичу.* Сделку эту представить на утверждение императрицы. Василий Васильевич от такой сделки отказался. Тогда Петр Богданович предложил ему вместе с имением принять на себя двадцать восемь тысяч его долга или взять вексель, соответственный ценности имения. Василий Васильевич ни на что не согласился. Насчет последнего предложения сказал дяде, что его вексель равняется пустой бумаге, так как на нем больше ста тысяч долга, а имения проиграны.

С этого времени начались на Василия Васильевича гонения дяди и его несчастия.

Правитель Екатеринославской губернии Каховский, передавший Василию Васильевичу назначенную ему в награду землю в Очаковской степи, написал Петру Богдановичу, что племянник его сблизился с подозрительными людьми. Вместе с этим, на всех им подозреваемых послал донесение государыне, как на людей опасных отечеству {Когда В. В. Пассека освободили из Динаминдской крепости, то он узнал, что заключен был без суда на четыре года и три месяца за то, что будто бы давал офицерам своего полка читать запрещенные книги, из службы же исключен не был, вследствие чего, по освобождении, ему выдано

было жалованье за четыре месяца и был объявлен *невинно пострадавшим.* Содержась в крепости, Василий Васильевич написал несколько интересных статей: 1) Каким образом завести лучшего разбора скот так, чтобы это ничего не стоило казне и обывателям. 2) Правила народного просвещения. 3) Улучшение воспитательных домов, больниц, смирительных домов и институтов. 4) Улучшение земской полиции для произведения дешевизны без угнетения кого-либо. 5) Несколько статей по отношению к преступникам. Четыре из этих статей Каховский сжег. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}. Мнимые опасные люди были задержаны. Василия Васильевича заранее предупредили. Опасаясь мщения и влияния дяди, он бежал в Яссы, чтобы там, под защитою нашего генерального консула Сиверса, ждать суда. Вместе с собой он увез из-под ареста одного из обвиненных. В Яссах их ожидал курьер из Петербурга. Их арестовали и привезли к Петербург.

"Сорок два часа были на моих ногах цепи", -- говорит в записках В. В. Пассек. Граф Александр Михайлович Самойлов, в ведении которого состояла тайная экспедиция, принял его отечески и обещал защиту; но прежде чем Самойлов взял с него объяснение, Пассека допрашивал Василий Степанович Попов. По-видимому, Попов старался выпытать от него признание притеснениями и оскорблениями, что и вызвало жалобы В. В. на него и стихи, о которых сказано выше. Вместе с допросами, по доносу Каховского, Пассека обвиняли в написании акростиха на императрицу Екатерину II.

Перед отъездом Василия Васильевича в Яссы столоначальник могилевской казенной палаты Симонович, назначенный Петром Богдановичем в помощники племяннику по делам графини Чернышевой, дал ему прочитать своего сочинения акростих на государыню. В тревоге отъезда Пассек забыл его возвратить Симоновичу, при задержании его в Яссах акростих найден был между его бумагами. Страшась погубить семейного человека через свою небрежность и совестясь нарушить сделанную ему доверенность, на допрос Попова Пассек сказал, что этот акростих куплен им на рынке у неизвестного человека вместе с другими бумагами и не был им замечен. Когда же его стал допрашивать граф Самойлов, то, тронутый его лаской и участием, Василий Васильевич объявил себя автором этих стихов. Граф Самойлов, сличая письма Симоновича с почерком акростиха, сказал, что они писаны одной рукой; Василий Васильевич

отвечал, что Симонович их только переписал. Тогда граф велел Пассеку написать что-нибудь стихами и, найдя написанное им ни в чем не согласующимся с акростихом, проникнул его цель. Желая спасти Василия Васильевича, граф благосклонно принял его просьбу о прощении, и спустя несколько дней он получил свободу.

"Дядя и опекун мой, -- сказано в записках Василия Васильевича Пассека, -- в течение шести месяцев заключения моего не просил обо мне императрицу, а узнав, что я накануне освобождения своего, прибегнул к ней, яко любящий племянника своего дядя; великодушная императрица благоволила решить судьбу мою сими словами:

"Я предоставляю времени уничтожить сии акростихи. От него зависит остаться в военной службе или перейти в иную".

Все обвиненные со мною, разосланные по губерниям, признаны невиновными. Содержась по сему делу под стражею, не мог я открыть императрице дядю и опекуна моего, ухищрениями желавшего и поднесь желающего погубить меня. В бытность свою генерал-адъютантом, каждый день мог он испросить князю Кантемиру помилование, но в заключении родных племянников своих видел он утверждение за собою имений наших. Я не мог, повторяю, открыть императрице о справедливом моем праве на имя и наследство родителя моего, опасаясь, что теми же ухищрениями дядя перехватит мое прошение и погубит меня совершенно, поэтому решился молчать до удобного времени. Но дядя и опекун мой, будучи неутомим в происках, представил монархине меня шалуном и мотом, которого необходимо обуздать запрещением въезжать в столицы без дозволения генерал-прокурора. Сие было утверждено, и меня на сей конец обязали подпискою.

Удалением от столицы ослабил дядя и опекун мой деятельность мою в получении моих прав и родительского наследства. Граф Самойлов не только спас меня, но и ссудил деньгами на дорогу в войско. Однако же государыня, из показаний моих проникнув несправедливость дяди и опекуна моего, высочайше изволила повелеть графу Самойлову посоветовать ему от себя быть снисходительнее со мною и снабдить меня нужным. Граф получил от него в ответ, что он дает мне недвижимое имение родителя моего. А дабы не иметь надобности выполнить обещанного графу и держать слово, не раз и мне данное, в возвращении наследства, то спустя месяц

после прибытия в войско снова предпринял он меня чернить. Одна из подпор его, или обманутая наружностию и представлениями его обо мне особа, приехала в Гродно и извергнула на меня клеветы начальствующему тогда войском князю Николаю Васильевичу Репнину, который, к счастью моему, отнесся к теперешнему статс-секретарю Энгелю, давнему моему приятелю, сделавшемуся благодетелем моим, снятием с дяди и опекуна моего маски и возвращением мне благорасположения князя Репнина.

Несколько месяцев спустя князь Сергей Федорович Голицын, у коего был я дежурным, обращавшийся со мною наиприятнейшим образом, возвратясь из С.-Петербурга, где был дядя мой, к корпусу, при котором я оставался, сделался ко мне чрезвычайно холоден. Я объяснился, а он, прочитавши переписку мою с дядею, обещал все то сделать, что может облегчить мое положение. На месте князя оставался тогда начальствующим генерал-майор, что ныне генерал-от-кавалерии, Обресков, свояк дяди и опекуна моего. Опасаясь быть им гонимым, так как находился я под присмотром в войске, выпросил у него дозволение съездить в полк, куда послал он два повеления, дабы я к нему возвратился. На первое отозвался я болезнию, а на второе -- расположением служить в рядах. Полку сказано было в поход; мы прибыли в Вильно, где опять встретила меня интрига дяди и опекуна моего. Притворяясь всегда быть ко мне снисходительным, но действуя против меня тайными пружинами, пронес через одну из подпор своих слухи, будто бы я якобинец, прощенный императрицею по просьбе его. В Вильне так хорошо он устроил орудия свои, что меня схватили, повлекли и без всякого исследования и объявления причины, по высочайшему повелению, в декабре 1796 года ввергнули в одну из динаминдских тюрем, где не имел я иногда первых надобностей человеку и томился неизвестностию, за что и на долго ли посажен.

В течение заключения моего дядя мой, имея все родителя моего наследства в руках своих, не прислал мне ни копейки, ему не можно отречься опасностью, разве не мог он прислать денег через десятые руки. Приятели мои и знакомые за несколько сот верст навещали меня и доставляли помощь.

Блаженной памяти император Павел в бытность свою в Динамияде в 1797 году спросил у коменданта, где я и как себя веду? и, по одобрению, приказал у меня спросить, чего желаю я? Желание мое

коменданту было известно, я его приготовил на сей случай, и он отвечал: "Чтобы быть судиму". Государь возразил: "Он молод, пускай еще посидит, сей урок пригодится ему для переду".

В январе 1798 года получил я известие, что друзья мои Валуевы арестованы и увезены из полка в бывшую тайную экспедицию. На них и на меня донес поручик Высоцкий (с которым я никогда сношения не имел и в жизнь мою не видал его), якобы мы имеем важную переписку и умышляем на жизнь государя, и якобы сообщники мои ожидают только его приезда в Гапсаль, где был тогда полк, в коем я с Валуевыми служил, чтобы исполнить свое намерение. У меня не было ничего по сему доносу спрошено, а Валуевы оправдались, и их произвели за невинное претерпение, с запрещением всякого сношения со мною. Комендант получил выговор за дозволение мне писать, тогда он запретил мне писать к государю и отыскивать права мои на свободу и собственность. Я скрытно отправил письмо к императору в 1798 году и просил снова о суде, а также и о собственности моей, но не получил и в ведомостях ответа. Письмо это находится ныне в архиве бывшей тайной экспедиции, с надписью: "Оставить без уважения и проч.". Зная цепь, связующую живущих в обществе, соблюдающую каждого и всех безопасность, спокойствие и собственность, всегда к ней имел благоговение и бдел о сохранении каждого ее кольца; но быть игралищем прихотей и ига не мог никогда. Не обретая суда, следовательно, потеряв надежду на справедливость, начал изыскивать другие средства, сообразующиеся с честью, для обретения свободы; бежать преследуемому позволительно, и я мог, но не хотел. Мне встретилась счастливая мысль. Взяв ее на весы рассудка, решился я привести ее в действие. Я был должен бежавшему из Риги казначею Шемилину. По желанию моему подано было ко взысканию. Лифляндский гражданский губернатор спросил у меня через динаминдского коменданта в ноябре 1798 года: должен ли я Шемилину по расписке, имею ли имение и где, на удовлетворение. Мой ответ был: не только по расписке должен семьсот сорок рублей, но и без письменного вида четыреста пятнадцать рублей; что имения мои в управлении дяди моего, не возвращающего оных и не присылающего мне ни копейки из доходов. В отзыве своем назвал дядя меня приемышем, не участвующим в имении Пассеков, и что он не обязан платить за меня долги. Сей отзыв его увеличил страдания мои.

Гарнизон Динаминдской крепости, невзирая, что я не просил ни у кого взаймы денег, начал заподозревать, будто я объявил себя имеющим имение, дабы обресть ссуду. С другой же стороны я был отзывом сим доволен, ибо он подал мне надежду достигнуть до престола отыскиванием собственности моей. Я подал бумагу, в коей сказал, что когда освобожусь или приведено будет в действие сделанное мною в 1796 году завещание, то обнаружатся мои права на имя и на имение родителя моего, и просил истребовать исполнения. Дядя подал объяснение, содержание которого будет далее изображено. Комендант, опасаясь навлечь себе неприятности моею перепискою, не дозволил мне подать опровержение; по настоянию приятелей моих сделал он представление тогдашнему генерал-прокурору князю Лопухину, испрашивая наставление, можно ли мне письменно защищать оспариваемую у меня дядею моим собственность мою. На доклад, сделанный императору в июле 1799 года, высочайше поведено дозволить мне написать возражение, и если права мои доказаны будут, то взять имение под казенный присмотр, взыскать должные мною Шемилину деньги и без особого высочайшего повеления не давать никому доходов. Объяснение дяди моего и копия с завещания отца моего, приложенная при оном, а также и мое объяснение, в коем предоставил я себе право представить доказательства, отправлены к князю Лопухину.

Я прислан был под присмотр впредь до повеления; а меня с самого первого дня стеснили до того, что три года, до самой отставки коменданта Шилинга, не позволялось мне выходить из моего гроба. Здоровье мое день от дня повреждалось более и более, а к вящему разрушению оного инженерный полковник Смольянинов, невзирая на представления мои, что от домов стараться надо отвлечь влагу, приказал обрыть жилище мое рвом. Со всей почти крепости стекала в оный дождевая вода и подходила под пол моей комнаты, из сухой и летом она сделалась очень сырою; более нежели на аршин плесень покрывала стены внутри, а зимою лед и снег и чад от того был почти непрестанно. Сердце мое обливается кровью при воспоминании ужасных картин сих; у безгласных детей моих похищен бы был отец, если бы не поспешила рука императора Александра разрешить заклепы мои. Свобода отверзла передо мною врата столицы. Я нашел ужасную и самую невинность в содрогание приводящую, тайную

экспедицию навсегда уничтоженною3 -- и восприял новое бытие. Дядя и опекун мой был уже в С.-Петербурге. Он встретил меня обещаниями возвратить мне немедленно наследство отца моего, советуя ехать в деревню для восстановления моего здоровья, и, невзирая на то, что я предстал к нему из заключения полумертвый и в ободранной сермяге, до которого положения доведен был великостию души его, из назначенного им содержания, следуемого мне с января 1796 года по май 1801 года, с великим трудом мог я получить тысячу шестьсот пятьдесят рублей, вместо шести тысяч четырехсот рублей. Благотворный Александр благоволил мне на произвол -- остаться в военной службе или перейти в другую, сообразную с расстроенным здоровьем моим, и именным в мае 1801 года указом объявил меня *невинно пострадавшим*, и за мои страдания произвел в надворные советники".

Василий Васильевич избрал для своей службы иностранную коллегию {"Русский архив", стр. 6797. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}. Он явился с просьбой об этом к вице-канцлеру графу Никите Петровичу Панину {Сын Петра Ивановича Панина и Марьи Родионовны Ведель, двоюродной сестры В. В. Пассека. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}. Панин принял его холодно, но вежливо, сказал, что в иностранной коллегии много сверхкомплектных, и советовал поступить на службу где-нибудь на юге, для восстановления своего расстроенного здоровья.

Поступить в иностранную коллегию Василия Васильевича не допустили. Вместо этого Петр Богданович предложил ему ехать с графом Марковым в Париж, в качестве советника посольства. Не доверяя советам дяди, Василий Васильевич отказался, сказал, что прежде всего желает привести в ясность и порядок свои дела по наследству после отца, и попросил дядю сделать надпись на завещании: *что Василий Васильевич действительно сын Василия Богдановича и наследник*, о *котором сказано в завещании.* Дядя нашел, что такое показание будет противоречить его прежним показаниям и сказал: "Я уже все приготовил для тебя, как второй отец, и хочу сделать тебе сюрприз. Я подал государю прошение; волею моею, в оном изображенною, ты будешь доволен". Василий Васильевич поклонился. Вместе с этим Петр Богданович предложил племяннику подписать составленную им домашнюю сделку. Василий Васильевич отказался и перестал бывать у дяди. Некоторые из вельмож, как-то:

граф Самойлов, сенатор Козодавлев, генерал-майор Чичерин, вице-президент военной академии Ламб и другие старались склонить Петра Богдановича разделаться с племянником по-родственному, но безуспешно.

В Петербурге Василий Васильевич узнал, что в архиве тайной экспедиции находятся важные бумаги на право получения его собственности. Он попросил генерал-прокурора Беклешова дать ему с этих бумаг копии со скрепою. Беклешов отказал. Василий Васильевич настоял и получил. *"Из этих бумаг открыл я*, -- говорит Василий Васильевич, -- *что доклад императору Павлу I, по объяснению моему с дядей, был сделан Беклешовым и единственно в выгодах дяди. Мои доказательства были все пропущены"*.

Император Павел, по-видимому, дело это потребовал к себе, прочитал как дело, так и завещание и 1 августа 1799 года высочайшим повелением приказал завещание Василия Богдановича утвердить, называя его *завещанием*, а не письмом.

Получивши копию с этого дела за скрепою и вместе с копией завещание своего отца, Василий Васильевич сделал из дела экстракт, представил его нескольким особам, занимавшим первые места в империи, и намеревался просить государя, чтобы он высочайше повелел, повеление своего родителя отослать в правительствующий сенат для введения его, вследствие оного, во владение всего родительского наследства и во все его права; так как император Александр I утверждал все дела по имениям, оконченные в прошедшее царствование, то благоволил бы утвердить и повеление его родителя, которым Василий Васильевич признан сыном своего отца, а завещание сего последнего завещанием, несмотря на выходки Петра Богдановича против акта, который он называл простым письмом и скрывал более двадцати лет.

Сверх этого за ним были и другие права: отец Василия Васильевича, скончавшийся в 1778 году, оставил формальное завещание, в котором сказано, что он все именья свои предоставляет своему сыну-наследнику, чего в продолжение двадцати лет ни родные братья, никто из родных его отца не опровергал и ни спора, ни явок не подавал; в 1787 году завещание это было узаконено, иски же, не оглашенные в продолжение десяти лет, считаются недействительными.

По вступлении в совершеннолетие, десятилетней давности Василий Васильевич не пропустил.

По всем этим данным Петр Богданович принужден бы был возвратить племяннику своему все его именье, но он нашел средство этого не допустить. При самом восшествии на престол государя Александра Павловича, он подал всеподданнейшее прошение, которым просил дать Василию Васильевичу Пассеку, называя его Ласковым, воспитанником его брата, герб и фамилию Пассеков (чем Василий Васильевич и без того всегда пользовался), представляя его прощенным и освобожденным из Динаминдской крепости и повергая прошение к престолу монарха, просил об утверждении за ним вместе с именем и гербом Пассеков и принадлежащего ему имения в Украине, села Нитайлово и слободы Спасской, составлявших часть невозвращенного еще Василию Васильевичу именья отца, как своего собственного. Вместе с этим возлагал на него обязанности, делавшие его почти приказчиком этого именья.

В мае месяце 1801 года, на прошение, поданное Петром Богдановичем императору, последовало утверждение, и Василий Васильевич поехал в свое украинское имение. Дом он нашел в ветхом положении, винокурню разрушенной, лучший скот и конский завод перегнатым в имение дяди. Не нашлось ни мебели, ни библиотеки, ни серебра, ни посуды -- все было увезено. Большая часть прислуги и дворовых была переведена на Буг и на Маячскую засеку, в дом Петра Богдановича.

Василий Васильевич по освобождении из крепости и по объявлении его невинно пострадавшим, в вознаграждение за что был переименован из майоров в надворные советники, решился доказать перед государем императором, что прошение Петра Богдановича противно истине, противно совести, законам и высочайшему повелению 1799 года.

Петр Богданович, имея в виду возможность такового протеста и понимая, что о" примет свою силу и какие могут быть последствия такого протеста, стал искать повода племянника погубить. Случай скоро представился. Вследствие невинного участия, принятого Василием Васильевичем в судьбе детей двоюродного брата его, князя Дмитрия Константиновича Кантемира, он был сослан на поселение в Тобольск, где и продержали его около двадцати лет.

После Василия Васильевича, кроме нескольких записок из его жизни, осталась краткая выписка из его оправданий, под которой им означено: *Екатериненбург, 1825 год, Василий Пассек, возвращающийся на родину свою.* В этой выписке он называет себя: *Василий-Оливье Пассек.*

ГЛАВА 36

В СЕЛЕ СПАССКОМ

1836

Приветствую тебя, смиренный уголок1.

В глубокую осень мы переехали из деревни в Харьков, в дом Ковалевского.

Мы ожидали в скором времени второго младенца. Вещи наши еще везли из Спасского; в квартире было пусто, не устроено, только в кабинете Вадима стоял небольшой стол, диван и два стула да на полу лежал наш пуховик с подушками, одеялом и простынями.

Я постоянно тревожилась, чтобы не повторилось прежнее несчастие с ожидаемым ребенком, это расстроивало мне нервы, и я каждую минуту готова была плакать. В тяжелом настроении духа я легла спать и в слезах заснула. К утру мне приснилось, будто я стою в небольшой продолговатой бревенчатой комнате, подле изразцовой печи с голубыми каемочками и такими же узорами, против меня, в конце комнаты, у единственного окна стоит белый сосновый столик, подле него -- деревянный стул, а за ним небольшая затворенная дверь... Комната простотой и устройством, как мне казалось, походила на монашескую келью. Под влиянием того же чувства, с которым я

заснула, и во сне, стоя у печки, я плакала, как оглянувши комнату, увидала за стулом старца в святительской одежде. Меня удивило, откуда он взялся, так как комната была пуста. Старец стоял, устремив на меня строгий, проницательный взор, и стал медленно ко мне приближаться. Я робко ожидала его. Подойдя ко мне, он сказал тихим голосом, с оттенком упрека: "В тебе нет ни веры, ни упования, -- зачем такое отчаяние, -- ты родишь сына, божия милость и мои молитвы будут над ним". С этими словами коснулся меня рукой. В то же мгновение тоски моей как не бывало, я счастливо улыбнулась -- и пробудилась.

Было утро. Вадим, увидавши, что я не сплю, спросил меня: "Что с тобой, чему ты во сне улыбаешься?" Я рассказала ему свой сон. "Не знаешь ли, кто это был? -- сказал Вадим. -- Надобно бы отслужить ему молебен". -- "Не знаю, -- отвечала я, -- такого лица не видала ни на одном образе".

На другой день привезли наши вещи, разобрали, разложили по местам и все комнаты привели в порядок. Войдя в залу, я увидала в углу на стене довольно большой образ без ризы, на нем был изображен старец в святительской одежде. Взглянувши на него, я вскрикнула: "Вадим! вот кого я видела во сне!" Вадим вышел из кабинета, говоря: "Что ты так кричишь?" -- "Смотри, вот кого я видела во сне, -- повторила я, указывая на образ, -- кто это?" -- "Не знаю, -- отвечал Вадим, -- и откуда взялся этот образ?" Расспросивши прислугу, узнали, что это образ святителя Митрофания, привезен из Воронежа братом Евгением, стоял в нежилой половине деревенского дома, а они рассудили лучше привезти его к нам. Мы были поражены таким совпадением со сном. Об открытии мощей св. Митрофания мы знали, но мало интересовались этим. Быть может, незаметно что-нибудь и оставило во мне впечатление.

28 февраля 1836 года, в десять часов вечера, у нас родился сын Александр, здоровый, прелестный мальчик. С благодарной молитвою к небу, с слезами радости, я благословила новорожденного и поручила его молитвам св. Митрофания.

Никакая музыка не может доставить того наслаждения, какое дает матери первый крик ее ребенка. Младенческий голос, вдруг раздавшийся среди жизни и смерти, отзывается до глубины души ее и заставляет позабыть все, кроме счастия, что она мать.

Тот поймет, что такое мать, кто видел первый, измученный взор матери, устремленный на новорожденного младенца; кто видел, как она следит *за* первыми шагами его; как вслушивается в первые слова его; какие страшные минуты" переживает у его болезненной постели; как принимает последний вздох своего дитяти. Время горе отца лечит -- мать время не лечит. На матери остается навсегда след чего-то неисправимо разбитого.

Любовь материнская рождается вдруг во всей своей бесконечности и переносит женщину за границы природы, превращая мучения в радость, лишенья в наслаждения. И это не случайно, не временно, а постоянно и без конца. Время этой любви не касается; оскорбления не убивают; старость не охлаждает. Для этой любви нет ни прогресса, ни регресса. Она от первого дня страданья матери и до ее последнего дыханья -- одна и *та* же. Материнская любовь женщину воспитывает и просветляет. Любовь материнская -- сердце всего человечества.

Наука доказала физическое влияние матери на ребенка, нравственная роль поднимает ее еще выше. Во все времена с званием матери женщине давалось больше прав человеческих, наконец допустили ее участвовать в воспитании и в устройстве судьбы детей ее, несмотря на то что против воспитания детей матерями долго и сильно восставали.

Воспитание материнское доказало, что любовь помогает понимать, в чем состоит действительное воспитание.

Бескорыстная преданность матери стремится не подавить слабого, но сделать его сильным. Она, развивая в нем не только то, что их сближает, но и то, что их различает, инстинктивно хранит его *своеобразность,* вызывая к жизни все, что природа дала ему на крест. Чужой пощадит ли то, что каждый приносит с рождением, напротив, то, что делает человека не похожим на других, *колет глаза.* Сохранить в человеке святую искру *своеобразности* возможно только богу и матери. В этом мать сливается с богом.

Когда дитя преждевременно разлучают с матерью, чтобы воспитывать вдали от нее, как она плачет! На это не смотрят. В этих слезах видят слабость -- напрасно! Слезы эти показывают, что *ребенок еще нуждается в ней.* Инстинкт матери верен. Он заслуживает уважения.

Напрасно боятся, что сын, оставаясь долго при матери, сделается женоподобен. Мать приноровляется к сыну, обновляется в этой новой для нее жизни. Факты показали, как правильно, следовательно и законно, воспитанье детей матерью. Вот что сказал наш поэт, вспоминая мать свою:

И если я наполнил жизнь борьбою
За идеал добра и красоты,
И носит песнь, слагаемая мною,
Живой любви глубокие черты --
О мать моя! подвигнут я тобою
Во мне спасла *живую душу ты*...2

Великие люди были воспитаны матерями.

Пусть не повторяют истертого проклятия ослеплению материнской нежности! ничто так не зорко, как любовь матери. Она видит недостатки, но молчит и старается исправить.

Пусть не говорят о материнской слабости! матери слабой нет. Слабость там, где чувство мешается с тщеславием.

Ребенок нуждается в матери гораздо дольше, нежели думают, и напрасно торопятся сокращать время отрочества и первой юности. Это лучшие эпохи жизни. Ребенок -- свободный, под взором матери -- живет под благодатью. Дух пробует свои силы, купается в любви и расправляет крылья для полета.

Опасно вверять слабое, гибкое существо чуждому руководству. Лучшие руководители, слишком налегая, могут так согнуть его, что он никогда не выпрямится. Свет полон людей, на которых неизгладимо легла печать рабства, от того, что несли тяжесть не по силам.

Приобретение знаний не вознаграждает утраченного; от слишком ранней массы внешнего приобретения теряется внутреннее. Является математик, географ, лингвист, а человек утрачивается.

Мать человеком-то и дорожит в ребенке.

Она как бы перестает наблюдать и действовать, чтобы он действовал самостоятельно, а между тем невидимо окружает его собой.

Опасность в одном -- детский эгоизм может принять за должное безграничное самоотвержение любви и действовать тем меньше, чем

больше действуют за него. Опасность эту перевешивает горячее желание пользы и славы своему ребенку. Мать возлагает бесконечные надежды на свое дитя и стремится осуществить их. Она готова расстаться с любимым сыном для его счастия, а сама остается в тоске и беспокойстве.

Но вот он возвращается; какая перемена! где юноша, с которым она рассталась рыдая? перед ней самостоятельный мужчина. Он ищет любви, спешит жениться. В период страсти мать в сердце детей занимает едва заметное место. А для нее дитя ее все. Она любит то, что любит он, она счастлива его счастием и хочет одного, *чтобы не позабыли ее.*

Влияние матери не прекращается, хотя, по-видимому, она и в стороне. Все посеянное ею в душе человека проникает целую жизнь его и связывает с нею неразрывно. Нередко взрослый сын приходит искать отдыха в тех же объятиях, в которых покоилось его детство. Рука матери ласкает взрослое дитя с той же нежностию, с какой качала колыбель его. Успокоивая его, она говорит: *"Дитя мое"*. Противоположность факта и слова глубоко трогательна. Мать возвращает ему силу и бодрость, он идет от нее возрожденный.

Чем дальше человек поступает в жизнь, тем больше и больше выступают перед ним давно забытые слова, нежные советы, предупредительность. И как ни будут окружать человека любовь, дружба, слава, восторги жизни, в душе его с каждым днем все живее и отраднее будет вставать образ матери.

Великое чувство! его до конца
Мы живо в душе сохраняем,
Мы любим сестру, и жену, и отца,
Но в муках мы мать вспоминаем3.

Цену матери вполне чувствуют тогда, когда ее теряют.

У меня начиналась горячка, мне советовали взять к ребенку кормилицу. Я согласилась. Для выбора кормилицы привезли из деревни несколько женщин с грудными детьми. Они поодиночке робко входили ко мне в спальную, и на мой вопрос, хочет ли она кормить мое дитя, каждая отвечала: "Это как вам угодно будет, пани, воля ваша, только в дому у нас некому ни за хозяйством присмотреть, ни дитину

годовать". У меня родилось в душе глубокое чувство жалости ко всем, у кого были дети, и я не взяла в кормилицы ни одной из привезенных женщин, ни одну не разлучила ни с ее домом, ни с ее малюткой. Всех отпустила с богом домой.

Вскоре нашлась женщина, сама пожелавшая поступить к нам в кормилицы. Это была молодая солдатка из нашего же села Спасского, куда она отдала свою дочь на грудь к родной сестре своей, у которой умер ребенок.

В девятый день по рождении моего Саши мы получили письмо от одной родственницы, только что возвратившейся из Воронежа, и при письме маленький образок св. Митрофания для новорожденного.

Этот образок он всегда носил на шее.

Когда спустя много лет тело моего Саши было привезено из-за границы в Москву,-- с образом св. Митрофания его встретили на железной дороге, проводили в Симонов монастырь -- и оставили его там при нем в церкви. Боже мой! как я сама не осталась там же!

Недели через две по рождении Саши мы получили письма от родных из Москвы, в которых они извещали нас о возвращении прав дворянства семейству Пассек и поздравляли с этим4.

"Поздравляю вас, мои друзья, -- писала матушка,-- особенно моего Сашу. Бог вас, мои друзья, сохрани и благослови, вас душевно любящая мать Екатерина *Пассек"*.

"Милые друзья Таня и Вадим! поздравляю вас с возвращением прав дворянства нашему семейству и обнимаю вас. Брат ваш Егор *Пассек"*.

"Поздравляю вас, друзья мои, с общей нашей радостью. Поцелуйте за меня милого Сашу и поздравьте от меня. Ваша сестра Ольга *Пассек"*.

"Прошу с нами не шутить, и мы теперь дворяне. Право, я за вас не так рада, как за Сашу. Ваша сестра *Людмила"*.

Возвращение прав дворянства Пассекам совпало с окончанием процесса князей Шаховских с графинею Булгари. Князья Шаховские процесс выиграли. Пользуясь возвращенными правами, один из братьев Пассек -- Василий Васильевич, по возрасту своему еще не утративший права иска на кантемировское именье, как не

пропустивший сроков, подал прошение, в котором заявил свои права на выигранное князьями Шаховскими имение и просил наложить на него запрещение. Вслед за Василием Васильевичем подал такое же прошение и меньшой брат его Вячеслав Васильевич. Запрещение было наложено. Начался новый процесс между князьями Шаховскими и Пассеками и продолжался около десяти лет.

Процесс этот будет помещен сокращенно в последующих главах моих записок, а пока обращусь к нашей жизни в это лето в селе Спасском.

Лето стояло красное.

Каждое утро я с кормилицей и Сашей отправлялась в сад, где было пропасть тени и прохлады. Кормилица везла в повозочке дитя; с одной стороны повозки шла я, с другой бежала Зюльма. Мы забирались в густую группу кленов, и там, под завесой ветвей, у скамеечки, останавливались.

Ребенок засыпал. Я с книгой или работой помещалась на скамейке; верная Зюльма ложилась подле повозочки и чутко стерегла дитя. В воздухе была такая тишина, что даже прозрачные, легкие листочки кленов не трогались... Иногда после полуденного зноя мы с повозочкой выезжали из сада в степь. Что за роскошь! густая, высокая трава, подернутая миллионами цветов; над нею свистит и трещит целый мир насекомых, там жаворонок взвился в высоту; тут луговка выпорхнула из травы, где у нее таится гнездо, и старается отвлечь вас от него, отдаляясь с жалобным криком, перевертываясь в воздухе. Вдали, среди посевов пшеницы и проса, чернеет широкий шлях. В стороне стелятся плетни арбузов, дынь, огурцов, тыквы на бахче; из-за золотистых подсолнечников и мохнатой кукурузы виднеется курень дида-сторожа; случалось, мы добирались до куреня -- и отдыхали там на завалинке. Дид живет на бахче один-одинехонек с собакой и сам варит себе в котелке, укрепленном над небольшой ямой, заменяющей печь, галушки с салом. Зато он имеет право и на зеленые огурцы, и на лучший арбуз, и на дыню. Мирный характер бахчи, огорода и пчельника рождают во мне самое спокойное настроение духа.

Когда перед Ивановым днем загорелись ивановские червячки, мне вспомнилось мое детство и Карповка среди глухого бора; я по-прежнему набрала светящихся насекомых, положила в стеклянные баночки и поставила в комнатах. Вместо поисков таинственного

цветка папоротника, в ночь на Иванов день мы ходили смотреть, как девчата прыгают через огонь. В своих коротких запасках, босиком, в густых венках из длинных, гибких трав, треплющихся по их лицам, они походили на русалок. С купальскими песнями, взявшись за руки, девчата живо ходили кругом пылавшего костра соломы, круг разрывался, и одна за другой с разбегу прыгали через огонь.

Во время сенокоса по вечерней заре косари перепевались. Из-за Донца пели куплет парубки, им отвечали с противоположного берега девчата другим куплетом той же песни. Мы заслушивались этих песен.

Народная песня близка сердцу не только того народа, из которого она истекает, но близка и понятна каждому человеку; в ней страна, климат, нравы, обычаи, история, умственный рост и дух народа. В русской песне шумит дубрава зеленая, стелется раздолье широкое, у ворот стоит девок хоровод, во чистом поле снега забелелись, летит тройка, ямщик поет -- и родная песня захватывает душу. В песне швейцарца -- горы, обрывы, мелькает серна, звучит рожок пастуха, звенят колокольчики стада. Баркаролла укачивает на волнах, скользит по воде гондола, ночь, луна, и льется песня, полная тайны, неги и любви. Эти песни уносят на родную сторону; а есть песни, которые уносят в даль истории.

Народная песня -- это исходная точка музыкального свойства духа человеческого, это юность народов. С ростом народа растет и музыка, долго не утрачивая своей своеобразности. Поднявшись до полного развития, она сливается в один божественный гимн всех народов. Эти песни уносят в небо.

В половине лета Вадим уехал в Киев, желая видеть Малороссию в самом сердце ее. Из его путевых записок видно, какое чувство возбуждала в нем эта страна.

В очерках России явились его описания Киево-Печерской обители, Златые врата и другие, с снятыми с них видами5. В отсутствие Вадима меня посетил старый Нестеров из Сороковки с двумя дочерями и хвалился талантами старшей дочери -- Гапочки: она смело правила лошадьми, ловко гребла в лодке веслами, играла на гитаре и пела. После обеда Гапочка предложила пропеть и сыграть на гитаре. Гитара нашлась у нашего писаря Григорья Туза; он дорожил гитарой и дал неохотно.

Григорий Туз был романтик, лет двадцати шести, среднего роста, с редкими, длинными светло-русыми волосами, весь в веснушках, и до того худой, что нанковый сюртук, когда-то горохового цвета, болтался на нем, как на вешалке. Романтичность Туза выражалась туманным, задумчивым взором и страстью к пению и музыке. Он каждый вечер садился на крылечке конторы с гитарой в руках, брал томные аккорды и когда впадал в грустное настроение, то певал:

Веют ветры, веют буйны, аж деревья гнутся,
Ой, як болит мое сердце, а слезы не льются...

Или:

Стоит явор над водою, в воду похилився,
На казака невзгодонька, казак зажурився.

Если слышалось:

Солнце низенько, вечер близенько,
Выйди до мене, мое серденько, --

значило: Туз настроен чувствительно.

В индиферентном состоянии духа он небрежно садился на крыльце, бойко бренчал на гитаре и развязно пел:

Удовицю я любив,
Подарунки ей носив,
Носив сало, носив свічки,
Носив мило, носив стрічки,
Носив просо, носив мак,
Ось було як.

Носив жито и пшеницю,
Кукурузу, чачавицю,
І качата, і курчата,
Індючата, поросята,
Носив таки грошенята

За чортові бровенята,
Ось було як.

А раз таке теля припер,
Пока доніс, трошки не вмер,
А вона ж мине зрадила
Тай панича полюбила.
Ну, не хай бы било за що,
А то там таке ледаще,
Що -- тілько тьфу!

О! теперь я ходитиму
На все село гукатиму:
Виддай сало,
виддай свічки,
Виддай мило,
виддай стрічки,
Виддай просо, виддай мак,
Ось тобі як.

Віддай жито и пшеницю,
Кукурузу, чачавицю,
І качата, і курчата,
Індючата, і поросята,
І все те що ти поіла
Віддай мине усе ціло,
Ось тобі що!

Вадим возвратился в августе -- в пору воробьиных ночей.

Это грозы страшные. Синеватые молнии раскроют полнеба да так и стоят несколько минут, с громом и проливным дождем, а иногда и без грома -- тогда еще страшнее.

В августе Луиза Ивановна писала мне:

"Друг мой Танхен! вероятно, ты пожелаешь добра нам больше, чем другим наследникам. Здоровье Ивана Алексеевича заметно слабеет, поэтому он желает скорее продать Васильевское, чтобы вполне обеспечить нас, покупщики есть, только без принадлежащей

тебе части никто не соглашается купить. Ты знаешь упорство дер-Гера -- уступи ему твою часть за то, что он предложит. Конечно, настоящей цены он не даст. Мы даем тебе слово, как получим наследство, доплатить тебе все, что по-настоящему следует за твою часть {По получении наследства Егор Иванович дал мне тысячу рублей, а Луиза Ивановна семьсот. Она с семейством уезжала за границу и обещала по возвращении в Россию что следует мне доплатить, но за границей кончила жизнь. Спустя несколько лет я видела в Англии Сашу;6 он дал мне семьсот рублей, которые я просила его одолжить мне взаймы, и сказал, чтобы я дала сто рублей Вере Артамоновне, а шестьсот оставила в счет следующего еще мне за мою часть в Васильевском. *(Прим. Т. П. Пассек.)*7}. *Луиза Гааг".*

В ответ на это письмо я послала полную доверенность на имя Григория Ивановича Ключарева на продажу моей части в Васильевском. Иван Алексеевич дал мне за все три тысячи рублей, втрое меньше стоимости, которые и были высланы мне немедленно. Васильевское купил Николай Павлович Голохвастов за четыреста тысяч ассигнациями, уплатил двести девяносто тысяч, а остальных сто десять тысяч не мог. Из-за этого у него вышла с дядею неприятность, и они перестали видаться.

Так как Вадим, сверх своих научных занятий, наблюдал и за хозяйством, это задержало нас в деревне чуть не до зимы. Изучая язык и жизнь народа, Вадим постоянно сближался с ним по деревням; записывал поверья, сказки, песни; срисовывал виды, земледельческие орудия, домашнюю утварь, одежду; бывал на их празднествах и сельских ярмарках, так любимых малороссами. На эти ярмарки съезжаются не только что крестьяне, но поднимаются дворовые люди и хуторяне помещики.

В осенние вечера бывали мы на свадьбах и на вечерницах. На вечерницах сберутся в одну хату девчата с гребнями, веретенами, съестными запасами, из которых хозяйка дома стряпает им ужин, -- зальются песни, нагрянут парубки с музыкой, пойдет говор, смех, танцы, вихрем несется метелица, тесно в хате -- во дворе; дробно выбивают ногами дивчата козачка; бойко стучат каблуками парубки гопак и, приседая, выкидывают ногами на вихрь разные штуки, а в печи пылает солома, кипят борщ и галушки и пахнет в хате горячими паляницами.

-- Нет, -- говорили мне бабуси {Бабушки. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}, слыша, что мы бывали на вечерницах, -- нет, теперь не то, что в наше время, что это за вечерницы, теперь и парубки не те; бывало, идут парубки на вечерницу, аж хата трусится; дверь в хату не отворят, а напрут плечом, так вон и высадят. Теперь -- лядащи.

Когда осыпались с деревьев листы, приехал в Спасское брат, Егор Васильевич. Он прожил с нами всю осень; ходил с Вадимом на охоту и посещал Хорвата. Однажды поздним вечером возвращаясь от Хорвата, они едва не погибли в метели. Ожидая их, я не отходила от окна. Ночь была месячная. Смотря в окно, я заметила, что легкий ветерок как бы подметает с земли снеговую пыль; пыль эта, под лучами месяца, сверкая мельчайшими искрами, поднималась вверх и точно воздушной дымкой завешивала все пространство. Мало-помалу ветерок превратился в ветер, зашумел, засвистал, взметая массы крутящегося снега, проникал им алмазную завесу и скрыл месяц и все предметы до того, что кроме блестящего, густого белого пара ничего не было видно.

С любопытством всматриваясь в совершавшееся передо мною, я не предполагала в этом ничего опасного, как ко мне вошел приказчик Петро и встревоженным голосом сказал: "Завирюха началась, по-нашему вьюга, у околицы не попадешь на дорогу, не прикажете ли послать панам навстречу людей с огнем". Я перепугалась, хотя не понимала еще всей опасности метели, и заторопила сборами. В десять минут все было готово. Человек пятнадцать с зажженными фонарями и лучинами, верхом на лошадях, отправились по дороге к Салтову, дорогу замело, они ехали наудачу, не отдаляясь друг от друга, выкликая по имени господ и кучера, поехавшего с ними. Их отыскали часа через два, сбившихся с пути верстах в двух от Спасского, и все вместе добрались до дома.

Ожидая их, я тревожно переходила от окна к дверям, в сени, на крыльцо, но, кроме непроницаемой снеговой завесы ничего не видя, с замираньем сердца уходила в комнаты и опять ждала, опять прислушивалась к ветру, к малейшему шороху. Услышавши звон колокольчика, сливавшийся с свистом ветра, я выбежала на крыльцо в ту минуту, как к нему подкатили сани, окруженные верховыми с огнем, и из них выбрались Жорж и Вадим, осыпанные снегом и морозной пылью.

ГЛАВА 37

ОДЕССА

1837--1838

Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подъемлет паруса;
Там все Европой дышит, веет;
Все блещет югом и пестреет1.

Переехавши в Харьков, Вадим занялся окончательно собранием статистических сведений о Харьковской губернии и привел их в систематический порядок. В 1836 году, как Вадим, так н большая часть молодых людей его круга, были причислены к министерству внутренних дел, в статистическое отделение. Вадим считался откомандированным в Харьковскую губернию. В 1837 году он представил в статистическое отделение министерства внутренних дел сделанное им описание Харьковской губернии с планами и видами; оно было напечатано в "Материалах для статистики Российской империи"2. На юге вместе с статистикой Вадим занимался исследованием древностей, представил результат своих работ императорскому обществу истории и древностей и был единогласно избран действительным членом этого общества. Обозревая и исследуя городища и курганы, он осмотрел большую часть укреплений по рекам Дону, Уде, Можи, при вершинах Коломата и доставил в императорское общество истории и древностей России отчет своих исследований, вместе с составленными им картами расположения насыпей и описанием курганов и городищ Харьковского, Валковского и

Ахтырского уездов. Кроме того, привез для Московского университета три статуи или *каменные бабы* из степей Украины, замечательные своей величиною и целостию, с какой сохранились до нашего времени.

По получении в министерстве статистических сведений о Харьковской губернии Вадиму дано было от министерства поручение сделать статистическое описание Таврической губернии. Для этого необходимо было предварительно заняться в Одессе рассматриванием архива новороссийского и бессарабского генерал-губернатора, а затем уже приступить к обозрению и исследованию самой губернии.

Мы стали готовиться к отъезду в Одессу, но выбраться из Украины прежде лета не могли.

Зиму всю мы прожили в Харькове. К числу прежних знакомых наших прибавилось знакомство с Измаилом Ивановичем Срезневским, занимавшим в Харьковском университете кафедру адъюнкта политической экономии и статистики.

Несмотря на то что Измаил Иванович был в то время еще очень молод, он уже пользовался литературного известностию по политической экономии, статистике, местной старине и народной словесности. Под его редакцией издан был "Украинский альманах", где были помещены его два очень милые стихотворения -- "Кленовый листок" и "Море"; им издавалась "Запорожская старина" -- запорожские песни с историческими примечаниями; малороссийские пословицы и отрывки о малороссийском народном философе старце Григорье Савиче Сковороде3.

Сходство научных интересов скоро сблизило юного ученого с Вадимом, они стали видаться почти ежедневно, проводили целые часы в разговоре о предметах своих занятий, делились впечатлениями, целями и приобретенными ими сведениями.

Во время близких отношений с Вадимом Измаил Иванович написал свой рассказ "Майор, майор", заимствованный из жизни Сковороды, и читал нам его еще в рукописи. К намерению Вадима издавать "Очерки России" он отнесся с самым жарким сочувствием и хотел быть постоянным сотрудником. В "Очерках России" была помещена его статья "О суде Любуши"4.

Обстоятельства, удалившие его из Харькова и из России, помешали ему принять деятельное участие в издании Вадима, которое существовало только два года и прекратилось с его кончиною.

При нас Измаил Иванович написал диссертацию на степень доктора "О содержании статистики и политической экономии", в которой проводил взгляд, что статистика есть истинная наука, а политическая экономия только собрание знаний, не связанных между собой никакой системой. Вследствие этого взгляда университетский совет отказал ему в публичной защите его диссертации. Тогда он уехал в Петербург. В это время откры" вались в наших университетах кафедры истории и литературы славянских наречий; для приготовления профессоров на эти кафедры, по распоряжению министерства народного просвещения, отправлялись от университетов молодые люди за границу, в числе их, по распоряжению министра народного просвещения, графа С. С. Уварова, от Харьковского университета был отправлен И. И. Срезневский. Во время своего путешествия, которое молодой ученый совершал большей частию пешком, он останавливался по преимуществу в деревнях, чтобы быть ближе к народу и таким образом ближе к своей цели. Изучая народ в его образе жизни, он также изучал славянские наречия и литературу5.

По возвращении из путешествия Измаил Иванович был назначен исправлять должность экстраординарного профессора по кафедре славянской филологии в Харьковском университете, потом переведен в Петербургский университет, где через год занял ту же кафедру в Главном педагогическом институте. Впоследствии он достиг звания ординарного академика, заслуженного профессора и сделался известен многими значительными статьями по предмету своих занятий. В настоящее время И. И. Срезневский пользуется большой известностию и уважением в мире наук и в обществе.

Мы расстались с Измаилом Ивановичем все еще юные, полные свежих, чистых стремлений и надежд, и увидались спустя много лет в Москве, куда он приехал к нам с своей молоденькой дочерью. Затем в 1870-х годах встретились в вагоне на железной дороге, обнялись со слезами и вспоминали прошедшее. Ему *одному* удалось осуществить стремления своей молодости.

В продолжение этой зимы Вадим ездил в Москву повидаться с родными и писал мне из Москвы почти каждый день. Между прочим вот что он говорил о поездках в то время по России:6

"Редкое время дорога от Харькова до Москвы бывает удобна, обыкновенно же или испорчена или грязна до того, что лошади местами тянут экипаж шаг за шагом. Зимою, пожалуй, и того хуже. Частые метели заносят путь, обозы выбивают такие глубокие, последовательно идущие ухабы, что поездка становится невыносима, медленна и утомительна до крайности. На станциях беспрестанные остановки, помещения неудобны, нередко не достанешь куска порядочного хлеба, необходимо торговаться за каждую чашку чая, за тарелку щей. На приезжего находит тоска, досада -- рвется к цели поездки и благословляет судьбу, достигнув домашнего приюта. Как же при этих условиях путешествовать по России! Грустно! едут по делам, едут к новой должности; в летние месяцы богатые семейства отправляются на Кавказ, в Одессу, купаться в море, к минеральным водам или для рассеяния; ездят на богомолье в монастыри и пустыни. Когда же составляются путешествия учеными обществами, то избранный путешественник пускается в назначенные места, будто за тридевять земель, в тридесятое царство, обставленный придуманными пособиями на всевозможные случаи. Путешественники частные, единственно с целью путешествовать, чрезвычайно редки.

Не равнодушие же это ко всему родному! Нельзя быть равнодушным к тому, что нам мало известно, когда не знаем на что смотреть с благоговением, чему дивиться, чем гордиться, что любить. Конечно, эти страшно трудные пути сообщения большей частию виной недостаточности сведений о нашей народной жизни, о нашем отечестве, богатом и красотами, и разнообразием природы, и народной славой, и народными бедствиями, обильном памятниками, полном своеобразной поэзии... *Вадим"*.

В этот год я первый раз встретила украинскую весну в деревне. Едва стал таять снег, из-под него полезли головки пролесков и распустились голубыми цветочками; как только снег сбежал, яркая зелень покрыла землю, по ней подернуло пунцовым воронцом, зацвели дикие персики, яблони, вишни, груши, осыпались таким множеством как снег белых цветов, с розоватым отливом зари, что между ними только кое-где виднелись крошечные зеленые листочки. Нежный запах цветущих деревьев сливался с резким запахом чабреца, полыни и ароматом весенних растений степей. Сад наш стоял весь пушистый от

молоденьких листочков, из-за которых, точно сквозь мелкую светло-зеленую сетку, виднелись гибкие ветки деревьев. Воздух был полон пенья, свиста, чириканья, воркованья; соловьи пели день и ночь, чуть не в комнатах,-- не давали спать. Все это под глубоким, яхонтовым небом, днем ли, ночью ли было бог знает до чего хорошо. В эту-то прелестную пору мы переехали опять в Спасское, чтобы устроить разные дела по хозяйству и пораньше отправиться в Одессу. Под обаянием окружавшей нас красоты мы с увлечением отдались жизни в природе и с сожалением оставляли Спасское.

Незадолго до нашего отъезда мы получили письмо от Саши7. Он описывал нам свой отъезд из Москвы, впечатления по пути в Вятку, новые знакомства и, между прочим, говорил, что перед отъездом у него вышла неприятность с нашим семейством, так глубоко огорчившая его, что он разорвал все отношения с ними -- и навсегда. Причины этой неприятности он не объяснял, жаловался на оскорбления, полученные им в лице его матери; в чем-то туманно оправдывался, чего мы вполне не могли понять; говорил, что он находится в глубокой тоске, надеется не жить долее тридцати лет, что порядочному человеку долее тридцати лет жить и не следует, и кончил тем, что так как мы непричастны его неприятностям с нашими и если от него не отрекаемся, то он по-прежнему наш друг.

Вадим отвечал Саше, что мы ничего не слыхали о его неприятности с нашими, просил объяснить, в чем дело> что может виной всего недоразумение, и когда разъяснится, то не окажется и надобности прибегать к таким крайним, к таким печальным мерам.

Ответа на это письмо не было.

Вадим писал к своим, спрашивал, какая это неприятная история была между ними и Александром.

Ему отвечали, что никаких историй не было, была небольшая размолвка у Диомида с Луизой Ивановной, но она прошла бесследно, и они продолжали навещать Сашу до его отъезда из Москвы, проводили его и простились как друзья.

Мы остались в недоумении,--подивились, да вскоре и думать перестали.

С этого времени отношения Александра к семейству Пассек, за исключением меня и Вадима, прекратились, и они уже никогда не видались больше.

В начале июня мы отправили в Одессу на своих лошадях прислугу и вещи.

Вскоре поехали и сами, в карете, на почтовых, с нашим малюткой, его кормилицей и горничной девушкой.

По пути от Харькова до Одессы мало встречается селений и еще меньше городов. Круг земли, чаша неба, вот и все виды этих мест.

Зато от близости ли моря, от близости ли рек или от стоячей в ложбинах весенней воды, видели миражи, Вадим называл их по-сибирски -- марево. На закате солнца глубокая тишина степи прерывалась шумными перелетами стрепетов, криками перепелов и дергачей. Заря охватывает весь простор, быстро гаснет, мгновенно наступает ночь, и небо от краев земли до высшей глубины своей осыпается звездами.

Приближаясь к Одессе, мы всматривались вдаль, отыскивая взорами Черное море, и видели только темно-синюю тучу на горизонте, которая росла и росла, не изменяя ни цвета, ни положения, и слышался какой-то гул. "Это туча шумит, -- говорили мы, -- гроза будет с градом. Туча страшная, не добраться нам прежде грозы до моря, а там недалеко и корчма, туча приближается". Рассуждая таким образом, Вадим опустил переднее окно кареты и спросил ямщика: "Скоро ли море?" -- "А это что ж? -- отвечал ямщик, указывая кнутом на тучу. -- Это оно и есть!" Точно электрическая искра пробежала по нас. В волнении мы опустили окно со стороны моря и стали в него жадно всматриваться, мы видели море в первый раз. Туча как бы дышала, то вздымалась, то опускалась, и доносился полный, глубокий шум волн. Шум увеличивался, становился яснее, отчетливее, туча оживала, ширилась, превращалась в безграничное пространство воды, и Черное море, едва колышась, открылось во всем величии своем. Мы вышли из кареты у самой воды, на низкий, отлогий берег. Волны набегали на него, неся камушки и раковины, журча и шелестя ими, рассыпали их у ног наших, разбегались струями и катились обратно в глубину. Море, небо -- и только.

Мы стояли в немом восторге. Перед морем я показалась сама себе пылинкой, ничем, но только на мгновенье. Это море, это небо я охватила духом своим, вместила их в себе -- и не они мною, а я радовалась и наслаждалась ими.

С правой стороны моря белели на чистом небе, точно волшебством слегка начерченные дома, дворцы, церкви. "Это Одесса", -- сказали нам.

Она виднелась вся воздушная.

Время клонилось к вечеру.

Мы ночевали на станции в еврейской корчме. Ели первый раз очень нежную морскую рыбу, отдохнули и проспали до позднего утра.

На другой день около полудня мы въехали в Одессу. Жар был палящий, пыль удушающая, город казался пустым. Высокие дома из серого камня, с опущенными на окна зелеными жалузи, произвели на меня неприятное впечатление. Тут конец нашего странствования, тут ждет нас новая жизнь; здесь все нам чуждо, думала я, проезжая по пыльным улицам Одессы, и со дна души поднялась какая-то давящая грусть, которая росла, росла и превращалась в робость, в тоску.

-- Куда прикажете ехать? -- спросил ямщик.

-- На площадь, где памятник Ришелье, там в гостиницу против бульвара, у моря, -- отвечал Вадим.

В гостинице нам дали две просторные комнаты с передней, роскошно меблированные, одними окнами они выходили на площадь, другими на море. Разобравши вещи, уложивши спать Сашеньку в отдельной комнате, мы раскрыли окна на море, -- сели у окна и не могли оторвать взоров от синевшего, едва волнующегося моря.

Суда различной величины, дымящиеся пароходы неслись к берегам Одессы и отплывали от нее; едва касаясь воды, реяли легкие лодочки рыбаков.

Из-под дальнего горизонта, прямо против окна, показалась темная точка, я стала в нее всматриваться, точка увеличивалась, меняла форму и превратилась в огромный фрегат; фрегат на всех парусах летел к Одессе.

Спустя несколько дней мы наняли довольно, большой отдельный дом. Он принадлежал Е. П. Гардинскому, человеку очень умному. Е. П. сблизился с Вадимом и так заинтересовался приготовлявшимся изданием "Очерков России", что, располагая по делам своим переселиться в Петербург, предложил Вадиму заняться там печатанием его издания.

Вадим охотно согласился и стал еще с большим увлечением готовить статьи и рисунки, которых и без того было достаточно. Новые

статьи писались и получались от желавших участвовать в "Очерках России". Молодой человек из харьковских мещан, приехавший с нами в Одессу, имея хороший почерк, занял у Вадима должность письмоводителя.

Спустя несколько дней по нашем устройстве на квартире, прибыло шесть человек нашей прислуги, считая в том числе и двух кучеров, управлявших повозками; но едва только мы успели разобраться, как служивший при Вадиме восемнадцатилетний мальчик ночью украл у нас все деньги и скрылся. В то время Одесса была полна беглыми; они легко находили себе пристанище, особенно у которых были деньги, и приезжая прислуга нередко, обокравши своих господ, убегала. Ни беглые, ни покража не отыскивались. Оставшись без гроша, мы продали повозки и лошадей. Старший из кучеров сейчас же откупился на волю. Какой-то негоциант внес за него небольшую плату, которую он должен был отжить. Младший заменил место сбежавшего.

Остальная прислуга была при нас все время, пока мы жили в Одессе; уезжая из Одессы, мы отправили всех обратно в деревню, кроме горничной девушки.

Тетушка моя Е. П. Смаллан, узнавши о покраже, прислала нам тысячу рублей серебром. Таким образом дела наши несколько поправились, и мы стали обживаться на новом месте.

Вадим представился князю М. С. Воронцову;8 князь принял его чрезвычайно приветливо, пригласил бывать у него, чем Вадим и воспользовался. Архив был открыт ему немедленно. Вскоре приехал в Одессу брат Егор Васильевич, у которого в шестидесяти верстах находилось именье, и стал бывать у нас почти каждый день.

Затем Вадим встретил несколько человек из своих товарищей по университету и сблизился с кругом одесских литераторов.

Из числа университетских товарищей ближе всех с ним был Александр Алексеевич Уманец, занимавший в Одессе, сколько помнится, должность директора карантина.

Лето стояло палящее. Солнце всходило и закатывалось на чистом небе и ни одно облачко не затеняло его. Все жаждало дождя -- дождя не было ни капли. Люди задыхались в жгучем воздухе и от пыли. Белые акации, распустившиеся пышными ароматными цветами, недолго радовали взоры; покрытые пылью, ветки их бессильно

опускались, листья свертывались и опадали, трава и деревья сгорали и сохли. В довершение густая туча саранчи недели три летела Одессой и где только опускалась на деревья, там и оставляла голые сучья.

При нашей квартире чуть-чуть зеленел садик, мы уходили в него отдохнуть от томившей атмосферы комнат, и не отдыхалось: тот же жгучий воздух, та же духота были повсюду. Освежались несколько на берегу моря утром и вечером да в самом море. Вадим купался ежедневно, мне редко удавалось; кроме того, что море было не близко, в июле у нас родился второй сын -- Вадим. К нему поступила в кормилицы итальянка, долго служившая у известной того времени примадонны Ката-лани; укачивая ребенка, она пела ему лучшие арии из итальянских опер. Голос у нее был сильный и приятный. Мы слушали с наслаждением.

Одесса в то время привлекала к себе множество приезжих блестящими магазинами с дешевыми иностранными товарами, превосходной итальянской оперой, в которой всех восхищала трогательной игрой и прелестным голосом примадонна Тасистра, и морскими купаньями.

На приморском бульваре, рано утром, гуляли большей частию лечившиеся морскими ваннами; вечерами гремел на бульваре оркестр музыки, гуляла толпа дам и мужчин, и взоры беспрестанно встречали изящные, роскошные туалеты.

Я не более двух раз была на бульваре. По обыкновению своему, соответственно нашим небольшим средствам, в Одессе мы вели образ жизни такой же тихий, как и везде, и я ни с кем не знакомилась.

Мы с Вадимом любили ранним утром гулять одни на берегу моря, где мало встречался кто-нибудь; там садились на скамеечке и засматривались на волны, на несущиеся по волнам суда, иногда подходили к пристани и с только что прибывших кораблей тут же покупали фрукты, виноград, каштаны, устриц.

Иногда с моря заходили в кондитерскую выпить чашку горячего кофе или съесть порцию мороженого и прочитать газеты.

С каждым часом дня улицы и площади все больше и больше пестрели экипажами, людьми деловыми и без дела, -- слышались языки Греции, Италии, Франции, движенье, шум, жар, пыль.

К полудню жар и пыль становились невыносимы, -- улицы пустели, жител" скрывались в дома, на окна спускались сторы и

жалузи -- и так до вечера.

С закатом солнца балконы и окна растворялись,-- лились звуки музыки, пенье, бульвар и улицы закипали гуляющими; ложи в опере наполнялись посетителями, затем вступала

И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-легкая завеса
Объемлет небо. Все молчит,
Лишь море Черное шумит9.

Осенью пыль заступала непролазная грязь.

В сентябре, после вознесенских маневров, император Николай Павлович с наследником престола, в настоящее время царствующим императором, с несколькими германскими принцами и другими высокими личностями прибыли в Одессу, пробыли четыре дня и в сопровождении князя М. С. Воронцова отправились в Крым на пароходе "Северная звезда".

Спустя несколько времени по отбытии царской фамилии по городу разнеслась страшная весть, что в карантине появилась чума, проникла в город и его предместья и достигла до лагеря Житомирского полка, державшего цепь вокруг черты porto franco {свободного порта *(итал.).*}10.

У нас еще не знали о распространившемся слухе. Однажды утром, в конце октября, мы с Вадимом сидели в его кабинете и спокойно разговаривали, как в комнату вошел наш письмоводитель, весь бледный, перепуганный и встревоженным голосом сказал:

-- Вадим Васильевич, в Одессе неблагополучно.

-- Что такое? -- довольно спокойно спросил Вадим.

-- Чума, -- робко отвечал письмоводитель.

-- Может, пустой слух, -- сказал Вадим, -- где вы слышали?

-- Во всем городе говорят.

Мы также встревожились, особенно я. Страшное слово "чума" весь дом поразило ужасом. Вадим немедленно оделся и отправился расспросить, в чем дело, Уманца, близкого к карантину.

Возвратясь часа через два, которые я провела в страхе и волненье, Вадим сообщил, что чума действительно оказалась в Одессе на

Молдаванке, что ее завезли на прибывшей к одесскому порту 22 сентября херсонской лодке "Самсон". Когда к лодке подъехали карантинные чиновники для опроса, то управлявший ею шкипер Алексеев объявил, что недели две тому назад они грузили дрова в чумном турецком местечке Исакче и сообщались с тамошними жителями, вследствие чего внесена была к ним зараза. Тотчас по отплытии "Самсона" заболела Алексеева жена, которая в скором времени умерла и уже семь дней лежит в каюте. Тело умершей было освидетельствовано, на ней нашли пятна и полосы. Алексеев сознался, что он сильно бил жену и знаки эти следствие его побоев. Тогда родилась мысль, не выдумал ли Алексеев историю о чуме, опасаясь законного преследования за убийство жены; это предположение имело влияние на суждение медиков, а вместе с тем и на меры предосторожности, зависящие от карантинного правления. Лодка "Самсон" была оставлена в сомнительном положении и часть экипажа его стала перевозить груз в один из практических двориков.

6 октября на "Самсоне" заболели три матроса, с явными признаками чумы; заболевших перевезли в чумный квартал, а с лодкой поступили по карантинным законам. Недалеко от практического дворика жил унтера офицер карантинной стражи Исаев, должность которого состояла в том, чтобы содержать в порядке казенное платье, употребляемое при переодевании пассажиров и рабочих. По сделанным исследованиям, узнали, что Исаев получил с зачумленного судна значительные подарки. 7 октября занемогла жена Исаева и десятого скончалась. Зараза проникла в дом священника Покровской церкви, хоронившего жену Исаева, и к некоторым из его'близких знакомых, с которыми он поделился зачумленными подарками. 20-го числа умер сам Исаев, у священника умерла дочь, затем болезнь появилась в предместьях города -- Молдаванке, Новой Слободке и Раскидайловке.

Это потребовало деятельных мер. 22 октября город с предместьями был объявлен *"неблагополучным"* и оцеплен двумя рядами военных пикетов. К князю Воронцову послан был пароход в Ялту; князь немедленно прибыл в Одессу и приступил к самым энергическим мерам.

Город и предместья были разделены на кварталы, каждый квартал был вверен особому комиссару. Они обязаны были наблюдать за

общественным здоровьем и быть посредниками между начальством и жителями. Через них обнародовались все распоряжения, и о всяком смертном сомнительном случае они извещали полицию или доносили главному начальству, сомнительные дома оцепляли. Зараженных отправляли в чумный квартал, умерших хоронили на карантинном кладбище, пожитки их сжигались или очищались по карантинным правилам. Чумные дома после очистки проветривались целый месяц. Для управления медицинскими делами был учрежден "медицинский совет", медицинская комиссия следила за ходом болезни и доводила до сведения начальства о ее развитии.

Многочисленные сборища народа были запрещены, храмы, судебные места, училища, театральные зрелища закрыты. Казенные дома и многие из частных, в том числе и дом князя Воронцова, по желанию владельцев были оцеплены. Письма и казенные бумаги принимались через окурку и с известными предосторожностями.

На площадях у застав Таврической и Херсонской между двумя оградами были устроены передаточные базары. Продажа съестных припасов начиналась с восходом солнца и прекращалась в десять часов утра. В продолжение торга внутренние шлагбаумы рынка отпирались, а наружные были заперты. Когда торг кончался. внутренние шлагбаумы запирали, а наружные отворяли и впускали на рынок топливо, сено и разные товары, тех же, которые привозили их, немедленно удаляли за черту оцепления. Приезжавшие из города до двух часов пополудни забирали что кому надобно и затем таким же порядком впускались в город безвозвратно транспорты с пшеницею, салом и другими продуктами.

Надзор за передаточными базарами поручен был доверенным людям.

За покупками на базар отправлялись от каждого дома люди доверенные.

Желавшие выехать из Одессы выдерживали около заставы четырнадцатидневный карантин. О ходе заразы ежедневно выдавались жителям печатные бюллетени. В биржевой зале назначены были общие собрания, отделенные от публики барьером. Туда каждый день в одиннадцать часов приезжал и князь Воронцов. Толковали об общих делах, князь получал донесения о ходе болезни и отдавал приказания.

Вследствие быстро принятых разумных мер князем Воронцовым к концу ноября зараза ослабела, а 4 декабря был последний чумный случай. Тогда назначен был "обсервационный" карантин; вероятно, вследствие этого в продолжение некоторого времени всем было запрещено выходить из дома. Я помню, что доверенный человек от нашего хозяина ходил для всего дома покупать провизию, а старая немка-булочница подавала нам хлебы в форточку окна в зале. Когда в продолжение сорока дней ни одного больного не оказалось, то после ста двадцати четырех дней закрытия города все цепи были сняты и 28 февраля 1838 года отслужен благодарственный молебен.

Все вздохнули свободнее, город оживился. Мы стали думать о поездке в Крым. Вадим имел все необходимые сведения, почерпнутые как в архиве, так и в других источниках.

Князь Воронцов, нередко беседуя с Вадимом, так оценил его ум и способности, что предложил ему остаться при нем, заняться исследованием Новороссийского края и представлять ему проекты, какие найдет необходимыми для улучшения подведомственных ему местностей. При этом добавил, что при введении в действие его проектов имя Вадима упоминаемо не будет; Вадим обещал подумать -- подумал и отказался. Новороссийский край ему не нравился, а условия не вполне соответствовали его взгляду на вещи.

Зима того года стояла жестокая, морозы доходили до двадцати пяти градусов, но, по-видимому, холод не влиял нисколько на ослабление болезни; ее явно остановили благоразумные, энергические меры. Кроме чумы, в самый жестокий холод мы пережили в Одессе сильное землетрясение11.

Накануне 12 января около шести или семи часов вечера, в ожидании чая, который готовили в зале на столе, я в кабинете Вадима читала у печки подле столика о землетрясениях в Исландии, Вадим недалеко от меня на диване тоже читал какую-то книгу. Вдруг как бы глухой удар грома прокатился под землей или что-нибудь очень тяжелое пронеслось по улице, затем удар повторился и был так чувствителен, что лежавшие в стаканах серебряные ложечки зазвенели о стекло; с третьим ударом дом закачался, как лодка на волнах. "Землетрясение, -- сказала я Вадиму, быстро вставая с места, -- бежим скорей".

-- Приморские города иногда проваливаются, -- заметил Вадим; и с этими словами мы бросились из кабинета к детям; пол сильно колебался, едва можно было удержаться, чтобы не падать. Огромный шкаф с книгами, мимо которого я пробегала, так наклонился надо мной, что я думала, он задавит меня. В зале все стулья сдвинулись с мест чуть не на средину комнаты.

В гостиной кормилица стояла посредине комнаты, обнявши Сашу; чижик, летавший по воле, лежал на полу, распластавши крылья; в диванной, где спал меньшой ребенок, на кровати лежала, прижавши его к себе, Елена. Несмотря на то что землетрясение кончилось, мы, ожидая повторения, оделись в шубы, закутали детей и стояли у дверей в сени. Оставивши всех наготове, Вадим со мною вышел во двор посмотреть, что там творится. Тишина глубокая, ни звука, ни движенья -- мороз в двадцать пять градусов, ночь ясная, полный месяц да бесчисленные звезды горят в чистом, глубоком небе. Возвратясь в комнаты, велели всем ложиться спать, не раздеваясь. Ночь прошла спокойно, день проснулся блестящий, превосходный. Землетрясение много домов повредило, у нас над окнами надтреснули стены, несмотря на то что дом был старинный, из дикого камня; на соборе сломало колокольню и попортило самую церковь. Многие из судов, стоявших в гавани, пострадали от сильного волнения на море.

Впечатление, сделанное на меня землетрясением, было так глубоко, что я долго не могла слышать никакого грохота без замирания сердца.

В марте Е. П. Гардинский уехал в Петербург и взял с собою статьи и рисунки для двух первых книг "Очерков России" и объявление о их выходе.

Приближалась весна.

В апреле уехал в Крым А. А. Уманец, там у него были родные, именье, невеста -- молоденькая, прелестная англичанка Матильда, из дома Башмаковой. Уманец поехал жениться, звал нас на свадьбу в их именье, лежащее в Салгирской долине, верстах в десяти или двенадцати от Симферополя.

В начале мая мы поехали в Крым и не пожалели об Одессе,

ГЛАВА 38

ТАВРИДА

1838

Волшебный край...1

Мы оставили Одессу в ясное утро. Я поместилась в нашей карете с двумя маленькими сыновьями, их кормилицами и горничной девушкой; Вадим с слугой в коляске. К вечеру прибыли в деревню к брату Егору Васильевичу Пассек, пробыли у него дня три и отправились дальше.

Путь от Николаева до Херсона представляет равнину. До половины пути почти нет селений. Земля да небо -- вот и все. Зато дивные миражи. Одно утро целую станцию в тридцать верст мне казалось, мы едем берегом широкой реки, местами за рекой виднелся зеленый лес. Я спросила Вадима, что это за река, берегом которой мы ехали; он отвечал, что по этой дороге нет никакой реки, а то, что я видела, -- *мираж*. На станции я попросила воды, мне сказали, что за водой поехали, вода далеко. "Как далеко, -- возразила я, -- вот из окна видно огромное озеро, вода так и колышется в нем". Озеро-то это мы всегда видим, отвечали мне, да воды там нет; это только так кажется, оно не озеро, а облака туманом взялись. Более я и не спрашивала, что за река, что за острова, бурьяны, что за лес, и дошла до того, что настоящую реку стала принимать за марево,-- так живы были эти миражи.

После пустынь и видений Приднепровье кажется чем-то волшебным. Река широкая, глубокая, могучая пробивает каменные стены и веет прохладой; по ней раскинуты острова с садами, лесами и свежей зеленью. На некоторых из этих островов находятся заводы для

соленья, вяленья и сушенья рыбы. Против Бреславля мы стали спускаться с высокой горы к Днепру. Шел сильный дождь, дул ветер; скользя по мокрой глине, лошади понесли было нас прямо в реку; Вадим бросился вперед лошадей, остановил их, поворотил к перевозу и ввел на паром. На пароме мы вышли из кареты и поместились на широкой лавке, Вадим был бледен и взволнован. Паром двинулся и поплыл по реке, так широко разлившейся, что и берега было не видно. По этому пути, от ранней весны до поздней осени, бывает приток чумаков из западных губерний и Украины.

Проезжая из Бреславля в Каховку, мы видели до тысячи чумаков в одном становище. Десятки таборов сбирались вместе и ждали переправы. Кто хочет видеть чумачество во всем его разгуле, а чумака во всей его красе, тот увидит все это здесь. Что за рост! что за стройность в движении! что за сила! И в то же время спокойствие и что-то вроде достоинства в большей части чумаков. На голове черная смушковая шапка, из-под нее чуб около уха. А песни? раздолье! Они несутся до вас из-за пяти верст. Если на закате солнца вы взойдете на уступ правого берега Днепра, посмотрите на реку и за реку на степь, там увидите по луговой стороне Днепра сотни горящих костров; далее огни становятся реже, светятся меньше, наконец виднеются как огненные шары и исчезают; а у ног ваших на пять верст Днепр то с шумом несется, то течет, не шелохнется. Мимо вас летят на парусах суда, лодки без парусов и парусные, легкие челноки, по-здешнему душегубки, реют взад и вперед как ласточки, едва касаясь воды; тяжелые паромы с помощию шестов, весел и десятков рук тянутся от одного берега к другому. Говор, движение, продажа разных мелочей, стаи крикливых птиц и вереницы чаек. А у ног ваших по песку щегольски прохаживаются морские сороки на долгих ножках. Из воды, из камышей выплывают гоголи и лыски. Ястреба и коршуны, распластав в воздухе крылья, точно остановились над водой и ждут добычи. Комиссар хлопочет около проезжающих, а стародавний Днепр течет себе в вечность, и солнышко обливает все светом так же, как и за тысячу лет, когда не было еще и чумаков на свете.

За Перекопом степи становились цветистей; высокая, густая трава как бы заткана голубыми ветреницами, тюльпанами, шалфеем, божьим деревом, диким льном, медвежьим ушком, розовой и белой кашкой.

Верстах в тридцати от Перекопа мы остановились ночевать среди степи на станции. Станция эта была хата, до половины врытая в землю, кровля, покрытая дерном, придавала ей вид холма. Ночью в этой землянке было до того душно, что ни я, ни Вадим не могли спать, вышли на воздух и увидали себя среди ароматного океана цветов и звезд, как бы затихнувшего под лучами месяца, высоко горевшего в яхонтовом небе. Мы онемели от восторга и от того чувства счастия, смирения и величия, которое охватывает душу при первом взгляде на безграничное море и на горы, теряющиеся в лазурном пространстве.

Далеко не доезжая Симферополя, на горизонте слегка очертились Чатырдаг и Яйла. Мы приняли их сначала за облака; но чем ближе подвигались к Симферополю, тем горы вырезывались яснее, тем чаще стали попадаться селенья, сады, рощи, пирамидальные тополи. Мы остановились в именье Уманцев -- Темир-Ага. Александра Алексеевича не было дома. Нам тотчас открыли комнаты. Пообедавши, мы легли отдохнуть в диванной, нас разбудил дружеский голос Уманца и его молоденькой жены, в которую он был страстно влюблен. Они прожили вместе с нами около двух недель, уезжая уговорили нас остаться в Темир-Ага и оттуда делать поездки по Крыму.

Перед отъездом Уманец, по случаю своей женитьбы, сделал праздник прилежащим к его именью татарам. На этот праздник приглашены были родственники и близкие знакомые Уманца, в числе которых находилась и В. А. Башмакова с детьми.

Довольно обширный двор, обсаженный раинами, с утра наполнился татарами и их музыкантами; они расположились группами по траве с поджатыми под себя ногами перед дымящимися котлами с пилавом и громадными плачиндами. За воротами, на пылавших кострах, жарились целые бараны. После обеда раздалась дикая музыка и начались еще более дикие танцы татар, разгоряченных угощением и бузою. Все это под палящим солнцем юга. Около сумерек, которые так кратки на юге и так продолжительны, так полны задумчивости и тишины на севере, началась джигитовка в степи, сейчас за двором. Как только гости вышли за ворота и расположились на вынесенных стульях, молодые татары стали садиться верхом на лошадей и понеслись степью -- они обгоняли друг друга, подвертывались под лошадей, на всем скаку поднимали с земли брошенный платок; в движениях их виднелась привычка, легкость, смелость, удальство. В

джигитовке отличался ловкостью четырнадцатилетний брат Уманца, Игнаша, приятель татар. Толпа стоявших татар смотрела на скачку и возбуждала состязавшихся дикими криками. Одного молодого татарина лошадь понесла, он не мог удержать ее и влетел в толпу гостей. Раздался крик ужаса, все бросились в разные стороны; бешеная лошадь стрелой пронеслась дальше, татары перехватили ее на скаку, скрутили, сняли с нее седока, увели его далеко за строения и там выпороли розгами.

По отъезде Уманца мы остались в Темир-Ага полными хозяевами; отец его жил в городе и редко приезжал в деревню. По берегу Салгира, узенькой прозрачной речки, быстро катящейся по каменистому дну, мы осматривали долину Салгира, а с балкона в доме любовались синевшим вдали Чатырдагом и Демерджи, опоясанными облаками; на закате солнца они вспыхивали то золотом, то румянцем, то лиловым отливом. В Симферополе я познакомилась с женой известного Палласа и много слышала от нее о ее знаменитом супруге. Она была уже в преклонных летах, жила уединенно и небогато.

Однажды в праздничный день, которые всегда проводил с нами в деревне Игнаша, Вадим поехал верхом в Симферополь. День был душный, по небу ходили сизые облака, перед вечером облака превратились в грозную тучу, вдали сверкала молния без грома. Я беспокоилась о Вадиме и с балкона наблюдала течение тучи. Гроза близилась -- Вадима не было. Игнаша старался успокоить меня, предложил ехать самому к Вадиму навстречу и даже в Симферополь, чтобы, в случае сильной бури, уговорить его там остаться на ночь. Пока мы толковали и Игнаша сбирался, синяя туча надвинулась, под ней тянулась туча седая, а из-за нее кралась почти белая, роняя крупные капли дождя. Вскоре дождь полил как из ведра -- Салгир взволновался, выступал из берегов и превращался в широкую реку. Игната встревожился. Вадиму приходилось перебираться через Салгир. Когда Салгир разливается, переправа через него опасна -- надобно знать известные места и известный прием. Игнаша поскакал под громом и дождем. Он увидал Вадима, только что подъехавшего к Салгир у; широко разлившаяся река несла сорванные мосты, стога сена, баранов, разрушенные строенья, ворочая со дна огромные каменья. Игнаша крикнул Вадиму, чтобы он остановился, замечая, что тот намеревается пуститься вплавь; сам переплыл к нему, провел его

известным туземцам путем, и вместе принеслись во двор, облитые дождем, насквозь промокшие в реке. Гроза разыгрывалась, буря завыла и слилась с ночью. Огненные стрелы сыпались с неба, раины пригибались до земли. Все превратилось в свист, в стон, блеск, грохот, в хаос; сорвало часть крыши с дома, поток дождя хлынул сквозь потолок, обрушая на пол пласты штукатурки. Так страшны бури в Тавриде! К утру все стихло; яркое солнце осветило еще бушевавший Салгир, поломанные деревья, оборванный цвет и завязи фруктовых деревьев, потопленные поля, разрушенные мельницы, сорванные плотины.

В июне мы поехали в Бахчисарай через Альмскую долину; как мила эта долина! что за прозрачная ледяная вода в Альме! что за роскошная растительность! Солнце закатывалось, когда нам открылся Бахчисарай с разбросанными по косогорам домиками в садах, фонтанами, минаретами. Спускаясь с высокой горы, мы медленно приблизились к ханскому дворцу. Лавки, расположенные по обеим сторонам улиц, одни закрывались, в других еще сидели татары, торговали, занимались ремеслами, курили трубки. Караимы сбирались в свой Чуфут-Кале. В лавках пестрели разноцветные мечеты, украшенные трубки, блестели кинжалы, тут же висели баранина, нитки красного стручкового перца, мед, черешня, свечи, сахар, табак. По улицам тянулись на верблюдах скрипучие арбы, встречались пешеходы. Все было пестро, странно, нечисто, все влекло внимание новостию картин. Когда мы добрались до дворца, становилось темно, едва можно было рассмотреть двор, окруженный зданиями, оградами, в деревьях и цветах.

Нам назначена была квартира во дворце, но так как ожидали князя Воронцова со свитой, то комнаты во дворце приготовлялись для них. Почтенный старик, смотритель дворца Булатов, предложил нам занять три комнаты в его отделении. Утомленные поездкой и жаром, мы приняли его предложение с благодарностию. В отведенных нам комнатах расположились на широких турецких диванах и раскрыли окна, затененные южными растениями, в них повеяло вечерней прохладой и запахом роз; меня удивило, что, несмотря на совсем ясное небо, слышалось неумолкаемо падение дождя. Мне сказали, что это льются в саду и во дворе фонтаны2.

Поутру мы увидали громаду зданий в восточном вкусе с легкими кровлями, решетками, башнями, террасами, разноцветными стеклами; все это, облитое ярким солнцем, казалось еще пестрее, еще блестящее. Направо от дворца виднелся памятник Дильара, над ним крест, осененный луной. Дильара значит утешение сердца. Она же названа поэтом Пушкиным *Марией.* Кто была Дильара -- никому не известно, одни говорили -- грузинка, другие -- полька. Ходила она всегда под покрывалом, какой была веры -- никто не знал3.

Среди двора за решеткой росли шелковица и кусты, или, скорее, деревья розанов, осыпанных белыми, желтыми, красными розами, от бледно-розовых до темно-пунцовых. Недалеко от памятника Дильара неумолкаемо струился фонтан, наполняя широкий мраморный бассейн водой холодной, чистой, здоровой. У этого бассейна мы умывались каждое утро и каждый вечер. Осмотревши двор, мы вошли в мечеть, она довольно велика, освещена окнами в два света с разноцветными стеклами. Внутри резная кафедра для муллы, с небольшим углублением вместо алтаря, перед ним теплились желтые и зеленые восковые свечи; лестница ведет на хоры, стены покрывают надписи из корана. Около мечети ханское кладбище, там вокруг часовен, среди деревьев, цветов и грядок с огурцами, горохом и капуцинами разбросаны памятники ханов и знаменитых мусульман. На кладбище неугасимо горит подле Алкорана восковая свеча и дервиш читает молитвы.

Парадным входом с украшениями, надписями и с двуглавым орлом мы вошли в сени дворца. Из сеней широкая лестница ведет в верхние комнаты. Прямо фонтан Каплан Гирея4, налево слышалось, как *фонтан слез* роняет каплями воду в белую мраморную чашу, из чаши потоком льется на пол, скрывается под него и выбегает струями из других водометов, освежает душные комнаты, кропит цветы и снова убегает под землю. Из сеней вход в комнату государственного совета, там хан за решеткой невидимо присутствовал при решении дел его сановниками. Однажды я срисовывала внутренность комнаты совета, как увидала за своим стулом высокого белокурого молодого человека, который, смотря на мой рисунок, указал мне его недостатки. Это был Айвазовский. Он приехал в Бахчисарай с двумя сестрами и с старушкой матерью, за которой ухаживал с трогательной нежностию. Они заняли комнаты во дворце, рядом с нами, познакомились с

Вадимом, и, пока были в Бахчисарае, видались с нами каждый день. Я помню, как юный художник, утрами, выносил на террасу большое кресло, усаживал в него свою старушку мать, ставил у ее ног скамеечку и садился на нее, а сестры распоряжались на террасе чаем.

Ко дворцу присоединяется несколько двориков, цветников и сады, в которых зеленеют шелковицы, осыпанные белыми, розовыми и черными ягодами, деревья грецких орехов, яворы, вишни, персики, тополи, винные ягоды, пропасть роз, плетется виноград, слышится шум фонтанов и льется вода. Здесь вы на Востоке: самый воздух навевает негу и располагает к бездействию.

В верхнем этаже дворца находится много комнат; везде в них позолота, резьба, мрамор, на стенах виды Константинополя, альфреско и без перспективы. Зеркала и ткани, более новые, привезены из Стамбула в последний приезд царской фамилии в столицу Крыма. Среди европейской мебели хранится кровать императрицы Екатерины II. Золотая комната и спальня хана остались без перемены. На некоторых стенах видны надписи из персидских поэтов.

Гарем соединяется со дворцом переходами. Огромная терраса с решетчатыми стенами и несколько небольших комнат в два света -- вот и весь гарем. В нем уцелели вделанные в стенах шкафы, где хранились наряды ханских жен. Гарем и принадлежащий к нему небольшой сад окружены каменной оградой. Посреди сада фонтан, тут в былые времена ханские жены

Беспечно ожидая хана,
Вокруг игривого фонтана,
На шелковых коврах...
Толпою резвою сидели
И с детской радостью глядели,
Как рыба в ясной глубине
На мраморном ходила дне.
Нарочно к ней на дно иные
Роняли серьги золотые.
Кругом невольницы меж тем
Шербет носили ароматный
И песнью звонкой и приятной
Вдруг оглашали весь гарем5.

Теперь около этого фонтана и ветер не шелохнет.

Мы провели в Бахчисарае почти месяц лучшего времени года. В небольшом кругу христиан нашли людей образованных.

Увижу ль когда опять тебя, Таврида? твои моря, твои долины, твои заоблачные горы! Увижу ль тебя, покинутый дворец Бахчисарая? Часто задумывалась я под шум твоих водометов, часто бродили мы по твоим залам, где недавно кипели жизнь и страсти. Иногда мы находили во дворце старого Эфеида и ученого Османа; они важно, неподвижно сидели на диванах в пунцовых бархатных шубах и белых чалмах и с благоговением списывали надписи со стен. Я любила оставаться в это время в той же комнате и читать книгу. Со мною всегда был мой малютка сын -- тихий, задумчивый ребенок, он молча смотрел на них и иногда в этой тишине засыпал, склонясь ко мне на колени. Окончивши свое занятие, ученые обращались к нам с благодарной улыбкой за уважение к их занятию и награждали моего малютку большим огурцом или букетом цветов.

Желая познакомиться с образом жизни татар, я пригласила к себе жену Османа, и чрезвычайно удивилась, увидавши толпу закутанных в покрывала татарок, разряженных татар, детей и множество оборванной прислуги. Вся толпа шумно поднялась на террасу и ввалила в комнаты. Это был татарский набег. От переводчицы я узнала, что если приглашают татарку, то она является со всей родней и прислугой.

Татарская княгиня Канкалова, узнавши, что меня интересует образ жизни татар, пригласила меня к себе на вечер. Я отправилась к княгине пешком, с обоими детьми, кормилицами и переводчицей. Войдя во двор, окруженный высокими стенами, я увидала множество татарок в блестящих нарядах. Княгиня, с семнадцатилетней дочерью, встретила меня на крыльце с восточными приветствиями. Обе одеты было просто, только планшевые рубашки, вроде наших русских, из тонкой сырцовой материи, застегивались дорогими изумрудными запонками да широкий, низко спущенный пояс горел золотыми бляхами рельефной работы. Длинные черные волосы княжны были заплетены в две косы, спускавшиеся чуть не до колен, в них вплетены были золотые талисманы, привезенные из Мекки дервишем, на голове ее надета была маленькая шапочка пунцового бархата. В ушах висели серьги с длинными жемчужными подвесками.

Одежда других женщин отличалась большей или меньшей пестротою и богатством.

По приглашению княгини, мы вошли в гарем, за нами все татарки. Это была довольно большая комната, разделенная на две неровные половины легкими колоннами. Окна были в мелких переплетах с цветными стеклами. В большей половине комнаты поместилась на широком диване княгиня, княжна, ее кормилица, я с детьми и мамками да переводчица. В другой половине расположились на полу татарки. Княгине подали трубку с длинным черешневым чубуком, -- предложили и мне, я отказалась.

Когда под окном раздались звуки скрипок, дудочек и бубен, по знаку княгини две девушки поцеловали руку княгини, княжны и у меня, потупили глаза, вышли на средину комнаты, стали друг перед другом и, медленно переступая, стали делать руками тихие движенья. Когда музыка заиграла веселее, пляска оживилась и перешла в быструю и страстную. Музыка гремела, все татарки составили полукруг и начали известный в Крыму греческий танец; держась за платки, они делали разные фигуры и заплелись плетнем. В комнатах становилось душно, раскрыли окна, перед окнами брызнул и заструился фонтан. Вошли служанки с большими серебряными подносами, на них стояли хрустальные графины с чистой, ледяной водою, стаканы и множество блюдечек серебряных и золотых с вареньями и фруктами. Тут были розы в сахаре, недозрелые грецкие орехи, айва, кизил и белые лилии. Когда всех обнесли угощеньем, подносы поставили на низенькие татарские столики -- вблизи меня.

Княгиня, через переводчицу, расспрашивала меня, зачем мы в Крыму и долго ли пробудем, сообщила, что дочь ее выходит замуж, а сын гвардеец -- женится, и приглашала на обе свадьбы, я пожалела, что не могла этим воспользоваться.

Музыканты заиграли французскую кадриль, девушки пробовали ее танцевать, дело не ладилось -- все перемешались, столпились и вдруг несколько приятных голосов запели татарскую песню, им вторила одна скрипка. Пропевши первый куплет, они умолкли. Из-за окон им отвечали музыканты вторым куплетом -- всем хором с бубнами и флейтами. Музыканты кончили, в комнатах снова раздались женские голоса.

В это время подали в фарфоровых чашках прекрасный чай со сливками, лимоном, печеньями. Княжна меня усердно потчевала. Она говорила довольно хорошо по-русски и подарила мне стихи своего сочинения на татарском языке.

Между всеми посетительницами отличалась миловидностию и красотой четырнадцатилетняя дочь кадия Сиэде. Княгиня, узнавши, что Сиэде мне понравилась, велела ей сесть на скамеечке у моих ног.

Наступили сумерки. В комнате становилось темно. Музыканты, по приказанию княгини, поднялись на террасу, загремели в бубны и начали хором воспевать славные подвиги ханов и знаменитых родов, воспели княгиню, княжну Салтанету и ее жениха. Салтанета сидела на диване, облокотясь на столик, отделанный перламутром, на котором горели две свечи в серебряных подсвечниках. Косы ее спускались до пола. Она была как-то странно хороша.

Татарки сбирались домой, накидывали на себя белые кисейные покрывала. Княгиня спросила меня, не прикажу ли я что-нибудь пропеть музыкантам. Я слыхала любимую народом песню "Чипеим" -- голос песни живой и приятный -- и назвала "Чипеим". На лице княгини выразилось неудовольствие. Оказалось, что Чипеим была известная красавица, разошлась с мужем и не славилась скромностию жизни, а потому и избегали говорить о ней в почетном доме. Я просила объяснить княгине, что все это мне было неизвестно. Княгиня успокоилась, улыбнулась и весело крикнула музыкантам: "Чипеим". В минуту комната огласилась живой, веселой песнью. Татарки пересмеивались, княгиня улыбалась. Прощаясь, княгиня звала меня к себе обедать и ужинать и вместе с княжной проводила в сени. Кормилицы несли на руках полусонных детей. Перед нами и за нами мелькали в темноте закутанные в покрывала татарки. Накрапывал крупный дождь; осторожно ступая по мокрым камням неровной мостовой, мы пробирались во дворец. Мимо нас пронеслась на татарских лошадях кавалькада путешественников с накинутыми на плеча бурками и дам, завернутых в мантильи.

Во дворе дворца вываживали лошадей, на террасе сидело много путешественников и пили чай. Продрогнув и промокнув, мы пробрались в свое отделение, там нас давно ожидали за чайным столом и засыпали вопросами. Самовар кипел, душистый чай лился по

чашкам, разговор оживился. Приятно, и тепло, и светло было у нас в комнатах.

Скоро ветер разогнал облака. В синеве поднялся месяц-- все засияло. Свистнул соловей и залился дивной песнью; шумели фонтаны, цвели и лили аромат розы.

Как хороши твои ночи, Таврида!

Перед нашим выездом из Бахчисарая знакомые наши из христиан сделали для нас праздник в решетчатой зале гарема, пригласили из Севастополя моряков и несколько дам, залу роскошно осветили, оркестр музыкантов состоял из цыган; их поместили в решетчатом входе в залу. Зала наполнилась посетителями и посетительницами в бальных платьях; хозяином праздника были полицеймейстер Бахчисарая и его жена. Угощенье великолепное,-- танцевали до рассвета. Сквозь решетчатую стену залы навевало ночной прохладой, яхонтовое небо, звезды и полный месяц заглядывали в залу. На нескольких столах готовили ужин; вдали, на пылавшем костре, молодой высокий албанец в национальной одежде засуча рукава жарил на вертеле целого барана и подал его на стол, рассекши на части с необыкновенным искусством. Прохладительные напитки из гранат, миндаля, лимонов и вина были опущены в ледяную воду фонтанного бассейна. Розовое шампанское южного берега лилось за ужином, -- с полными бокалами в руках все пожелали нам счастливого пути.

На другой день Вадим верхом с проводником и товарищем отправился в Тепекермен. Я осталась во дворце с детьми ждать его возвращения.

Вот сокращенно, что говорит Вадим о Тепекермене в "Очерках России":6

"С предписанием начальника губернии и проводником, который заменяет подорожную, отправился я в горы.

От Бахчисарая до Тепекермена около пяти верст, путь идет по каменистому утесу. При повороте к Успенскому монастырю встречается памятник Менгли-Гирея и остатки разрушенного здания. Здесь, говорят, был дворец хана. Дорога вьется по холмам среди кустарников, полных птиц и зверей. Выбравшись из кустарника, мы въехали на широкий уступ, на нем возвышается пирамидально Тепекермен. В глубине горы иссечены пещеры, в них спускаются с

верха горы, как в подполье. Другие пещеры высечены в отвесном утесе в два яруса.

Такие же пещеры в большем размере видны и в Инкермене. Все они формы круглой, овальной и четыреугольной. В иных высечены скамьи, стулья, табуреты. Человек среднего роста может пройти в них свободно.

Одни из писателей видят в этих пещерах жилища первобытных людей, другие -- укрепления, а в одиноких -- ведеты. Местные жители относят их ко времени какого-то потопа, а о железных кольцах, вбитых в скалы, говорят, что к ним привязывали корабли, пристававшие к берегу.

Мне кажется, -- замечает Вадим, -- эти пещеры относятся *к первым векам христианства и иссечены греческими выходцами*, а если и другим народом, то, во всяком случае, по религиозной мысли. В них видны признаки духовных общин. Они явно уцелели в Инкермене, Черкес-Кермене, Качи-Кальене, на месте нынешнего Успенского монастыря, в Демерджи, Чатырдаге и других местах и все, вероятно, были в связи между собою. В иных уцелели остатки церквей, а Успенский монастырь и до сих пор сохранил свое религиозное значение". В подтверждение этой мысли Вадим указывает на кресты, высеченные на стенах пещер, на группу камней, на Демерджи, которую и теперь называют монахами, следы жилья в пещерах: комнаты грубой работы, переходы, лестницы, стулья, столы и нигде нет следов укреплений; в Мангупе, Балаклаве и проч., явные остатки укреплений, а пещер очень мало. Впоследствии пещеры, быть может, служили убежищем притесненных, загнанных в горы племен.

МАНГУП[7]

"День склонялся к вечеру, когда мы приехали в Каралес. Утомленные верховой ездой и жаром, рады были отдохнуть. Подъезжая к дому Адильбея, мечтали о мягких диванах, шербете и трубках анатольского табаку. Адильбей был у себя и сидел во дворе под наметом на широкой лавке, устланной коврами, поджавши ноги, пуская клубы дыма. Он служил в военной службе, бился против

французов, гнал их за границу, а теперь отдыхал в своем живописном Каралесе. У него хороший европейский дом, под окнами бьет и течет горный ручей, в котором Адильбей ловит форелей и угощает ими гостей. Немного дальше шумят мельничные колеса. На удобренной земле он садит табак и сеет хлеб. Сквозь высокие, стройные тополи, около которых играл его сын, миловидный ребенок в черкесском платье, видны долины, скалы, горы, куда обладатель их ездит на охоту за лисицами, зайцами, волками, дикими козами. На взгорье красуется мечеть, от которой наш поэт Жуковский любовался окрестными видами. У Адильбея много деревень, кроме Каралеса, ему принадлежит и гора Мангуп с развалинами древних укреплений. Нас приняли ласково, мы разговорились о житье-бытье, Каралесе, Мангупе и проч., Ъыпили по стакану ключевой воды и отправились в Черкес-Керменские пещеры и ущелья.

В Черкес-Кермене застал нас поздний вечер. По улицам из сплошного камня бродили татары и скот; в огромных пещерах кочевали цыгане и горели огни.

Мы с товарищем ехали молча, задумавшись, глубоким ущельем, среди утесов, над которыми виднелась только узкая полоса неба. Иногда мелькала женщина, закутанная в белом покрывале, или верховой ездок в бурке и черной меховой шапке, то встречались группы татар, то цыгане в пещерах. Другая природа, другие люди окружали нас,-- как было не задуматься, особенно в Черкес-Кермене, где природа бедна и грозна, где каждый звук, каждый шаг лошади рассыпается звонким эхом по ущелию и пещерам, где памятники переступают за грань истории и преданий.

Адильбей пригласил нас ночевать у него, если не вздумаем остаться в Черкес-Кермене. Нам отвели просторную гостиную, на мягких диванах постлали прекрасные одеяла и мягкие подушки. Подали белые прозрачные соты, свежее масло, сыр, сливки, трубки и даже чай. Не знаю, как я успел набросать заметки в мою записную книжку, не помню, как заснул; знаю только, что едва занялся свет, наш проводник, Амет, тянет с меня одеяло: поедим, бояр! Гайда!

Кто не был в горах с рассветом дня, тот пусть спешит полюбоваться в них и с них миром божиим.

Отъехавши версты три от Каралеса, мы вдались в глубокий лог, по которому шли табачные плантации, повыше их сады и хлебные

посевы, огороженные плетнем, обвитым белыми большими цветами, похожими на колокольчики. На крутом мысе, у подножия Мангупа, бьет ключ, и вода по желобам струится в деревню. Тут мы остановились перед Мангупом. Мангуп, окруженный со всех сторон цепями гор и холмов, стоит одиноко в долине. Вершина его, подобно Чатырдагу, образует широкую площадь, увенчанную отвесными скалами, поросшими бедными деревьями и зеленью. По скатам Мангупа темнеют леса и зеленеют полянки. Три глубокие лога врезались в Мангупскую гору и образовали четыре мыса.

В средине второго лога стена древней крепости, высокие башни и развалины. У подножия Мангупа -- татарская деревня.

В деревне мы взяли в провожатые мальчика. Он шел впереди нас так быстро, что лошади едва успевали следовать за ним. Тропинка вела к широкому логу до верха горы, среди лога полуразрушенная передовая стена крепости и обвалившиеся башни. Слева пещеры с лестницами, дверями, окнами, отененные лозами винограда. За стеною надгробные памятники караимов, на них сохранились еще письмена. С вершины Мангупа открылись селения, за тридцать верст Севастополь, море, над всем лазурное небо и легкие облака. На вершине мы встретили столетнего старика с дочерью и малюткой внуком. Там у него шалаш и огород. Близ шалаша ключ воды и остатки башни. Недалеко оттуда следы еврейской церкви, обломки стен греческого монастыря, внутри его следы живописи. На западе от церкви идут крепостные стены с шестью башнями. Вблизи стен широкие пещеры, в одной бьет ключ воды; там мы отдохнули и отправились к замку. В замок ведут ворота в стене из камня, толщиною в три аршина. По огромным окнам дома видно, что дом был двухэтажный; косяки окон были украшены изображениями в готическом роде; другие стены в развалинах, под ними входы, коридорцы, из них выход на стену, примыкающую к дому. Стена налево вдруг обрывается над утесом, внизу которого вершины гор, долины, холмы, море и едва белеет Севастополь.

В этом доме татарские ханы заключали наших посланников.

Кому же принадлежала эта крепость? Какой народ иссекал пещеры и целые здания в глубине скал? Кто, спасая жизнь или оберегая страну, жил в этой поднебесной пустыне?

Тут остались памятники разных народов.

Кем же из этих народов основан Мангуп-Кале? Конечно, не татарами. Татары вошли в Крым около половины XIII столетия, а на караимских надгробных памятниках отыскана надпись -- еврейскими буквами -- 1274 года. Караимы никогда не были владельцами Крыма, в их преданиях нет и намека, чтобы они основывали в Крыму крепость. Можно предположить, что это был народ, исповедующий закон Моисея; а еврейского ли он племени или смешался с другими племенами -- трудно решить. Известно, что хазары были еврейского исповедания, вероятно караимского, и живут в своих потомках в Чуфут-Кале.

Крепость эта не могла быть и делом генуэзцев, она основана в 1274 году, а первое генуэзское поселение в Крыму -- Феодосия -- было в 1266 году. Генуэзцам, народу торговому, надобны были гавани, а не крепости, до основания которых не допустили бы и татары, жалевшие об уступке Феодосии.

Готфия перешла в руки генуэзцев в конце XIV столетия уже с готовыми городами и крепостями.

До XIII века владели в Крыму половцы, печенеги, хазары, но крепостей не строили, устранялись городов и только брали дань со всего, чему оставляли жизнь.

Ранее этих народов господствовали в Крыму угры, гунны, готфы, а в отдаленные времена кимериане.

Во все это время, начиная за пятьсот лет до рождества Христова, в Крыму имели свои поселения греки и удержали их до позднейших времен".

По мнению Вадима, греки основали в приморских местах города: Пантикапею -- нынешнюю Керчь, древний Херсонес, или Севастополь, Феодосию, или Кафу, Алушту, Символон, Юрзуф и другие, в числе их и Мангуп. Это тем вероятнее, что все народы, жившие в горах Крыма, зависели от греков, а впоследствии греки платили дань со всех этих мест кочевым властителям Крыма.

"Большая часть писателей построение Мангупа приписывают готфам, другие относят к временам чуть не баснословным.

Кладка стен Мангупа и размер плит почти тот же, что и в древнем Херсонесе. Броневский застал еще уцелевшими *греческие надписи и много мрамора,* а на стенах изображения греческих царей.

Ход исторических происшествий, образ жизни владевших в Крыму народов, остатки памятников -- все доказывает, что Мангупская крепость основана греками, которые с своими союзниками готфами составляли главную массу населения Крыма до завоевания его турками.

По многим памятникам видно, что в одно время с греками жили в Крыму караимы -- народ *еврейского племени*. Татары начали селиться в XV столетии и долго удовлетворялись данью с греческих городов. Когда турки покорили Крым, Мангуп пал и запустел.

Теперь владелец Мангупа разбирает остатки развалин и перевозит их для домашних построек в свой Каралес".

БАЙДАРЫ И МЕРДВЕНЬ8

"Дорога из Мангупа круто сбегает над нависшими утесами и с каждым шагом становится грознее... Приближаясь к Байдарам, едва спустишься с одной горы, как поднимаешься на другую. Чтобы сократить путь, мы пробирались тропинками, с них на каждом шагу открывались скалы, верхи гор одни над другими и мрачная вершина Чатырдага. Чем ближе к Байдарам, тем природа роскошнее, леса тенистей и все до вершин обвито плетущимися травами. Спуск в долину удобен и не дольше часа.

Байдарская долина открывается точно чаша среди подоблачных гор, полная лесов, садов, деревень, полян. По долине вьется быстрый ручей, рассыпаны стада, мелькают пешеходы, слышны песни, веселый говор.

Дорога из Байдар к Мердвеню незаметно поднимается на Яйлу. По пути бьют ключи и шумят фонтаны. В огромных лесах -- тень и приют, рад ехать шаг за шагом, спокойно колыхаясь в мягком седле. И вдруг -- Мердвень.

Рука невольно затянула поводья... лошадь стала... Вы на хребте Яйлы; перед вами в расселине дорога на взморье. Сквозь зелень деревьев открываются виды все привлекательнее, все страшнее. Еще шаг вперед... бросьте поводья, взойдите на камни, заваливающие спуск. Налево ряды скал выглядывают одна из-за другой. По их

трещинам растет кустарник. Направо скала, гладкая, как стена, а под отвесом одинокая приморская сосна простирает свои бедные ветви. Под ногами небольшая площадка -- это часть южного берега, зеленеющего садами, там едва заметны среди руин две дачи. Далее -- бесконечность моря, бесконечность неба, корабли, облака...

И начинаешь спускаться в этот сад Армиды по страшной лестнице, которую прозвали *Чертовой"*.

ГЛАВА 39

МОСКВА

1839--1842

В августе мы возвратились в Харьков, наняли квартиру с большим садом, немного устроились и поехали в Спасское, где находилась матушка Екатерина Ивановна со всем семейством и братья Евгений и Леонид. По семейным обстоятельствам, матушка оставила Москву с тем, чтобы постоянно жить зиму в Харькове, а лето в Спасском. Евгений и Леонид прибыли в Украину, чтобы удобнее устроить семейство на новом месте, и принялись за постройку большого дома в именье.

Пробывши несколько дней в деревне, мы поспешили в город, где в скором времени у нас родилась дочь Катенька.

В конце сентября переехала в город и матушка с семейством и наняли квартиру рядом с нами. Меньшие братья вступили в Харьковский университет.

Однажды вспомнила я о неприятности нашего семейства с Сашей и спросила одну из сестер: за что они разошлись (они не переписывались). Сестра посмотрела на меня с изумлением и отвечала, что они никогда не расходились с Александром, а не переписываются из осторожности. Потом, немного подумавши,

сказала: "Была небольшая размолвка у Луизы Ивановны с Диомидом, из-за пустяков; Диомид погорячился, но это осталось без последствий".

По-видимому, Александр искал повода отдалиться от наших.

Летом 1839 года мы получили письмо от Егора Ивановича1. Он уведомлял нас, "что год тому назад Александр переведен во Владимир, где вскоре женился на Наташе, которую увез от княгини Хованской, и 13 июня 1839 года2 у них родился сын Саша". Далее описывал, как Наташу увозили и что было в доме княгини после ее побега.

Возвратясь от обедни, -- писал он, -- княгиня легла на постель отдохнуть, спросила чаю и, не видя Наташи, приказала позвать ее к себе.

Спустя несколько минут, княгине доложили, что Натальи Александровны нигде нет. Княгиня тотчас поняла, в чем дело, и до того была поражена этим, что все в доме перетревожились, немедленно послали за Иваном Алексеевичем, сенатором Львом Алексеевичем, Д. П. Голохвастовым и за доктором, который тотчас же пустил княгине кровь. Родные нашли княгиню в постели совсем расстроенной и сами были сильно раздражены против молодых людей. Сенатор, желая сколько-нибудь успокоить сестру, высказал предположение, что, быть может, Наташа и не убежала еще, а пошла помолиться к Иверской.

-- Помилуй, что за вздор,-- возразила княгиня, окончательно расстроившись предположением, что из ее дома девушка может ходить одна по Москве, -- когда же Наташа бегала у меня одна по улицам?

Дмитрий Павлович, после разных совещаний, советовал оставить молодых людей в покое, выразивши им свое неудовольствие, и беречь свое здоровье, не расстраивая себя тем, что непоправимо; княгиню совещания не успокоили и не утешили, она чувствовала себя глубоко огорченной и оскорбленной, тем больше, что незадолго перед этим Наташа считалась помолвленной невестой и все приданое ей было сделано. Княгиня надеялась, что дело это, несмотря на неприятности, может снова устроиться, так как молодой человек, бывший женихом Наташи, нравился ей прежде, нежели она сблизилась с Александром, и, по отъезде Александра в Вятку, сделал ей предложение, чрез княгиню. Когда княгиня объявила о его предложении Наташе, Наташа ответила ей: "Он мне не по душе"; княгиня удивилась и, относя ответ

ее к девической стыдливости, сказала: "Тем лучше, браки по любви часто бывают несчастны; выйдешь замуж -- полюбишь; я советую, это хороший молодой человек, с ним будешь счастлива". Наташа промолчала. Княгиня велела ей стать на колени перед киотом с образами и помолиться, затем благословила ее дорогим образом, поздравила невестой и сделала нравственное наставление. На следующий день компаньонка княгини, Марья Степановна, полетела в ряды закупать приданое, соображаясь со вкусом невесты. Княгиня ничего не жалела; приданое сделано было прекрасное. Сверх вещей, она давала за Наташей двадцать тысяч рублей и подмосковную деревню. Жених стал ездить каждый день.

Наташа обращала на жениха очень мало внимания и тайно переписывалась с Сашей. За несколько дней до венчанья, она писала ему: "Все готово к браку, день назначен и подвенечное платье лежит в моей комнате";3. Александр отвечал ей отчаянным письмом -- просьбой любви и клятвой в верности. Почти накануне венчанья Наташа позвала к себе в комнату сестру жениха своего, сказала ей, что она не может выйти замуж за ее брата, потому что любит другого, показала ей письма и портрет Александра, поручила передать все это брату и сказать ему, что она просит. его от нее отказаться. С этого времени начались неприятности и кончились тем, что Наташа убежала. Мы были поражены. На мою долю выпало объявить об его измене той, которую он любил около двух лет и дал слово на ней жениться. Она верила в него и долго не понимала меня, когда же поняла и поверила, мне показалось, что жизнь отлетела от нее -- так страшно она побледнела и умолкла. В комнате распространилась мертвая тишина. Спустя четверть часа она молча простилась со мной и ушла домой. Никто никогда не слыхал от нее жалобы, никто не видал ее слез и никогда он не узнал,

Какое сердце разорвал...4

В начале этого лета у нас умер наш маленький Вадим. Страшно вспомнить, как все это было! Мы едва отдохнули в июле. Вадим поехал осмотреть некоторые из уездов Харьковской губернии, большей частию те, где находилось много курганов и городищ.

Некоторые курганы при нем разрывали, в иных находили грубой работы железные вещи и простые глиняные сосуды5.

В Ахтырку мы ездили вместе, помолились там образу Ахтырской богоматери, к образу которой была так предана двоюродная сестра покойного батюшки Василия Васильевича Пассека, графиня Анна Родионовна Чернышева, сделавшая себе печальную известность странностями, возмутительным произволом и жестокостями, несмотря на ее ум и высокое общественное положение6.

Усердие ее к образу Ахтырской богоматери происходило от того, что она и сестра ее Елизавета Родионовна-- графиня Панина -- в малолетстве их были поручены умирающей матерью этому образу и, оставшись сиротами, назывались "богородицыными дочками". Анна Родионовна часто посещала Ахтырку, к церкви пристроила для себя несколько комнат, приезжая, там останавливалась и из своих комнат слушала божественную службу. Умирая, она завещала украсить золотую ризу Ахтырской богоматери ее бриллиантовой, кавалерственной звездою и всеми ее бриллиантами. Он сиял драгоценными камнями, пожертвованными графиней Чернышевой.

Осенью мы с Вадимом, с детьми и с тремя прислугами уехали в Москву. В Москве нашли братьев Жоржа и Диомида, а из прежнего круга Вадима Н. Х. Кетчера и Ника уже женатым. Саша был еще во Владимире; узнавши, что мы в Москве, он прислал нам письмо от

4 ноября 1839 г.7.

"Благословляю вас под 55 градусами 45 минутами северной широты; благословляю вас под 55 градусами 11 минутами восточной долготы; благословляю вас в первопрестольном, многодорожном граде Москве, стоящем при реке Москве, Неглинной и Яузе, с 350 000 жителей, университетом etc. Так-то географически-статистически поздравляю я с приездом историка и географа Вадима Пассека в наши края, а вместе с ним и Таню.

Знаете ли вы, помните ли вы, что между тем временем, в которое насыпали курганы, о которых пишет Кеппен8 и о которых Кеппен не пишет, и 1839 годом есть один исторический период, часто

занимающий меня,-- это маленький промежуток от 1825 до 1833 года. Правда, это время наполнено мифами, как царствование Тезея, но мифы так же изящны, как эти типические Медузы, Язоны. Я начинаю не верить, что они были, то есть, очью совершались, а люблю passer et repasser {снова и снова вызывать в памяти *(франц.)*.} 1825 год и приезд Тани к нам. Все это юно, мило. Путешествие Бартелеми и Вертеровы страдания -- читаются, Озерова трагедии декламируются9, и миф Герцен с широкими мечтами, и миф Темира с пылкими мечтами, с описаниями Волги (а впоследствии и Волхова *с свинцовыми волнами)*... кто не пророчил бы тогда обоим мифами Вадиму par dessus marché {сверх всего *(франц.)*.} -- желтый дом, но, увы, явился мир реальный -- эта огромная Прокрустова кровать, на которую кладут все идеи, все мифы Герцена, Вадима, Тани, Мехмет-Али, М. П. Погодина, Чумакова etc., чтобы подрубить им ноги или голову, смотря по надобности. И что же -- из мифических лиц вышли люди, так-таки просто люди -- чиновники особых поручений, отцы семейства, матери семейства, путешествующие, очерчивающие Русь. Где же мифы? А где у бабочки куколка? Где у лягушки образ червячка, в котором она родилась? Теперь лягушка пришла в полное развитие. Итак, поздравим друг друга лягушками вполне развитыми, остается давать концерты au rez-de-chaussée {в нижнем этаже *(франц.)*.}, в болоте.

Еще тут был миф, и именно одетый в Киариньевский костюм, в бешмет, шитый золотом, серебром, адамантами и виссоном, и имя ему Диомид. Что он? Ежели мифическое существование продолжается, то он, верно, еще ходит в испанском, или татарском, или мексиканском костюме. Если же и он побывал на Прокрустовой постеле, то, во-первых, ходит comme il faut, во-вторых, думает comme il n'en laut jamais {как принято... как никогда не принято *(франц.)*.}.

Мечты, мечты, где ваша сладость!10

Право, жаль, что мы сбились с дороги и не попали в сумасшедший дом. Прощай. *Александр.*

Прошу отдать мой решпект Алексею Петровичу (Кучину); вот он самобытнее нас, не изменил себе -- все тот же практический профессор теории вероятностей" {Брат мой А. П. Кучин вел в Москве большую игру в карты, жил шумно и роскошно. Его обыграли, как был

слух, наверное, бывшие в то время два известные брата игрока, и он остался безо всего. Над ним был сделан конкурс, по окончании которого ему велено было выехать из Москвы, по случаю ссоры и драки у кого-то во время игры, в которых он не участвовал, но находился в том же доме. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}.

В конце осени Саша приезжал ненадолго в Москву11. При первом свидании с нами он был несколько смущен и как бы затруднялся; но мы так искренно обрадовались ему и Наташе, так были счастливы свиданием с ними, что он успокоился, сделался весел, мил и остер по-обычному. Спустя несколько дней он хотел что-то объяснить Вадиму, Вадим это объяснение отклонил. Они остались в прежних товарищески-дружеских отношениях, но, несмотря на это, было чувствительно, что у Саши как будто камень на душе, который тяготит его, и он как бы уклоняется Вадима. Уклонение свое он относил к сочувствию Вадима делу славян, по его тогдашнему мнению, противоположное его западным стремлениям, и говорил, что они слишком различно смотрят на некоторые предметы для того, чтобы совпадаться, что этого нельзя позабыть или найти интерес в самой противоположности. Но это было не так. Видались они и толковали по-прежнему приятельски. В Вадиме не было и тени перемены ни к прежним друзьям, ни в прежних убеждениях, несмотря на его сочувствие славянскому делу и его любовь к родине, несмотря на его религиозное направление, и поэтому я была удивлена недавно, узнавши, что Саша, вспоминая о Вадиме, как о человеке умном, благородном и чистом, в то же время говорит, что он от славянофильства дошел до ортодоктости и ненависти к Западу, и таким образом ему пришлось отвергнуть все историческое развитие человечества, всю науку, философию, всю мысль нашего века11. Это огорчило меня не только потому, что в Вадиме ничего и похожего не было на такое отчуждение; но оно утвердило меня в грустном предположении, что Саша отдалялся от Вадима по причинам, в которых не хотелось самому себе сознаться.

Добрый, простосердечный, но избалованный средой, в которой рос, еще не знавший ни отказа своим желаниям, ни горя настоящего, Саша нередко легко и небрежно относился к тому, что близко другим, и, вероятно, безотчетно боясь нарушить стройное, приятное состояние духа, избегал анализа самого себя; к несчастию, это не всю жизнь ему

удавалось; приходилось много страдать от этой черты его характера. Сверх действительного торя он мучился еще тем, *зачем ему больно,* боль нравственно мешала ему жить -- это еще счастливо, -- а он знал жизнь и цену жизни.

Саша не только сам, но также безотчетно отклонял и Ника; Ник, под его влиянием, отстранился до того, что когда Вадим, начавши издание "Очерков России", попросил его, как одного из ближайших товарищей, помочь ему небольшой суммой в его издании, Ник, утопая в богатстве и роскоши, отказал. Впоследствии о" сильно укорял себя в этом отказе и писал мне, что не может себе простить своего возмутительного поступка с Вадимом 13.

Отчуждение друзей огорчало Вадима чувствительнее отказа Ника в деньгах.

В 1840 году Саша с семейством совсем оставил Владимир. В Москве он пробыл недолго; вскоре поступил на службу в министерство внутренних дел и уехал в Петербург14.

В короткое время пребывания своего в Москве Саша встретился с Грановским, только что возвратившимся из чужих краев, чтобы занять в Московском университете кафедру истории, и увез в Петербург предчувствие найти в нем близкого человека. Предчувствие его не обмануло. Когда в 1842 году он переехал из Новгорода на житье в Москву, то так тесно сблизился с Грановским, что они стали видаться почти каждый день, просиживали вместе ночи до рассвета, -- и так до половины 1846 года. В этом году вышли "Письма об изучении природы" и были первым поводом их распадения. Читая их, Грановский сказал:

-- Ты в этих письмах живо, резко затрогиваешь вопросы, которые будят человека, толкают вперед, но во все односторонности твоего воззрения я не хочу вдаваться, это теория. Личное бессмертие души мне необходимо.

На это Саша заметил, что современное развитие науки требует принятия иных истин независимо от того, хотят или нет, и указал на некоторые неопровержимые теории.

-- Все это мало обязательно мне, -- возразил, меняясь в лице, Грановский. -- Я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа -- в ней исчезает бессмертие души. Может, вам

это и не надобно, но я слишком многих схоронил, чтобы поступиться этой верой.

-- Хорошо бы было жить на свете, -- сказал Саша,-- если бы все то, что кому было бы надобно, то бы и было.

-- Это своего рода бегство от несчастия, -- добавил Ник.

-- Вы меня искренно обяжете, -- сказал, бледнея, Грановский, -- если никогда не будете говорить со мною об этом. Есть много предметов гораздо полезнее и приятнее, которые нас занимают.

-- С удовольствием, -- отвечал Саша.

Холод пробежал между ними. Они увидали между собою даль, которой и не предполагали.

Вопрос о личном бессмертии духа был предел их близости. Переступя через него, они стали посторонними; так как вся их деятельность совершалась в сфере мышления и в пропаганде их убеждений, то уступок никто не мог делать.

По-видимому, как бы ничто не изменилось, все шло по-прежнему -- но внутреннее распадение увеличивалось.

Они сблизились опять, когда Александр был за границей,-- и сблизились через письма15.

Переселившись на службу в Петербург, Саша сошелся там с Белинским. Обширный круг людей присоединился к ним. С этого времени явился ряд критических статей, с живым, оригинальным слиянием идей философских с религиозными; в этих статьях Белинский касался всех вопросов и возвышался иногда до поэтического вдохновения, смело, последовательно поражая авторитеты. Статьи Белинского ожидались с нетерпением, читались задыхаясь16.

Александру, выросшему в приволье родительского дома, в спокойной, чисто национальной Москве, пришлась не по душе форменная, деловая жизнь Петербурга. Службой он занимался мало, жил больше дома, небольшой круг знакомых довольно часто собирался у него, но тех сердечных увлечений, которыми он наслаждался в Москве, не было. Он не успел еще сжиться в этом новом для него мире, как положение его нежданно-негаданно изменилось. Ему чуть не пришлось ехать обратно в Вятку. У Синего моста будочник убил и ограбил прохожего. Об этом случае говорил весь город,-- Александр написал отцу в Москву, -- за это его высылали из Петербурга.

Он был поражен и стал хлопотать об отмене такого приговора. Дубельт посоветовал ему обратиться к министру внутренних дел графу Строганову, под начальством которого он служил. Граф к нему был хорошо расположен и принял в его деле участие. В непродолжительном времени Саше объявили, что ему предоставлено право заменить Вятку любым губернским городом, исключая столиц. Он выбрал Новгород, куда и был переведен советником губернского правления.

Служба в губернском правлении пришлась Александру еще более не по душе, чем служба в Петербурге. Она утомляла, а порой и огорчала его. Он подал рапорт о болезни, перестал ходить в правление, затем подал прошение об отставке и получил ее -- с условием не оставлять Новгород. Наконец, в 1842 году, 1 июля, разрешили ему сопровождать в Москву больную жену свою и там с нею остаться17.

. . . . . .

С этого времени начинается новый период жизни Александра; он стал усиленно трудиться на литературном поприще. Программа его литературных трудов за описываемое мною время тогда только получит настоящее значение, когда рассмотрится в связи с его жизнию и явится как результат этой жизни и опытности в мире действительном.

Все, к чему он стремился как человек, результаты, до которых он достигал как писатель и публицист, все его действия, освещенные его жизнию, будут отражением того мира, в котором он вырос и обращался, и той эпохи, в которой родился и жил.

В Москве Вадим сблизился с кругом Александра Фомича Вельтмана; Саша еще в первый приезд в Москву, так же как и Ник, примкнул к кругу Станкевича. В нем изучали философию, особенно Гегеля, и старались дойти до отчетливого понимания бессмертия души и личности духа, сознающего себя через мир, а между тем имеющего собственное самосознание. В Новгороде он взял в руки Фейербаха -- и вступил на иной путь, на путь, как он выражался, *"людей свободных"*. Под влиянием этих идей он написал несколько статей. Во второй приезд Саши в Москву новые друзья приняли его горячее, нежели два

года тому назад. Все они сильно занимались--кто участвовал в журналах, кто разрабатывал русскую историю, кто читал с кафедры в университете.

"Такого круга людей талантливых, развитых, многосторонних, чистых я не встречал потом нигде, -- вспоминал о них Саша, -- ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и аристократического".

"Наш небольшой кружок, -- говорил он, -- собирался часто то у того, то у другого, чаще всего у меня. Рядом с болтовней, шуткой, ужином и вином шел самый деятельный, самый быстрый обмен мыслей, новостей и знаний; каждый передавал прочтенное и узнанное, споры обобщали взгляд, и выработанное каждым делалось достоянием всех. Ни в одной области ведения, ни в одной литературе, ни в одном искусстве не было значительного явления, которое не попалось бы кому-нибудь из нас и не было бы тотчас сообщено всем" 18.

Характер этих сходов понимали не все из-за их застольных бесед,

В этот-то период времени Москва сильнее стала входить в эпоху возбуждения умственных интересов. Вопросы литературные стали вопросами жизни, за трудностию вопросов из всех других сфер человеческой деятельности. Вся образованная часть общества бросилась в мир книжный, в котором одном только и совершался действительный протест против застоя умственного, против лжи и двоедушия.

С возвращения Александра в Москву и по его отъезде за границу мы видались не часто, хотя оставались в прежних дружеских отношениях. Он был весь увлечен своею обширною литературного деятельностию, своими целями и семейными огорчениями. Я страдала под ниспосланным мне богом несчастием (смерть мужа) и, кроме детей моих, ни на что не обращала внимания, вследствие чего этот период жизни кружка Александра мне мало известен. Его пополняют в моих воспоминаниях записки некоторых людей из близко соприкасавшихся к этому кругу представителей интеллигенции сороковых годов. К числу таких воспоминаний принадлежат записки Т. А. Астраковой. Они по преимуществу вводят во внутреннюю жизнь моего друга и товарища детства Александра и его жены Наташи.

Привожу выдержки из записок Т. А. Астраковой.

"...Вскоре после отъезда Александра в Петербург, приехал в Москву Сатин и явился к нам, -- говорится в записках Т. А. Астраковой. -- Я думала встретить человека положительного, в летах, по крайней мере как Ника, и удивилась, увидавши юношу с поэтическою наружностию, с ясными голубыми глазами, с длинными, вьющимися белокурыми волосами, с гибкой талией и изящными манерами. Он, как я узнала после, в то время был уже около двадцати пяти лет, но казался много моложе. В начале нашего знакомства Сатин был застенчив и ненаходчив, потом мы сошлись довольно коротко; он бывал у нас часто, читал нам свои стихи, -- я любила их слушать. Его "Умирающий художник" и "Три поры" в то время читались с восторгом. Его перевод с английского "Бури" Шекспира признан был отличным и читался с увлечением19; даже посвящение его этого перевода друзьям очень ценилось; оно начинается так:

Я отлучен судьбою был от мира.
И там, в тиши, открылся предо мной
Волшебный мир -- волшебника Шекспира
С его живой, великой простотой...
. . . . . .

В конце:

Друзья! Друзья! от горя и разлуки
С тех пор и я судьбой освобожден...
Давайте мне родные ваши руки,
Они теплы!.. О, это уж не сон!

Без сомнения, в Сатине был зародыш поэтического дара, но что-то помешало ему развиться вполне. Он писал много стихов и очень недурных. В начале сороковых годов, возвратясь из-за границы, стал писать меньше. К его заграничным стихотворениям принадлежат: "Рейн", "Lauro dell'Isola bella" {"Лавр на прекрасном острове" *(тал.);* Isola bella -- остров на озере Лаго Маджоре в северной Италии.}; вот ее начало;

Среди магнолий, мирт и роз

Гигантский лавр главу вознес;
Кругом прозрачно и светло;
Роскошно озеро легло;
В него глядят со всех сторон
Сады и виллы; небосклон
Сокрыт громадой чудных гор...
и проч.

Некоторые из стихотворений Сатина помещались в "Отечественных записках" и в "Современнике". Мало-помалу он совсем перестал писать стихи и наконец стал стыдиться своих произведений; не раз, встретивши в каком-нибудь журнале свои стихи, выдирал их и рвал на части. Ник, друг и товарищ Сатина, шел, не останавливаясь, избранным путем; его стихотворения выступают из ряда вон.

Как видно из писем Александра, первое время жизни своей в Петербурге они устроились довольно хорошо. Александр ходил в департамент на службу, Наташа холила и растила маленького Шушку, кроила и шила на него.

"Нам хорошо,-- писала Наташа.-- Днем, когда Александра нет дома, я занимаюсь с Сашей; вечерами читаю вместе с Александром, иногда гуляем, но не на Невском проспекте, нет, я не могу видеть эти разряженные лица, эту бессмысленную суету. Я люблю гулять где потише, где можно гулять или думая или разговаривая"20.

Александр и в Петербурге оставался все тем же живым, впечатлительным, все также неспособным к домашней жизни; он не умел заботиться даже о себе -- до такой степени, что, отправляясь на службу, всякий раз приставал к Наташе, чтобы она дала ему что надобно и осмотрела, все ли он взял с собою; она должна была снаряжать его, -- подать ему платок, перчатки и чуть не шляпу. Раз случилось, что Наташе нельзя было отойти от больного ребенка, и Александр должен был отыскать все сам для себя. На Невском проспекте он повстречался с профессором А. Н. Савичем, разговорился с ним, как и всегда, с живыми движениями, засунул руку в карман за носовым платком и вытащил скроенную детскую рубашечку, из которой посыпались клинышки, рукавчики, обшивки. Александр, чуть ли не в первый раз в жизни, до того растерялся, что

покраснел, стал прощаться с улыбавшимся профессором и пустился в обратный путь. Между тем Наташа искала свою работу и дивилась, куда могла запропаститься скроенная ею рубашечка, которую она, свернувши, положила на свой рабочий столик, как явился Александр в таких попыхах, что Наташа испугалась, вообразивши, что с ним случилась какая-нибудь неприятность по службе. Когда же он стал саркастически говорить о молодых матерях, воображающих, что дело делают, кроивши разные тряпки для своих детей, и что было бы гораздо проще поручить это белошвейкам, тогда Наташа поняла, в чем дело, и разразилась смехом чуть не до истерики.

-- Так это ты унес мое шитье! кто же велел тебе взять со стола рубашечку вместо носового платка? Когда же ты, Александр, исправишься?

-- А это еще была рубашечка!--воскликнул Александр.-- Помилуй -- это позор! что скажут те, которые видели, как из моего кармана сыпались лоскутки, это мещанство!

-- Мещанство, -- тихо возразила Наташа, -- стыдиться работы; неужели предосудительно, что жена твоя сама работает на твоего ребенка, а не бросает деньги швеям. Успокойся и подумай хорошенько, -- увидишь, что этот случай только забавен.

Александр одумался и сам шутил над этим событием впоследствии; но в департамент в этот день не пошел.

Спустя несколько месяцев по приезде их в Петербург над ними разразилась беда. Александра заподозрили в распространении слуха, вредного полиции, и присудили к возвращению в Вятку. Участие графа Строганова спасло его, -- ему позволили заменить Вятку любым губернским городом. Он выбрал Новгород. Для Наташи эта история имела ужасные последствия. Она преждевременно разрешилась ребенком, прожившим несколько минут, и вынесла жестокую горячку21. Нервы ее до того были потрясены, что она всю остальную жизнь уже не пользовалась полным здоровьем.

Летом они переехали в Новгород; их навестили там, проездом из-за границы, Ник вместе с Сатиным22. Жена Ника осталась в чужих краях. Перед отъездом за границу она просила Ника дать ей вексель в тридцать тысяч рублей серебром, на случай его смерти, чтобы быть обеспеченной, а перед выездом его в Россию взяла с него обязательство выдавать ей ежегодно довольно значительную сумму на

ее содержание. Сатин удержал Ника от дальнейших расходов на жену и увез его в Россию. Грустное известие о судьбе Ника подлило горя в жизнь Александра и Натащи, уже отравленную петербургской катастрофой. Испуг и огорчение Наташи отозвались на ее детях. В Новгороде у них была дочь, прожившая несколько часов.

В феврале 1842 года, -- сказано в записках Т. А. Астраковой, -- опасно занемог мой муж; товарищи отнеслись с участием к его болезни. Наташа писала мне из Новгорода:

"Друг мой! благодарю тебя за последнее письмо,-- теплая струя утешения влилась твоим участием. Если бы была возможность близким сердцу искупать несчастия, я бы многим пожертвовала для тебя! В самое тяжелое время ты не выходила у меня из памяти, -- я трепетала, получая твое письмо. В первые минуты 1842 года я думала о вас, молилась о вас, и душа исполнилась верой, что будущее для нас будет светлее. Тяжело получать неполные и неверные известия о милых сердцу. Я напишу тебе весь сон мой, да, все что было со мной, явилось как сон, прошло как сон, и в сердце осталась новая могила, и удары заступа звучат еще в ушах.

Мне теперь хочется рассказать тебе все, и ты рада будешь узнать все -- я знаю. Пусть на тебя навеет мой рассказ святую, тихую грусть, которой полна душа моя.

Ты знаешь, как я боялась, чтобы со мною не повторилось несчастие, бывшее в Петербурге, -- а вместе и надежда утешала. Весь декабрь я занималась приготовлением елки для Саши. Для него и для меня это было в первый раз: я более его радовалась ожиданием. Удивляюсь, как детски я заботилась, и все это точно для того, чтобы чувствительнее был удар: 25 декабря родилась дочь!23 радости, восторга нашего не умею высказать. Казалось, ребенок прекрасный, здоровый; назвали Наташей. Радость Александра удваивала мою -- нам так хотелось дочь, и бог ее послал. "Вот тебе и сестрица на елку", -- говорила я Саше; кажется, и он радовался с нами и все просил посмотреть на нее, поцеловать ее. Я была очень слаба и скоро стала замечать в окружающих беспокойство и сомнение, доктор ездил часто, с ним говорили тихонько от меня. Все это объясняло мне ожидающее меня несчастие. Накануне праздника пронесли мимо меня елку для

Саши, а через час принесли ее, мою дочку, чтобы благословить в последний раз...

Нет, довольно, прощай, милый друг! Господь с вами. Пожми за меня крепко руку Николая, напиши скорее о его здоровье. Твоя *Наташа"*.

"Могу только прибавить, что я здоров и что, несмотря на полосу довольно черную, которую прожили, -- живы и не потеряли надежду на будущее.

Дан бог, чтобы эти строки застали Николая лучше. Что Голохвастов, сделал ли что? не теряйте и вы надежды -- право, может, мы встретимся радостно. *Александр"*24.

В феврале 1842 года мужа моего, Николая Астракова, не стало. Несчастие мое вызвало такое родное участие, которое навсегда оставило в душе отрадную память. Александр и Наташа писали мне, просили беречь себя для их дружбы, учили твердости своими несчастиями. Отраднее всего было слышать, как они все горевали об утрате Николая, с какой любовью и уважением вспоминали о нем. Александр даже удивлял меня своими серьезными, полными участия письмами, до того, что я почувствовала к нему симпатию, которая до тех пор была как бы парализована его холодностию ко мне, проистекавшею, как мне казалось, из его самолюбия, которому я никогда не потворствовала. Кроме нравственного сочувствия, Александр, а также и Сатин, помогли мне выпутаться из долга. На похороны моего мужа мы заняли, на срок, довольно значительную сумму у М. П. Погодина.

На следующее лето, по приезде в Москву из Новгорода, -- сказано в записках Т. А. Астраковой, -- Александр с семейством отправился в подмосковное имение своего отца, село Покровское, доставшееся ему после смерти брата его, сенатора Льва Алексеевича Яковлева, умершего скоропостижно в исходе тридцатых годов. Они пригласили к себе меня вместе с братом моего мужа, Сергеем Ивановичем25. Выезжая из Москвы, мы не догадались захватить с собой кое-какой провизии. Наташа, увидя нас; совсем растерялась, говорила, что не знает, чем нас кормить, что они сегодня отправляют за хлебом и мясом, а привезут только завтра. Так как есть всем очень хотелось, то общим советом решено было сварить суп из грибов, сделать соус из грибов,

зажарить грибы в сметане, затем гречневая каша -- и остались все довольны. Ночью гуляли по роще и видели светляков. На другой день один из крестьян пригласил нас к себе на чай. Мы отправились к нему. В чистой, новой горнице, с новыми лавками, на новом сосновом столе, накрытом красной скатертью, стояло угощение, вина, пиво и мед. Хозяин с низкими поклонами просил нас пить и есть. Мы с Наташей не могли отговориться от вина и прихлебнули из рюмок. Александр пил всего, брат мой не таил ничего; хозяин обиделся, насилу Александр успокоил его, сказавши: "Барин этот дал зарок не подносить рюмки ко рту, даже глядеть на рюмки боится". Долго мы смеялись этой выдумке. После чаю, в самый полдень, отправились мы домой, шумно и весело беседуя.

Когда мы уехали из Покровского, у Александра утонул в реке их человек, Матвей26. Они очень любили его и дорожили им до того, что спускали слишком многое. Неожиданная смерть Матвея очень огорчила их, по моему же мнению, она случилась для него в самое время. Матвей вначале был человек честный, усердный и преданный, но, избалованный ими, чем далее, тем более стал, что называется, зазнаваться и начал не только что распоряжаться прислугою, но грубить и самим господам".

Несмотря на лето, проведенное в деревне, здоровье Наташи не поправилось. Она переехала в Москву по-прежнему слаба и болезненна. Чтобы спасти жизнь ожидаемого ребенка, Александр пригласил знаменитую акушерку Армфельд и доктора Брока. Несмотря ни на что, ребенок родился с нервными припадками, как и два предшествовавшие ему27.

"Мне тотчас дали знать, -- пишет Т. А. Астракова.-- Я нашла Наташу в довольно хорошем состоянии. Ребенок лежал в другой комнате. Наташу утешали, что он здоров, но очень кричит, -- поэтому и удалили его. Мне не понравилась ни Армфельд в своем бархатном платье, ни Брок, без толку суетившийся около больной. Когда они ушли, Наташа подозвала меня, пожала мне руку и сказала: "Чувствую -- еще могила", -- и заплакала. Яне имела духа утешать ее, только проговорилась: "Видно, так надобно". Когда я вошла к малютке Ване, с ним был припадок. Этот крошка страдал до того ужасно, что ночами мне долго слышался тот раздирающий душу крик и представлялось искаженное судорогами личико. Когда я возвратилась к Наташе, она

спросила меня. "Видела ты его?" -- "Видела". -- "Он очень кричит? очень страдает? скажи правду". -- "Да, очень". -- "Не правда ли, лучше умереть?" -- "Конечно, лучше". -- "Видно, так надо,-- сказала она, -- пошли ко мне Александра, -- что он? Скажи ему, что я на все готова, я знаю, он боится прийти ко мне, боится изменить себе; и зачем обманывать, тешить -- смешно", -- сказавши это, она горько улыбнулась. "Быть может, Наташа, они и правы, -- заметила я, -- ты возмущаешься, а тебе это вредно". -- "Нет, -- возразила она, -- лучше знать правду, ждать неизбежного горя, чем вдруг узнать. Пошли же его ко мне, пошли".

Я позвала Александра. Он был жалок, взволнован, то садился, то вставал, ходил туда и сюда, лицо его горело, в глазах светились слезы.

Когда я вошла, он бросился ко мне и спросил: "Видели?" -- "Видела". -- "Что она?" -- "Зовет к себе вас". -- "Как же идти, я не сумею скрыть". -- "И не надобно, лучше знать заранее, чем узнать вдруг. Такие сюрпризы убивают". -- "Да, это правда, но как сказать?" -- "Она все знает, ступайте к ней скорее".

Я ушла домой вечером, измученная. На следующий день новорожденный кончил жизнь. Его похоронили в Девичьем монастыре. Я иногда бываю там, и как-то странно читать на памятнике малютки: Герцен -- здесь в России, а они далеко, и я, конечно, не увижу ни *его*, ни *ее*.

Когда Наташа стала поправляться, посещения друзей возобновились. Как Александр познакомился с Грановским, Е. Ф. Коршем, П. Г. Редкиным -- не знаю, так же, как и с Ховриными, Елагиными, Свербеевыми и другими. С Тучковым Александр познакомился через Ника-Наташа выезжала редко, она была все как-то хвора и нервна. Наряды, необходимые при выездах, ей были противны. Только по просьбе Александра она делала необходимые визиты и затем довольствовалась домашней жизнью, в ней она находила все свое блаженство.

Спустя немного времени по приезде Александра в Москву, Н. Х. Кетчер стал сбираться на службу в Петербург. На проводах сошлись все вместе отобедать23. На этом прощальном обеде была и А. П. Елагина. Она держала себя со всеми очень приветливо, но как-то свысока. Во время обеда она обратилась ко мне с вопросом, не родня ли мне такие-то Астраковы? Я отвечала утвердительно. Она не

ограничилась этим и переспросила брата моего, Сергея Ивановича. Брату представилось, что она знает отношения Астраковых к ее дому и сделала этот вопрос с намерением озадачить нас при всех; он отвечал ей, что неужели она забыла, что его отец был крепостным ее деда, выпущен им на волю и записан в канцеляристы29.

-- Если бы моего отца не освободили, -- добавил он, -- и я не поучился бы в университете, то, вероятно, теперь ездил бы на запятках вашей кареты или стоял бы с тарелкой за вашим стулом, вместо того чтобы сидеть с вами за одним столом.

Авдотья Петровна, слушая это, видимо смутилась, сказала что-то вроде извинения. Некоторые из присутствовавших постарались замять разговор.

В интимном кружке Александра не пить считалось неприличным. За тем, чтобы все пили- одинаково, наблюдалось. Где бы друзья ни собрались, распорядителем был Николай Христофорович. Он откупоривал бутылки, он наливал вино, он наблюдал черед. Голос его покрывал все голоса. В экстазе он кричал: "Я как доктор -- защищаю вино", на это Александр замечал обыкновенно, что он не верит в его медицинские знания и если бы у него была любимая собака, то и ту не дал бы ему лечить. Н. Х. не любил практики и не занимался ею. Если кто из нашего круга занемогал и обращался к нему за советом, он обыкновенно говорил: "Вы выдумываете себе болезнь и любите пичкаться".

Брат мой, Сергей Иванович, восставал против неумеренности, совсем не пил вина и так энергически отказался раз навсегда, что его оставили в покое. "Он младенец", -- кричал Н. Х. "Он не умеет жить, и не живет", -- говорили другие. Бокалы наполнялись и выпивались в честь спартанца Сергея".

"Александр и Ник принимали участие в одном очень талантливом, бедном юноше Пешкове. Они поместили его к нам, -- сказано у Т. А. Астраковой, -- с тем, чтобы муж мой подготовил его в университет. Будучи на втором курсе, Пешков получил известие, что отец его и мать умерли, остались малолетние дети, которым он единственная опора. С горем пополам, молодой человек оставил университет, почти без гроша в кармане поехал к сиротам; ему удалось их как-то устроить, и он возвратился в Москву, чтобы вновь поступить в университет. Снова он принят не был, эго привело его в отчаяние. В кругу Александра

узнали об этом, и в первый же вечер, как собрались, только и разговора было о том, как поступлено с Пешковым в университете. К концу вечера, в передней, на залавке, стройным рядом стояли опорожненные бутылки; один из собеседников, взявши под одну руку Александра, под другую Николая Христофоровича, пригласил всю компанию в переднюю; там, указывая на строй бутылок, сказал: "Вот, господа, вы осуждаете попечителя университета, а если бы все деньги, которые употреблены на эти бутылки, вы отдали Пешкову, он, не прося никого, мог бы поступить в университет". Этот вызов не остался без последствия: Александр оказал помощь Пешкову, но, к сожалению, было уже поздно; бедный юноша растерялся, получивши отказ, куда-то уехал, где-то учил и кончил жизнь в сумасшедшем доме.

Таким образом, почти на виду и на слуху избранного общества погибла хорошая, даровитая личность.

Когда избранный кружок собирался вместе, слушать их, беседовать с ними было истинным наслаждением; но нередко, чем ближе наступал вечер, тем больше опорожнялось бутылок, и характер беседы менялся, разговор переходил на предметы пустые, хотя забавные и остроумные, и как-то не хотелось бы видеть таких талантливых людей в этих оргиях.

Наташа долго поправлялась. Любовь к двум Александрам и их любовь к ней лечили ее душевные раны. Брок продолжал посещать ее и, между прочим, сказал ей, что он не отвечает за ее жизнь, если у нее опять будет ребенок. Мало-помалу Наташа стала забывать слова Брока и вспомнила только тогда, как почувствовала, что опять будет матерью. Она доверила слышанное от Брока Н. Х. Кетчеру, возвратившемуся из Петербурга30. Н. Х. возмутился такой неосторожностию врача, передал это Александру. Александр взбесился и на Брока и на Армфельд, его рекомендовавшую. Вопрос был, как помочь, как разуверить Наташу. Организм ее был до того потрясен, что неосторожное слово, крик заставляли ее меняться в лице, иногда плакать навзрыд. Кетчер посоветовал пригласить А. А. Альфонского -- умного, опытного врача. Альфонский начал ездить под предлогом для маленького Саши, и всех расположил к себе своим обращением. Александр встречал его как спасителя жизни, Саша бежал навстречу, Наташа становилась спокойнее при нем. Альфонский сумел вызвать Наташу на откровенность и разразился саркастическим смехом над

Предположением Брока. Жаль, сказал он, что я не знал вас прежде, многого бы не случилось.

-- Неужели мой ребенок был бы жив?

-- Ну нет, я не бог. Ваша впечатлительная натура слишком потрясена. Счастье, что ответственность пала на детей. Вы спасены.

-- Вы жестоко судите, доктор,--возразила Наташа, -- я не хотела бы, чтобы мои бедные дети искупали мне жизнь,

-- Вот как, -- сказал Альфонский, -- а я думал, что вы любите и жалеете больше вашего сына и мужа: вы им необходимы как воздух.

-- Ах! -- сказала Наташа. -- Я и за них боюсь; отчего судьбе не вырвать у меня и их!

Несмотря на то что Альфонскому удалось несколько успокоить Наташу, вот что она однажды писала мне:

"Мое сердце наболело, каждое прикосновение к нему чувствительно, бывают минуты, что я спокойнее, бывают и такие, что я не знаю, что с собой делать. Безответная нелепость, отнявшая у меня троих детей, пугает меня. Смотрю на Сашу и думаю то же. То мне кажется -- у меня чахотка; то думаю, что сама умру скоро... все это так нелепо, так несвязно и так странно, страшно!!! Если бы мне можно было наплакаться досыта, а этого решительно нельзя. Бедный Александр, при нем у меня навертываются слезы, я их глотаю -- это тяжело. Временами такое состояние проходит, временами и им будто весело, как будто наслаждаются жизнью... Не отвечай мне на это письмо ни слова, как показать Александру".

Из этого письма можно видеть, в каком состоянии духа находилась тогда Наташа. Такое состояние Наташи тяжело действовало на Александра. Когда она бывала расстроена или нездорова, Александр становился невыносимо беспокоен. Начинал приставать к ней -- что с нею? что она чувствует? -- уговаривал лечь, лечиться, принять того или другого, послать за доктором, спрашивал, что она не говорит, лучше ли ей, терялся до того, что не находил себе места, кончал тем, что у него разбаливалась голова и Наташе приходилось забывать свое нездоровье и ухаживать за ним. Волнение, испуг, приставанье Александра делали то, что Наташа часто скрывала

от него, если чувствовала себя нездоровой, и это много мешало ей поправиться.

Чем ближе становилась развязка, тем страшнее было за Наташу. Она нет-нет да и заговорит: "Ну, если четвертый... а там еще... .лучше умереть", -- и начинала рыдать.

В одно утро я получила записку от Александра: "У Наташи родился сын -- Николай {Глухонемой -- десяти лет он утонул вместе с матерью Александра в Средиземном море, при переезде в Ниццу. *(Прим. Т. Л. Пассек.)*}, мать и дитя здоровы".

Новорожденного крестили Грановский и мать Александра".

ГЛАВА 40

УТРАТЫ

1840--1842

Дума мрачная проснулась
В грустном сердце, -- я душой
На былое оглянулась,
Вдаль смотрю и -- предо мной
Жизни повесть развернулась
Тучей мрачной, громовой.
*Р.*1.

В туманную, сырую осень 1840 года мы с Вадимом и двумя нашими детьми отправились в Корчеву повидаться с родными. Там поместились в покинутом доме моего отца, и когда устроились, Вадим уехал в Петербург, откуда, через несколько дней, писал мне:2

"Вот я и в Петербурге, друг мой, приехал на рассвете. Видел Новгород, видел Волхов, все стихло и стало ручьем великого моря. Верст за сто от Петербурга -- пустыня, леса, болота, деревень почти нет, одни ямские дворы; холодно, пасмурно, сыро, и вдруг -- громада зданий, прекрасные улицы, каналы, корабли, паровозы, монументы, войско -- все это помноженное само на себя, -- вот Петербург...

Прокатился по железной дороге в Царское Село и Павловск. Сначала дико, потом дремал под вечерок. Удобств много. Теперь ты спокойна, я не поеду больше, чтобы ты не тревожилась.

Был у книгопродавцев. С министром надеюсь видеться завтра. *Вадим"*,

Цель поездки Вадима в Петербург была, кроме литературных планов, представить министру внутренних дел "Очерки России" и через Константина Ивановича Арсеньева напомнить в том же министерстве, где он считался на службе, об обещанном ему первом открывшемся штатном месте чиновника особых поручений при министре.

"Вчера обедал у Александра, -- писал мне Вадим 11 октября, -- и условились повторять это каждый день. Он живет с Сережей Львицким, платит за квартиру 2500 рублей, 100 рублей за воду и почти столько же, чтобы носили им дрова на третий этаж; но не думай, чтобы этот этаж был слишком высок; есть и четвертый, и пятый, и шестой. Комнаты высоки и так отделаны, как немного в лучших московских домах. Был и у Алексея Николаевича Савича. Он здесь профессором и все тот же, только еще больше отделился от людей; была бы на небе одна звезда, да на земле на чем стоять, так для него и довольно. *Вадим"3.*

Письмо это, по-видимому, писано из квартиры Александра; в конце прибавлено было им:

"Ну вот, Вадим и в Питере, и мы с ним по-прежнему толкуем да толкуем, и между прочим вспоминаем вас и деток. Что Корчева? некогда мы с вами переписывались беспрестанно, и именно когда еще, во времена допотопные, вы жили дома, а я был полуребенком и

полуюношей. Остальное, вероятно, все написал вам Вадим. Остается только обнять вас и малюток, передать дружеский поцелуй от Наташи и подписаться -- *Александр"*.

В Петербурге дела Вадима шли успешно. Был у Арсеньева, представлялся министру, везде приняли хорошо. "Все чаявшие видеть министра и говорить с ним, -- писал Вадим, -- были со звездами, а я один с "Очерками России". Министр поручил Арсеньеву сделать представление о Вадиме. Арсеньев немедленно с участием принялся за дело. Спустя неделю Вадиму место было обещано в непродолжительном времени; сверх того, дано предписание заведовать составлением статистических сведений о Московской губернии, казенная подорожная и награда за прежде представленные им статистические сведения о Таврической губернии {В 1838 году Вадим Васильевич Пассек, по предписанию министра внутренних дел, был в Крыму для сбора статистических сведений о Таврической губернии. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}.

С известными литераторами того времени он видался почти со всеми. Греч предлагал ему участвовать в журнале, который предполагал издавать с нового года вместе с Кукольником, Полевым и другими; обещал все статьи его принимать с платою по сто пятьдесят рублей за лист ассигнациями4. Александр уговаривал его писать в "Отечественные записки". С Александром Вадим видался каждый день, их прежние интимные отношения восстановились; они вместе проводили вечера, вместе осматривали Эрмитаж, вместе в театре восхищались танцами Тальони и видались с А. Н. Савичем и Белинским.

В ноябре Вадим возвратился в Корчеву, откуда через несколько дней, по зимнему пути, уехали мы в Москву.

В продолжение этой зимы Вадим окончательно сблизился с кругом Александра Фомича Вельтмана, особенно же близко сошелся с самим Вельтманом, человеком чрезвычайно симпатичным, обладавшим оригинальным талантом, исполненным самой причудливой, поэтической фантазии. К этому кругу принадлежали: Владимир Иванович Даль, прославившийся в литературе под именем Казака Луганского народными сказками и физиологическими очерками, выразившими глубокое знание русского человека и

самобытный, сильный талант; Михаил Николаевич Загоскин, производивший одно время всеобщий восторг своим "Юрием Милославским"; художник академик Карл Иванович Рабус, известный талантливыми произведениями живописи, особенно большого размера картиной, изображающей Московский Кремль при лунном освещении5; офицер главного штаба Неелов, ботаник Максимович, М. Н. Лихонин и другие более или менее известные личности, более или менее близкие к этому кругу. На вечерах у Вельтмана мне случалось видать людей замечательных, приезжавших из Петербурга, с Кавказа и других местностей; одни были из его сослуживцев, другие -- желавшие познакомиться с даровитым писателем, известным сверх того безукоризненным благородством и честным направлением, независимым от партий, возбуждавших страсти.

На вечерах Рабуса, кроме людей науки, бывали и художники; чаще всех встречала я там скульптора Ра-мазанова и поэта Ф. И. Миллера. Вечера Рабуса всегда оживлялись приветливым приемом его высокообразованного семейства и простосердечной, игривой веселостию самого хозяина.

Понедельники были наши. Кроме упомянутых личностей, у нас бывали: Федор Николаевич Глинка, профессор Федор Лукич Морошкин, знаменитый романист того времени Иван Иванович Лажечников, -- когда приезжал в Москву; Михаил Николаевич Макаров -- историк-археолог круга Карамзина; де Санглен -- бывший начальник тайной полиции при императоре Александре I в 1802 году6 и, кажется, в 12-м генерал-полицеймейстером при Первой армии. Положение это давало ему возможность знать пропасть событий и анекдотов того времени, которое хотя и нельзя назвать завидным, но в нем виднеется что-то благородное, что-то человечное, отражавшееся в самом правительстве. Де Санглен рассказывал энергично, рельефно -- живой, остроумный, с огромной памятью, он представлял собою живую хронику. Временами посещала нас девица-кавалерист Дурова. Она была уже в пожилых летах, роста среднего, с женским, добродушным кругловатым лицом, одевалась в сюртук с солдатским Георгием в петлице. Бывали также молодые люди статистического комитета, отдел которого причислялся к управлению московского губернатора, И. Г. Сенявина, и находился под заведованием Вадима. В числе статистиков был Зыков, получивший известность тем, что

поступил послушником в монастырь и убил кинжалом княгиню Голицыну, за что был сослан в Сибирь. В начале 1841 года бывали у нас вечерами Т. Н. Грановский и П. Г. Редкий, но, принадлежа к другому кругу, мало-помалу стали бывать редко, хотя и относились к нам симпатично. Из прежних товарищей Вадима в Москве находился только Н. Х. Кетчер; но и он, несмотря на прежнюю близость с Вадимом, вероятно по распавшимся взглядам на некоторые предметы, посещал нас не часто, и то лишь утрами. Ник и Сатин в 1841 году жили за границей, Александр -- в Петербурге, потом в Новгороде, Лахтин умирал в чахотке на Урале. Иногда Вадим видался с С. П. Шевыревым и М. П. Погодиным; последнего он очень уважал и любил7. Впоследствии сблизился несколько с Н. М. Языковым и А. С. Хомяковым.

Средства наши в то время были самые стесненные, несмотря на то что квартиру мы занимали хорошую; дом этот в конце сороковых годов был мною куплен, и мы прожили в нем до семидесятых годов8.

Недостаточность средств отзывалась и на наших понедельниках. Кроме чая с самыми простыми принадлежностями, ничего не подавалось, но, несмотря я а это, на понедельники нередко сбиралось до двадцати пяти человек, а иногда и гораздо больше. Бедность обстановки искупалась искренностию приема и свободой. Входя к нам, каждый чувствовал себя как бы у себя, не стесняясь высказывал свое мнение, не раздражаясь выслушивал противоположное воззрение. Вадим умел сообщить всем -свою терпимость, свое чувство меры и симпатичность; речь его была спокойна, ясна, проста, без преувеличенных идей и чувств и без пылкой заносчивости.

Беседы этого круга касались большей частию литературы, умственного движения, общественных новостей и политики. Часто темой служили жалобы на цензуру, доходившую временами до крайности. Иногда разговоры прерывались чтением еще не изданных произведений или только что появившихся в печати и произносился над ними суд. Вообще же беседы эти были проникнуты знанием жизни и тоном людей образованных -- это был не заколдованный кружок, но сближение людей, принадлежащих к общественной интеллигенции периода того времени, которые в определенные вечера сбирались вместе, чтобы поделиться идеями, впечатлениями, новостями,

отдохнуть от трудов и остальное время недели иметь свободным для дела.

В начале зимы 1841 года Ивана Ивановича Лажечникова в Москве еще не было. Он жил в своей деревне, Коноплине, и 14 января писал нам из деревни:

"Знаю, вы сетуете на меня, милые друзья мои Вадим Васильевич и Татьяна Петровна, за неприсылку портрета. Посылаю его теперь, чтобы исполнить только дружеское желание ваше, но посылаю неохотно, да, неохотно, потому что портрет не схож с оригиналом, потому что в нем нет души; весь характер вялый, болезненный, смятый, а я этого не люблю, и потому портрет мне противен.

При свидании с Петром Ивановичем, разумеется, первый вопрос мой был о вас. Он мне сказывал, что вам в Петербурге было хорошо, что вы исполнили свои надежды. А мои лучшие -- видеть вас, пожить с вами -- не исполняются. Дороговизна московская меня пугает; а если бы вы знали, как скучно, грустно жить зимой в деревне, под снежными сугробами, где поневоле рассеиваешься уездными сплетнями и преферансом, -- какова эта жизнь!

В газетах читаю изумительную для меня новость, что мой "Колдун" кончен и уже отпечатан, между тем как он едва будет кончен в нынешнем году9. Пишу его лениво, как будто поневоле. Знаете ли что? я пишу теперь трагедию, и удивитесь -- стихами. Густав Ваза -- герой моей пьесы10. Коцебу, говорят, написал драму под этим именем; любопытно ее прочесть. План мой... следовательно, она мне не помешает.

Сделайте одолжение, возьмите у Ширяева тот том сочинений Коцебу, где она находится, и пришлите мне с первой почтой...

Пишите нам, что вы делаете? какие у вас литературные, художественные вести? каково идет "Москвитянин"? а более всего -- любите нас по-прежнему. Весь ваш *И. Лажечников".*

23 января Александр уведомлял нас из Петербурга, что bon gré mal gré {вопреки своей воле *(франц.).*} поселяется в Новгороде советником губернского правления11.

"Любезнейший Вадим, -- писал он, -- много и много прожито с тех пор, как ты от Серапина присылал кучера за забытым бумажником. Впрочем, все *в порядке вещей.* Вот Котошихина книга о XVII столетии. Ничто не ново под луною! умилительная книга, я думаю, ты плакал над нею -- и я плачу12.

Статья о Витберговом храме готова, да хочется у себя оставить копию. Он в ужасном положении, и в дополнение -- нездоров {Эта статья -- те самые записки, составленные со слов А. Л. Витберга Александром Герценом, которые напечатаны мною в "Русской старине", изд. 1872 г., т. V, стр. 16--32, 159--192,519--582. *(Прим. Т. П. Пассек.)*13}.

Еду в Новгород. Зачем не тебя бог шлет в этот город стертых надписей, перестроенных монастырей, ганзеатических воспоминаний и православного либерализма? Ты ожил бы смертью его. Ты разобрал бы надпись над архиереем Иосафом, лета 7115 почившего; а я, профан, буду с досадой смотреть на туманное небо, на трескучие морозы, и не вспомню, что от них дрожали ганзеатические купцы. Переберусь в Тверь через год. Тверь лучше. И ты, Корчева, -- город моей древней истории14,-- открой свои объятия.

Читала ли твоя жена, что об ней писал кто-то в XII No "Отечественных записок"? {"Записки одного молодого человека". *(Прим. Т. П. Пассек.)*}15

Теперь от Львитского (С. Л. Левицкого) поручение:

1) Он просит вручить Вельтману рукопись для исправления;

2) Так как он сбирается ехать за границу, то просит вас самих распорядиться о печати и о прочем. Он готов даже отступиться от своих 500 рублей, лишь бы не платить вторых. Я полагаю, вы должны принять такой патриотический порыв и прислать ему после, по лавочной цене, на 500 рублей снов в летнюю ночь. Ведь дело-то в том, что Сатин напечатает, ежели уже не напечатал свой перевод, и тогда пойдет конкуренция довольно опасная. В умилительной, патриархальной стране... {Тут слово в письме вырвано. *(Прим. Т. П. Пассек.)*} Шекспира знают двадцать человек, в том числе и блаженной памяти Сумароков переводил "Гамлета датского принца"16.

3) Должно быть, No 3-й твой ответ. "Прощайте-с, целую ваших деток.

А твоя жена не пишет никогда более одной строчки. Бог ей судья! Все от того, что о татарах думает {"Очерки России": "Поездка в Бахчисарай". *(Прим. Т. П. Пассек.)*}17 и о дивных судьбах патриархального племени. Ах, черт возьми! да она писала когда-то о свинцовых водах Волхова или об оловянных, -- как бишь?

Наташа не очень здорова, вероятно в начале февраля бог даст нам второй No Шушки.

Доставь приложенную записку Сатину. Вот умная догадка переписываться через меня. Как не похвалить!

Картинки посылаются через контору Т.: Африка едет в Корчеву.

Трубочки взяты офицером. *Александр"*.

В продолжение этого лета Вадим составил статистическое описание Московской губернии. Зимой Иван Григорьевич Сенявин представил его в статистический комитет; оно было одобрено и признано образцовым18. Сенявину дали за него в награду шесть тысяч рублей серебром, из числа которых он уделил Вадиму тысячу рублей.

Кроме этих занятий, Вадим составил "Путеводитель по Москве и ее окрестностям"19 и хлопотал с изданием "Очерков России". Издание становилось дорого -- средств не было никаких: что выручалось за напечатание одной книги, то уходило на издание другой. Служба Вадима считалась -- жалованья не давали. Временами гнетущая нужда тяготела над нами, но никогда не раздражала, не разъединяла нас, напротив, как бы больше и больше сближала друг с другом. Погрустим, бывало, вместе да подумаем, как бы делу помочь, и что-нибудь придумается, -- мы довольствовались немногим. Внутренняя жизнь наша была так полна и давала столько счастия, что я даже боялась материального улучшения -- это было бы слишком. Ни горького слова, ни холодного взгляда не пало между нами в продолжение десяти лет нашей жизни вместе.

Однажды, весной 1842 года, приехал к нам архимандрит Симонова монастыря Мельхиседек, и пробыл довольно долго с Вадимом в зале; когда он уехал, Вадим позвал меня к себе и сказал, что Мельхиседек предложил ему сделать историческое описание Симонова монастыря за триста рублей серебром. "Ты знаешь, -- продолжал он, -- как я люблю эту обитель; понятно, что с радостию принял предложение, только вместо платы деньгами просил за мой

труд отвести место на монастырском кладбище для погребения всех нас".

У меня болезненно сжалось сердце, как бы предчувствием.

-- Зачем такое условие, -- сказала я, -- можно не брать платы и без него. Не все ли равно, где бы ни пришлось лежать. Неизвестно, в каком месте кому из нас приведется умереть.

-- Мне показалось, так лучше, -- отвечал Вадим спокойно и даже весело. -- Что же от этого может случиться? только место будет готово.

-- Бог знает! -- с какой-то невольной тоской в груди возразила я.

Мельхиседек привез материалы для истории Симоновой обители. Работа началась и скоро была кончена. Рабус сделал к описанию виды монастыря. Мельхиседек остался доволен. Издание быстро разошлось и доставило монастырю некоторые выгоды.

В 1843 году в XXXII томе "Современника" появилась об этой книге весьма одобрительная рецензия20.

В мае месяце заболела наша трехлетняя дочь Катенька. Близкий приятель Вадима, Федор Иванович Иноземцев, лечил ее и не помог. Когда дитя кончалось, случайно приехал Мельхиседек и вошел в детскую, где мы, обливаясь слезами, стояли на коленях у кроватки умирающей. Мельхиседек прочитал молитву, благословил ее и, обращаясь к Вадиму, сказал: "Что же, Вадим Васильевич, к нам, в обитель, вашего ангела". Через час малютка наша лежала в зале на столе, в белой рубашечке, розовых лентах и цветах, с своей милой улыбкой, застывшей с последним вздохом на ее ротике. Какому видению она улыбнулась, отходя?

В раскрытые окна веяло весной. Какие-то птички чирикали в ветках акации, распускавшейся под окнами залы со двора. Солнце светило весело, лучи его играли с пламенем свечей, горевших вокруг умершей.

Рабус снимал с нее портрет карандашом. Кампиони снял маску. Ночами Вадим плакал у гроба дочери. Через три дня она первая легла на месте, заработанном ее отцом, и -- не последняя.

Пусто стало в доме.

-- Что ты все плачешь? -- часто говорил мне Вадим, сдерживая слезы.

-- Дети у меня не все, холодно мне, Вадим, холодно.

А тут ее платьица, ее игрушки, в кармане фартучка вырезанные из бумаги зверки, цветочки.

Все это она сама перед болезнию уложила в свой ящичек, стоявший в детской на полу.

Сколько горьких слез. было пролито подле этого ящичка!

На девятый день мы поехали к нашей малютке, -- тихо подошли к маленькому холмику: зеленеет, юная жизнь везде пробивается.-- в листочки, в бутоны, в ландыши, в душистые цветы черемухи, склоненной над холмиком. Мы прислонились к черемухе. Тишина непробудная, солнечные лучи, пробираясь сквозь гибкие ветки деревьев, опушенные молодыми листочками, мелькают по надгробным памятникам. Постояли мы подле маленького зеленого холмика, -- как-то странно, тихо; сказали" почему-то несколько слов совсем о постороннем, да вдруг я зарыдала и обняла землю, покрывавшую мое дитя, -- не отозвалась на мои слезы. Она была уже не наша. Оставалось, склонив колена, покориться неизменяемому. В такие минуты человек ищет примирения. Примиряет одна религия.

Я не предвидела, какое несчастие ожидало меня.

В июне 1842 года мы переехали на дачу в Красное Село; Вадим чувствовал себя нехорошо, похудел. Он простудился, а мы относили его "не по себе" к расстройству нерв. В июле прибыл из Новгорода в Москву Саша и тотчас посетил нас на даче21. Он нашел в Вадиме большую перемену, но не сказал нам ни слова, напротив, старался разнообразить разговоры. Между прочим, с большим сожалением говорил о кончине Михаила Федоровича Орлова22. Он бывал у Орлова еще студентом, любил его и всегда с восторгом рассказывал о его мужественной, привлекательной наружности и его юношеском сочувствии современности. Большая часть, молодого поколения того времени поклонялась ему, правительство смотрело на него как на либерала; либералы находили, что он слишком легко наказан сравнительно с другими *декабристами.* Он был возвращен, но не прощен. Энергичный и честолюбивый М. Ф. Орлов чувствовал необходимость делать дело, выразить себя, искал занять высшие правительственные должности -- и принужден был ограничиваться общественной жизнию да устройством своего дома и состояния.

В Москве Михаила Федоровича любили, ценили его возвышенную честность, его рыцарское благородство, и когда он

заболел, то все, что только было достойного уважения, выразило ему свое сочувствие. Многочисленная толпа провожала его До последнего пристанища.

Из числа небольшого интимного круга знакомых Орлова ближе всех к нему и замечательнее был П. Я. Чаадаев. Умный и талантливый, он также тратил свои способности на разговоры, едва ли удовлетворяющие его жажду деятельности.

Саша был счастлив своим переселением в Москву; еще из писем его к родным видно было, что служба, а потом и без службы жизнь в Новгороде тяготит его. Он рвался в столицу, к людям ему симпатичным, к жизни умственной и артистической, к возможности употребить в дело множество сил своих. Только раз, в начале лета, он был оживлен приездом Ника и привезенными им только что вышедшими тогда "Мертвыми душами" Гоголя. Александр пришел от них в восторг, и потом всегда говорил, что находит название этой поэмы чрезвычайно удачным, не только потому, что Чичиков скупает мертвые души, но что и все души, выступающие на сцену, -- души мертвые; один человек живой -- Чичиков, да и тот мошенник. "Утешение -- в будущем", -- добавлял он23.

О "Мертвых душах" говорили везде. Кто бранил, кто восторгался ими.

Отца своего Александр нашел состарившимся, совсем вдавшимся в мелочи и действительно нездоровым, хотя преувеличенно, воображением. Возвращение его нарушило безмолвие и однообразие дома Ивана Алексеевича. Он и семейство его проводили с отцом по нескольку часов ежедневно; но сосредоточиться только на жизни семейной Саша не мог. Вскоре по возвращении своем в Москву он собрал вокруг себя прежний круг друзей, расширил его новыми личностями и горячо отдался товарищеской жизни и литературной деятельности.

25 августа Вадим еще мог быть у Наташи на именинах. Все, находившиеся у них в этот день, отнеслись к нему с глубоким сочувствием, а Саша -- с прежним юношеским чувством любви, забывши, что они противоположно смотрят на некоторые предметы и, вероятно, не разошлись бы больше никогда: они понимали вполне друг друга и ясно видели, что большая часть интересов этого круга составляли интересы и Вадима.

В исходе сентября силы Вадима стали упадать. Я видела это и не понимала -- я далека была от истины; навещавшие нас понимали, но никто ничего не говорил мне, а когда сказали... что было тогда -- думала было пережить еще раз и -- не могла... лучше и не вспоминать!

25 октября 1842 года, в 8 часов утра, Вадим Васильевич Пассек кончил жизнь, от скоротечной чахотки, на 34-м году от рождения, тихо, в полном сознании, причастившись святых тайн, благословивши детей своих. Погребен в Симоновом монастыре, рядом с дочерью.

ГЛАВА 41

<ПО ПРИЕЗДЕ ИЗ НОВГОРОДА>

1842--1843

Encore une étoile qui file, qaï file,
file et disparait.
Beranger {*}1.

{* Еще одна звезда, которая падает, которая падает, падает и рассыпается. Беранже *(франц.).*}

На коленях перед крестом молила себе смерти, при виде малюток сирот чувствовала -- жить надобно. Третий просился в жизнь. Кто же их любить будет? Холодно на свете сиротам.

Долго не могла отчетливо сообразить совершившегося, порой точно удивлялась, спрашивала себя -- что это, не сон ли, как, зачем?

Многие посещали нас. Помню, всех встречала спокойно. Горем своим ни с кем делиться не хотела. Траура не надевала, носила только те платья, которые он видел на мне. Слез моих не видал никто, плакала я оставаясь одна да когда смотрела на детей и видела, что они весело играют. Не раз дети бросали игрушки и с удивлением смотрели на мои градом катившиеся слезы; не раз, с огорчением в детском личике, отирали ручонками мое мокрое от слез лицо.

Вечерами, уложивши детей спать, я уходила в пустую залу, садилась у окна, смотрела на бесчисленные звезды и думала, что же наша звездочка-земля среди этого океана звезд, что же наше горе перед вечностию -- как бы успокаивалась или, скорее, смирялась. Опускался взор на землю и снова встречался с своим безысходным горем.

Средств к жизни у нас не осталось никаких, а остался долг в пять тысяч серебром, большею частию в типографию и литографию да сделанный в болезнь Вадима, и тысяча семьсот рублей по поручительству за моего брата; оба последние долга -- с значительными процентами. Первое время после нашей утраты мне было ни до чего: перед моим несчастием все мне казалось ничтожно. Как и чем нам жить -- меня не тревожило и не заботило. Сегодня есть -- и прекрасно, а откуда -- мне было все равно. С нами жил старший брат Вадима, Егор Васильевич; должно быть, он заботился. Вадим любил его; думаю, умирая, надеялся на него и его дружбе поручал сирот своих. Спустя несколько недель по кончине Вадима брат получил известие из Смоленской губернии, что тетушка наша Наталья Ивановна Пассек {Рожденная Оленина, жена П. П. Пассека, побочного сына П. Б. Пассека. *(Прим. Т. П. Пассек.)*} больна, при смерти, то немедленно бы ехал к ней в ее имение Яковлевичи. Брат немедленно уехал. Тетушка вскоре скончалась; половину имения она оставила сводному брату своего покойного мужа, Михаилу Александровичу Салтыкову, а другую Егору и Валерьяну Васильевичам Пассек. Брат Егор Васильевич обо всем этом сообщил мне; вместе с письмом прислал детям вязаные шерстяные одеяльца и несколько столового серебра, отказанного нам тетушкой; сверх того, обещал высылать детям ежегодно вместе с Валерьяном триста рублей серебром. Столовое серебро я продала за семьсот рублей и уплатила им часть долга в типографию и литографию. Выплатить *все* за Вадима стало моей святой целью. Когда литераторы издали в память его сборник под

названием "Литературный вечер", то полученные, за него деньги отданы были мною в уплату этого долга. Все экземпляры сборника были раскуплены мгновенно, не за достоинство его содержания, а из желания помочь сиротам человека, оставившего по себе самую светлую, самую прекрасную память.

1844 года в тридцать пятом томе "Современника" появилась следующая рецензия:

"ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР"

"Преждевременная кончина Вадима Васильевича Пассека, литератора трудолюбивого, образованного, благородного, который особенно известен изданием "Очерков России", соединила его товарищей на приятное дело благотворительности: они составили и напечатали в пользу семейства покойного рассматриваемую здесь книгу, Участниками в ней были: Н. Горчаков, И. М. Снегирев, А. Вельтман, М. Н. Загоскин, г. Ригельман, М. Н. Макаров, Н. Огарев, С. П. Шевырев, Н. М. Языков, г-жи Павлова и Бакунина, гг. Сатин, Полонский и Подолинский, Ф. Н. Глинка, Неелов и И. Бороздна. Приятное разнообразие составляет отличительный характер этого нового сборника. Литераторы, сообщившие в него свои сочинения, так уже известны у нас своими талантами, что никто не обманется в надежде, если, с прекрасным побуждением участвовать в добром деле, будет ожидать с покупкою книги и занимательного для себя чтения.

Между пьесами поименованных нами писателей помещена небольшая статья покойного В. В. Пассека под названием "Странное желание". Есть еще не конченная им статья "Малороссийская свадьба". Последняя особенно любопытна как подробное изображение всех обрядов у малороссиян при свадьбах. Это остаток сочинений, которые преимущественно любил обрабатывать В. В. Пассек и которым он умел сообщать истинное достоинство литературное и ученое. Посвятив свои занятия и любовь этим патриотическим трудам, не увлекаясь господствующею ныне гибельною для талантов модою переходить беспрестанно от одного рода сочинений к другому (более

прибыточному), В. В. Пассек представил собою образец литератора в истинно достойном его значении"2.

Сердечное сочувствие к нашему несчастию показала нам Елизавета Григорьевна Черткова, рожденная графиня Чернышева, женщина, исполненная чувства и благородства, с которой Вадим, и я дружески сблизились за два последние года его жизни3, и граф Александр Никитич Панин. Александр Никитич был очень расположен к Вадиму, и чувство этой привязанности перенес на его осиротелое семейство. Понимая безвыходность нашего положения, он, с врожденной ему деликатностию, помогал нам: в большие праздники и именины детей привозил им на игрушки по сту и по двести рублей серебром. Нам ли было думать об игрушках!

1843 года 25 марта у меня родилась дочь; крестный отец ее, Александр Дмитриевич Чертков, на другой день крестин подарил новорожденной серебряную вазу -- и вазу продали, чтобы на это жить.

Несмотря на неутомимый труд мой над переводами в разные издания и от времени до времени помощь графа Панина, порой приходилось терпеть такую крайность, что я дня по два ела только хлеб с водой, оставляя детям лишнюю тарелку супа и лишний кусок мяса от нашего бедного обеда. Новорожденная сиротка росла, -- осенью ее не стало, должно быть, молоко мое отравило -- и ее положили на стол в белой рубашечке, розовых лентах и цветах, а через три дня отвезли в Симонов монастырь, к отцу и сестре, на *заработанное* место. В зале прибрали, колыбель вынесли, -- чисто, вымыто, будто и не было ничего, только ладаном попахивает, да что-то холодно в груди, да как-то слишком просторно в доме. Робко смотрела я на двух оставшихся у меня сыновей. Сердце, напуганное утратами, дрожало и за них. На них сосредоточилась вся любовь моя, все заботы мои. Оставляя на свою долю труды и лишения, старалась сделать жизнь их по возможности так радостной, чтобы они, обращаясь к своему детству, встречали только улыбающиеся дни и исполненные бесконечной любви взоры матери; таким образом, жизнь наша текла вместе, но по двум параллельным линиям.

Многие из знакомых посещали нас, чаще всех бывали Елизавета Григорьевна Черткова, Луиза Ивановна и Саша.

Жизнь Саши, по-видимому, счастливая, сколько мне было известно и видно из его оставшихся записок, шла не совсем светло.

Наташа, кроме слабого здоровья, постоянно находилась под гнетущим чувством сомнения в любви к ней мужа; это порой выражалось болезненными сценами, которые Сашу мучили. Он относил их то к ее физическому расстройству, то к воспитанию, к характеру, к привычке сосредоточиваться на печальных мыслях, то весь вред находил в том, что она удаляется от общества, ведет отшельническую жизнь; обвинял себя, зачем часто оставляет ее одну по слишком поглощающим его умственным занятиям; зачем по беспечности не изменил ее душевного настроения и не сумел достаточно счастливо обстановить ее жизнь. Часто заставая ее в слезах -- вначале старался ее развлекать, успокоивал, скрывал свое огорчение, наконец терял терпение и то уходил из дома в каком-то горячечном состоянии, то прибегал к объяснениям, -- объяснения эти редко приводили к желаемому результату. Наташа плакала, говорила, что она, всегда больная, страждущая, портит ему жизнь, что она ему не нужна и лучше бы было ему от нее избавиться, лучше бы ей умереть, что он, конечно, потосковал бы о ней, а потом -- спокойствие. Саша уверял ее в своей любви, говорил, что все ее сомнения -- тени, призраки; Наташа, заливаясь слезами, признавалась, что эти сомнения не оставляли ее с первых дней их жизни вместе, а она только скрывала их от него; что они рождались в ней с их первых встреч и она тогда же поняла, что его натуре может соответствовать натура более энергичная, нежели ее. Когда Александру удавалось уверить Наташу в противном и успокоить, она, рыдая, раскаивалась в своих сомнениях, просила простить ее, затем следовали ясные дни, но ненадолго. Как ни старался Саша улаживать их семейное счастие, как ни устраивал -- опять все рушилось. Внутренний голос подсказывал Наташе мрачные вещи4.

Такое тяжелое состояние еще больше увеличилось по приезде их из Новгорода.

При блестящем уме и редко добром сердце Саша по распущенности и с детства вкоренившейся привычке недолго думая делать все что захотелось, не заботясь, как оно отзовется другим и даже самому себе, впадал иногда в такие промахи и ошибки, которые разрушительно отзывались не только лично на нем, но и на его семействе. Вследствие этой черты его характера в Москве он -- увлекся... не по сердечному чувству... раскаивался, жалел, надеялся,

что все сойдет с рук даром, но оно не сошло, а сделалось источником долгих душевных страданий.

Наташа хотела простить, забыть и -- не могла.

Этого он не ждал. Она была огорчена, оскорблена. Огорчение ее стало принимать все более и более широкие размеры -- Александр терялся перед ее горем, перед ее слезами, чувствуя себя виноватым, просил, умолял, говорил ей: "Я сохранил к тебе любовь во всей ее светлости". Обвиняя себя, писал, мысленно обращаясь к Наташе: "Я поднимусь, -- а рубцы-то, нанесенные мной?-- бесконечная любовь носит в себе и бесконечное чувство самодостоинства. Она плачет не о факте, а об утраченном счастии".

"Этот пятый год моей женитьбы раздавил последние цветы юности, последние упования; людям нравится во мне широкий взгляд, человеческие симпатии, теплая дружба, добродушие -- и не видят, что fond {основание *(франц.).*} всему слабый характер. Во Мне нет твердой, хранительной силы. Мечты, мечты мои! Где вы? последние листы облетели -- и призвание общее, и призвание частное, -- все оказалось призраком, одни сомнения царят в душе, и слезы о веке, о стране, о дружбе, о себе, о ней -- grâce, grâce, pour soi même!" {пощады, пощады для самого себя! *(франц.).*}5

Измученный, он обращался к друзьям за сочувствием, за советом, и находил в сочувствии -- суд, в советах-- предложения, не сообразные ни с его характером, ни с больным состоянием его духа, и упреки, если им не следовал.

Странно и оскорбительно бывает участие большей части людей, даже и любящих нас.

Да, жизнь учит нас мученьями, годами и событиями.

Когда тишина и светлые дни возвращались, Саша отдыхал и ловил эти минуты, чтобы жить и жить. Время смягчило резкий период нравственной боли. Полное восстановление семейного спокойствия он возлагал на путешествие в теплый край, на море, на жизнь только с своей семьей. Чрез посредство графа С. Г. Строганова, хорошо расположенного к нему, он просился за границу, ему отказали6. В то время редко кого отпускали.

Потерявши надежду выехать из России и попортивши себе семейную жизнь, Саша еще с большим жаром отдался кругу своих друзей, ученым занятиям, чтению и литературным трудам. Несколько

статей его, помещенных в "Отечественных записках", приняты были с восторгом7, и влияние их на общество убедило Александра, что призвание его -- литература. "Жребий брошен,-- говорил он, -- призванию моему я пожертвую всем, -- иначе не могу. В последнее время я окреп, возмужал, мне нужен досуг. Теперь больше чем когда-нибудь я надеюсь на силу души"8.

Из записок Саши видно, что в продолжение постоянной жизни его в Москве от сорокового до сорок шестого года он прочитал, кроме Гегеля, философией которого увлекался и которую изучал во всей ее обширности: Декарта, Бекона, Якова Бема, Спинозу, Шеллинга, Фихте, Гердера, Шлоссера, Лессинга, Монтескье, Лукреция, лучших энциклопедистов, -- лучших русских писателей. Перечитал Гете, Байрона, Шиллера. Сравнивая "Estetische Erziehung der Menschheit" {"Эстетическое воспитание человечества" *(нем.).*} Шиллера с рассуждением Лессинга о воспитании человечества, находил, что оно многим предупредило свое время, что это произведение -- пророческое. О лекции Виллеменя писал, что в них оживает XVIII век и они переносят во времена великих имен. С большим интересом читал он и делал извлечения из "Dix ans" {"Десять лет" *(франц.).*} Луи Блана; из "Revolution d'Angleterre" {"Революция в Англии" *(франц.).*} Гизо; "Contre-révolution en Angletere" {"Контрреволюция в Англии" *(франц.).*} Карреля,-- писем Форстера о коммунистах в Швейцарии, Прудона о социализме9. Сверх всего получал лучшие журналы и жарко следил за научным и политическим движением тех годов.

Кроме обширного чтения, он слушал лекции анатомии и физиологии в университете10 и намеревался начать какой-то продолжительный труд. Готовился участвовать в журнале, о разрешении которого просил Грановский. Издание журнала Грановскому не разрешили11.

Интимный круг Александра был известен под названием "круга западников". Западники вскоре вступили в борьбу с кругом, известным тогда под названием славянофилов. Они встречались на вечерах у Елагиных и Свербеевых с Киреевскими, Аксаковыми, Самариным и другими. Несмотря на противоположность воззрений, корифеи западников относились с большим уважением к некоторым личностям из славянофилов. Они высоко ставили братьев Аксаковых; Петра Васильевича Киреевского уважали за широту и искренность принятого

убеждения; в Иване Васильевиче Киреевском находили даровитую, сильно экзальтированную натуру; в Хомякове увлекались блеском ума, логикой и объемистым пониманием. Беседы и споры обеих партий послужили к уяснению некоторых вопросов, и взаимно сделаны были уступки. Западники соглашались, что противники их не без основания верили в великую будущность славян и что призвание этого племени соответствует логически-историческому вопросу, выработанному Европой.

Москва в то время делилась на много партий, связанных одним убеждением, что *настоящее тяжело.* Выход из такого состояния каждый видел на свой образец.

К числу западников принадлежали: Чаадаев, Свербеев, Н. Н. Боборыкин, Сологуб, А. А. Тучков. Впоследствии к ним присоединился Михаил Семенович Щепкин. Прелестные рассказы его о своих прошлых годах, исполненные своего рода иронией, послужили предметом к одной из интересных повестей Александра12.

Лето 1843 года я с детьми прожила в Москве; Александр с семейством уехал в Покровское, откуда писал мне, какие чувства эти места и совершенная ими поездка в Васильевское воскресили в душе его.

"Целый ряд картин, -- писал он, -- мелькнул передо мной между двадцать седьмым и тридцать восьмым годами. С Покровским, с Васильевским, с их лесами, горами, рекою связано мое детство, мое отрочество, время, когда верилось в зорю счастия, когда увлекали древние республиканские идеи и идеалы Шиллера. Тут, лежа под деревом, читался Плутарх; там билось свежее отроческое сердце; в 1837 году жизнь раскрывалась всем блаженством своим; лежала впереди всею прелестию своей, и проч., и вот, -- кончал он, -- измученный, разочарованный, у тех же полей ищу участия..."13

ГЛАВА 49

ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГРАНОВСКИЙ

Дерзкая мысль поправлять царственное
течение жизни человечества далека была от его
наукообразного взгляда; он везде покорялся
объективному значению событий и стремился
только раскрыть смысл их1.

1843 года 23 ноября начались лубличяые чтения Тимофея Николаевича Грановского2. "Блестящая, многочисленная аудитория окружила кафедру молодого доцента, обещавшего ей передать величавую эпопею феодализма, суровую и гордую поэму католицизма и рыцарства, церкви и замка -- этих каменных представителей замкнутой в себе и оконченной эпохи. Благороднейшие представители московского общества сели на скамьях студентов, слушали -- и слушали в самом деле"3.

Когда объявлены были публичные лекции Грановского, весь круг Александра пришел в сильную ажитацию -- как примут? что будет? Всеобщий интерес, все разговоры сосредоточивались на лекциях, все отрешились самих себя4.

Наконец лекции начались. Замечательно, что, кроме достоинства самых лекций, все мало-мальски знакомые с университетским образованием как бы стыдились не бывать на чтениях Грановского. Аудитория во время чтения бывала битком набита. Дамы всех возрастов считались десятками, не только те, которые принадлежали к ученому кругу, но и не заявившие никаких притязаний на ученость. Профессора, студенты, статские, военные наполняли аудиторию,

Все слушали внимательно, с интересом. Все лица были одушевлены, ни на одном не было и тени скуки или утомления. Появление Грановского на кафедре встречалось шумно, рукоплесканиям не было конца. Грановский, впечатлительный и нежный, растрогивался, смущаясь, раскланивался; одною рукой вынимал из кармана платок, другой им утирался, прокашливался; снова вынимал платок, -- пока он приходил в себя. Тогда все умолкало, все взоры устремлялись на молодого доцента, и он тихо, плавно начинал читать; чем далее он читал, тем речь его становилась сильнее, интереснее и, наконец, совсем поглощала внимание слушателей;

слушали задыхаясь от восторга. Александр и тут не мог оставаться покоен. Лицо его горело, он переглядывался с знакомыми, то взорами выражал восторг, то острил на ухо соседу. Конец лекции бывал еще шумнее начала. Поднимался крик, стук, гам такой, что стекла дребезжали в окнах. Раз я была на лекции с Александром, -- говорит Т. А. Астракова, -- другой с Полуденским; по их приглашению, вместе с ними, заходила в профессорскую комнату. Тут я видала Грановского после лекции -- он был взволнован до того, что почти не мог говорить, на глазах у него светились слезы, -- он садился, вставал, улыбался, снова садился -- он был счастлив. Немногим выпадает на долю переживать такие минуты.

Александр написал статью о первой лекции, отвез ее графу С. Г. Строганову и просил поместить в "Московских ведомостях". Граф принял статью с условием, чтобы в ней не было речи о Гегеле, и приказал напечатать в No 142 "Московских ведомостей" 1843 года5.

ПУБЛИЧНЫЕ ЧТЕНИЯ Т. Н. ГРАНОВСКОГО
(Письмо в Петербург)

Нового в нашем литературно-ученом мире немного. Предвижу вашу улыбку при этом слове. "В Москве ленятся, в Москве отдыхают перед трудом". Так -- и нет. Правда, в Москве говорят больше, нежели пишут, думают больше, нежели работают, в Москве иногда лучше любят ничего не делать, нежели делать ничего. Правда и то, что иной раз сквозь видимую апатию прорывается вдруг какое-нибудь явление прекрасное и глубокознаменательное, труд разумный и отчетливый, не механический продукт фабрично-искусственной деятельности, а деяние поэтическое и свободное. К таким явлениям отношу я публичный курс истории средних веков г. Грановского. В самом событии этого курса есть что-то чрезвычайно поэтическое: в то время, когда трудный вопрос об истинном отношении западной цивилизации к нашему историческому развитию занимает всех мыслящих и разрешается противоположно, является один из молодых преподавателей нашего университета на кафедре, чтоб передать живым словом историю того оконченного отдела судеб мира германо-

католического, которого самобытно развивающаяся Россия не имела. Г-н Грановский, года три тому назад оставивший скамьи лучших германских университетов6, посвятивший жизнь свою глубокому изучению европейской истории, выходит перед московским обществом не как адвокат средних веков, а как заявитель великого ряда событий, в их органической связи с судьбами всего человечества; его чтения не могут быть разрешением вопроса, но должны внести в него новые данные; он вправе требовать, чтоб, желая осуждать и отталкивать целую фазу жизни человечества, выслушали по крайней мере симпатический рассказ о ней. Благородную симпатию к своему предмету мы видели, глубоко тронутые, в первых прекрасных словах, которыми открыл г. Грановский курс свой. Эта симпатия великое дело: в наше время глубокое уважение к народности не изъято характера реакции против иноземного; многие смотрят на европейское как на чужое, почти как на враждебное, многие боятся в общечеловеческом утратить русское. Генезис такого воззрения понятен, -- но и неправда его очевидна. Человек, любящий другого, не перестает быть самим собою, а расширяется всем бытием другого; человек, уважающий и признающий права ближнего, не лишается своих прав, а незыблемо укрепляет их. Мы должны уважить и оценить скорбное и трудное развитие Европы, которая так много дает нам теперь; мы должны постигнуть то великое единство развития рода человеческого, которое раскрывает в мнимом враге брата, в расторжении -- мир: одно сознание этого единства уже дает нам святое право на плод, выработанный потом и кровью -- Западом; это сознание с нашей стороны есть вместе мысль и любовь -- оттого оно так легко; логика и симпатия всего менее теснят человека: человек создан, чтоб думать и любить. Первые слова Грановского, проникнутые любовью, проникнутые мыслию, заставили меня ожидать многого от его чтений! И какою блестящей аудиториею окружила Москва человека, обещавшего ей передать величавую эпопею феодализма, суровую и гордую поэму католицизма и рыцарства, церкви и замка -- этих каменных представителей замкнутой в себе и оконченной эпохи. Да, московское общество самым лестным образом оценило приглашение доцента: благороднейшие представители этого общества (мы говорим о дамах образованнейшего круга) сели на скамьях студентов и слушали -- и слушали в самом деле, мы видели это. И после этого

говорите, что всеобщие интересы не имеют глубоких корней в публике: она с необыкновенным тактом оценила всю современность живой, всенародной речи об истории. В наше время история поглотила внимание всего человечества, и тем сильнее развивается жадное пытанье прошедшего, чем яснее видят, что былое пророчествует, что, устремляя взгляд назад, мы, как Янус, смотрим вперед. Дух, понимая свое достоинство, хочет оправдать свою биографию, осветить ее восходящим солнцем мысли, освободить от могильного тлена бессмертную душу прошедшего, как то наследие его, которое не точится молью. История если не страшный суд человечества, то страшное оправдание, всех-скорбящее прощение его; история -- чистилище, в котором мало-помалу временное и случайное воскресает вечным и необходимым, тело смертное преображается в тело бессмертное. Память человечества есть память поэта и мыслителя, в которой прошедшее живет как художественное произведение. Но что же нового скажет г. Грановский? Разве мало писано об истории средних веков, начиная с французов XVIII столетия, не понимавших прошедшего, и до Лео, который не понимает настоящего?7 Человечество в разные эпохи, в разных странах, оглядываясь назад, видит прошедшее, но самым образом воспринимания и отражения его раскрывает само себя. Чтоб привести первый пример, попавший в голову, вспомните, каким рядом метемпсихоз гомерические и софокловские герои перешли сквозь душу Сенеки, Расина, Альфиери, Гете8. Сам Грановский сказал, что ни в чем так ярко не выражается характер народа, как в понимании истории; я совершенно согласен с ним и потому именно придаю такое значение его чтениям. Для нас века готические не имеют того смысла, как для западного европейца: архитектура огивы9 не напоминает нам ни отчего дома, ни храма божия; рыцарские поэмы и западные легенды не похожи на наши колыбельные песни; для нас средние века имеют иной интерес, чисто человеческий, бескорыстный, отрешенный от всякой непосредственности. Мы породнились с Европой, когда феодализм, последовательный и неумолимый в консеквентности, своими ногами стал себе на грудь, своим языком громогласно отрекся от своих родителей и, забыв свое сердце, положил краеугольным камнем нового здания свою голову, поседелую от мысли. Мы сначала узнали новую Европу, а потом справились о ее происхождении. Оттого наш взгляд на

прошедшее Европы не может быть взглядом старших -- европейцев. Западноевропейский историк -- судья и тяжущийся вместе, в нем не умерли семейные ненависти и распри, он человек какой-нибудь стороны -- иначе он апатический эгоист, он слишком врос в последнюю страницу истории европейской, чтоб не иметь непосредственного сочувствия с первою страницей и со всеми остальными. Нет положения объективнее относительно западной истории, как положение русского. Насколько Грановский в своих чтениях удовлетворит тем ожиданиям, которые я предъявляю, увидим впоследствии; но первая лекция -- ключ к курсу; он благородно и прямо указал основания, на которых будет читать: они широки, современны и проникнуты любовью.

Первая лекция была посвящена изложению развития науки истории; г. Грановский остановился, кажется, на Фихте. Два частные замечания я сделал бы ему: он слишком скудно определил влияние Канта на историю и все еще по старой привычке слишком много приписывает Гердеру. Гердер был прекрасное явление в германской беллетристике, симпатический человек, открытый всем интересам искусства и науки, всему сочувствовавший и ничего не знавший основательно; окруженный толпою немецких педантов и цеховых ученых того времени, он мог сосредоточить на себе любовь современников и даже заставить их поверить в свое глубокомыслие, но он мыслил фантазией, он был поэт и дилетант в науке -- и оттого не был двигателем. Что же касается до Канта, то дело совсем не в том, что он писал об истории, но какой он дал мощный толчок всему разумению человеческому; кантианизм отразился во всех сферах мысли -- и во всех сделал переворот. История не могла быть изъята, и, действительно, Шиллер пошел от кантианизма -- и развил его до своих "Писем об эстетическом воспитании человечества". А эта диссертация в письмах -- колоссальный шаг в развитии идеи истории10.

Но на сей раз довольно. Если что-нибудь не воспрепятствует, я доставлю вам общий обзор лекций и несколько частных замечаний. Надеюсь, что г. Грановский не подаст на меня в суд челобитную, как Шеллинг на Паулуса11. Мы, русские, как-то не привыкли свою мысль, свсе слово считать товаром, личной собственностью. Грановский читает довольно тихо, орган его беден, но как богато искупается этот физический недостаток прекрасным языком, огнем, связующим его

речь, полнотою мысли и полнотою любви, которые очевидны не только в словах, но и в самой благородной наружности доцента. В слабом голосе его есть нечто проникающее в душу, вызывающее внимание. В его речи много поэзии и ни малейшей изысканности, ничего для эффекта; на его задумчивом лице видна внутренняя добросовестная работа. Вот все, что я могу вам сообщить.

Рама, назначенная г. Грановским, обширна: он хочет прочесть историю средних веков до конца, то есть до того времени, как католицизм развился в Лютера, феодальная раздробленность в самодержавную централизацию, и Европа стала до того тесна вновь развивающемуся миру, что великий генуэзец отправился искать Новый Свет.

Прощайте! -- жду известия о ваших университетских и литературных событиях. *А-р.*

В первой лекции Грановский изложил развитие науки истории. Во второй говорил о философии истории, защищая философию. Главный характер его чтений было развитие человечности, сочувствие всему живому, поэтическому -- любовь к возникающему и отходящему.

Изложение его было смело, откровенно, язык благороден, речь, исполненная ясности и теплоты, порой восходила до вдохновения.

Публика увлекалась до восторга.

Когда Грановский пришел на следующую лекцию, толпа была так велика, что он с трудом пробирался до кафедры; когда он поравнялся с Александром, тот встал с своего места и, почтительно поклонившись ему, сказал: "Дальше пройти нельзя -- все занято". Находившиеся вблизи засмеялись, Грановский, улыбаясь и конфузясь, остановился на минуту, сказал несколько слов с Александром и стал пробираться дальше. Толпа, теснясь, расступалась, и молодой доцент взошел на кафедру. Его встретил гром рукоплесканий. Он ждал и не вдруг пришел в нормальное состояние.

В "Москвитянине" сделано было замечание Грановскому, почему он, читая о средних веках Европы, ничего не сказал о России? стоит со стороны западной науки и слышно, что намерен держаться Гегеля?12

Замечание "Москвитянина" заставило опасаться закрытия публичных лекций Грановского, тем больше, что увлечение публики росло. Желая предупредить это и оправдаться, на первой же лекции,

после сделанного ему замечания, Грановский, обратясь к слушателям, сказал: "Считаю необходимым оправдаться перед вами: меня обвиняют в пристрастии к Западу; я взялся читать часть его истории и не вижу, почему должен читать ее с ненавистью. Запад кровавым потом выработал свою историю, плоды ее достались нам почти даром, нет права не любить ее. Если бы я взялся читать нашу историю -- и в нее принес бы ту же любовь. Меня обвиняют в пристрастии к системам -- я имею свои ученые убеждения, и только во имя их явился на этой кафедре. Рассказывать ряд событий и анекдотов не входило в мой план, проникнуть их мыслию..."13 Рукоплескания не дали ему кончить речь и проводили из аудитории. Грановский в своих лекциях касался вопросов, волнующих душу. Когда он говорил о славянском мире, трепет пробегал по аудитории, слезы блестели на глазах. Грановский, сильно тронутый, благодарил просто, замолкал, когда речь его прерывалась рукоплесканиями, и кланялся. Крики, шум, аплодисменты, торжественный беспорядок, доценту жали руки -- он вышел в лихорадке.

Публика вкусила упоение всенародной, энергической речи. Друзья сделали Грановскому обед. Весело, шумно, пьяно окончился этот день.

Александр написал вторую статью о лекциях Грановского -- и также просил графа Строганова напечатать ее в "Московских ведомостях". Граф отказал. Тогда Александр поместил ее в "Москвитянине", Она вышла в седьмом нумере 1844 года, 22 июля14.

О ПУБЛИЧНЫХ ЧТЕНИЯХ г. ГРАНОВСКОГО
(Письмо второе)

Публичные чтения Грановского кончились: в ушах моих еще раздается дрожащий от внутреннего волнения, глубоко потрясенный от сильного чувства голос, которым он благодарил слушателей, и дружный, громкий, продолжительный ответ, которым аудитория прогремела ему свою благодарность. "Благодарю еще раз, благодарю тех, которые, сочувствуя мне, разделили добросовестность моих ученых убеждений, благодарю и тех, которые, не разделяя их, с

открытым челом, прямо и благородно высказывали мне свою противоположность!" Этими прекрасными словами заключил Грановский свой курс. Вы помните, что после первого чтения я решился назвать событием замечательным этот курс, -- теперь я имею некоторое право сказать, что не ошибся. Участие к чтениям г. Грановского беспрерывно возрастало, его кафедра была постоянно окружена тройным венком дам, и заметьте, доцент читал свой предмет со всею важностью науки, не рассыпая ненужных цветов, не жертвуя глубиною для *приятной легкости.* Мне кажется, ничем не мог он более выразить своего уважения и благодарности слушательницам, посещавшим его чтения,-- и они были ему признательны. Слава богу, проходит время того оскорбительного внимания к женщине, когда для неё, рядом с дельным изложением науки, излагали предмет намеренно искаженным образом, считая один мужеский ум способным к глубокомыслию.

Московское общество узнало, сидя на университетских скамьях, новое увлекательное и сильно занимающее наслаждение, преподавателям открылась очевидная возможность нового действования и указан путь, по которому достигается сочувствие. Я уверен, что с легкой руки Грановского начнутся в нашем университете публичные чтения о предметах, равно исполненных общего интереса -- новое сближение города с университетом15. У нас не может быть науки, разъединенной с жизнию: это противно нашему характеру; потому всякое сближение университета с обществом имеет значение и важно для обоих. Преподавание, для приобретения сочувствия, должно очиститься от школьного формализма, оно должно из холодной замкнутости сухих односторонностей выйти в жизнь действительности, взволноваться ее вопросами, устремиться к ее стремлениям. Общество должно забыть суету ежедневности и подняться в среду общих интересов для того, чтоб слушать преподавание. Оно готово это сделать. Такт общества верен: все живое и сочувствующее ему находит в нем неминуемое признание: курс Грановского -- лучшее доказательство. У нас публичные чтения в таком роде -- новость. Весьма может быть, что часть публики сначала явилась полушутя, ради новости; но после первых трех-четырех чтений аудитория была совершенно симпатично настроена, внимание деятельное, напряженное виделось на всех лицах; это сочувствие

сильно отразилось на преподавании. Между слушателями и преподавателем (если в самом деле одни слушают, а другой преподает) образуется необходимо магнетическая связь, с обеих сторон деятельная: сначала они будто чужие друг другу, но мало-помалу между ними устанавливается уровень, и когда он приходит в сознание обоих, тогда взаимнодействие растет быстро, слова увлекают слушателей, и аудитория, срастающаяся в одно нравственное лицо, увлекает говорящего. Скажу прямо и знаю, что Грановский не обидится этим: он видимо развивался читая, он рос, крепнул на кафедре. Слушатели не отстали от него: аудитория и доцент расстались друзьями, глубоко тронутые, глубоко уважающие друг друга, они расстались со слезами на глазах.

Главный характер чтений Грановского: чрезвычайно развитая человечность, сочувствие, раскрытое ко всему живому, сильному, поэтичному, сочувствие, готовое на все отозваться; любовь широкая и многообъемлющая, любовь к возникающему, которое он радостно приветствует, и любовь к умирающему, которое он хоронит со слезами. Нигде, ничему не вырвалось слова ненависти в его чтениях; он проходил мимо гробов, вскрывал их, но не оскорбил усопших. Дерзкая мысль поправлять Царственное течение жизни человечества далека была от его наукообразного взгляда; он везде покорялся объективному значению событий и стремился только раскрыть смысл их. Мне кажется, что именно этот характер преподавания возбудил такое сильное участие общества к чтениям Грановского. Уметь во все века, у всех народов, во всех проявлениях найти с. любовию родное, человеческое, не отказаться от братии, в каком бы они рубище ни были, в каком бы неразумном возрасте мы их ни застали, видеть сквозь туманные испарения временного просвечивание вечного начала, то есть вечной цели -- великое дело для историка. Много раз, когда я слушал Грановского, живо представлялся мне Горацио, с стесненным сердцем повествующий повесть о Гамлете, возле помоста, на котором покоится тело его16. В Горацио и мысли нет воскресить принца; смерть Гамлета для него событие, он сам сквозь слезы указывает на юного Фортинбраса, которому завещана кровавая порфира, но он не может отказать в грусти падшему; так и в сочувствии Грановского к средним векам не было ничего вспять текущего, обращающего назад. Любовь и сочувствие к побежденному -- верх победы. Неподвижные

тени, забытые отшедшим миром на почве нового, всего менее могут устоять против теплого дыхания любви; они распускаются в светлую влагу, отдавая себя на утоление жажды новых поколений. Но эта любовь не легко достигается. Русский историк стоит на почве, которая ему чрезвычайно облегчает объективное симпатическое воззрение на западную историю. Незакупленная мысль наша может, освещая средневековые события, сохранить высокий характер кротости и милосердия, явиться примиряющею и вселюбящей: мы были чужды феодальной жизни Европы, мы ни наследий не стяжали от этого времени, ни родовых болезней. Мы целовальники, взятые из другого края, у которых не может быть личностей ни против кого, ни за кого. Не так для германца: он в борьбе с своим воспоминанием, он чувствует родственную любовь и родственную ненависть к нему, он или падет под бременем богатого наследия, или должен отречься от отца с матерью. Былое Европы для него еще живо: он, выходя на арену, не может сохранить спокойствие судьи; вместо благотворной теплоты, в душе его является пристрастие или пожирающий пламень критики -- беспощадный и неотступный: Ошибаться не надобно: этот гнев, эта критика -- тоже любовь, но любовь, доведенная до крайности, ревнивая, карающая, оскорбленная. Страстная односторонность в истории Запада простительна западному человеку и была бы странна в русском. Откуда взять увлеченному в омут событий, в самом круговороте их ровное и мудрое беспристрастие зрителя; не будет ли это ниже или выше достоинства человеческого, не надобно ли для этого сделаться Талейраном или Гете. Sine ira et studio! {Без гнева и пристрастия! *(лат.).*} неужели вы верите, что Тацит писал sine ira? Повторяю сказанное в первом письме: нет положения объективнее относительно прошедшего Европы, как положение русского. Конечно, чтоб воспользоваться им, недостаточно быть русским, а надобно достигнуть общечеловеческого развития, надобно именно не быть исключительно русским, то есть понимать себя не противоположным западной Европе, а братственным. Понятие братства не поглощает самобытности братии, но и самобытность их, как лиц, не противополагает их друг другу врагами, что уничтожило бы братство. Отталкивающее противоположение себя чему-нибудь не может достигнуть объяснительной точки; вражда в основе своей субъективна; быть в противоположности -- значит отказаться от пониманья

противоположного, потому что пониманье есть именно снятие противоположности. Доколе мысль ревниво отталкивает противоположное, она ограничена им, как чуждым, и это чуждое делается камнем преткновения, брошенным на всех путях ее. В Уложении сказано: "А буде который судья истцу будет недруг, а ответчику друг, и тех истца и ответчика тому судье не судить". Нам чрезвычайно легко достигнуть этой юридической состоятельности: стоит хотеть и уметь воспользоваться нашим положением. Прошедшее Европы не тревожит нас ни как утрата, ни -как угрызение совести: оно имеет для нас иной великий интерес.

Dich stört nicht im Innern,
Zu lebendiger Zeit,
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit {*} 17.
{* Тебе, живущей в настоящем, не тревожат душу ни напрасные воспоминания, ни бесполезные споры *(нем.).*}

Грановский (несмотря на упреки, деланные ему в начале курса) прекрасно понял, каков должен быть русский язык о западном деле. Он ни разу не внес в катакомбы чужих праотцев ни одного слова, ни одного намека из сегодняшних споров их наследников; не для того взята была им в руки запыленная хартия средних веков, чтобы в ней сыскать опору себе, своему образу мыслей: ему не нужна средневековая инвеститура, он стоит на иной почве. От этого его преподавание получило тот характер искренности и добросовестности, ту многостороннюю полноту и пластичность, которая так редко встречается в истории; события, не сгнетаемые никакой личной теорией, являлись в его рассказе совершенно ожившими. Мне случалось много раз слышать нелепые вопросы, почему он не высказывается яснее, что он хочет доказать, какая цель его? он и любит феодализм и рад его падению -- и пр. Все эти вопросы, впрочем, последовательнее, нежели думают: все живое чрезвычайно трудно уловимо именно потому, что в нем скипелось бесчисленное множество элементов и сторон в один движущийся процесс; живое приводится в сознание только спекуляцией или созерцанием, а благоразумная рассудочность видит в нем один беспорядок, жизнь ускользает от ее

грубых рук. Многосторонность живого наводит страх и уныние на односторонних людей, они требуют du positif! {положительного! *(франц.).*} Так полипы, лишенные собственного движения, липнут всю жизнь на одной стороне камня и гложут мох, его покрывающий. Этим *беспозвоночным* умам легче было бы в десять раз понять историю, подтасованную с какой бы то ни было точки зрения; но Грановский слишком историк в душе, чтобы впасть в ненужную односторонность и не воспользоваться прекрасным положением. История очень легко делается орудием партии. События былые немы и темны; люди настоящего освещают их, как хотят, прошедшее, чтоб получить гласность, переходит через гортань настоящего поколения, а оно часто хочет быть не просто органом чужой речи, а суфлером; оно заставляет прошедшее лжесвидетельствовать в пользу своих интересов. Такое вызывание прошедшего из могилы унизительно, но есть возможность извинить эти чернокнижные попытки при известных обстоятельствах: феодализм, папская власть, аристократия, среднее состояние и проч. не просто предметы изучения и науки для Запада, а знамена партий, вопросы на жизнь и смерть. Умерший порядок дел имеет в Европе своих поверенных, продолжающих тяжбу; но к этой тяжбе мы менее, гораздо менее прикосновенны, нежели даже Северо-Американские Штаты. Это не наши споры и не наша вражда; мы вступаем в общение с Ев: ропой не во имя ее частных и прошедших интересов, а во имя великой общечеловеческой среды, к которой стремится она и мы; наше сочувствие есть собственно предчувствие грядущего, которое равно распустит в себе все исключительное -- романо-германское ли, или славянское оно.

Грановский миновал другой подводный камень, опаснейший, нежели пристрастие в воззрении на феодальные события. Знакомый с писаниями великих германских мыслителей, он остался независим. Он прекрасно определил современное состояние философии истории во втором чтении, но не подчинил живого развития никакой оцепеняющей формуле; Грановский смотрит на современное состояние жизни как на великий исторический момент, которого не знать, которого миновать безнаказанно нельзя, так, как нельзя и остаться в нем навеки не окоченевши. Чтоб очевидно указать глубокий исторический смысл нашего доцента, достаточно сказать, что, принимая историю за правильно развивающийся организм, он нигде не

подчинил событий формальному закону необходимости и искусственным граням. Необходимость являлась в его рассказе какою-то сокровенной мыслью эпохи; она ощущалась издали как некий Deus implicitus {связанный бог *(лат.)*.}, предоставляющий полную волю и полный разгул жизни. Величайшие мыслители Германии не миновали соблазна насильственного построения, истории, основанного на недостаточных документах и односторонних теориях, -- это понятно: сторона спекулятивного мышления была ближе их душе, нежели живое историческое воззрение. Их теоретическая и тягостная необходимость явилась доведенною до нелепости в сочинениях некогда очень известного Кузеня. В Кузене я вижу Немезиду, мстящую немцам за их любовь к отвлеченности, к сухому формализму. Немцы должны были сами расхохотаться, читая, куда они завели доброго и бесхитростного галла, вверившегося им. Он таким внешним образом понял необходимость, что чуть не выводил из общей формулы развития человечества кривую шею Александра Македонского. Это была реакция вольтеровскому воззрению, которое, наоборот, приводило судьбы мира в зависимость от очертания носа у Клеопатры.

Грановский обещает напечатать свои чтения; тогда, посылая вам книгу, я попытаюсь разобрать самый курс, поговорить об нем подробно. Теперь позвольте кончить -- надеюсь, что вы против этого ничего не имеете. *А-р.*

Когда Грановский по окончании первого курса благодарил публику -- восторг был неслыханный. Все встали. Многие бросились к кафедре, жали ему руку, дамы махали платками, молодые люди кричали "браво!". Грановский был бледен, -- выйти не было возможности, -- хотел сказать несколько слов, и не мог. Шум, треск, рукоплесканья и крики "браво", -- восторг удвоился. Публика шумела в аудитории, студенты построились на лестнице. Измученный от волнения, Грановский вошел в правление -- там ожидали его друзья18.

В тот период времени Грановский был из лучших, но не единственный из числа молодых профессоров добросовестной учености, сильно двинувших вперед Московский университет.

История их не забудет, вспоминая о них, сказал Саша19.

В июне 1844 года Александр с своим семейством уехал в Покровское. Лето этого года стояло дождливое, пасмурное, грозное --

он писал из Покровского: "Дождь льет день и ночь, ветер рвет ставни, шагу нельзя сделать из комнаты, и, странное дело! я ожил, поправился, веселее вздохнул... Выйдешь под вечер на балкон, ничто не мешает взгляду; вдохнешь в себя влажно-живой, насыщенный дыханием леса и лугов воздух, прислушаешься к дубравному шуму -- и на душе легче, благороднее, светлее, какая-то благочестивая тишина кругом успокаивает, примиряет... Кажется, годы не выехал бы отсюда..."

Почти этими словами он начал писать в Покровском ряд писем об изучении природы, обращенный к друзьям20.

Несмотря на дурную погоду и непроездные дороги в экипаже в сорока верстах от Москвы, друзья навещали их. Раз ночью, в страшную грозу, приехал к ним Корш с женой и ребенком21, вслед за ними явились и еще посетители и провели у них несколько дней весьма оживленно.

По возвращении Саши в Москву Иван Алексеевич стал советоваться с ним насчет духовного завещания22. Весь капитал свой и два дома в Москве со всем, что в них находится, он оставлял Александру, его матери и Егору Ивановичу. Сверх того, Александру -- саратовское именье23. Подмосковное село Покровское, доставшееся Ивану Алексеевичу после брата его, Льва Алексеевича, назначал родному племяннику своему по сестре, Дмитрию Павловичу Голохвастову, с условием выплатить значительную сумму: Александру, детям Льва Алексеевича и разные мелкие награды, в числе которых назначено было мне три тысячи.

Все эти выдачи вместе чуть не равнялись стоимости самого имения, главная ценность которого, как я слыхала, состояла в лесе.

Дмитрий Павлович отказался и от наследства- и от участия в распоряжении по духовному завещанию; вместе с тем перестал бывать у дяди. Иван Алексеевич несколько встревожился, но не растерялся, -- он позвал к себе Александра и сказал ему:

-- Митя не желает Покровского, в таком случае передаю его тебе.

Александр отказался в свою очередь. Иван Алексеевич нашелся и тут:

-- Не думай, любезный,-- сказал он ему,-- чтобы Митин и твой отказ от моего имения очень огорчили меня, я найду ему место -- отдам на богадельню.

Александр был в хороших отношениях с Дмитрием Павловичем, продолжал с ним видаться -- и дело по наследству мало-помалу было улажено. Иван Алексеевич, увидавши, что несообразность его распоряжений поняли, -- согласился на разумные уступки. Покровское осталось за Дмитрием Павловичем, сколько помню, без всяких уплат24. Мелкие награды переведены были на капитал Ивана Алексеевича, только уплату назначаемых мне трех тысяч рублей серебром Дмитрий Павлович пожелал удержать за собою.

Я случайно пришла в дом Ивана Алексеевича в самый тот день, как он кончался. Он сидел в своем кабинете на вольтеровских креслах перед небольшим письменным столиком -- закрывши глаза, с предсмертной бледностию на лице. Подле него стоял Александр и поддерживал его голову. В комнате, в глубоком молчании, сидели все домашние, Г. И. Ключарев и Дмитрий Павлович Голохвастов. Увидавши меня, Дмитрий Павлович указал мне место подле себя и после нескольких слов привета вполголоса сказал: "Вы не забыты в духовном завещании, вам назначено три тысячи".

Через шесть недель по кончине Ивана Алексеевича деньги эти мне были выданы {На эти три тысячи рублей, с присоединением к ним тысячи рублей, полученных мною от княгини Хованской, и тысячи рублей от моей тетки Смаллан, в 1844 году купила я на Остоженке дом, тот самый, который мы занимали с Вадимом, и прожила в нем после его смерти с детьми до начала 1870-х годов. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}.

Керенскую деревню Иван Алексеевич еще при жизни отдал дочери Льва Алексеевича -- Софье Львовне, бывшей замужем за инженерным полковником А. В. Поленовым25; Васильевское с деревнями продано было Николаю Павловичу Голохвастову. Новоселье с Уходовом давно было продано Гурьеву, сколько помню, за сумму между пятьюстами и восьмьюстами тысяч рублей ассигнациями.

Весь капитал, полученный за проданные родовые имения, Иван Алексеевич, по духовному завещанию, передал детям своим: Егору Ивановичу сто пятьдесят тысяч рублей серебром, Александру -- триста тысяч рублей серебром, матери его -- двести тысяч рублей серебром"

Устроивши дела по наследству, Александр уехал в Соколово. Там же по-соседству наняли себе помещения некоторые из друзей его -- и каждый день все собирались вместе. Я была у Александра один раз в

Соколове и видела весь их круг в сборе. Несмотря на кратковременность моего там пребывания, я заметила, что в их круг забрались недоразумения, мелкая обидчивость, вследствие которых начиналось внутреннее распадение26.

С славянофилами в это время они совсем разошлись. Стихи Языкова едва не повели к дуэли Петра Васильевича Киреевского с Грановским, -- после чего расстаться сделалось неизбежно27.

Они и расстались, ко со взаимным уважением.

В 1845 году, 21 февраля, Т. Н. Грановский защищал свою диссертацию на степень магистра28. Я не <5ыла на диспуте, но слышала, что его встретили овациями, возражали с ожесточением, а он отвечал кротко, с полным обладанием своим предметом.

По окончании диспута граф Строганов поздравил Грановского, раздались рукоплескания, на лестнице новые аплодисменты. Перед университетом ожидала толпа студентов; едва уговорили ее разойтиться.

Слышно было, что на первую лекцию Грановского готовится сильная демонстрация. Инспектор, узнавши об этом, просил его предупредить, чтобы никаких демонстраций не было.

Войдя на кафедру, Тимофей Николаевич, стоя, обратись к студентам, сказал:

"Милостивые государи! позвольте поблагодарить вас за 21 февраля. Этот день скрепил наши отношения неразрывно. Я получил от вас самую прекрасную награду, какую только может получить преподаватель в университете; вполне чувствую ее, и еще с большей ревностию посвящу жизнь мою Московскому университету. Позвольте мне обратиться к вам с просьбою. Я осмеливаюсь просить вас, милостивые государи, не изъявлять больше наружным образом вашего сочувствия. Мы слишком близки друг другу, чтобы надобны были такие доказательства. Я прошу вас об этом не потому, чтобы считал опасными для вас или для себя такие изъявления вашей симпатии. Она останется на всю жизнь моим лучшим воспоминанием. Зачем наружные знаки? Вы и я принадлежим к молодому поколению. У нас общее прекрасное дело -- посвятить наши занятия серьезному изучению, служению России, вышедшей из рук Петра I, удаляясь равно и от пристрастных клевет иноземцев и от старческого, дряхлого желания восстановить древнюю Русь во всей ее односторонности".

Студенты не аплодировали. Они слушали в благоговейном молчании.

Все, что делал Грановский, было исполнено благородства и такта, указывавшего ему границы, в которых надобно держаться.

В продолжение этого периода времени Александр приобрел известность в литературе. О нем сказано было в отделе критики одного из журналов: "Как чудно автор умел довести ум до поэзии! какая глубокая мысль, какое единство действия, как все соразмерно, ничего лишнего, ничего недосказанного, какая оригинальность слога, сколько ума, юмора, остроумия, души, чувства... Если это залог целого ряда таких произведений в будущем, то мы смело можем поздравить публику с приобретением необыкновенного таланта, совершенно в новом роде"2Э.

Невзирая на мою близость с домом Александра, внутренняя семейная жизнь его -- этого времени -- мне была известна только отчасти, и можно сказать, односторонне, иногда из сделанной им мне доверенности, а чаще из рассказа его матери. Записки Т. А. Астраковой пополняют этот недостаток и освещают некоторые события, касающиеся их внутренней жизни и характера Наташи, -- поэтому и позволяю себе делать из них выписки30.

"Александр, -- сказано в записках Т. А. Астраковой,-- желал ввести жену свою в круг тогдашних дам ученых, где под председательством А-ой и А. П. Елагиной собирались славянофилы и западники, литераторы и ученые. Из числа известных дам там бывали: Ховрины, баронесса Карлсгоф (впоследствии вышедшая за профессора Драшусова), К. К. Павлова (ученица Баратынского), Васильчиковы, Новосильцевы (ученицы Грановского) и другие.

Наташа отказалась *от* этих вечеров. Она любила тишину домашнего круга и беседу друзей Александра, порой серьезную, порой шутливую, всегда задушевную.

Несмотря на то что Наташа почти нигде не бывала, многие из дам ученого круга, различной среды и различных взглядов бывали у нее; но она относила их посещения к желанию сделать приятное Александру, и не сближалась с ними31.

Наташа была нездорова и не могла бывать на лекциях Грановского, на которых исключительно был сосредоточен всеобщий интерес. Как ни старался Александр объяснять ей содержание этих

чтений, все было не то, что слушать самой; тогда Грановский предложил прочитать несколько лекций из средней истории у них на дому. Он читал в кабинете Наташи; слушали, кроме его товарищей, я, Наташа, Марья Каспаровна Эрн, она же и записывала эти лекции, и Марья Федоровна Корш. Не стесненный ни цензурой, ни публикой, Грановский читал полно, живо и до того увлекательно, что присутствовавшие превращались в слух и наслаждение; нередко по лицу иных скатывались слезы. Кончивши чтение, Грановский, растроганный всеобщим восторгом и сочувствием, спешил уйти.

Кто только знал Грановского, тот и любил его. Это был человек не только замечательно умный, но и в высшей степени добрый, чистый, благородный, бескорыстный. Последнее качество я испытала на себе, -- сказано у Т. А. Астраковой, -- и видала на других. По смерти отца своего Грановский получил небольшое наследство (кажется, в конце 1847 года); когда понабралось у него около двух тысяч рублей, он начал навязывать деньги своим друзьям, в том числе и моему брату, Сергею Ивановичу,-- это было при мне.

-- Не надобно ли вам, батюшка, -- говорил он, -- денег? возьмите, пожалуйста, у меня сколько требуется, я получил наследство.

-- Благодарю вас, Тимофей Николаевич, -- отвечал брат, -- мне денег не надобно теперь.

-- Полноте, вздор какой, -- возразил Грановский,-- деньги всегда надобны; возьмите-ка, возьмите.

-- Да право же не надобно, -- говорил Сергей Иванович, -- поберегите лучше себе, Тимофей Николаевич.

-- Мне беречь деньги, -- сказал Грановский, -- бог с вами! да и на что они мне? пожалуйста, возьмите, а то, как вам понадобятся, у меня тогда, пожалуй, и не будет. Не люблю и не умею беречь деньги; как камень на душе, когда их много.

Брат принужден был взять у него сто пятьдесят рублей и, когда впоследствии стал отдавать их, Грановский удивился: он позабыл, что давал. Деньги -- оселок внутреннего достоинства человека, не многие понимают это так, как понимал Грановский.

Если можно в чем упрекнуть Грановского, так это в лени и в страсти к картам. Иногда он проигрывал напролет ночи, не вставая с места, все забывая, ни о чем, кроме карт, не думая. Страсть к игре

развилась в нем с удвоенной силою, когда Александр уехал за границу и дружеский круг их стал распадаться.

Весь этот товарищеский круг сбирался большей частию у Александра и нередко у Лабади; там, на полной свободе, они оставались далеко за полночь. Иногда съезжались у Грановского или у Корша.

Из числа товарищей Александра весьма приятное впечатление производил Иван Павлович Галахов -- милою простотой, искренностию и остроумием без желчи и оскорбления. Такое же хорошее воспоминание оставил по себе Крюков. Серьезный, как бы сосредоточенный только на науке, в обществе он был чрезвычайно мил. Точно теперь вижу его, как на одном вечере у Александра вздумали сделать жженку. В зале приготовили серебряную вазу, зажгли в ней спирт и загасили свечи; Крюков взялся варить жженку. Все присутствующие разместились кругом стен. Крюков сел посреди залы. Освещенный синеватым огнем, серьезный, помешивая серебряным ковшом кипящую влагу, он походил на прорицателя. Все сидели молча, не спуская взоров с Крюкова... Подле меня была Наташа; наклонясь ко мне, она сказала вполголоса: "Мне кажется, не жилец на свете Крюков, в нем отражается что-то неземное, не наше",-- слова ее скоро сбылись.

Из числа частых посетителей был наш знаменитый артист -- Михаил Семенович Щепкин. Однажды я видела, как он художнически играет своей физиономией. Я сидела вместе с ним у Наташи в кабинете, -- она держала на руках Колю. Чтобы позабавить ребенка, Михаил Семенович сделал веселое лицо и хохотал так заразительно, что ребенок, глядя на него, помирал со смеха и радостно прыгал. Мы с Наташей хохотали до упаду., Вдруг у Щепкина лицо изменилось в печальное и он заплакал настоящими слезами, -- ребенок удивился, серьезно посмотрел на него, нахмурился и заплакал. Щепкин расхохотался, -- Коля тоже; так повторилось раза три. Наташа побоялась вредных последствий такой игры и прекратила ее.

Изредка бывал у Александра и Иван Сергеевич Тургенев, но держался больше как-то в стороне. Говорили, что его "Гамлет Щигровского уезда" списан с этого кружка.

Посещали его иногда Свербеев, Чаадаев и Соллогуб. Последнего, -- пишет Т. А. Астракова, -- я видала мельком: Александр принимал его всегда в своем кабинете, там они и ужинали. Один раз он пригласил к

себе обедать Чаадаева и Боборыкина; для этого обеда купил два серебряные канделябра, с четырьмя или пятью подсвечниками каждый. Мы посмеялись такому пышному приготовлению к их приему; несмотря на это, Александр простер изменение в их обычном образе жизни еще далее. Стол к обеду был накрыт посреди залы, на восемь человек, а в простенке между двух окон накрыли на четыре прибора стол ломберный. За большим столом обедали, кроме Александра, Чаадаева и Боборыкина, Корш, Грановский, Кетчер, Сатин, Астр а ков. За ломберным -- мать Александра, жена его, я и Марья Каспаровна Эрн. Отделенные, мы не могли участвовать и не участвовали в разговорах, происходивших за большим столом. Когда обед кончился, все разошлись по разным комнатам. Мы с Сатиным поместились в Наташином кабинете и разговорились о ее характере. Сатин находил, что у нее характер слабый и живет она умом мужа. Я же утверждала, что она уступает ему не из слабости характера, а не затевать же войну. Что же ей в нем не нравится-- она выказывает прямо и старается его сдерживать. Вот, например, сегодня, она очень недовольна изменениями в порядке их жизни ради Чаадаева и Боборыкина. Она при мне говорила ему: "Я не понимаю твоих поступков, Александр; к чему эти исключения и перемены? разве до сих пор у нас было не так, как надобно,-- не хорошо? Я бы так не сделала; впрочем, если тебе так нравится, как знаешь". Наташа не делала различия в приеме знакомых и обращении с ними. Эта редкая черта деликатности и сердечного такта была в Нике -- и только, -- даже в Грановском только слегка проявлялась.

В Шацке жил родной брат Наташи, Петр Александрович Захарьин, и сестра по отце, Катерина Александровна. Услыхавши, что сестра их вышла замуж за Александра, они приехали под ее покровительство. Брата Наташи Александр поместил к моему мужу, -- сказано У Т. А. Астраковой, -- готовить к поступлению в университет, но у него было больше наклонности к рисованию; получивши оставленные ему отцом три тысячи рублей, он поступил в Академию художеств и занялся исключительно живописью. В сестре Наташи приняли участие Луиза Ивановна и Егор Иванович.

Кроме брата и сестры, приехала мать ее с грудным ребенком. Это была простая, но еще красивая женщина, на которую Наташа походила как две капли воды. Она очень обрадовалась матери, поместила ее в

детской и познакомила с нею меня. Александр был не очень доволен этим посещением и говорил шутя: "Да, если все родные Наташи вздумают посещать нас, то и самим нам жить будет негде"32.

Слушая это, Наташа вспыхивала, молчала и страдала, потом старалась уверить, что Александр сам пригласил ее мать.

Александр, при редком, блестящем уме, был до крайности добр и простодушен; вместе с этим до крайности самолюбив, до мелочи дорожил чужим мнением и боялся нарушать *comme il faut* {светские приличия *(франц.).*}. Вследствие избалованности с детства в нем развилось себялюбие до того, что он не выносил ни противоречия, ни замечаний, и не мог представить себе возможности, чтобы кто-нибудь мог заметить в нем что-нибудь *не так.* Лестью можно было покорить его себе совершенно. В этом особенно ловко упражнялась одна из часто посещавших их дам: улыбкой, взглядом, фразой, сказанной с известным акцентом: "Ах, Герцен!" -- или: "Ах! ах! Александр Иванович!"

Я уважала, -- пишет Т. А. Астракова, -- в Александре ум, энергию, доброту и доверчивость, но не выносила себялюбия и никогда не потворствовала ему, не могла воздержаться, чтобы не ловить его на слове и деле, и всегда указывала разлад его пера с его действительною жизнию. Поэтому мы с ним были хороши, но не дружны. Только живость характеров сближала нас в иных случаях, и он любил вместе со мною поострить над кем-нибудь из друзей-флегматиков.

Зная мою дружбу с Наташей, он всегда -- при горели ее, при нездоровье ль -- тотчас присылал за мною и первую меня извещал, когда у них рождался ребенок. О рождении дочери Наташи он писал мне: "Наталья Александровна No 1-й извещает о рождении Натальи Александровны No 2-й, просит посетить ее, а No 2-й просит принять ее в свое расположение"33.

Александр до того дорожил условиями comme il faut, что раз тревожно и торопливо упрашивал меня не выходить в гостиную, когда к ним приехала жена Дмитрия Павловича Голохвастова, потому что я была без воротничков и рукавчиков.

Насколько влияло на него чужое мнение, показал один случай со мною. Как-то пришлось ему сопровождать меня, -- говорит Татьяна Алексеевна, -- на лекцию Грановского. Он, видимо, стеснялся, так как я была женщина не светская и не известная. Усадивши меня, он тотчас

отошел к светским дамам. Кому-то вздумалось спросить его, кто интересная женщина, что с ним приехала. Это его восхитило до того, что он стал подходить ко мне и разговаривать. Внимание его удивило меня, я просила его не затрудняться мной и советовала не терять со мною золотого времени; и только приехавши домой, он рассказал о вопросах обо мне. Я поняла, в чем дело, и высказала свою догадку; он отрицал ее, конфузился, говорил, что это *не так*, -- но это было *так*.

По непривычке обдумывать свои поступки и сдерживать себя, он делал иногда такие промахи, что Наташу коробило. Так, увлекаясь посредственной красотою, а более кокетством одной из дам их круга, крайне ограниченной и мало образованной, он иногда садился у ее ног и раз, уместившись с нею в уголке, стал ей читать что-то из своих сочинений. Последнее возмутило Наташу до того, что она не вытерпела и сказала ему: "Помилуй, Александр, если тебе кажется, что она красавица, и ты поклоняешься ее красоте, это я еще понимаю, но как ты можешь читать ей свои сочинения и ждать ее оценки?"

Александр растерялся и сознался, что поступки его действительно неразумны, и извинял себя тем, что она его просила, а он не умел отказаться.

В это время в их дамский кружок закралось направление, сильно возмущавшее Наташу: направление это состояло в каком-то невинном волокитстве. Только, бывало, и слышалось -- та влюблена в того-то, эта -- в этого; в сущности же ничего такого не было, все это были одни пустые слова. "Право же, -- говаривала Наташа, -- поговоривши о вздоре, не мешает заняться чем-нибудь и посерьезнее", -- но слова ее вели только к внутреннему распадению".

Пока был жив Иван Алексеевич, Саша с семейством помещался в доме Тучкова, весной ездил в Покровское или в Соколово -- именье Дивова. В Соколове он занимал барский дом в обширном парке, спускавшемся к реке, из-за которой виднелись поля и нивы.

После 1843 года жизнь Александра потекла спокойнее, болезненное настроение стало ослабевать, здоровье Наташи поправлялось; по-видимому, самое лучшее задушевное время их круга было в 1845 году. Весной этого года в Соколове жил вместе с Александром Кетчер; неподалеку нанимал дачу М. С. Щепкин; каждую неделю, дня на два, на три, приезжали Грановский и Корш.

Все они много работали, много гуляли, купались, и одушевление было общее.

Только иногда, сидя все вместе под развесистой липой, жалели, что с ними не было Ника. Он вместе с Сатиным находился за границей.

Иногда с Коршем и Грановским приезжал в Соколово П. В. Анненков, издатель Пушкина. Все любили и уважали его -- он этого и Стоил. Однажды при Анненкове все друзья отправились полежать на берегу реки под деревьями, велели принести себе туда шампанского. Под горой, на которой они расположились, текла река, а за рекой виднелись поля, на которых золотились рожь и овес. Жара была страшная. В поле работали крестьяне. Анненков, держа в руках бокал шампанского и указывая на работавших, шутя сказал: "А, право, приятно лежать лод деревьями, попивать шампанское и глядеть, как в поле идут работы; жарко им, должно быть! ну, да зато нам хорошо". -- "Право, отлично", -- подтвердили другие, захохотали да вдруг и стихли. Все почувствовали себя неловко. Грановский бросил бокал и отвернулся.

-- Ну, братец, -- сказал Е. Ф. Корш, обращаясь к Анненкову, -- отравил ты нам жизнь.

Эти шутя сказанные слова развеселили всех, и они принялись рассуждать о том, как бы устроить дела так, чтобы всем жилось так же хорошо, как хорошо живется им.

В 1846 году приехал и Ник. Он прожил четыре года в чужих краях и нисколько не изменился.

Весной Ник вместе с Александром поехал в Соколове Там он поместился с Н. Х. Кетчером в небольшом флигеле в конце парка. Грановский, Корш и Щепкины также заняли дачи около Соколова.

В этом году дружеский круг этот стал внутренне распадаться; несмотря на то что по-прежнему собирались вместе и по-прежнему шла чаша круговая, чувствовалось, что при этом царила уже не веселость, а какая-то строптивость. В беседы их закрались недоразумение, легкая щекотливость, обидчивость, ошибки.

Наташу это огорчало.

Между тем новое горе посетило ее. Раз Грановский, лежа на полу и играя с своим крестником, Колей, поднес ему к уху часы и удивился, что ребенок оставался равнодушным к их бою. Он пробовал несколько

раз подносить ему часы к уху и убедился, что Коля глух. Грановский испугался, позвал Александра, и они вдвоем начали делать разные опыты, стучали, звенели и убедились, что Коля ничего не слышит. Александр растерялся и долго не говорил Наташе; наконец надобно было ей сказать, Ей сказали. Это повлияло на ее здоровье и расположение духа.

Весной 1846 года кончил жизнь Иван Алексеевич. Александр получил после отца большое наследство, перешел в большой дом и расширил свой образ жизни. Несмотря на то что в них проявилось больше роскоши, Александр был очень бережлив; деньги держал у себя и сам ими распоряжался. На домашние расходы выдавал жене определенную сумму и строго замечал ей, если к первому числу оказывался недостаток. "В это время, по домашним обстоятельствам, я переехала, -- говорит Татьяна Алексеевна, -- к Наташе и прожила у нее около трех недель, в продолжение которых убедилась, что Александру надобна была жена не такая, как она. Ему надобна была женщина, которая блестела бы в обществе и умом и тем, что она жена Герцена. А Наташа и с переменою их состояния осталась при своем скромном образе жизни, что нередко служило поводом к размолвкам. Живши у них, я видела, что жизнь Наташи не красива. Кроме здоровья, расстроенного петербургскими событиями, она страдала не столько физически, сколько нравственно. Ее утешало и примиряло с мужем только роскошное проявление его умственных и общественных достоинств.

В конце 1846 года заболела их маленькая дочь Лиза и, несмотря на лечение и успокоение Альфонского, умерла34. Александр прислал мне записку, что Лизы нет. Я поспешила к ним. Наташа сидела подле ребенка, она была тверда, холодна, избегала разговора и походила на статую. Лизу похоронили в Девичьем монастыре, подле Вани. Когда возвратились домой и все разъехались, Наташа попросила меня и Александра также куда-нибудь съездить, вздохнуть чистым воздухом. Мы поехали в санях П. Г. Редкина к Коршам. П. Г. уселся кучером и всю дорогу смеялся и шутил с Александром. Меня бесило, что Александр в такую минуту мог потешаться вздором. Завернувшись в шубу, я старалась не обращать на них внимания и грустно думала, как он всегда увлекается и поддается влечатлению настоящей минуты. Часа через три мы возвратились. "Тоска давит, -- сказала Наташа,

встречая нас, пожавши нам руки,-- дети спят, пусто, тяжело". Он, по обыкновению, растерялся, стал приставать к ней с расспросами. Мы уговорили ее лечь и сели около нее.

После жизни в Петербурге и Новгороде Наташа не воскресала более. Утрата троих детей, глухота и немота сына, открывшаяся ей неверность мужа и, наконец, смерть дочери, изнурили ее силы.

В дополнение она увидала, что многие из дорогих ей людей -- не то, чем она воображала их, и что те, которых она более любила, первые отклонились от нее.

Последнее лето, проведенное Наташей в Соколове, было для нее пыткой. Я часто бывала у нее и всегда заставала больной, измученной, в слезах. На мои вопросы, что с нею, она отвечала: "Пора нам, друг мой, уехать! все распалось, все рухнуло, отдохнуть надобно. Видишь ли, все как-то невзлюбили нас, за что? не знаю... Может, и за дело, но никто не высказывается искренно. Один честный, благородный Грановский сказал, что его возмущает себялюбие Александра. Может, он и прав; но, несмотря на это, тяжело хоронить свои привязанности", -- и зарыдала. Что могла я сказать ей в утешение? Успокоившись, она продолжала: "Зачем плакать, что люди не таковы, как нам хочется их видеть. Будем любить их за хорошее, чего в других нет; а что мы им не нравимся, не плакать же об этом, насильно мил не будешь". При этом она рассказала один случай, бывший у них в Соколове.

"На днях, -- говорила Наташа, -- собрались все у нас; как и всегда, рассуждали и пили; к чему-то Александр сказал: "Теперь я имею безбедное состояние и прошу вас всех, друзей моих, твердо рассчитывать на мою помощь. Каждый из вас найдет у меня для себя пятьсот рублей, но *не больше".*

При последнем слове Грановский вспыхнул, вскочил с своего места и закричал: "Как ты смел торговаться! ты смел сказать *не больше,* ты оценил друзей своих только в пятьсот рублей. Стало быть, если понадобится кому, чтобы не умереть с голоду, тысяча или две, ты не дашь, и тот умрет на твоих глазах? это низко! я первый никогда не попрошу у тебя, хотя бы умирал с голоду... Так низко, Александр!"

Все были поражены. Александр пробовал объясниться, говорил, что имеет право располагать только процентами, капитал же не его, а детский. При этих словах кто-то вполголоса сказал: "Бедный Прудон", кто-то пошутил над тем, что и Грановский умеет вспылить.

Наконец общими силами успели перевести разговор на другой предмет, даже шутили, смеялись; но Грановский оставался серьезен и мрачен, и все были не в своей тарелке".

Рассказавши это, Наташа добавила печально: "Такого горького, тяжелого дня мы, кажется, не переживали никогда. Александр виноват, сказавши необдуманно, я признаю это, но назвать необдуманное слово низостью -- это незаслуженно, это жестоко".

"Мы молча легли спать. На утро Александр сказал: "Да, пора ехать и ехать". Что до меня касается, я давно думала об этом, давно все клонилось к разрыву".

Как ни старались все маскироваться в костюм дружества, как ни старались пить круговую чашу и веселиться, во всем проглядывала натяжка, каждое слово, Каждый шаг рассчитывался.

Наташа страдала от промахов мужа, между тем как их откосили к ее влиянию на него; вина ее была только в том, что она не жаловалась и старалась извинять его.

Ник и Грановский больше всех понимали Наташу. Между ею и Ником, нежным, деликатным, с любящим сердцем, не было и тени недоразумения.

Грановский доверял ей все, даже свои домашние невзгоды, и если бы не роковое влияние одной из их круга35, то навсегда остался бы ее другом.

Наташа, заранее подготовленная отзывами Александра о Кетчере как о личности замечательно честной, доброй и благородной, и благодарная за его помощь при их женитьбе, за его участие во время болезни ее детей, любила и уважала его до того, что самые резкие замечания его принимала кротко и покорно, и даже за несколько дней до смерти своей писала Т. А. Астраковой: "Для меня воспоминание о вас, друзья моего счастия, свято; несмотря ни на что, люблю Кетчера -- и порой смотрю на его соломенную шляпу... Я берегу ее как воспоминание о прошлом!"

1848 год она не жила для себя, душа ее была растерзана. Это можно будет видеть из ее писем из Парижа".

Таким образом, события в среде дружеского кружка Александра решили его отъезд за границу. Предстоящая разлука с Наташей была тяжела и горька Татьяне Алексеевне. Она утешала ее скорым свиданием. Александр располагал через год возвратиться. "Поездка

наша, -- говорили они, -- как нам, так и друзьям нашим, принесет много пользы. Мы отдохнем, освежимся, они одумаются, больше оценят нас и простят наши невольные проступки".

Когда решено было, что Александр с семейством едет за границу, и он перед отъездом объявил это уже серьезно, как дело неизменное, все как бы встрепенулись и почувствовали, что с отъездом его изменяется и общая жизнь этого кружка.

ГЛАВА 43

ЗА ГРАНИЦЕЙ

Я отпущен в страны чужие,
Да это, полно ли, не сон?1

Летом 1858 года просила я о выдаче заграничного паспорта мне и старшему сыну моему Александру, за год перед тем окончившему, кандидатом, курс, юридических наук в Московском университете. Вместе с просьбой о паспорте подала я прошение московскому военному генерал-губернатору, графу Арсению Андреевичу Закревскому, об исходатайствовании высочайшего разрешения для выезда с нами за границу меньшому сыну моему Владимиру и десятилетнему моему племяннику и крестнику Ипполиту Пашкову. Зная, что разрешения выезда за границу несовершеннолетним придется ждать довольно долго, мы прожили до конца лета в подмосковной деревне и только в первых числах сентября возвратились в Москву.

Не получая официального извещения ни о выдаче нам паспорта, ни о разрешении выезда из России несовершеннолетним, старший сын мой поехал в канцелярию генерал-губернатора, чтобы обо всем этом

справиться. Когда, возвратясь оттуда, он вошел ко мне, то, взглянувши на него, я испугалась бледности и расстроенного его вида.

-- Что с тобой, Саша? -- спросила я его встревоженным голосом.

-- Пожалуйста, не беспокойся, мама, и не огорчись, -- отвечал он, видимо сдерживая волнение,-- беда небольшая, хотя неприятно, должно быть, недоразумение...

-- В чем недоразумение? -- прервала его я. -- Что случилось? если есть что неприятное, надобно же узнать?

-- Нас не пускают за границу, -- тихо сказал Саша.

-- Не может быть! -- возразила я, чувствуя, что сердце у меня замирает. -- Всем дают заграничные паспорты без затруднения, отчего же нам не давать? Вероятно, тебе не так передали -- ошибка...

-- Нет, мама, ошибки нет, нам отказано. Это верно. Когда я пришел в канцелярию, спросил о нашем паспорте и о разрешении братьям ехать за границу, мне отвечали, что дело об нас находится в секретном отделении и я осведомился бы там. Отправляюсь в секретное отделение, спрашиваю, чиновник начинает рыться в бумагах с видимым неудовольствием, наконец говорит: "Вашему семейству выезд за границу запрещен".-- "Как запрещен? за что?" -- "По неизвестным причинам". Я был поражен. "Если вы знаете, -- обратился я к чиновнику,-- скажите, пожалуйста, в чем дело?.." -- "Ну, уж извините, -- отвечал он нетерпеливо, -- не могу вам объяснить, сказано: по неизвестным причинам..." -- "Как же нам оправдаться, не зная, в чем обвинены?" -- "Право, не знаю -- делайте как хотите; отнеситесь к генерал-губернатору". Больше и говорить не стал. Я отправился домой. Как ты думаешь, мама, что нам теперь делать?

-- Напишу графу Закревскрму, спрошу, за что нас удерживают, -- ему должно быть известно.

-- Мне кажется, -- заметил Саша, -- нас задерживают вследствие твоего родства с известным рефюжье.

-- Не может быть. Странно наказывать за родство с кем бы то ни было. Поездка наша не имеет ничего с ним общего; у меня даже отношений к нему никаких не было с отъезда его в чужие край, только изредка слыхала о нем от его брата, с которым он иногда переписывается -- вероятно, с разрешения правительства, да случайно видела некоторые статьи из его заграничных изданий. Прошедшее же и дружеское чувство -- от нас не зависят. Больше всего мне больно за

тебя. Тебе надобно бы поправить здоровье в более благотворном климате после усиленных университетских занятий; надобно слушать лекции Миттермейера и на местах приложения изучать исправительные системы тюремного заключения -- цель твоей будущей деятельности. За что тебя лишать всего.

-- Обо мне, мама, не грусти, не тревожься и береги себя. Конечно, поездка наша замедлится, когда же все разъяснится, нас отпустят.

-- Ну, друг мой, должно быть не так легко разъясняется, видишь, как безмолвно.

-- В таком случае поедем в Петербург, будем просить государя.

-- Это дело другое, да до государя-то далеко, мы же никого не знаем, кто бы о нас постарался. Один бог.

-- Разве этого недостаточно, -- сказал серьезно Саша,-- тут и посредников не надобно -- он откроет пути.

-- Да, это правда, Саша. Вины за нами нет, бояться нечего2.

Я написала коротенькое письмо к графу Закревскому, в котором просила сообщить мне, почему нам отказывают в выезде из России. Граф отвечал, что причина отказа известна только шефу жандармов, князю Василию Андреевичу Долгорукому.

Мера, принятая против нас, вскоре сделалась известною в московских кружках и возбудила всеобщее негодование3. Безупречная жизнь наша была известна.

Я обратилась за советом к Алексею Петровичу Ермолову.

-- Вероятно, всю эту кашу заварил Закревский, -- сказал Ермолов, -- и, конечно, из пустяков, да навел на нее и Долгорукого. Как жаль, что я не знал прежде. Долгорукий был здесь недавно; мы с ним в хороших отношениях, переговорили бы и вас отпустили бы с богом на все четыре стороны. Я напишу князю, напишите и вы; надеюсь, все уладится как нельзя лучше.

Поговоривши о Закревском и Долгоруком, Ермолов стал расспрашивать меня о дяде моем, Александре Ивановиче Кучине, вспоминал об их молодости, дружбе, службе, бранил его, зачем он не едет повидаться с ним.

-- На днях был у меня его приказчик Петр Семенов, видели ли вы его? -- спросил Алексей Петрович.

-- Он у нас останавливался и пробыл довольно долго: хлопотал по делам дяди.

-- Я был очень рад старику, пил с ним вместе чай и расспрашивал, как они с барином живут, как хозяйничают; говорит, барин ни ногой из деревни. "Ну, брат,-- заметил я, -- барин твой дрался как черт, и засел в Чертовой" {Тульское имение дяди. *(Прим, Т. П. Пассек.)*}.

По совету Алексея Петровича я написала князю Долгорукому, просила его прежде всего сообщить мне, за какую вину нас осудили и наказали лишением того права, которое всем предоставлено, так что и голоса нашего было не слышно4.

Недели через две, одним утром пили мы в зале чай, как послышалось в передней бряцанье шпор, затем в дверях показался жандарм и подал мне письмо от Долгорукого; князь писал, что ответ на мое письмо мне сообщит граф Закревский.

Кажется, чего бы проще ответить самому.

Письмо князя я немедленно отправила к Закревскому и просила об ответе. Граф поступил посложнее Долгорукого. Он написал, что ответ князя сообщит мне через несколько дней. Дни эти протянулись месяцами. Наконец, 12 января, в мои именины, Закревский, должно быть в виде подарка, уведомил, что мне разрешается ехать за границу вместе с меньшим сыном и больным племянником; старший же сын удерживается в России.

Подарок оказался неудачным.

Такого рода разрешение равнялось запрещению...

При виде печали Саши стало тяжелее и грустнее прежнего.

-- Саша, -- сказала я, -- никто из нас не воспользуется тем правом, которого лишают тебя. Для тебя же по преимуществу и поездка эта предпринимается.

В это время "Русский вестник" вступил в самый блестящий период своего существования5. Многие из московской интеллигенции собирались по четвергам на вечера к редактору "Вестника" -- Михаилу Никифоровнчу Каткову. Нередко и приезжие из других местностей, особенно из круга людей науки, спешили познакомиться с редактором журнала, пользовавшимся большим уважением. Я была довольно близка с домом Михаила Никифоровича и особенно с его умной, доброй, образованной невесткой, княжной Натальей Петровной Шаликовой. Как Михаил Никифоррвич, так почти и все, посещавшие их, отнеслись с участием к нашему делу и советовали повторить просьбу князю Долгорукому. Жандармский полковник и литератор, С.

С. Громека, часто бывавший у Катковых, посоветовал мне обратиться к Александру Егоровичу Тимашеву, о котором отзывался как о человеке всегда готовом на доброе дело, и предложил лично доставить ему мое письмо. Я написала Александру Егоровичу тепло и откровенно, как понимала это дело; он отвечал, что постарается исполнить мою просьбу, насколько это будет зависеть от него.

Несмотря на желание многих быть нам полезными, дело наше оставалось до весны все в одном и том же положении.

В половине марта 1859 года я решилась ехать с детьми в Петербург и лично похлопотать о разрешении нам выезда в чужие край.

Чем ближе подъезжали мы к Петербургу, тем большей тоской и как бы страхом обдавало душу. Природа что шаг, то становилась беднее и беднее; бесплодные пажити, болота, бедные деревни, болезненные, искривленные деревья на сырой тощей почве увеличивали тяжелое настроение духа.

В Петербурге все нам было чуждо.

Мы остановились в гостинице. Мрачные облака покрывали небо; дождь пополам со снегом заливал окна; комнаты казались неприветливы; чувство одиночества, беспомощности сжимало грудь. Вся надежда наша основывалась на рекомендательном письме к фрейлине императрицы Дарье Федоровне Тютчевой, данном мне московскими знакомыми.

Отдохнувши дня два, поехала я в Зимний дворец. С признательностию вспоминаю, как радушно приняла меня Дарья Федоровна. Выслушавши с участием все дело, она сказала, что лучше всего обратиться к государыне, но для этого надобно, чтобы представилась благоприятная минута, и просила уведомить ее, как пойдет дело с князем Долгоруким.

С князем дело не шло никак: я писала к нему, сын мой был у него, но ничего ясного, определенного добиться не могли; ответы были уклончивы, из фраз без содержания. Мы томились в неизвестности и проживались в гостинице. Наконец, видя, что все бесполезно, решились уехать в подмосковную деревню и предоставить наше дело на волю божию.

Дня за три до нашего отъезда я получила от Дарьи Федоровны письмо... вскоре выезд за границу Саше был разрешен.

. . . . . .

Да будет благословение бога над государыней и высочайшим семейством ее. Чувства глубокой благодарности и преданности к ее величеству живы в душе моей, и я позволяю себе запечатлеть их в моих воспоминаниях.

Причина же, по которой нам отказывали в выезде, так и осталась в неизвестности. Быть может, Алексей Петрович был прав, предполагая, что чье-нибудь неприязненное чувство косвенно отразилось на нас, и по справкам мы оказались невинными.

В последних числах апреля приехала в Петербург княжна Наталья Петровна Шаликова с молодой девушкой, дочерью подруги своей юности, Варварой Алексеевной Кащеевой {В настоящее время супруга Алексея Алексеевича Гатцука, издателя "Крестного календаря" и "Газеты Гатцука". *(Прим. Т. П. Пассек.)*}, и остановилась в одной гостинице с нами. Мы видались почти каждый день. Однажды княжна собралась ехать к графине Толстой, супруге вице-президента Академии художеств, знаменитого медальера, гр. Федора Петровича Толстого, и предложила мне ехать вместе с нею.

-- Как же это, княжна, -- сказала я, -- быть может, они и понятия не имеют обо мне, а если и имеют, то еще желают ли моего знакомства?

Княжна уверила меня, что Толстые об нас знают и рады будут видеть у себя.

-- Не лучше ли переговорить предварительно? -- заметила я.

-- С такими людьми, как Толстые, в этом нет надобности, -- возразила княжна, -- они выше мелких общественных условий. -- И осыпала их похвалами.

Я решилась и вместе с княжной отправилась на Васильевский остров в Академию художеств, где жило в то время семейство графа Толстого. Утро было прекрасное, лучи солнца ярко освещали великолепные здания Невского проспекта, пестрые толпы гуляющих, памятник Петра Великого, дворец, голубую Неву, неподвижную как зеркало, и, кажется, проникали в мою душу: так легко, светло и весело я давно себя не чувствовала; или это было предвозвестие встречи с

людьми, с которыми суждено было мне сблизиться дружески на всю мою жизнь.

Семейство графа занимало квартиру в нижнем этаже дома. Мы вошли без всяких предварительных церемоний. В светлых, высоких комнатах была глубокая тишина и со всех сторон охватывала изящная, художественная жизнь. В большой зале, убранной в античном вкусе, на двух противоположных стенах во всю их длину стояли узкие диваны с небольшими спинками в греческом вкусе, по сторонам которых на четырехугольных пьедесталах были поставлены большие античные статуи: на одном Венера, на другом Аполлон, на третьем Меркурий, на четвертом еще Венера. Между огромных окон, по сторонам большого зеркала, на низких пьедесталах стояли также античной формы бюсты Гомера и Софокла, а на двух высоких печах, на одной -- превосходный, колоссальный бюст Юпитера, на другой -- Минервы. На стенах висели картины с живописными видами, группами, портретами.

В диванной мы увидели даму средних лет, с самой симпатичной наружностью, одетую очень скромно. Она сидела на диване рядом с молодым человеком, брюнетом, небольшого роста, черты лица которого выражали ум, добродушную иронию и наклонность увлекаться. Перед ними на столе лежал раскрытый альбом великолепных рисунков большого формата, которые они внимательно рассматривали. На этой комнате лежала та же печать художественности, как и на зале. По стенам виднелись картины, на окнах цветы; в нише окна, прямо против двери из залы, среди растений, на пьедестале стояла в рост человеческий статуя. Она изображала полуобнаженную нимфу, коленом правой ноги нимфа опиралась на невысокую скалу, левую опускала в большую раковину, в которую лила воду из античного кувшина, поддерживая его над правым плечом обеими руками. Статуя эта, работы графа Ф. П. Толстого, сделана была им в 1845 году и предложена в совет Академии художеств, где заслужила всеобщую похвалу как по идее и грациозности нимфы, так и по правильности рисунка всей фигуры.

Граф представил эту нимфу его величеству Николаю Павловичу. Государь долго ее рассматривал, нашел прекрасной, приказал высечь ее из мрамора, также произвести гальванопластическим способом медную для фонтана и поставить в нижнем саду Петергофа, внутри

мраморной колоннады (она и теперь там находится)6. По случаю возникшей войны с французами и англичанами, государь приказал на время остановить работу нимфы из мрамора, а так как приказания восстановить производство ее из мрамора больше не было, то она и осталась в гипсовом слепке.

При входе моем и княжны в диванную комнату дама, сидевшая на диване, встала и встретила нас так искренно, тепло, так сердечно, что я почувствовала себя между своими. Это была графиня Анастасия Ивановна Толстая. Она представила нам сидевшего с нею молодого человека, говоря: "Николай Федорович Щербина".

Щербина сказал мне, что он очень хорошо знал Вадима Васильевича, напомнил, как несколько лет тому назад мы видались с ним в доме А. Ф. Вельтмана, когда он только что приехал из Таганрога и придумывал, какую бы избрать себе карьеру. Ему было тогда не более шестнадцати лет. Вельтман и Вадим полюбили его, оценили его расцветавший талант и приняли в нем участие.

Мы дружески пожали друг другу руки.

Спустя часа два все мы были между собой как бы давно и близко знакомые. Нас пригласили отобедать. Незадолго до обеда граф оставил свой кабинет, где с утра занимался работой, и вошел к нам.

С чувством глубокого благоговения смотрела я на гениального старца-художника.

Невзирая на преклонные лета, он был еще свеж, бодр и сохранил остатки прекрасного лица. В глазах его, Я прикрытых зеленым зонтиком, светился ум и юность я души. Роста граф был высокого, держался прямо, несмотря на свои лета и неутомимые труды. В его обращении, в приемах была простота, благородство, и на всем на нем лежал тип породистости того слоя общества, к которому он принадлежал по рождению, воспитанию и возвышенной натуре своей. Вслед за графом вошли две миловидные девочки, в коротеньких платьицах, -- дочери графа. Одной из них казалось около тринадцати, другой около десяти лет. Видно было, что на этих детях сосредоточивалась вся забота, вся любовь, вся радость просвещенных родителей. Столько счастия, столько жизни светилось в их детских взорах, столько простоты, свободы в грациозных движениях.

В небольшом кабинете графини остановили мое внимание висевшие по стене над диваном четыре барельефа из поэмы Гомера

"Одиссея" работы графа, вылепленные им из воска в 1816 году7. Первый барельеф изображал пиршество искателей руки Пенелопы, во время отсутствия Одиссея на Троянской войне, а в стороне Минерва, в виде Ментора, советует Телемаку отыскивать отца. Второй -- как Телемак в гостях у Менелая, слушая рассказ Елены о Троянской войне и подвигах Улисса, заплакал и был узнан. На третьем -- Улисс в виде нищего является в свой дворец во время пиршества женихов Пенелопы. Телемак объявляет, что тот получит руку его матери, кто натянет лук Одиссея и пропустит стрелу сквозь кольцо, повешенное в зале. Ни один из женихов не в силах натянуть лука. Нищий выражает желание участвовать в состязании, Телемак велит передать ему лук; он легко натягивает его, пропускает стрелу сквозь кольцо, второй стрелой убивает главного преследователя Пенелопы, а потом с помощию Телемака и одного пастуха убивает всех пировавших, кроме певца Фемиуса. На четвертом -- Меркурий отводит в ад прозрачную группу летящих теней -- женихов Пенелопы. У входа в ад их встречают тени Агамемнона и Ахилла, удивленные одновременной смертью стольких юношей, и узнают о происшедшем на острове Итаке.

С изумлением и восторгом всматривалась я в верную картину древнего быта, в грацию лиц, одежды, обстановки, в сочетание групп, в красоту и точность работы.

Граф первый из русских художников стал лепить из воска барельефы из древней, средней и русской истории, из греческой мифологии и из преданий гомерических веков... Он изучал для этого археологию, читал множество описаний образа жизни и утвари в разные века, имел большое собрание костюмов как древних, так и средних веков всех стран и народов, и в работах своих во всем Держался самой строгой верности.

С четырех барельефов из "Одиссеи" он вырезал в составной, крепкой меди формы для выливания в них гипсовых слепков.

На другой стене кабинета находилась коллекция осьмиугольных медальонов, также с дивным искусством вылепленных графом из воска. Они изображали Отечественную войну двенадцатого года и войны тринадцатого и четырнадцатого годов8.

Графиня объяснила мне содержание каждого медальона и обратила мое внимание на мраморный бюст работы графа, представляющий дремлющего Морфея в густом венке из цветов

породы лилий, которым древние греки приписывали усыпляющее свойство, и нагрудное изображение Спасителя, иссеченное так же, как и бюст Морфея, из мрамора, в естественную величину.

Из трех картин, написанных графом масляными красками, внимание мое остановила картина семейная и в ней особенно замечательная перспектива комнат9.

Весь этот день мы провели с большим наслаждением; с этого времени стали часто видаться с Толстыми, и все больше и больше сближались с ними.

Образованность, теплота души графини, ум, доброта, многосторонние знания, юность и свежесть духа графа и радушный прием привлекали в их дом избранное общество: литераторов, артистов, художников, образованных людей. В кругу графа возбуждены были интересы как отечественного просвещения, так и общественного благоустройства, политики, поэзии, литературы, науки; всему он сочувствовал, все ему было близко, все им изучено и ставило его высоко как художника и как просвещенного человека. Несмотря на все это, он был так прост, непритязателен и исполнен только стремлением к пользе общей, что перед авторитетом его, которого он не давал и заметить, рождалась не робость, не чувство своего ничтожества, но порывы к прекрасному, бодрость духа и желание деятельности.

В доме Толстых чаще всех встречала я, кроме некоторых художников, поэта Щербину; Федора Николаевича Глинку, друга молодых лет графа; только что возвратившегося из ученого путешествия на Сыр-Дарью орнитолога Николая Алексеевича Северцова, замечательного как обширным знанием своего предмета и образованием, так и поразительною рассеянностью; случалось, что, входя куда-нибудь в дом, если какой-нибудь предмет возбуждал в нем любопытство, то он, никого не замечая, направлялся прямо к нему; когда же в глаза ему бросалась книга, он шел прямо к ней, раскрывал ее, начинал читать и забывал, что не у себя в кабинете. Почти ежедневно бывал у Толстых малороссийский поэт Тарас Григорьевич Шевченко.

Тарас Григорьевич Шевченко, как известно, родился в крепостном состоянии у одного из малороссийских помещиков. Умный, даровитый, страстный любитель поэзии и живописи, он имел случай

приобрести некоторые сведения, способствовавшие его развитию, но крепостное состояние тяготело над ним; по счастию, о нем узнал Василий Андреевич Жуковский; он исходатайствовал ему у помещика увольнение и в 1844 году определил в Академию художеств, а в 1848 году Шевченко получил звание свободного художника и уехал на родину. Там он написал сатиру, за которую был разжалован в солдаты в Оренбургский край и назначен в арестантские роты в крепостные работы Новопетровской крепости10. Из этого несчастного положения он был извлечен участием графа и графини Толстых, по преимуществу графини, как это видно из следующих писем к ней Тараса Григорьевича11.

"22 апреля 1856 г.

Христос воскресе! Благородное письмо ваше от 20 февраля получено мною 15 апреля, и получено так кстати, как я еще никогда не получал (в день светлого Христова воскресения) такого искреннего, сердечного письма в такой день.

Страстная неделя была проведена мною в самом тревожном, в самом тяжком ожидании. И в продолжение великого поста и в особенности на страстной неделе, когда у нас открылось водное сообщение, я ждал из Оренбурга почты, которая должна была привезти мне прощение вследствие высочайшего манифеста, обнародованного по случаю восшествия на престол государя императора. Оказалось что же? что я не был представлен к этой высочайшей милости. Что я не вычеркнут из реестра мучеников. Что я забыт. Горько, да и как еще горько получить такое известие и в такой великий день. Это страшная насмешка меня карающей судьбы! О, не приведи господи никому так встретить этот радостный, торжественный день, как я его теперь встретил. Вообще эти великие праздники вне семейства и родины встречаются невесело, каково же я его встретил? я близок был к отчаянию, так меня ошеломило это безнадежное известие. Грустно, невыразимо грустно встретил и проводил я первый день праздника. На другой день ротный командир объявил мне, что получено страховое

письмо на мое имя, и приказал отдать его мне. Это было письмо ваше, ваше искреннее, великодушное послание.

Награди вас господи и близких вам бесконечной радостию и невозмутимым счастием и спокойствием! Я ожил, я воскрес! И остальные дни праздника я провожу как бы в родном семействе между вас и Николая Осиповича12, мои милые, мои добрые, мои великодушные друзья! Я так обрадован, так осчастливлен вашим ласковым приветом, что забываю гнетущее меня девятилетнее испытание. Да, уже девять лет как казнюся я за грешное увлечение моей бестолковой молодости. Преступление мое велико -- я это сознаю в душе, но и наказание безгранично, и я не могу понять, что это значит. Конфирмован я *с выслугою,* служу как истинный солдат; один мой недостаток, что я не могу делать ружьем, как бравый ефрейтор, но мне уже пятьдесят лет.

Мне запрещено писать стихи, я знаю за что и переношу наказание безропотно. Но за что мне запрещено рисовать? Свидетельствуюсь сердцеведцем богом -- не знаю. Да и судьи мои столько же знают, а наказание страшное! Вся жизнь моя была посвящена божественному искусству. И что же? не говорю уже о материальной пытке, о нужде, охлаждающей сердце. Но какова пытка нравственная? О, не приведи господи никому на свете испытать ее. Хотя с великим трудом я, однако ж, отказал себе в самом необходимом. Довольствуюсь тем, что царь дает солдату. Но как отказаться от мысли, чувства, от этой неугасимой любви к прекрасному искусству. О, спасите меня, или еще один год -- и я погиб. Какое мое будущее? Что у меня на горизонте? Слава богу, если богадельня. А может быть... О, да не возмутится сердце ваше. Мне снится иногда бедный ученик Мартоса и первый учитель покойника Витали13. Малодушное, недостойное пророчество! Но вода на камень падает и камень пробивает.

Простите мне, я возмущаю ваше доброе сердце своими бесконечными жалобами. Что же делать? У кого что болит, тот о том и говорит.

Я не знаю, писал ли обо мне граф Федор Петрович оренбургскому генерал-губернатору? Если нет, то именем божиим молите его -- пускай напишет; без него нельзя для меня ничего сделать. Коронация государя императора предел моей единственной надежды.

Как в бога милосердого, так я верую в ваше милосердие, и во имя этой святой веры подайте от себя прошение обо мне ее высочеству нашему августейшему президенту14. Во имя человеколюбия принесите эту жертву. Подобные жертвы приносятся матерями и сестрами; но у меня ни сестры, ни матери, никого нет. Замените же мне и ту и другую, замените мне единственного друга!

Прощайте, мой искренний, мой великодушный аноним. Не оставляйте меня и делайте, что вам укажет ваше доброе сердце и что может сделать; а чего нельзя -- предоставим всемогущему человеколюбцу!

В отношении книг, я не прошу у вас именно "Отечественные записки" за прошлый год, а полагаюсь совершенно на ваш выбор. Не забудьте кисть и плитку сепии, пускай хоть полюбуюсь на эти предметы, сердцу дорогие.

Прощайте, не оставляйте беспредельно преданного вам *Т. Шевченка.*

Адрес: Оренбургской губернии, Новопетровское укрепление, его высокоблагородию Ираклию Александр ровичу Ускову".

"1857. Генваря 9. Новопетровское укрепление15.

Драгоценное письмо ваше от 8 октября минувшего года получено в укреплении 26 декабря, а мне передано распечатанное 1 генваря, как подарок на Новый год. Какое мелкое материальное понятие о подарке и о празднике! Детское понятие. Есть люди, дожившие до седых волос, и все-таки дети. Иные тихие и кроткие, другие буйные и шаловливые дети. Дети, не наученные опытом понимать самые простые вещи. Как, например, не говорю уже о десятилетнем моем чистилище. Довольно и шестимесячного, трепетного, душу гнетущего ожидания. И что же? Они, разумеется бессознательно, крадут из моей мученической жизни самые светлые, самые драгоценные четыре дня. К шестимесячной пытке прибавляют еще четыре дня. Дикое преступление! А между тем бессознательное. Следовательно, только вандализм, а не преступление, И я с умилением сердца повторил слова распятого человеколюбца: "Прости им, не ведят бо, что творят".

Друже мой благородный, лично незнаемый! Сестро моя, богу милая, никогда мною не виденная! Чем воздам, чем заплачу тебе за радость, за счастье, которым ты обаяла, восхитила мою бедную тоскующую душу? Слезы! Слезы беспредельной благодарности приношу в твое возвышенное благородное сердце. Радуйся, несравненная благороднейшая заступница моя! Радуйся, сестро моя сердечная! Радуйся, как я теперь радуюсь, друже мой душевный! Радуйся, ты вывела из бездны отчаяния мою малую, мою бедную душу! Ты помолилася тому, кто кроме добра ничего не делал, ты помолилася ему молитвою бесплотных ангелов. И радость твоя, как моя благодарность, беспредельны.

Шатобриан сказал в "Замогильных записках", что истинное счастие не дорого стоит и что дорогое счастие -- плохое счастие16. Что он разумел под этим простым словом? Счастие Лукулла или Фамусова? Не думаю. Римскому и московскому барину недешево обходилась трехчасовая еда, которая в продолжение трех суток в желудке не варилась. Следовательно, обжора не может похвалиться даже счастием скота. И выходит, что знаменитый турист, эмигрант, дипломат и, наконец, автор "Атталы" не имел никакого понятия о настоящем счастии, а на такого счастливца, как, например, я теперь, гордый аристократ-педант и взглянуть не хотел; не только завести речь о счастии со смердом. Бедный! Малодушный вы, шевалье де Шатобриан де Комбур! Флорентийский изгнанник выдрал бы вас за уши, как болтуна-школьника, за такую чепуху..

Дант Алигьери был только изгнан из отечества, но ему не запрещали писать свой ад и свою Беатриче... А я... Я был несчастнее флорентийского изгнанника, зато теперь счастливее счастливейшего из людей. И выходит, что истинное счастие не так дешево, как думает шевалье де Шатобриан. Теперь и только теперь я вполне уверовал в слово: "Любя наказую вы". Теперь только молюся я и благодарю его за бесконечную любовь ко мне, за ниспосланное испытание. Оно очистило, исцелило мое бедное больное сердце. Оно отвело призму от глаз моих, сквозь которую я смотрел на людей и на самого себя. Оно научило меня, как любить врагов и ненавидящих нас. А этому не научит никакая школа, кроме тяжкой школы испытания и продолжительной беседы с самим собою. Я теперь чувствую себя если не совершенным, то ло крайней мере безукоризненным христианином.

Как золото из огня, как младенец из купели, я выхожу теперь из мрачного чистилища, чтобы начать новый благороднейший путь жизни. И это я называю истинным, настоящим счастием, счастием, какого Шатобрианам и во сне не увидеть.

Пока я мог взяться за перо, чтобы написать вам хоть что-нибудь не похожее на настоящую чепуху. Я бродил несколько дней вокруг укрепления и не с одним письмом вашим неоцененным, а с вами самими, сестро моя, богу милая! И о чем я не говорил с вами? чего не порассказал, чего не поверил я душе вашей восприимчивой? все, и мрачное минувшее и светлое будущее, -- все с самомалейшими подробностями. И если, как вы питаете надежду на личное свидание наше, если повторится эта сердечная исповедь, то боюсь, что это будет повторение слабое и бесцветное.

Я до того дошел в своих предположениях, что вообразил себя на Васильевском острове, в какой-нибудь отдаленной линии, в скромной художнической келье об одном окне работающим над медною доскою (я исключительно намерен заняться гравированием *акватинта*17. Живописцем я себя уже и вообразить не могу). Далее воображаю себя уже искусным гравером, делаю несколько рисунков сепией с знаменитых произведений в Академии и в Эрмитаже, и с таким запасом отправляюсь в мою милую Малороссию и на хуторе у одного из друзей моих, скромных поклонников муз и граций, воспроизвожу в гравюре знаменитые произведения обожаемого искусства. Какая сладкая, какая отрадная мечта! Какое полное безмятежное счастие! и я верую, я осязаю мое сладкое будущее. Я посвящаю мои будущие эстампы вашему драгоценному имени, как единственной моей радости, как единственной причине моего безмятежного счастья.

Многое и многое хотел бы я сказать и рассказать вам. Но во мне теперь такой беспорядок, хуже всякого ералаша. Дождусь ли я того тихого сладкого счастья, когда вам лично стройно, спокойно, с умеренностью перерожденного христианина, расскажу вам, как сон, мое грустное минувшее. А теперь все, что я пишу вам, примите за самую безалаберную, хотя и искренную, импровизацию. Примите и простите мне, друже мой единый, эту, быть может, грубую искренность... {Три строки в подлиннике зачеркнуты. *(Прим. Т. П. Пассек.).*} существует на свете?

Всем сердцем моим целую графа Федора Петровича, вас, детей ваших и всех, кто близок и дорог благородному сердцу вашему. До свидания!

Где Осипов? что с ним? С июня месяца я жду от его послания и плитку сепии и, верно, не дождуся. Не попал ли и он в число друзей моих, которым было запрещено всякое сообщение со мною? Храни его господь".

"12 ноября 1857 г. Нижний-Новгород.

Мой друже милый, мой единый! моя благородная, моя святая заступница! Бог сердцеведец наградит вас за ваше дружески родственное участие в моем безвыходном положении. Вы так искренно, с такою теплою любовью указываете путь, которым я могу достигнуть моей возлюбленной Академии. Благодарю вас, мой друже милый, мой единый! Завтра же пишу графу Федору Петровичу письмо, и в ожидании благих последствий молюсь и уповаю.

Со дня отбытия моего (со 2 августа) из Новопетровского укрепления я совершенно счастлив и в особенности сегодня. По прибытии в Нижний-Новгород, неумолимая полиция разрушила мое блаженство, и то на несколько дней. Вскоре я пришел в себя от этого неожиданного щелчка и, как человек испытанный подобными щелчками, сказал сам себе: все к лучшему. Я совершенно верую в это старое изречение, и на сей раз уверенность моя вполне оправдалась; мне необходим был промежуток между Северной Пальмирой и Киргизской пустыней, а иначе я явился бы к вам настоящим киргизом. А теперь, с помощию добрых людей, я понемногу делаюсь похожим на человека. Дело в том, что я в продолжение этих десяти лет, кроме "Русского инвалида"18, ничего не читал. Так можете себе вообразить, каким бы я чудаком безграмотным явился в обществе грамотных людей. Теперь же я, благодаря моих здешних друзей, завален книгами и запоем читаю или, правильнее, отчитываюсь, а осенняя грязь мне удивительно как много помогла в этом сладком деле. Я прочитал уже все, что появилось замечательного в нашей литературе в продолжение этого времени. Теперь остались мне одни журналы за нынешний год, и

я наслаждаюсь ими как самым утонченным лакомством, и выходит, что все к лучшему, что нет худа без добра. Пока позволяла погода, я сделал несколько рисунков с здешних старинных церквей. Оригинальная и даже изящная архитектура, а теперь, во время слякоти и грязи, делаю изредка портреты карандашом, а в остальные часы дня и ночи читаю. Вот и все мои теперешние занятия, которыми я бесконечно доволен.

Вчера, получивши ваше дорогое, неоцененное письмо, отправился я к В. И. Далю, но не нашел его дома. Сегодня отнесу на почту письмо и пойду опять к Владимиру Ивановичу.

Прощайте, -- не прощайте, -- до свидания, мой милый, мой единый друже! Скоро два часа, и мне не хочется упустить сегодняшнюю почту. Завтра пишу графу Федору Петровичу, а пока целую его чудотворящую, святую руку и молю милосердного господа осенить вас и все семейство ваше своим святым нетленным кровом. До свидания, моя сестра, богу милая! Вечно искренний и благодарный *Т. Шевченко.*

Не спрашивая, знаю, откуда и какие мои деньги у вас, только прошу вас, сохраните эту великую, чистую жертву у себя до нашего свидания. Я теперь, слава богу, кое-как приоделся и в деньгах нужды не имею".

"2 января 1858 г.

Простите ли вы меня, моя святая заступница, за мое долгое молчание? Наверно, простите, когда я вам расскажу причину этой грубой невежливости. 23 декабря получил я ваше драгоценное письмо, а 24-го приехал ко мне из Москвы гость. И кто бы вы думали был этот дорогой гость, который не дал мне написать вам ни одной строчки? Это был ни больше ни меньше как наш великий старец Михайло Семенович Щепкин. Каков старец? за четыреста верст приехал навестить давно не виданного друга19. Вот что называется друг. И я бесконечно счастлив, имея такого искреннего друга. Он гостил у меня по 30 декабря; подарил нижегородцам три спектакля20, привел их в трепетный восторг, а меня -- меня вознес не на седьмое, а на семидесятое небо! Какая живая, свежая, поэтическая натура! Великий

артист и великий человек! И, с гордостью говорю, самый нежный, самый искренний мой друг! Я бесконечно счастлив!

Проводив Михаила Семеновича, я долго не мог прийти в себя от этого переполненного счастия и только сегодня, и то с горем пополам, мог взяться за перо, чтобы благодарить вас за драгоценное письмо ваше и написать вам о моем беспредельном счастии. Простите меня великодушно, моя святая заступница, что я вам пишу мало. Ей-богу -- не могу. Поздравляю вас, графа Федора Петровича и милых детей ваших с Новым годом и желаю вам на всю жизнь такой радости, такого счастия, каким я теперь наслаждаюсь. Простите и не забывайте меня, искреннейшего и счастливейшего вашего благодарного друга *Т. Шевченко.*

P. S. На днях явится к вам П. А. Овсянников, мой здешний добрый приятель и товарищ по квартире. Он вам сообщит все подробности о мне и о моем дорогом, незабвенном госте. Благодарю вас за адрес Осипова, сегодня и ему пишу, и, разумеется, о М. С. Щепкине. Я теперь не в силах ни о чем больше ни писать, ни думать".

"5 марта 1858 г.

Моя святая заступница! Свидание наше так близко, так близко, что я едва владею собою от ожидания. 2 марта я получил ваше сердечное, святое письмо и не знал, что с собою делать в ожидании официальной бумаги. Наконец эта всемогущая бумага сегодня получена в губернаторской канцелярии и завтра будет передана полицеймейстеру. Послезавтра я получу от него пропуск и послезавтра же, то есть 7 марта, в девять часов вечера я оставляю гостеприимный Нижний-Новгород. В Москве останусь несколько часов для того только, чтобы поцеловать моего искреннего друга, знаменитого старца М. С. Щепкина. Говорил ли вам Лазаревский, что этот бессмертный старец сделал мне четырехсотверстный визит о рождественских святках? Каков старик? самый юный, самый сердечный старик! и мне было бы непростительно грешно не посвятить ему несколько часов в Москве.

Во имя всех святых, простите мне великодушно мой лаконизм. Я в эти долгие дни буквально не владею собой. Не только писать -- читать не могу. На днях получил я от Сергея Тимофеевича Аксакова его новую книгу "Детство Багрова"21. И она у меня так и лежит не разрезанною. Несносно томительное состояние.

До скорого свидания, моя великодушная, святая заступница22. Всем сердцем моим целую вас, графа Федора Петровича и все родное и близкое вашему нежному, благородному сердцу. Сердечно благодарный вам Тарас *Шевченко"*.

Можно смело сказать, что графиня Анастасия Ивановна Толстая спасла Малороссии великого поэта.

Нередко, чтобы помочь ближнему, Толстые забывали свои интересы. Это забвение себя для других меня особенно изумляло и трогало в графине во время ее жестоких несчастий и глубокого горя, когда людям бывает ни до кого и ни до чего.

Зимой я с семьей своей поселилась в Дрездене. В это время жила в Дрездене с своим семейством Марья Каспаровна Рейхель, рожденная Эрн, приехавшая в чужие края с семейством Александра; муж ее занимал место профессора музыки и пения в Дрезденской консерватории. Узнавши о нашем приезде, она немедленно нас навестила; от нее я узнала некоторые подробности о жизни Александра и его семейства с их отъезда из России.

В одном из писем Маши к Александру я написала ему несколько слов между строчек ее письма; спустя дней десять Маша получила от него ответ, в конце которого была следующая приписка:

"Читаю между строчек, и что за странность! Мне двенадцать лет, а Тане четырнадцать. Зачем же между строчек? пишите прямо. Бог знает как рад. Нельзя ли нам увидаться. Можно устроить свидание на берегу моря. Хочется вас видеть, обнять".

Вслед за письмом я получила от него ящик книг и листок издаваемой им газеты. С этого времени постоянно получала его газету в продолжение двух лет, проведенных нами за границей, и от времени до времени с ним переписывалась23.

По желанию Александра, я послала ему фотографические портреты моих детей; он отвечал:

"Бесконечно благодарен: я здесь не избалован вниманием. Славные лица, настоящие русские юноши; присоединил к моей коллекции. А знают ли твои дети, что у них дедушка пономарь?"24

В одном из писем он предлагал нам следующее лето провести на острове Вайте, куда и сам с детьми намерен был переехать.

"Воздух на острове здоровый, прекрасный, -- писал он, -- мы заранее вам все устроим, и вблизи нас раскинем палатку вашу".

На остров Вайт мы не поехали; не была я и на берегу моря, чтоб повидаться с другом моей молодости.

В Дрездене мы виделись с Михаилом Никифоровичем Катковым и его женою; они приехали из Лондона и, узнавши, что мы в Дрездене, вечером в день своего приезда навестили нас; мы встретили их с криком удивления и радости. Только что расположились пить чай и начались взаимные рассказы и расспросы, как дверь быстро растворилась и в комнату торопливо вошла Каролина Карловна Павлова, известная некоторыми талантливыми произведениями в нашей литературе; она узнала из газет о приезде Катковых, отыскала их у нас и тут же пригласила всех к себе пить чай, куда мы и отправились. После чая она прочитала нам только что написанный ею рассказ "За чайным столом" и предложила Михаилу Никифоровичу купить его для "Русского вестника". Рассказ этот был напечатан в "Вестнике", кажется, в декабре того же года25.

Михаил Никифорович сказывал мне, что виделся с Александром и сожалел, что вследствие недоразумения они расстались с взаимным неудовольствием.

Мне это было очень неприятно; по рассказу Михаила Никифоровича, я видела в их разладе недоразумение и, чтобы разъяснить его, написала Александру, что он превратно понял отношения к нему Михаила Никифоровича. Он отвечал мне: "Тебе бог попрыскал очи такой водой, что ты розы видишь, а шипов не можешь видеть никогда". Так старание мое и пропало даром26.

Остальную часть осени и зиму мы провели в Гейдельберге, приехали прямо к юбилею Шиллера27. Юбилей праздновался торжественно; бюст поэта, увенчанный цветами, стоял на возвышении, окруженный молодыми девушками в венках, с гирляндами из живых цветов в руках; говорились речи, пелись хоры, портреты поэта

продавались на каждом шагу; вечером весь университет; и толпы народа с пылающими факелами и музыкой обходили все улицы города.

Сколько народов благословляли в этот день великого поэта за святые минуты, за слезы, пролитые на его поэмы, на его чистые песни; какой памятник сравнится с тем, который он воздвигнул себе в человечестве! Какой пламенник может гореть ярче его горячей любви к людям.

В Гейдельберге мы устроились довольно удобно; некоторые из русских молодых профессоров, слушавших там лекции, познакомились с нами; чаще всех у нас бывал Иван Михайлович Сеченов, Дмитрий Иванович Менделеев и покойный профессор Ешевский.

Весной мы отправились в Швейцарию.

В Берне остановились на несколько дней в гостинице "Au Faucon" {"Сокол" *(франц.)*.}, и тотчас же послали записку к сыну Александра, который кончал курс медицинских наук в Бернском университете и жил в семействе всеми уважаемого профессора Фогта. Спустя несколько минут он к нам явился; это был юноша с длинными белокурыми волосами, добродушным, приятным лицом, с синими глазами, напоминавшими его мать; он выехал из России семилетним ребенком, но нас не забыл, обрадовался нам и с первого же дня так подружился с нами, что с простодушием и пылкостию юности доверил свою любовь к тринадцатилетней внучке Фогта, Эмме; говорил, что просил у отца позволения сделать ей формальное предложение и женихом ждать ее совершеннолетия, но отец не соглашается, недоволен его ранней любовью и поспешностию завестись семейством. "Я напомнил отцу,-- говорил он, -- что он был немного старше меня, когда любил и женился, это ему не понравилось, и теперь у нас идет тяжелая переписка"28.

-- Почему же твой отец так против твоей любви? -- сказала я. -- Семейство Фогтов почтенное, он уважает его и дружен с их сыном, знаменитым натуралистом Карлом Фогтом.

-- Ну вот подите, запала у него мысль, чтобы я женился на русской, жил для России, любил Россию. Как это любить то, чего не знаешь! Я едва помню Россию, она мне чужда и что могу для нее сделать? и какой я политический деятель! Я человек мирный, был бы у

меня свой уголок земли в Швейцарии, Эмма да книги,-- мне и достаточно.

-- Знают ли Фогты о твоей любви к Эмме и как на это смотрят?

-- Знают и очень довольны, -- тем затруднительнее мое положение.

Мы прожили в Берне около двух недель; сын Александра проводил у нас целые дни; через него познакомились мы и с Фогтами; они принимали нас, как старых друзей, и часто удерживали обедать. Обедали мы у них за знаменитым круглым семейным столом, за которым обходились без прислуги несколько поколений Фогтов и Фолленов, из рода которых была умная, веселая старушка -- жена самого профессора. Стол этот занимал большое пространство в столовой и был неподвижно прикреплен к полу; внутренняя часть его двигалась на оси; на эту часть стола ставили все, что надо было для обеда: вино, воду, хлеб, горчицу, соль, тарелки, и каждый мог привертывать к себе, что ему надобно.

После обеда, сидя в комнате старушки Фогт, под окнами которой находился их сад с парником и огородом, я видала, как два сына ее, снявши с себя сюртуки, с заступами в руках копали гряды и накрывали парники тяжелыми стеклянными рамами. В этом семействе все по возможности справляли дела сами, не столько по необходимости, сколько из демократического принципа; единственная служанка исполняла должность кухарки, чистила сапоги и убирала комнату только старушки матери. Жизнь этого семейства текла тихо, мирно, однообразно, как большей части швейцарских семейств. Они не соображали число детей с приходо-расходной книгой, и многочисленные поколения сменялись одни другими, поочередно оставляя родимый кров. Дочери шли замуж, сыновья-студенты, кончая курс, шли жить, как знают, и трудиться; из них-то выходили известные ученые и литераторы; так, из семейства Фогта вышел талантливый натуралист-зоолог Карл Фогт29. Он при нас приезжал повидаться с родными, и мы познакомились. Это был человек реальный, светлого ума и самого счастливого характера. Он не разъедал себя тоской по несбывшимся мечтам; страстно любил природу, в науке видел не труд, а наслаждение и не требовал ни от природы, ни от людей больше того, что они могут давать.

Когда Карл Фогт жил в Ницце, делая наблюдение над зоофитами, наполняющими теплые заливы Средиземного моря, то познакомился и сблизился с жившим там Александром; впоследствии Александр рассказывал нам, как проводил время свое Карл Фогт в Ницце. Рано утром он был уже за работой, с микроскопом в руках, наблюдал, писал, рисовал, читал; перед обедом купался в море вместе с Александром и приходил к нему обедать; всегда веселый, всегда готовый как на ученый спор, так и на забавные песни и на сказки детям, которые они слушали не отрываясь.

В Берне сын Александра познакомил нас с Эммой. С разрешения ее бабушки, он привез ее из Цюриха, где она воспитывалась в пансионе. Это была девочка, почти дитя, свеженькая, румяная, с веселыми голубыми глазками, еще хризалида, как выразился о ней Александр.

Пробывши около двух недель в Берне, мы уехали в Женеву; там наняли в Паки отдельный небольшой дом с садом, полным розанов, из окон виднелось Женевское озеро, голубое, как улыбка младенца; аллея каштанов с их бледно-розовыми пирамидальными цветами; вдали Салевские горы, а из-за них, в ясное утро и в тихий вечер, как бы начерченная на небе, белела девственным снегом вершина Монблана. Волшебная красота природы, мягкий, кроткий воздух спасительно влияли на мою в то время больную душу; мне надобно было отдохнуть от новой душевной тревоги, от грозившего нового семейного несчастия.

Вскоре приехал к нам в Женеву наш юный друг из Берна и сообщил, что сделал формальное предложение Эмме, объявил об этом ее бабушке и деду, получил их согласие и в качестве жениха вместе с своей невестой был с визитом у всех ее родных и знакомых. Все это он устроил без ведома отца, просил меня известить его о своем подвиге и постараться, чтобы дело обошлось мирно. Так оно и обошлось -- наружно; внутренно же Александр думал как бы устроенное расстроить; но несмотря на это, когда сын приехал к нему в Лондон с своей невестой в сопровождении ее тетки, чтобы познакомить с своим семейством, отец, предварительно уведомленный, выехал к ним навстречу на вокзал железной дороги в коляске, в которую посадил с собой невесту-дитя и повез к себе на квартиру; там все было приготовлено к ее приему как невесты сына, и во все время ее

пребывания у него она была окружена вниманием и нежностию; но этим все и ограничилось.

Когда в Лондон приехали родители Эммы, Александр принял их довольно холодно и посоветовал до совершеннолетия невесты взять ее с собою в их место жительства -- Южную Америку, куда они вскоре и уехали. Сына же своего на это время отправил в ученое путешествие, предпринятое Карлом Фогтом, кажется, к берегам Норвегии и Исландии30. В продолжение этой разлуки молодые люди переписывались; письма из Америки не всегда доходили по назначению; переписка становилась все реже и реже, наконец совсем прекратилась; прекратились и отношения молодых людей.

Эмма, как я слышала, вышла замуж за богатого банкира в Южной Америке; сын Александра поселился в Италии, впоследствии женился, имеет девять человек прелестных детей, купил под Флоренцией виллу, занимается хозяйством и естественными науками и приобрел известность как ученый-писатель. Мечты двадцатилетнего юноши осуществились.

В конце лета мы отправились в Мюнхен озерами Женевским, Четырех Кантонов и Констанским; пробыли там около месяца и уехали во Францию. Одним вечером широкое зарево возвестило нам близость Парижа. Какое-то лихорадочное чувство охватывает при въезде в эту столицу, исполненную чарующих воспоминаний.

Летом прибыло в Париж семейство графа Ф. П. Толстого; они наняли квартиру недалеко от нас, и мы стали видаться довольно часто; вместе осматривали Париж и его окрестности, вместе слушали лекции Жоффруа Сент-Илера, которые он читал работникам31, и вместе проводили по нескольку дней в Версале, осматривали дворец, полный трагических воспоминаний, частию превращенный в картинную галерею, его семирамидины сады, его игру фонтанов и романтичный Трианон.

В один из наших приездов в Версаль мне подали с почты записку, в которой было сказано:

"Федор Агеев от тятеньки из Корчевы приехал за приказаниями".

Когда я училась вместе с Александром и жила у них, то отец мой нередко присылал из Корчевы в Москву кондитера нашего Федора Агеева за покупками, и он всегда являлся ко мне узнать, не будет ли каких приказаний. Нас это чрезвычайно забавляло в то время.

За несколько дней перед нашей поездкой в Версаль Александр писал, что собирается в Париж. Чтобы не навлечь неприятностей на детей моих и вместе с тем не оскорбить Александра, я немедленно обратилась к советнику нашего посольства, Толстому, с которым иногда видалась в доме графа Ф. П. Толстого; показала ему письмо Александра, где он уведомлял меня о своем приезде, и спросила, могу ли открыто видеться с ним, не навлекая на нас подозрений и неприятностей; если же не могу, то сообщу это ему и уеду из Парижа; он все поймет и не обвинит меня, а оставаться тут и не видаться с ним мне невозможно. Толстой отвечал, что уезжать мне из Парижа нет никакой надобности и видаться с Александром могу сколько угодно; что образ жизни нашей отклоняет от нас всякое подозрение.

-- Напротив, -- продолжал Толстой, -- мы надеемся, что ваше влияние, может, благотворно повлияет на Александра Ивановича и возвратит его отечеству.

-- Едва ли, -- отвечала я. -- Оставя то, что он неизмеримо выше меня по уму и многостороннему развитию, он так тверд в своих убеждениях, что если ангел с неба прилетит и станет разуверять его, -- и тот ничего не сделает; разве только факты заставят его изменить свой взгляд.

Вместе с этим я показала Толстому остальные письма ко мне Александра32; в них речь шла большею частик" о семейных делах и местами перемешивалась безвредными остротами; Толстой взглянул на письма, но читать их не стал.

По получении трогательно-шутливой записки в Версале, напомнившей мне наше отрочество, я поехала в Париж с меньшим сыном Владимиром и Ипполитом; старший сын находился тогда в Италии. В квартире нашей нас ждали две дочери Александра с гувернанткой и одним нашим родственником33. Около половины вечера на лестнице послышались шаги Саши; я вышла к нему навстречу, и мы обнялись. Он был в возбужденном состоянии, где-то обедал и пил много шампанского; войдя в залу, тотчас спросил сельтерской воды и, выпивая стакан за стаканом, стал с живостию рассказывать о бывшем обеде, кого видел, что слышал, перебрасывался от предмета к предмету, перемешивал рассказы то остротами, то воспоминаниями; он говорил почти один, все слушали молча. Я всматривалась в него отчасти с удивлением, отчасти с

грустью, отыскивая знакомые, близкие мне черты. Передо мной был тот же Александр -- да не тот; самая наружность его много изменилась: он очень пополнел, в волосах серебрилась седина, в приемах была самоуверенность, во взгляде, в голосе -- привычка к авторитету; минутами в лице его выступала знакомая мне черта добродушия, а когда обращался ко мне, мелькала его полудетская улыбка" Я чувствовала, что между нами протеснилась пропасть лиц, событий, страстных интересов, понятий, мне чуждых и нежеланных. Речь Александра лилась как водопад; сначала она увлекала меня, потом утомляла до того, что, как бы сквозь водяную пыль, мне стали чудиться то Лондон и Рим, то уютный кабинет с полками книг и звездочка светит в окно, имена Фази, Гарибальди сменяли Ник, Грановский; из-за Circolo Romano и "Tribune de peuples"34 выступало Васильевское, река с плотиною, и лес шумит, и отрок с робким взором и восторженною речью... "Нет, -- говорила я сама себе, как бы пробуждаясь от сна, -- между былым и настоящим святая связь не порвалась".

К концу вечера Саша стал спокойнее и сдержаннее. Когда мы остались одни, разговор между нами вязался плохо; он, видимо, чем-то затруднялся, наконец, как бы вырвавшись из этого состояния, сказал с упреком в голосе:

-- До меня доходят слухи, что ты не одобряешь некоторые статьи моей газеты.

Кто-то, по приезде его в Париж, поторопился сообщить ему об этом.

-- Что же из этого, -- отвечала я, -- нельзя же, чтобы весь мир во всем соглашался с тобою и что ты ни скажешь-- все находили бы прекрасным.

-- Зачем весь мир, -- возразил он, -- но с тобою мы когда-то понимали друг друга во всем.

-- Детьми, юными, мало ли что!

-- А теперь? Идем различными путями?

-- Должно быть, ты далеко ушел вперед.

-- А ты? ты остановилась? Нет, это не так.

Затем речь его излилась в упреках. Я молча слушала, чувствовала себя обиженной и, когда он кончил, сказала, стараясь казаться спокойной:

-- Ты ничего не теряешь.

Подумавши немного, он стал говорить о любви своей к родине, о грусти по ней, об общечеловеческих интересах и закончил словами:

-- Ну, да года через три или четыре вы увидите нас в России.

Я посмотрела на него с удивлением и спросила:

-- Каким же это образом?

Тогда он туманно, или это мне так показалось, оттого что я была слишком взволнована, стал объяснять, как это возможно; я долго слушала, не возражая, и, когда он умолкнул, сказала печально:

-- Мне кажется, Саша, ты ошибаешься.

ГЛАВА 44

ГРАФ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ ТОЛСТОЙ

1860

На другой день Александр рано утром приехал к нам совсем в другом настроении духа; он тихо, ласково взял меня за обе руки и просил простить его за вчерашний вечер, за вырвавшиеся у него упреки и позабыть, что он наговорил; сваливал вину на шампанское и на свой неисправимый характер. Я была тронута, но, несмотря на наружное сближение, в глубине души чувствовала еще какую-то чуждость, чувствовала, что нам надобно ознакомиться снова для восстановления прежних отношений, всмотреться друг в друга, чтобы найти точки соприкосновения. На это необходимо было время..

Так оно и сделалось.

Осмотревшись, мы увидали, что внутренно не изменились, но близки только в прошедшем; на этом и остановились, отклонивши всякое требование, все постороннее нашему прошедшему.

Дня через два по приезде своем в Париж Александр пригласил нас и другое родственное ему семейство на обед, который заказал в

ресторане "Petit moulin rouge" {"Маленькая красная мельница" *(франц.).*}. Обед был роскошен, всем хотелось одушевить его, но, несмотря на всевозможные усилия, чувствовалось, что чего-то недостает -- недоставало общей гармонии: за внешним весельем таилось в душе что-то чуждое веселости, таилась даже грусть1.

Около вечера мы отправились в Булонский лес. Я ехала в коляске с Сашей. Тихая, лунная ночь, лес возбуждали в нем воспоминание об ароматных, быстро наступающих ночах Италии; о Васильевском с нашей вечерней зарей, сливающейся с зарею утренней, с ночными соловьями, с мелькающей зарницей. Почти на такие же темы шел разговор во все время этой прогулки.

В продолжение месяца, прожитого Александром в Париже2, мы видались часто, вместе бывали за городом, в театре, в Jardin des plantes {Ботаническом саду *(франц.).*}. Однажды он пригласил нас в картинную галерею Лувра; там, останавливаясь перед картинами, обращавшими на себя его особенное внимание, громко делал такие оригинально-острые замечания, что мало-помалу около нас стала собираться толпа, среди которой слышались то восклицания одобрения, то мелькали улыбки; толпа постепенно росла, следом ходила за нами с видимым ожиданием еще большего удовольствия и, наконец, так увеличилась, что мы принуждены были удалиться из Лувра.

Когда мне случалось идти с ним по Парижу и мы попадали на место, замечательное каким-нибудь событием из революции 1848 года, он останавливался и с жаром рассказывал, что тут происходило.

Одним ясным утром, проходя вместе с Сашей по Пале-Роялю, увидала я впереди нас медленно идущего старика, просто, но хорошо одетого. Его благородная наружность и что-то печально-задумчивое в лице остановило на нем мое внимание.

-- Знаешь ли ты, кто это? -- спросил меня Саша.

-- Не знаю, -- отвечала я, -- скажи кто?

-- Один из участников четырнадцатого декабря, князь Сергей Григорьевич Волконский, возвращенный из ссылки.

В памяти моей осветился трогательный ряд женщин-аристократок -- они бросают родных, роскошь, блеск общественного положения и идут за мужьями в глубину Сибири; представился грустно-поэтический вечер, который княгиня М. Н. Волконская, отъезжая в

ссылку к мужу, проводит у своей невестки -- умной, талантливой писательницы, княгини З. А. Волконской, -- окруженная самыми замечательными личностями литературного мира того периода времени.

Печально смотрела я на шедшего впереди нас слабыми шагами старца.

-- Хочешь познакомиться с князем? -- сказал Саша,

-- Конечно, хочу, -- отвечала я.

Мы ускорили шаги и нагнали князя. Он быстро обернулся к нам. Узнавши Александра, с которым был знаком, приветливо улыбнулся и подал ему руку. Саша, почтительно кланяясь, сказал:

-- Здравствуйте, князь, как ваше здоровье? прогуливаетесь, и прекрасно, утро великолепное.

Затем он представил нас друг другу и мы все вместе отправились дальше. Разговаривая, князь Сергей Григорьевич несколько раз жаловался на свои ноги. Обойдя часть Пале-Рояля, мы зашли отдохнуть на квартиру к Александру.

Знакомство наше с князем Волконским продолжалось, и он нередко посещал нас в Париже.

У Александра я познакомилась еще с князем Петром Владимировичем Долгоруковым; он как-то хорошо расположился к нам, бывал у нас вечерами, и иногда вместе с Сашей, который всегда осыпал его остротами, особливо когда князь читал отрывки из своих "Записок" З.

Кроме упомянутых личностей, в продолжение нескольких месяцев, прожитых нами в Париже, мы часто видались с княжной Натальей Петровной Шаликовой, с семейством нашего уважаемого протоиерея Васильева, молодыми князем и княгиней Кудашевыми и с автором "Писем из Испании" Василием Петровичем Боткиным4. Раза три в неделю проводила у нас целые дни десятилетняя дочь Александра -- Оленька, прелестный, резвый ребенок. Она жила большею частию в Париже с своей гувернанткой, воздух Франции находили необходимым для ее здоровья. Мы любили и баловали ее,-- меньшой сын мой учил ее русской грамоте, которой она не знала, несмотря на то что недурно говорила по-русски.

Незаметно наступило время отъезда Александра из Парижа. Одним ранним утром провожали мы его на железную дорогу. Старшая

дочь его с гувернанткой, сыном моим н одним родственником ехали в карете, я с Сашей в коляске, меньшую дочь свою он посадил у нас к кучеру на козлы. Грустно шел между нами разговор о близких нам предметах и мало-помалу принял такое болезненное направление, что он раздражился, а я расплакалась; в таком состоянии духа мы и расстались5.

Спустя несколько дней я получила от него из Лондона письмо и только что вышедшую книгу его сочинения с надписью: "Ну, полноте сердиться"; вместе с книгой он прислал мне фотографическую карточку, на которой он был изображен сидящим, а подле него Ник в стоячем положении; на обороте была надпись: *"С подлинником верно"6.* И точно, на этой карточке они оба очень похожи. Вскоре вслед за Александром оставили Париж и Толстые. С их отъездом прекратились и вечера, в которые мы собирались то у них, то у нас, то у С. Л. Львицкого и Кологривовых. Вечера эти оставили по себе хорошее воспоминание, особенно те, которые мы проводили у графа Федора Петровича. Там собирались не только близкие знакомые, но и многие из русских и иностранных художников и любителей искусств. Молодые люди танцевали, а между нетанцующими шли интересные разговоры, особенно касавшиеся искусств. Вечера эти оживлял оригинальным остроумием Н. Ф. Щербина. Он привез с собой большую тетрадь русских песен для фортепьяно7; знающие музыку и пение их играли и пели; родные напевы отзывались сочувственно в душе каждого и не раз погружали в безотчетные думы.

Еще лучшее воспоминание оставило во мне то время, которое я проводила с Толстыми одна, в задушевной беседе или слушая рассказы графа Федора Петровича о его прошедшей жизни и чтение из его воспоминаний и путевых записок. Он писал их постоянно и в Петербурге и за границей и продолжал до последних дней своей жизни.

Чтобы познакомить с фактами, более очерчивающими нашего знаменитого русского и, можно сказать, европейского художника-медальера графа Ф. П. Толстого, я удержала в моих воспоминаниях некоторые из его рассказов и сделала извлечения из "Записок" его {С разрешения супруги покойного графа, графини Анастасии Ивановны Толстой, и его дочери, Екатерины Федоровны, супруги нашего известного окулиста профессора Эдуарда Андреевича Юнге. Рассказы

гр. Федора Петровича и отрывки из его "Записок", мною представляемые здесь, служат продолжением нескольких глав, напечатанных самим гр. Ф. П. Толстым на страницах "Русской старины" незадолго до своей кончины ("Русская старина", 1873 г., т, VII, стр. 24--51, 123--145, 517--532). *(Прим. Т. П. Пассек.)*}.

МАСОНСКИЕ ЛОЖИ8

Когда открылась французская революция, то масонские ложи, проникнувшие в Россию еще в прошедшем столетии, были закрыты, -- говорил нам граф, -- и только около 1812 года мало-помалу снова стали проявляться, как предполагали, из Германии и сосредоточивались по преимуществу в Петербурге. Дух братства, содержавшийся в масонстве, сильно привлекал в ложи множество членов из лиц, занимавших значительные должности в государстве, много молодых людей лучшего круга общества, получивших блестящее образование, и из личностей, известных умом и талантами, в числе которых находилось и несколько декабристов. Правительство смотрело на масонство не только что снисходительно, но даже утвердило главную директориальную ложу "Св. Владимира к порядку" и дало ей правила, которых как она, так и зависящие от нее ложи должны были держаться.

Директориальная ложа, по возникшим в ней несогласиям, распалась на две главные ложи: "Астрею" и "Провинциальную". От каждой из них, как бы лучи, отбрасывались ложи второстепенные, которым они служили образцами, и обязаны были исполнять с величайшею точностию установленные в них правила и обряды.

По словам графа, в "Астрее" было гораздо больше порядка, стройности и идеи, нежели в "Провинциальной"; то же настроение проявлялось и в подведомственных им ложах.

Когда в некоторых государствах в тайных обществах, вместо благотворительности и улучшения нравов -- цели масонства, стали заниматься политикой, вследствие чего произошли там беспорядки, то, в предупреждение подобных же печальных явлений, вышел

высочайший приказ -- все тайные общества в России, под каким бы они названием ни существовали, закрыть и впредь не допускать.

Таким образом, в 1822 году масонство, без всяких демонстраций, прекратилось, и со всех членов взяты были подписки вперед ни в каких тайных обществах не участвовать {Действительные причины и весь ход закрытия масонских лож в России весьма обстоятельно изложены в документах, впервые явившихся на свет в "Русской старине", изд. 1877 г., т. XVIII, стр. 455--479, 641--654. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}. Многочисленные братья-каменщики рассыпались, но продолжали распространять свое учение.

В ложе "Петра к истине", "Peter zur Wahrheit", подведомственной "Астрее", к которой принадлежал и граф Ф. П. Толстой, главным мастером был директор Обуховской больницы, доктор медицины, статский советник Еллизен, бескорыстный, добродетельнейший ученый, помогавший многочисленным семействам, находившимся в крайности.

"Я вступил, -- сказано в "Записках" графа Ф. П. Толстого,-- как и все посвящавшиеся в масоны, -- учеником; а через два месяца был возведен в звание мастера и избран в церемониймейстеры ложи; затем вскоре был сделан первым надзирателем этой ложи; далее последовательно получал все высшие степени масонства, то есть: обе степени шотландских лож, ложи тамплиеров, Rose croix {Розы креста *(франц.).*} и других.

В нашей ложе работы производились на немецком языке, так же как и в ложе "Елисаветы к добродетели", в которой мастером стула был камер-юнкер Ланской, человек обыкновенного ума. В ложе под названием "Меч" работы шли на языке французском; в ней мастером стула был тоже молодой придворный человек, лет двадцати восьми, граф Вьельгорский 2-й. Вьельгорских было два брата, оба камер-юнкеры; они были очень хорошо приняты при дворе, но, кроме камер-юнкерства, не занимали никаких должностей. Старший из них, мастер ложи "Меча", занимался музыкой и пел на домашних вечерах во дворце. Меньшой, также при дворе, играл на виолончеле.

Обе эти ложи были наполнены людьми знатными и богатыми.

Главная ложа российского масонства, под названием "Главная ложа Астрея", находилась в Петербурге; первым мастером этой ложи был граф Мусин-Пушкин, а я состоял наместным мастером. В другие

должности по масонским работам и управлениям этой ложи выбирались мастерами стульев и должностными членами личности из всех существующих здешних лож. В должностные члены "Астреи" избрано было больше всего из ложи "Peter zur Wahrheit", так как она изобиловала более всех других серьезными, образованными, дельными людьми. Все русские, получившие хорошее образование, предпочтительно вступали в эту ложу.

Исполнялись ли у нас и во всех других ложах с равным рвением и деятельностию главнейшие работы масонов--"распространение всеобщего, истинного образования души и ума" -- это под большим сомнением. Разве в Швеции, где масонство держится еще в том же положении, в каком оно составилось и действовало к истинному благу человечества, но в наших ложах так можно поручиться, что, кроме ложи "Peter zur Wahrheit", в других ложах многие из собратий даже не знали, в чем и состоят настоящие работы масонов, и думали, что все таинство масонства заключается в аллегорических действиях, производимых в заседаниях лож.

В нашей ложе находилось почти наполовину русских, из которых многие плохо говорили по-немецки, а работы производились в ней на этом языке, почему и положено было нами, с разрешения великой ложи "Астреи", отделиться от ложи "Peter zur Wahrheit" и составить особую ложу под названием "Избранного Михаила", в которой масонские работы должны были происходить по ритуалам ложи "Peter zur Wahrheit", только на русском языке. Получив диплом от великой ложи "Астреи" на организование сказанной ложи "Избранного Михаила", в 1815 году приступлено было к избранию мастера стула этой ложи, которым и был избран я; затем выбраны были все должностные братии. Наместным мастером выбран был полковник главного штаба Данилевский; оратором -- полковник Федор Николаевич Глинка, адъютант военного генерал-губернатора Милорадовича, секретарем -- Николай Иванович Греч, издатель журнала "Сын отечества"; казначеем -- Николай Иванович Кусов, первой гильдии купец; церемониймейстером -- Александр Иванович Уваров; первым надзирателем -- Алексей Иванович Кусов; вторым надзирателем -- купец Толченов.

Немедленно по избрании должностных членов приступлено было к отысканию квартиры для ложи и нанят "был бельэтаж в угловом

доме на углу Адмиралтейской площади и Невского проспекта, против трактира "Лондон".

Все внутреннее устройство ложи было принято на себя мною. Я сочинил план, нарисовал внутренний вид со всеми принадлежностями и украшениями и дал всему шаблоны. По контракту, сделанному нами с хозяином дома, мы обязаны были при сдаче квартиры возвратить ее точно в таком же виде, в каком ее получили. По сделанному мною плану и принятому братьями огромная зала, назначаемая для ложи, изображала со всех сторон открытую, без потолка, ионического ордена колоннаду в саду с антаблементом; колоннада и антаблемент по стенам залы были деревянные, а стены между столбов расписаны садом и воздухом, так же как и потолок, сделанный плоским фальшивым сводом, изображавшим небо. Я пригласил для исполнения этого плана театрального машиниста г-на Тибо, что он и устроил, нисколько не повредя ни стен, ни потолка. На столбах, гораздо выше их половины, кругом всей залы, спускалась до самого пола голубого цвета драпировка из тонкой шерстяной материи, обшитой золотым галуном и бахромой; она была прикреплена к столбам небольшими золотыми розетками, через которые повешен был, также по всей зале, по драпировке, толстый золотой шнурок, фестонами, с кафинским узлом посредине. На полу между столбов, на возвышении одной ступеньки, стояли скамейки с подушками, покрытые также голубой материей и также обшитые золотым галуном и бахромой; на этих скамейках во время работы лож сидели братья.

Потолок залы, сделанный плоским сводом, долженствовавший изображать небо, выкрашен был голубым колером, сливавшимся с воздухом, написанным по стенам залы; на нем изображались все созвездия северного небесного полушария, видимые в ночи над Петербургом в Иванов день -- большой праздник масонов. Они изображены были на небесном своде стеклянными золотыми пятиугольными звездами первых пяти величин и размещались верно проекции, сделанной мною с созвездия очень хорошего сферического глобуса северного полушария.

На поперечной стене, против входной двери в ложу, между двух средних столбов, которых на этой и противоположной стене находилось по четыре, выступала вперед от стены параллелограммная площадка, на которую входили тремя ступенями; на ней, у самой

стены, стояли большие резные позолоченные кресла для мастера стула ложи, обшитые, как подушка, так и задок кресел, голубым бархатом; над довольно высокой спинкою кресел изображалось солнце стеклянным шаром, вершков шесть в диаметре; солнце ярко освещалось извнутри, а от него по голубой драпировке во все стороны шли деревянные, хорошо резанные, позолоченные лучи.

Перед креслами мастера стула стоял правильной формы параллелограммный стол, на трех углах которого в высоких бронзовых красивых шандалах горели по три восковые свечи. Стол кругом был обтянут голубым бархатом, вроде налоя, и обит по всем сторонам золотым галуном и бахромой.

На середине стола, против кресел, лежали в богатом переплете большое евангелие и меч ложи, с богатой золоченой рукояткой, в голубых бархатных ножнах, с богатыми бронзовыми золочеными украшениями.

На столе, перед самыми креслами, лежали молоток управления мастера ложи, белой слоновой кости с рукояткой из черного дерева, также белая бумага и стояла бронзовая чернильница.

Между двух крайних столбов, по правой стороне кресел мастера стула, на возвышении одной ступени стояли кресла наместного мастера, тоже резные и золоченые, только поменьше и не такой богатой резьбы и не бархатные, а той материи, из которой драпировки на колоннах, и без изображения солнца. Пол и все ступени были обиты зеленым сукном.

У трех ступеней передних углов, ведших на площадку, на которой находились кресло и стол, стояли на небольших пьедесталах два мужские скелета, державшие бронзовые небольшие канделябры о трех восковых свечах. Перед столом мастера, отступя вперед аршина два, лежал на полу по длине комнаты параллелограммной формы масонский небольшой ковер, на котором масляными красками изображались клейноды, или аллегории масонского ритуала. За ковром, по углам его, стояли, также на возвышении одной ступени, на правой стороне -- стул первого надзирателя, а на левой -- второго надзирателя, лицом к стулу мастера. На стульях подушки покрыты были той же материей, из которой сделаны драпировки на столбах. На скамейках, по стенам, справа против стола мастера было место секретаря ложи; перед ним небольшой четырехугольный стол,

обтянутый голубой, как и драпировки, материей, обитый внизу золотой бахромой. На левой стороне, против секретаря, было точно такое же место для казначея. По левой стороне секретаря сидел, просто на скамейке, оратор ложи, а налево -- церемониймейстер.

Наша ложа была гораздо красивее других лож и приличнее сооружена для масонской ложи; она отличалась также и действиями своими в пользу ближних.

Наружные обряды во время работ масонов в ложах основаны были на аллегории сооружения Соломонова храма. Храм этот изображает чистую нравственность всего человечества, стало быть, и совершенного счастия, для достижения чего братство масонов должно непрерывно трудиться над обогащением себя всеми нравственными добродетелями, возвышающими душу и сердце, а ум -- познанием наук как необходимых средств для того, чтоб помочь человечеству соорудить в мире Соломонов храм.

Ложа наша с малыми своими финансовыми средствами устроила из своих членов комитет, обязанность которого состояла в том, чтобы помогать нуждающимся, которые по своему положению не могут протягивать руки за милостынею, а терпят крайнюю нужду. Члены обязаны были отыскивать таковых и, осведомясь подробно о их нравственности, положении и нуждах, представлять об них ложе, которая, под председательством мастера, распоряжалась, кому какое делать пособие: кто получал квартиру, кто небольшое месячное содержание, кто единовременное пособие дровами, съестными припасами и т. п.

ЛАНКАСТЕРСКИЕ ШКОЛЫ10

Федор Николаевич Глинка, я и Греч вознамерились составить общество распространения ланкастерских школ в России; многие из братии нашей ложи изъявили желание вступить в этот союз. Написав устав статута общества, представили чрез министра народного просвещения его величеству на утверждение.

Греч составил для этого легкого способа учения грамоты необходимые ланкастерские таблицы; они представлены были в

министерство народного просвещения; министром же тогда был князь Александр Николаевич Голицын, глубокий мистик.

По получении высочайшего разрешения на составление общества распространения ланкастерских школ в России, немедленно приступлено было к избранию председателя общества, которым и избран был я; в помощники мне избраны были Греч и Глинка, а казначеем общества -- Николай Кусов.

Первую примерную школу положено было нами устроить в Петербурге, на виду всех. По нашим средствам мы должны были устроить эту школу в очень скромном виде, в Коломне, в одной из отдаленных улиц, в деревянном простом доме, в котором весьма удобно могло учиться до ста и более учеников. Эта невзрачная по наружности школа вполне согласовалась с учениками, которые должны были в ней учиться, потому что эти школы устраиваются по правилам общества только для крестьянских детей, бедных мещан и мастеровых. Я слышал, что нас многие обвиняли и говорили, что лучше бы было, если бы мы не набирали в нашу школу такую ватагу босоногих мальчишек, а взяли бы треть или четверть их да устроили бы школу в более видном месте и с более приличным для порядочной школы помещением, а не в старом некрасивом деревянном доме. Господа обвинители наши забывали о цели, для какой общество наше собралось, забывали, что наша главнейшая цель состояла в том, чтобы стараться о быстрейшем распространении грамотности в простом народе: "Отечеству нужны учащиеся грамотеи, а не здания, в которых они учатся".

Министерство народного просвещения вздумало было учредить несколько времени перед тем ланкастерскую школу в Петербурге; выписан был из Америки учитель, знающий эту методу, и приобретен для помещения большой каменный дом на канаве, против Николы Морского. Не знаю по какой причине, эта школа не состоялась, и американский учитель уехал.

У нас каждый член платил тридцать рублей в год; на эти деньги была устроена и содержалась школа. Учителем школы был избран деятельный и добрый человек, умевший хорошо обращаться с мальчиками простого быта. Общество снабдило его полной инструкцией, как преподавать грамоту по этой методе.

Так как в школу приходила каждый день почти сотня уличных мальчиков, то для соблюдения необходимого порядка при учении положено было обществом, чтобы члены, которым положение их позволяет, каждый день по четыре человека дежурили в школе поочередно, наблюдая за поведением и прилежанием учащихся.

Вступавшие в школу в первый раз должны были быть приводимы родителями, а если их нет, то теми, у кого они живут; в школе они принимались дежурными членами и записывались в алфавитную книгу их имена и фамилии, также имена их родителей и местожительство, и назначалось каждому свое место на скамейке в классе.

В назначенные часы для классов ученики приходили в переднюю комнату школы, где встречали их дежурные и отводили в классы на их места; по окончании классов дежурные члены выводили учеников попарно на улицу, по которой и вели их до первого перекрестка, где ученики расходились по своим местожительствам. По временам посылались члены в квартиры учеников узнавать от родителей, соседей и чрез дворников, хорошо ли они себя ведут, послушны ли родителям и учтивы ли со старшими. Хорошо себя ведущие и хорошо учащиеся получали награды, состоявшие из обуви и, по возможности общества и по степени прилежания, фуражками и некоторыми частями одежды. За большие шалости, дурное поведение и непокорность родителям наказывались стыдом, что в нашей школе было в большой силе; быть поставленным у дверей класса со щеткою в руках считалось большим наказанием и, к счастию, сделалось для ребятишек так страшно, что после очень редко встречались наказанные. Вредных больших шалунов, на исправление которых не предвиделось надежды, отсылали, чтоб не заражали своими шалостями других.

Мы были счастливы, видя, что школа наша удавалася и шла очень успешно вперед. Когда общество наше сформировалось и школа вошла в свое действие, мы в первом собрании нашем избрали в почетные члены графа Кочубея, графа Разумовского и полного генерала Аракчеева; написали к ним письма от общества, приглашая их принять звание почетных членов, и я поехал сам отвозить к ним эти письма. Два первые, известные своею надменностию, отговариваясь недосугом, меня не приняли, а просили от меня письма, которые я и отдал. Не может быть, чтоб недосуг был причиной того, что отказались

принять меня; вероятно, мои двадцать четыре года11 и чин отставного лейтенанта флота, избранного обществом в председатели, был этому виною. От них поехал я к Аракчееву, от которого ожидал себе той же участи, -- и обманулся; правда, трудно было мне добиться, чтоб обо мне доложили его высокопревосходительству. Приехав к деревянному одноэтажному на Литейной дому, в котором жил Аракчеев, я отворил дверь, выходившую на небольшую деревянную лестницу, ведущую в комнаты; перед дверью встретил меня унтер-офицер, в сюртуке, с галунами на воротнике и обшлагах, с вопросом: "Кого вам нужно?"

-- Мне нужно графа Аракчеева и потому покажите, как мне пройти в приемную, а там я найду кого-нибудь, кто бы доложил его сиятельству о моем приезде.

Со многими вопросами и подробностями впустил меня унтер-офицер на лестницу, по которой я вошел в небольшую переднюю, где меня встретил писарь унтер-офицерского чина, с таким же вопросом, как и внизу: "Кого вам надо?" -- и получил тот же ответ, что мне нужно видеть графа Аракчеева и передать письмо.

-- Этого нельзя, пожалуйте ваше письмо, я передам его дежурному адъютанту, а он передаст дежурному штаб-офицеру.

-- Письма моего я ни вам, ни адъютанту, ни дежурному штаб-офицеру и никому, кроме самого графа, не дам, а проводите меня в канцелярию, где бы я мог найти человека, который бы мог доложить о моем приезде.

Меня ввели в канцелярию. Это была большая комната, разделенная в длину пополам перегородкой: первая половина вроде приемной, а вторая--канцелярия. Проводивший меня в приемную писарь исчез от меня в канцелярии. Через несколько времени пришел ко мне дежурный адъютант и довольно надменно спросил:

-- Что вам надо от графа?

-- Что мне надо от графа, это я скажу самому графу, когда буду иметь честь говорить с его сиятельством; а теперь я вас прошу доложить ему о моем приезде.

-- Графу я не могу докладывать, а скажу дежурному штаб-офицеру.

Через несколько минут подошел ко мне господин в полковничьих эполетах, с крайне удивленной физиономией, -- увидев перед собой молодого флотского лейтенанта, ищущего видеть графа, -- и обратился

ко мне с теми же допросами, как и адъютант: кто я и что мне от графа нужно?-- требуя, чтоб я отдал ему мое письмо, а он отдаст Клейнмихелю; Клейнмихель уже доложит графу. Он получил от меня тот же ответ. Два раза этот господин уходил от меня и возвращался опять ко мне, убеждая меня отдать ему письмо и уверяя, что Клейнмихель передаст мое письмо графу непременно. Я видел через канцелярию, как он два раза хватался за ручку замка последней двери, вероятно ведшей в присутственную комнату Клейнмихеля, и наконец исчез в этой комнате. Через несколько минут явился с гневным видом Клейнмихель и, подошед ко мне, довольно высокомерно спросил меня:

-- Что вам надо от графа?

Я отвечал, что имею письмо к его сиятельству, которое хочу передать лично графу, и прошу вас, генерал, доложить его сиятельству, что председатель общества распространения ланкастерских школ в России граф Толстой желает иметь честь лично вручить графу просьбу общества о благосклонном принятии его превосходительством звания почетного члена общества распространения ланкастерских школ в России, в которое в первом общем собрании он был избран. Г-н Клейнмихель очень неохотно должен был идти доложить графу о моем приезде, так как я решительно ему сказал, что только в собственные руки графа отдам это письмо. Не прошло и четверти часа, как генерал Клейнмихель вернулся ко мне совсем другим человеком, очень учтиво подошел ко мне и сказал:

-- Граф просит вас войти в гостиную, он сейчас к вам выйдет, -- и, проведя меня туда, ушел.

Не прошло и десяти минут, как вышел из дверей, противоположных тем, в которые я вошел, Аракчеев; он подошел ко мне и, весьма ласково со мной поздоровавшись, сказал, что очень рад меня видеть, притом прибавил несколько весьма лестных слов насчет моих занятий. Объяснив причину моего явления, я вручил графу письмо от общества, которое он, прочтя, поручил мне благодарить общество за сделанную ему честь и передать ему, что он будет благодарить письменно. Потом повел меня в свой кабинет, где, посадив возле себя на диван, весьма подробно стал расспрашивать о составе, цели и средствах общества. Весьма подробно, по его желанию, я объяснил, как производится учение грамоте по методе Ланкастера и преимущество ее перед обыкновенным учением; я был

чрезвычайно удивлен, с каким вниманием он входил в малейшие подробности ланкастерской методы и, выслушавши все, обещался непременно быть в нашу школу до отъезда своего в Грузино, чтоб видеть эту методу учения грамоте в действии; при этом граф завел речь о Грузине, очень хвалил его мне и, узнав, что я никогда там не был, приглашал меня непременно быть там нынешним летом, как в самом замечательном месте около Петербурга в отношении священной истории, ибо полагают, что в Грузине был распят святой Андрей Первозванный. "Приезжайте, я вам покажу это замечательное место и военное поселение", о пользе которого он мне много говорил12. Три раза подымался я уходить, но граф меня удерживал, и я более трех четвертей часа пробыл у него, восхищаясь и удивляясь его умным и ласковым приемом, мне сделанным; что умным -- немудрено, так как известно всем, что граф был умен и сведущ, а что ласковым -- то я бы не поверил, если бы это не случилось со мной: известно также всем, что граф Аракчеев не отличался мягкостию сердца. Раскланявшись с графом, выйдя в гостиную, я хотел затворить за собой дверь, но не мог: граф был в дверях и шел за мной в гостиную и из нее вышел, провожая меня, в приемную, которую прошел всю, весьма ласково разговаривая, со мною вместе вошел в переднюю, где оставался и смотрел, как я, отдав ему последний поклон, стал сходить с лестницы. Встреча и проводы, сделанные мне графом, привели в совершенное изумление всю его канцелярию.

Не прошло и недели, после того как я был у графа, он приехал в нашу школу в утренние часы, когда ученики сидели уже на скамейках. Я встретил графа в первой комнате с дежурными членами, из которых он с каждым весьма ласково и подробно поговорил о его обязанностях; когда же началось действие школы, то с большим любопытством на все смотрел и обо всем расспрашивал. Видно было, как его сильно занимала эта метода обучения грамоте. Прослушавши преподавание, он очень хвалил эту методу. Когда Аракчеев вошел в классы и увидал одного мальчика, стоящего в углу с метлой в руках, то спросил меня: "Что это значит?" Я отвечал, что мальчик тут поставлен в наказание за непослушание и грубость, сделанную родителям. Я объяснил графу, что в правилах общества вместе с учением грамоте детей бедных крестьян и других простолюдинов положено наблюдать за их нравственностию и исправлять ее, сколько позволяют наши средства.

Объяснил, что и вне школы, в их домашнем житье, отпустив наших учеников домой, мы стараемся узнавать посредством дежурных членов, как учащиеся у нас до появления своего на другой день в школу вели себя. На собрании всех учеников учитель и дежурные члены вызывают мальчиков, сделавших какой-нибудь проступок или серьезную шалость, заслуживающую наказания, и, по мере проступка, каждому делаются -- кому просто увещания или наставление, кому наказание, основанное на стыде. Этот мальчик не хотел слушаться родителей и вдобавок нагрубил им. Граф, с весьма серьезной физиономией выслушав меня, прямо пошел в угол к мальчику; я последовал за ним; подойдя к виноватому, граф стал объяснять ему все пагубные следствия неуважения и непослушания к родителям и старшим. Наставление его мальчику продолжалось довольно долго и было, так убедительно, что мальчик горько расплакался, прося прощения и обещаясь исправиться, никогда не грубить и слушаться; и на деле исполнил это: впоследствии он вышел из школы одним из лучших учеников.

Увидав на практике методу ланкастерского учения грамоты, граф Аракчеев нашел ее лучшею для детей простого народа и очень хвалил весь порядок, заведенный в нашей школе, особенно же учение и нравственность учеников. Прощаясь, он сказал нам много лестных приветствий насчет состава общества.

Впоследствии Аракчеев не раз бывал в нашей школе.

Говоря о существовании в Петербурге масонских лож, должно сказать и о бывшей здесь одной тайной мартинистской ложе под управлением Александра Федоровича Лабзина, конференц-секретаря Академии художеств.

Точно ли это была такая мартинистская ложа и такого же направления, как появившиеся в восемнадцатом столетии на западе Европы мартинистские ложи, вышедшие из мистических и иллюминатских сект, в то время во множестве существовавших в Европе, -- я не знаю, потому что масоны ни с мартинистами, ни с иллюминатами, ни с мистиками не сходились.

Граф Федор Петрович рассказывал, что в этот период времени в России был очень распространен мистицизм, и находилось множество мистиков обоего пола, особенно между знатными фамилиями. Из них

самыми отчаянными мистиками он называл министра народного просвещения Александра Николаевича Голицына, одного из близких сановников к государю, Магницкого, Попова, Лабзина, Александра Ивановича Тургенева и других.

После трехлетнего существования школы по методе Ланкастера, устроенной обществом распространения ланкастерских школ в России, утвержденного императором Александром Павловичем в 1819 году, неожиданно успешно шедшей, так что каждые полгода выпускалось из нее более пятидесяти молодых людей, детей самых бедных крестьян, мещан и ремесленников, так хорошо приготовленных, что по выпуске их охотно принимали писарями в главный штаб, -- общество это, несмотря на то что могло бы принести большую пользу, распространяя грамотность между крестьянами и вообще между всем так называемым низшим классом людей, рушилось. Граф говорил, что князь Голицын, министр народного образования, будучи мистиком, опасался всех, не подчинявшихся влиянию мистицизма. С самого начала существования ланкастерской школы Голицын часто делал запросы и замечания обществу распространения грамотности, незаслуженные выговоры и даже обвинения, которые всегда отражались правдою. Наконец заподозрил, что в этом обществе участвуют западные либералы, и донес государю. Федор Петрович предполагал, что, вероятно, Голицын действовал так не столько по своему убеждению, сколько под влиянием мистиков и мартинистов; им казалось непонятным, каким образом общество распространения ланкастерских школ в России, начиная с председателя состоящее почти все из бедных людей, существующих своими трудами или жалованьем за службу отечеству, одними своими ничтожными средствами содержит такую большую школу, выпускающую ежегодно стольких детей самых бедных родителей, из простого класса людей. Несправедливое обвинение оскорбило и огорчило все общество, особенно же графа Ф. П. Толстого как председателя, и даже обратило на него внимание полиции; но сколько ни следила за ним полиция, ничего не нашла в его образе жизни, кроме того, что он рисует, лепит из воска, режет штемпеля или занимается своим образованием, да с женой и с своими приятелями толкует о театре, литературе и городских новостях. "Мнение князя Голицына об нашем обществе, -- говорил нам граф Ф. П. Толстой, -- не могло меня

беспокоить, но не могло не оскорблять. Хотя мы ничего официального ни от кого не получали, но нам достоверно было известно, что князь Голицын составленное им бог знает с чего мнение о нашем обществе доводил до сведения государя; как же оно было принято государем, не известно; но я все-таки тотчас в полном составе общества отдав отчет в моих действиях за все время существования нашего общества и поблагодарив сердечно за честь, сделанную мне избранием меня в председатели, и за постоянную ко мне доверенность, объявил, что, к крайнему моему сожалению, побуждаем честию просить общество уволить меня от председательства и, по статуту нашему, утвержденному его величеством, немедленно избрать из среды себя нового председателя. На другой день по отречении моем от председательства на мое место назначен был председателем флигель-адъютант, мистик, князь Андрей Борисович Голицын, воображавший, что он открыл тайну вечного движения".

Вслед за определением нового председателя члены общества распространения в России ланкастерских школ, все до одного, отказались быть членами этого общества. Что стало с председателем несуществующего общества, никто из них не интересовался и знать. "Таким образом, -- продолжал граф Ф. П., -- наше общество распространения грамотности в простом народе рушилось. Князь А. Н. Голицын был человек умный и благонамеренный, но не приготовленный с пользою занимать то место, на которое был поставлен; сверх всего он был еще отуманен наплывшею в Петербург с Запада мистикою. Испугавшись либеральных идей, явившихся и носившихся во Франции, Швейцарии и Италии, он во всем видел опасность; вследствие чего таким образом отнесся и к нашему обществу. А стоило только князю Голицыну разузнать о способе, каким мы содержали нашими малыми средствами школу, выпускавшую каждые шесть месяцев по пятидесяти мальчиков, детей простого класса, хорошо обученных грамоте, он бы узнал, что как ни малы были наши денежные средства, нам их достаточно было для содержания нашей школы по методе Ланкастера, самой дешевейшей из всех школ, и убедился бы, что мы не нуждаемся ни в чьей помощи не только от всегдашних врагов наших, но и от дорогого нам отечества. Князь А. Н. Голицын, рожденный в роскоши, воспитанный при дворе Екатерины Великой, живший в полном довольстве и почести, не знал и не

подозревал, что, кроме денег, есть средство, почти так же сильное к достижению предпринятой цели, -- это решительное, постоянное стремление ее добиться, не щадя личных трудов своих.

Деньги нужны были нам на наем дома для школы, на жалованье постоянного учителя по методе Ланкастера, получившего от нас все нужные для того сведения, на наем двух сторожей, наблюдавших за порядком и чистотою в классах, и одного сторожа при входных дверях в школу; на это мы имели достаточно денег от ежегодных взносов членами общества на содержание школы по тридцати рублей в год.

Заводя и устраивая эту школу не для показу, а для настоящей пользы, которую грамотность простого класса людей должна принести государству, мы, соображаясь с нашими средствами, в отдаленной улице Коломны нашли дом деревянный, снаружи весьма невзрачный, но просторный и весьма удобный для устройства в нем школы и квартиры учителя. Этим оканчивались наши денежные расходы на содержание школы; остальное все исполняли мы сами, как-то: должность помощников постоянного учителя, блюстителей тишины и порядка во время классных часов, надзор за прилежанием учеников, учение первых четырех частей арифметики, краткое сведение о географии и русской истории, наблюдение за нравственностию мальчиков, -- для чего ежедневно, во все время классов и пребывания в школе учеников, дежурили каждый день, по очереди, по четыре члена.

Если бы князь Голицын обратил на все это внимание как министр народного образования, то не был бы виною падения неоспоримо полезного отечеству общества, но, вероятно, и сам сделался бы деятельным участником распространения ланкастерских школ во внутренних губерниях России".

ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА

В 1814 году император Александр Павлович, возвратившись из Парижа, сделал парад гвардейским полкам, на котором были розданы медали за взятие Парижа, одинакие как солдатам, так и офицерам, равномерно назначенные и для всех войск, бывших в Париже. Эта медаль была сочинена и резана графом Федором Петровичем Толстым,

так же как и медали 1812 года, сделанные им в начале войны с французами13. После парада государь разрешил офицерам гвардейским, для облегчения их вне службы, носить гражданское платье.

"Разрешение это,-- говорил граф Федор Петрович,-- было употреблено ими во зло. Многие из офицеров, надевши статские фраки и сюртуки, стали делать такие ужасные шалости на бульварах и по улицам, что от них не было прохода даже тем женщинам, которые шли в сопровождении слуг или с своими мужьями; они приставали к ним с разговорами и оскорбительными предложениями, заводили скандалы с мужьями, которые нередко кончались ссорами и драками; когда же в это вступалась полиция, то объявляли себя офицерами гвардии, а так как гвардейских офицеров полиция не имела права брать, то они и уходили безнаказанно. Эти беспрестанно повторявшиеся сцены на бульварах, улицах и публичных гуляниях были виною того, что государь в самом непродолжительном времени запретил гвардейским офицерам носить статское платье; мера эта не уничтожила возмутительные выходки. Фраки были офицерами сняты, но дерзости продолжались.

Несмотря на то что образованность и нравственные понятия начинали довольно сильно развиваться в среде дворянского сословия, особенно между молодыми людьми, масса общества еще чуждалась серьезной деятельности и интересовалась больше забавами, празднествами, сплетнями и скандалами. Роскошные наряды, остроты, блеск положения и светскость нередко прикрывали внутреннюю испорченность, как это выразилось и между многими офицерами. Низшее же сословие от высшего и среднего отделяла пропасть.

Напор новых идей с Запада, распространяясь, будил стремление к улучшению нравственной и политической жизни. Стремление это проникало и в общество и в кабинеты государственных людей.

Новая жизнь возникала повсюду.

Понятие о самодостоинстве, равенстве прав и справедливости ярче всего проявлялось там, где представлялось больше обеспечения, больше досуга, стало быть и возможности получить правильное развитие; там оно и пробудилось сильнее, нежели где-нибудь, и из знатных, богатых домов, из пышных гостиных выступили блестящие юноши с протестом против невежества и неправды.

Многие из этих молодых людей, видя бесчинства, злоупотребления и невежество народных масс, вздумали образовать тайное общество14, посредством которого создалось бы карающее общественное мнение, которое обнаруживало бы все низкие, порочные и несправедливые действия как служащих, так и неслужащих во всех сословиях, и, таким образом раскрывая их перед правительством и обществом, способствовало к их уничтожению.

Это центральное общество образовалось под названием "Зеленой книги"; оно состояло из небольшого числа членов, из которых избирался один первенствующий и назывался "главою". Чтобы иметь возможность образовать общественное мнение, общество "Зеленой книги" установило следующую организацию: каждый из центральных членов обязан был, отдельно от своего общества, составить особый круг на том же основании, как и центральное, члены которого знали бы только своих членов и своего главу и не знали бы ничего об обществе основном. Члены этих новых обществ обязаны были, в свою очередь, составить такие же круги, как и первые, и на тех же самых условиях, и так же основать из себя точно такие же общества, как и предшествовавшие, и так же не знать никаких других членов, кроме своего круга. Выбирались люди с осмотрительностию, известные развитием, умом, честностию и благородными понятиями.

Таким образом думали составить со временем огромное нравоисправительное общество, двигателем которого было бы центральное.

Так как главная цель первенствующего общества состояла в обязанности узнавать везде происходившие несправедливости, вредные действия чиновников, даже управляющих высшими должностями, и вообще противонравственные поступки, то все члены его отделений, узнавши о каком-нибудь безнравственном или беззаконном действии или поступке, должны были объявить об этом своему главе; таким образом, сообщенное, переходя от одного центра к другому, доходило до первенствующего, которое, убедившись в истине доставленных сведений, поручало всем членам, через их главных, сообщенное распространять между всеми своими знакомыми и повсюду, где возможно, говорить о совершенном дурном или вредном поступке, -- о нем начинали тотчас толковать во всем городе, осуждали

его, и мало-помалу он доходил до правительства, которое могло принять меры для его уничтожения".

Граф Федор Петрович Толстой был приглашен в число членов общества "Зеленой книги". Оно состояло тогда из князя Долгорукова, трех братьев Муравьевых, двух братьев Игнатьевых -- офицеров гвардии, и Федора Николаевича Глинки. Граф принял предложение и вскоре по вступлении своем в центральное общество был выбран главою. Действия графа несколько времени продолжались с большим успехом; когда же он заметил, что в их обществе стали заниматься политикой больше, чем исправлением нравов, что составляло прямую цель этого, хотя и тайного, но полезного правительству общества, то и предложил его членам их общество лучше закрыть, нежели вводить в него идеи, не соответствующие его уставу. Все с этим согласились. Граф сжег находившиеся у него книги и бумаги общества и с этих пор редко видался с бывшими его членами.

Отдалившись от общества "Зеленой книги", граф вступил в лучшую масонскую ложу, известную под названием "Петра к истине".

Бывшие же товарищи его по "Зеленой книге" увлеклись деятельностию политическою.

Перевороты, происходившие в Европе, образование конституций в некоторых европейских государствах мало-помалу сделались предметом всеобщих разговоров; даже на балах образовывались группы, в которых слышались толки о преобразованиях.

Все более или менее считали себя как бы обязанными судить о теориях государственного строя, уничтожении злоупотреблений, просвещении народных масс и возбуждении в них чувства самодостоинства. Всеми овладевало стремление к политическому влиянию и желание служить общественному благу.

Движение это имело особенную силу между образованными молодыми людьми из среды аристократов, преимущественно военного сословия. Конечно, в тот период времени, по своей юности, я не могла делать оценки совершавшегося передо мною, хотя некоторые более рельефные стороны той жизни и обращали на себя мое еще незрелое внимание. Когда же декорации изменились и деятели того времени сошли со сцены, то картина той протекшей жизни, осветившись рассказами и историческими результатами, определеннее представилась в моей памяти. Под влиянием духа времени и нравов

Европы лучшие из офицеров гвардейского корпуса, возвратившись из Франции, вознамерились ввести в России установления Запада, по незнанию России не соразмеряя глубину бездны, отделявшей степень русской образованности от западной. Зная, что сам император Александр Павлович думал о введении новой формы правления в России, вначале они полагали, действуя для достижения этой цели приуготовительными мерами, совпадать с духом правительства15.

Между тем либеральные движения в Европе остановили государя в развитии своей идеи, и молодые реформаторы оказались в прямом противоречии с господствовавшей системой. Они стали действовать тайно. Реакция росла16 и раскинулась по России обширным заговором против существовавшего порядка вещей. Со вступлением на престол императора Николая Павловича, 14 декабря 1825 года, заговор разразился восстанием.

Граф Федор Петрович Толстой по близким отношениям своим с некоторыми из декабристов был призываем перед верховный суд. Вот что сказано об этом в его "Записках":

"В Петербурге носились слухи, что в 1823 году государем Александром Павловичем был отдан архиепископу Филарету на сохранение пакет, запечатанный печатью его величества, с тем чтобы он открыт был по кончине государя. В городе говорили по секрету, что во врученном Филарету на сохранение пакете находился акт отречения великого князя Константина Павловича от наследия российского престола в пользу его высочества великого князя Николая Павловича.

В 1825 году, 1 декабря, по смерти Шилова я был определен учителем медальерного класса Академии художеств, хотя, с разрешения совета Академии художеств, я уже пятый год заведовал этим классом и учил безвозмездно, заменяя учителя медальерного класса, для того чтобы правление Академии художеств не лишало его, больного, обремененного семейством, содержания, получаемого им по занимаемому им этому месту.

В том же 1825 году, по назначению врачей, положено было, чтобы императрица Елисавета Алексеевна для поправления своего здоровья провела конец зимы в Таганроге. Государь отправился для осмотра этого места, туда уехала и императрица. В Таганроге император Александр Павлович занемог и 19 ноября скончался. О кончине его величества пришло в Петербург письмо Елисаветы Алексеевны,

начинавшееся словами: "Наш ангел в небесах". Вскоре после кончины Александра Павловича (на смерть которого поручено было мне сочинить и вырезать медаль) скончалась и кроткая, благодетельная наша царица Елисавета Алексеевна, в городе Белеве, 1826 года, 4 мая.

1825 года, 14 декабря, собраны были в академической церкви правление Академии, совет и все профессора, академики, ученики, чиновники конторы и все, служившие при Академии, для принесения присяги восшедшему на всероссийский престол императору Николаю Павловичу; по окончании присяги разнесся слух, что перед сенатом на Исаакиевской площади стоит батальон Московского полка, требуют Константина Павловича и кричат о конституции. Гул этого крика был слышен и у нас. Любопытствуя узнать, в чем состоит это явное возмущение, поспешил я на Исаакиевскую площадь (тогда я носил еще военный мундир); самым скорым шагом перешел я Неву, на которой стояло любопытствующих, наверное, до тысячи разного звания мужчин и женщин. Я вошел на Исаакиевскую площадь у сената. Гауптвахта стояла во фронте с ружьями на плече; между ними и монументом Петра Великого стояли солдаты Московского полка, не более батальона, составя правильное каре, внутри которого я видел несколько фигур, которых рассмотреть не мог, проходя очень скоро по левой стороне этого каре, кричавших в один голос -- кто имя Константина Павловича, кто конституцию и еще какие-то слова, которых в этой массе слившихся голосов расслышать было невозможно. За монументом, проходя к забору строившейся Исаакиевской церкви, где было меньше народа, я увидел стоящего на Адмиралтейском бульваре, лицом к сенату, молодого, только что вступившего на трон императора, окруженного главным штабом, генерал- и флигель-адъютантами, а возле него Карамзина. Государь был очень бледен.

Дошед до забора, я избрал себе место, откуда мог видеть " государя и каре солдат. Влево от сената, у манежа, виден был эскадрон или взвод конной гвардии.

"Неужели это в самом деле бунт, -- думал я, -- возмущение против царя и правительства? Зачем пришла эта крошечная горсточка войска к сенату, построилась в каре и, стоя сложа руки, забавляется оглушающими криками, требуя того, о чем сама, наверное, не имеет никакого понятия? Неужели зачинщики этого явного восстания могли

думать об успехе, не будучи уверены, что имеют на своей стороне при подобном предприятии главную силу: массу простого народа и сочувствие большей части всех других сословий?"

Но этого, по-видимому, не было, судя по собравшейся огромной толпе народа всех сословий, спокойно стоявшей и, как видно, привлеченной туда без всякой особой цели, а просто из любопытства, чтобы узнать, для чего собравшиеся у сената солдаты так ужасно орут; ясно было, что народ собрался без всякой цели, а как всегда собирается при всяком необыкновенном действии. Этим криком, в котором ничего нельзя было разобрать, одного батальона Московского полка, собравшегося перед сенатом, они хотели привлечь на сторону своего предприятия толпу любопытствующих, большею частию и не подозревавших, что это возмущение против правительства, -- последствие гораздо прежде затеянного заговора, о существовании которого не было никаких положительных слухов.

С того места, где я стоял, я видел, что какая-то фигура, которую по дальности расстояния я рассмотреть не мог, отделясь от каре, как мне казалось, подходила к государю и через несколько минут возвратилась к солдатам; что это значит, я не знал и думал, что, вероятно, вскоре все объяснится.

Мимо меня проскакала конная батарея -- я не мог заметить, из скольких пушек состоявшая, -- и пронеслась к сенату; это дало мне понять, что участь несчастного батальона решена; ясно было, что без стрельбы не обойдется и, разумеется, солдаты разбегутся, большая часть побежит через Неву на Остров... Так как в то время я жил в низком, одноэтажном доме Академии по Третьей линии, то, опасаясь, чтобы беглецы с отчаяния не наделали каких-нибудь проказ и не перепугали моих домашних, я поспешил к себе. От дома Лаваля скоро перебежал Неву, прямо к зданию Академии и, пришед домой, приказал запирать ставни. Никто из сторожей не решался идти запирать их, и я сам был принужден это сделать, после чего тотчас раздалось несколько выстрелов из пушек. Две картечи попали к нам в ворота и забор. Дома я нашел всех спокойными и рассказал обо всем, что видел, слышал, и о событии перед сенатом. Едва мы сели обедать, как меня вызвали в кухню, куда два солдата привели третьего, как бы раненого, и просили меня оставить их у себя. Когда по осмотре оказалось, что никто из них не ранен, то я и отправил их за ворота. Тотчас после обеда, как стало

уже смеркаться, пришли в сени нашей кухни два унтер-офицера, один еще молодой, приведший другого, уже в летах, с тремя нашивками на рукаве, раненного картечью в ляжку, облитого кровью; я велел отвести его в смежную с кухней комнату, где мы, положив на стулья доски с постланным на них тюфяком, положили раненого. Я послал за нашим академическим лекарем, которого не нашли; тогда я послал к частному приставу, чтобы он немедленно прислал к нам частного лекаря, а между тем велел раздеть больного, чтобы осмотреть рану; частный лекарь скоро пришел, но до того пьяный, что я принужден был его прогнать и велел к ране несчастного прикладывать мокрые салфеточные компрессы. На предложение мое раненому и его товарищу -- не хотят ли они закусить или выпить горячего чаю, они отказались. Весьма печальную картину представляли эти два существа -- одно пожилое, с полупоседевшей головою на службе отечеству, страждущее от тяжелой раны; другой -- здоровый, сильный и в лучших годах, чтобы жить для пользы отечества. Он стоял неподвижно, как статуя, у изголовья больного товарища, облокотясь на свое ружье, погруженный, углубленный в думу об ожидающей их горестной участи. Когда я сидел у больного, он со слезами на глазах сказал мне:

-- В пятнадцати сражениях был я против неприятелей, в разных войнах, нигде не был ранен, а теперь, может, от картечи своих придется умереть. Бог судья офицерам, которые нас до этого довели17.

Часу в шестом пришли мне сказать, что граф Бенкендорф с частью войска и пушками расположился на Румянцевской площади, между памятником и кадетским корпусом; я тотчас написал ему, что у меня находится тяжелораненными унтер-офицер Московского полка. Не более как через полчаса приехал ко мне адъютант Бенкендорфа. Он осмотрел больного и сказал, что сейчас пришлют сани, чтобы отвезти его в лазарет Финляндского полка. К чаю пришел к нам брат моей жены, офицер волонтерного корпуса, и рассказал, что из стоявших на Неве против Исаакиевской площади разного звания и возраста людей, привлеченных любопытством, которых было, как полагали, не менее семисот, очень много убитых и раненых.

Сухозанет, начальник гвардейской артиллерии, отдал приказ пустить из орудий картечью по Неве, по нескольким десяткам возмутившихся солдат, бросившихся бежать прямо на Васильевский остров, и пустить рикошетом ядро в длину Галерной улицы,

наполненной не одною сотней разного звания и пола зрителей, между тем как преступников побежало туда не более десятка, и пущенное Сухозанетом ядро, не задев ни одного из преступных, было виною смерти не одного невинного, и многие пострадали от ран {Записки И. О. Сухозанета о событиях 14 декабря 1825 года напечатаны в "Русской старине", изд. 1873 г., т. VII, стр. 361 и след. *(Прим. Т. П. Пассек)*18}.

Часу в восьмом пришли мне сказать, что у нас на дворе собралось около четырнадцати человек солдат; мы с братом моей жены пошли к ним, чтобы принудить их оставить наш двор. Когда мы пришли к ним, они стали просить меня оставить их у себя, что они ничего не сделают, а если выйдут отсюда, то на улице их всех перебьют; говоря это, они отдавали мне свои ружья и сумки с патронами; я их не взял, а сказал, что так как я живу в казенном доме, то и не могу их оставить, а ежели они не уйдут сейчас же, то принужден буду дать знать графу Бенкендорфу, который стоит с своим отрядом на Румянцевской площади, и их придут немедленно взять; этот довод подействовал, и они решились оставить наш двор. Из предосторожности мы с Дудиным вывинтили кремни из всех их ружей. Я советовал им идти прямо к графу Бенкендорфу, может быть, это послужит к облегчению их наказания. Мы пропускали каждого через калитку, в которую они поочередно, крестясь, проходили, но ни один не пошел направо, к площади, а все поворотили налево. Приказав запереть калитку запором, я вернулся в комнату, а Дудин отправился к себе.

Часу в одиннадцатом утра за нашим раненым страдальцем и его спутником пришел офицер с несколькими солдатами и ломовым извозчиком с его санями, без всякой постилки, как они возят дрова и всякую тяжесть; даже клочка сена на них не было; господин офицер распоряжался положить раненого на эти голые сани и так везти его, почти с версту, до лазарета. За кого такие начальники принимают своих солдат? Если бы это было в какой-нибудь глуши, после сражения, могло бы быть допущено по невозможности добыть удобнейшего экипажа, но в столице, среди города, прислать за раненым человеком дровни без всего, на которых возят только кули с мукой, бочки, дрова и подобные тяжести! Я приказал своим людям положить на эти голые дровни два тюфяка, один на другой, и подушку, чему г-н офицер не препятствовал. Как этот несчастный ни просил меня с горькими слезами оставить его у себя и как ни жалко было мне

этого заслуженного унтер-офицера, положив его на тюфяки, окутав тулупом и одеялом и от души пожелав ему выздоровления, я с ним простился, и его увезли.

На другой день в городе все было тихо, спокойно; на улицах все шло своим обычным чередом, как будто ничего и не случилось, а в отдаленных местах от Исаакиевской и Дворцовой площади большая часть жителей вовсе и не знали о случившемся 14 декабря. В центральных же частях города только и речей было, что об этом событии, хотя никто ничего основательно знать не мог. Я был ужасно поражен, когда узнал, что в числе главных вождей этого заговора были молодые люди, с которыми я был очень коротко знаком и уважал их за прекрасную нравственность, благородные чувства, ум и блестящее образование, как-то: обоих братьев, Александра и Никиту Муравьевых, Сергея Муравьева-Апостола, Долгорукого и многих других молодых людей.

"Какая жестокая участь ждет теперь их, -- думал я,-- особенно, ежели это правда, что они посягали на жизнь государя! без этого несчастного заговора они могли бы заменить собою многих бесполезных людей, как самыми дельными, просвещенными сынами отечества".

Недели две с половиною или более после последнего события перед сенатом, не помню числа, я был в одно утро предуведомлен Ф. Н. Глинкою, что в тот же день вечером приедут за мной из крепости. В первом часу ночи приехал к нам военный полковник, вероятно, плац-майор крепости, с бумагой, в которой повелевалось мне явиться в комиссию суда. (Когда докладывали государю от комиссии о необходимости сделать мне допрос, государь разрешил пригласить меня к допросу, сделав собственною рукою следующую приписку: "Как можно осторожнее, чтобы не огорчить его".) Надев вицмундир, я немедленно отправился с плац-майором в его карете в крепость. Остановясь у комендантского дома, плац-майор ввел меня в пустую комнату, предложил сесть и дожидаться, пока меня позовут, а сам ушел, затворив за собою дверь. Оставшись один, так как я не был замешан ни в каком возмутительном обществе, то был совершенно спокоен и не тревожился никакими мыслями; одно любопытство занимало меня: какие это вопросы мне будет делать комиссия? Прождал я более получаса, наконец повели меня в комнату

присутствия членов суда, идучи в которую я видел только одного человека-- то был флигель-адъютант граф В. Ф. Адлерберг19. Впустив меня в присутствие, дверь за мною затворили, и я увидел себя в большой, обитой черной материей комнате, в которой посредине стоял стол, покрытый темным сукном. За этим столом на первом месте сидел против двери, в которую я вошел, председатель комиссии суда, почтенный воин 1812,1813 и 1814 годов, военный министр Татищев, полевее его -- князь А. Н. Голицын, министр народного просвещения, за ним генерал Чернышев, налево возле него генерал Левашов, а по правую сторону председателя суда сидел его высочество Михаил Павлович, с лицом совершенно закрытым листом бумаги, которую он держал перед собою все время. Возле его высочества сидел И. И. Дибич, за ним следовал генерал-адъютант П. В. Голенищев-Кутузов, путешествовавший с великим князем Николаем Павловичем в чужих краях, а за Дибичем стояли пустые кресла, вероятно, генерал-адъютанта графа Бенкендорфа, которого тут не было, хотя он и состоял членом этой комиссии.

Из членов, составлявших комиссию, мне хорошо был известен князь А. Н. Голицын по дому графа П. А. Толстого, где я жил, когда он был еще обер-прокурором св. синода, а потом, когда был сделан министром народного образования и, как известно, одним из самых плохих, зато отчаянным поборником и покровителем мистицизма. Я, будучи председателем утвержденного государем Александром Павловичем общества распространения ланкастерских школ в России, имел частые сношения с Голицыным по устроенной нашим обществом в Петербурге большой ланкастерской школе, выпускавшей ежегодно хорошо обученных русской грамоте, четырем правилам арифметики и катехизису до пятидесяти мальчиков совершенно бедных родителей из крестьян и других низших сословий. С Дибичем я был хорошо знаком, когда он был еще прапорщиком Семеновского полка в роте моего старшего брата; Кутузов знал меня по дому дяди, графа Петра Александровича. Вошед в залу, я подошел к столу и остановился против почтенного председателя, весьма известного по своим заслугам отечеству, которого я видел в первый раз, тогда как других всех я хорошо знал и в лицо и их качества по общему мнению публики об их достоинствах и свойствах. После нескольких секунд глубокого

молчания генерал Чернышев, принявши, как видно, приятную для него обязанность допрашивать, обратился ко мне и грозно начал говорить:

-- Как могли вы быть так дерзки, чтоб бунтовать против царя?

Удивленный, а не испуганный, как того, по-видимому, хотелось Чернышеву, этим прямым обвинением в ужасном преступлении, без всякого предварительного со мною объяснения, я преравнодушно отвечал ему, что справедливость требует прежде доказать вину человека, а там уж обвинять; а я никогда не только не был бунтовщиком, но никогда ничего подобного не приходило мне на мысли.

-- Но вы были членом тайного общества "Зеленой книги".

-- Да, но оно не было возмутительным актом против правительства, а еще менее против государя.

Тут стали меня спрашивать, кто были членами этого общества, -- и я назвал, которых знал, а именно: князя Долгорукого, офицера главного штаба полковника Пестеля, Александра и Никиту братьев Муравьевых -- офицеров тоже главного штаба, поручика или капитана Семеновского полка Сергея Муравьева-Апостола, гвардии офицера князя Трубецкого, полковника Глинку и двух братьев, офицеров Измайловского полка, которых фамилии никак не мог вспомнить. Тогда великий князь Михаил Павлович, положив бумагу, которую держал перед своим лицом, обернулся ко мне и сказал:

-- Граф, это два брата Кавелины.

Такое внимание его высочества меня чрезвычайно тронуло, и я поблагодарил его самым сердечным поклоном. Тогда потребовали от меня, чтобы я назвал имена других членов этого общества; я отвечал, что, кроме тех, кого я назвал, я не знаю никого. Тут князь Голицын придрался ко мне и возразил:

-- Быть не может, чтобы вы, принадлежа к какому бы то ни было обществу, не знали всех его членов!

-- Ваше сиятельство, -- отвечал я, -- вы сами принадлежали к некоторым мистическим обществам, а еще менее меня знаете членов этих обществ.

Князь замолчал, а Чернышев начал с слишком неделикатною манерою делать свои допросы о названных мною членах, о моих с ними сношениях, и как и когда я с ними познакомился, и с кем был в более близких сношениях; я отвечал, что с Ф. Н. Глинкою, с которым

познакомился тотчас по выпуске из корпуса, по литературе, что с тех пор мы самые короткие приятели и редкий день не видимся. Из других короче всего я был знаком с Муравьевыми, которых всегда уважал за их нравственность, ум и отличную образованность, и с князем Трубецким; с другими был знаком только по обществу "Зеленой книги", а Пестеля только видал, нисколько не симпатизировал ему и ни разу с ним не говорил20.

Так как я ничего не знал, даже никогда и не слыхал о существовании заговора против царя, открывшегося 14 декабря, то на этом только и кончились все допросы. Если Чернышев таким образом делал допрос человеку, о невинности которого он не мог не знать, то как же он допрашивал тех, которых вина ему была известна; говорят, он готов бы был употреблять пытку, если бы был властен, неужели это правда?

Наконец председатель комиссии сказал мне:

-- Допрос ваш кончен, и вы можете отправиться к себе, только должны наперед, здесь же, дать письменные ответы на письменные вопросы, которые будут вам предложены.

Поклонясь председателю и его высочеству в. к. Михаилу Павловичу, я пошел к двери, в которую провел меня флигель-адъютант граф Адлерберг; пришед во вторую комнату, он передал меня какому-то чиновнику, который вручил мне письменные вопросы, посадил за письменный стол, снабженный всем необходимым, чтоб отвечать, и ушел из комнаты, затворив за собою дверь. Вопросы эти были повторение того, о чем меня допрашивали в комиссии21.

Минут через сорок пять я был готов, подписал свое имя и фамилию; тут пришел чиновник, вручивший мне вопросы, взял их обратно с моими ответами; меня вывели из комнаты и вместе с плац-майором проводили до кареты, посадили в нее и преучтиво со мною распростились.

Я приехал домой в исходе третьего часа; жена не ложилась спать и дожидалась меня; я рассказал ей все, что видел и слышал, о чем меня спрашивали и что я отвечал, несмотря на то что советом комиссии чрезвычайно строго запрещалось говорить не только что о том, что я видел и слышал, но даже и о том, что я был призван к допросу. Но, возвратясь домой, я нашел жену так сильно расстроенною, что должен был рассказать все, чтобы успокоить ее. Разумеется, мы с нею не стали

никому ничего рассказывать, хотя в моем допросе ничего тайного не было.

На другой день приехал к нам Ф. Н. Глинка и сказал, что вчера же после меня допрашивали и его. Впоследствии я не только что не был тревожим, но мало и слышал о суде до его окончания, совершившегося спустя долгое время после моего допроса.

Боже мой, сколько молодых людей, начиная с знатных фамилий, среднего дворянства и других сословий, умных, даровитых, превосходно образованных, истинно любивших свое отечество, готовых для него жертвовать жизнью, которые могли бы впоследствии по своим благородным качествам души и сердца, по уму и образованности быть усердными деятелями на пользу родного края, поборниками правды и защитниками угнетенных, -- несчастным, необдуманным, несбыточным заговором и явным восстанием погубили навсегда себя и лишили отечество полезных ему слуг!"

ЖИЗНЬ И СЛУЖБА В АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВ

"Я по-прежнему продолжал заниматься художествами по медальерной части, лепить из воску, глины и рисовать, посещать публичные лекции из разных наук, литературные и ученые общества, в которых был членом, а по воскресным вечерам приятно проводил время в кругу обычных посетителей наших вечеров, между которыми находились почти все наши молодые знаменитые, замечательные поэты и литераторы, как-то: Крылов, Пушкин, Гнедич, Батюшков, Плетнев, Дельвиг, Баратынский и другие молодые образованные люди. Но не было уже ни Ф. Н. Глинки, ни Муравьева-Апостола, ни князя Трубецкого, ни обоих братьев Бестужевых, ни братьев Муравьевых и многих других.

Домашние наши спектакли, которые многие находили недурными, рушились по милости наводнения, истребившего все устройство сцены, как и все устройство механизма и электрических аппаратов моего электро-механического увеселительного кабинета, стоившего мне больших трудов, порядочных издержек, а особенно очень долгих размышлений для приискания и изобретения разных механических

сил, разных стальных пружин, которые принужден был выпиливать и закаливать сам, так как они мне нужны были для приведения в действие выдуманных мною различных вещей и статуй, удивлявших своими движениями посещавших мой кабинет. Еще труднее было устраивать гальванический, акустический и оптический аппараты, которые мне Необходимы были для приведения в действие некоторых предметов моего увеселительного кабинета, сила гальванического тока, или отражения звуков посредством пластинок внутренних сторон цилиндров и конусов разной пропорции, а также и впалых и выпуклых зеркал для отражения предметов. Истребление наводнением всего устройства этого кабинета, над которым в первую зиму по приезде нашем на занимаемую мною тогда квартиру по длинным вечерам я с любовью трудился и которое, кроме трудов и соображений, стоило больших издержек, -- меня очень огорчило. У меня в комнатах вода была почти на аршин выше полов и все перепортила.

Государь Николай Павлович, бывши в Москве в свою коронацию, рассматривая послужные списки служащих при Эрмитаже, увидел, что я служу в трех местах, при Эрмитаже, монетном департаменте и Академии художеств, с лишком двадцать лет; аттестуясь все достойным и получая часто награды перстнями от императриц Елисаветы Алексеевны и Марии Федоровны и от самого государя, оставался при одном и том же чине; тогда он приказал государственному секретарю Александру Семеновичу Шишкову сделать запрос к ведомствам, в которых служу, по каким причинам я не был жалован в чины, законом поставленные за выслугу лет. Из ведомств отвечали: потому, что я того не просил. Тогда государь приказал сделать тот же запрос и мне; я отвечал Александру Семеновичу, что полагаю, что жалование в чины производится начальствами по мере заслуг подчиненных. Я исполнял возлагаемые на меня должности с должным рачением и деятельностию честного человека, терпеливо дожидаясь, пока труды мои удостоятся награды, но выпрашивать награды считаю т для себя унизительным.

Не знаю, как Александр Семенович доложил государю о моем письме, только 2 августа 1826 года я был пожалован надворным советником, указом, написанным в весьма лестных выражениях для меня, из которых я увидал, что я с лишком двадцать лет служил хорошо как при Эрмитаже, так и при монетном департаменте и

Академии художеств и имею право на чин, законом определенный за двадцатилетнюю службу. Я написал письмо к Александру Семеновичу, в котором выразил мою глубокую благодарность за милость его величества ко мне и потребовал чина, по закону мне принадлежащего. Вскоре по отправлении этого письма Шишкову я получил письмо от Д. Н. Блудова, который меня известил, что государь император всемилостивейше изволил даровать мне старшинство со дня вступления моего на службу при Эрмитаже его величества, с 1806 года, по которому я получу заслуженный мною чин от сената.

В 1828 году государь император высочайшим указом повелел мне быть вице-президентом Академии художеств, с оставлением при прежних должностях, кроме монетного двора и учителя медальерного класса Академии художеств, с чем вместе получил я и чин статского советника. Это было сделано государем против желания А. Н. Оленина, который очень хлопотал у министра народного просвещения, к ведомству которого принадлежала тогда Академия художеств, чтобы не назначали вице-президента в Академию, так как по Академии всем распоряжается он сам, то ему никакой помощник и ненадобен. А. Н. Оленин слегка дал это почувствовать и мне, представляя меня как вице-президента правлению Академии и совету. Зная самолюбие нашего президента, его поступок не сделал на меня никакого впечатления. Очень скоро Алексей Николаевич стал заставлять меня занимать его место в правлении, совете и на экзаменах учебных классов, которые вскоре и совсем поручил мне. По моему предложению был сделан конференц-секретарем Академии художеств Василий Иванович Григорович, на место Лабзина".

Дни графа Ф. П. Толстого на службе вице-президента Академии художеств текли тихо, между занятиями, своим образованием и трудами по художеству. Назначенные по воскресным дням вечера не прерывались, по-прежнему бывали у него домашние спектакли, игрались пьесы русские и французские. Любители сценического искусства об исполнении нх отзывались с большою похвалой.

Небольшая сцена театра прежде была устроена в его большой зале известным декоратором Большого театра Роллером, впоследствии в одной огромной кладовой, где хранились некоторые формы античных статуй, которые перенесены были в другие кладовые.

Зимой по воскресеньям бывали у них танцы, маскарады и разные забавы {Такой образ жизни продолжался в доме графа Ф. П. Толстого как во время его первого, так и во время второго его брака. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}.

Из "Записок" графа Ф. П. Толстого видно, и в семействе его я слыхала, что, кроме воскресных дней, в которые у него собирались обычные посетители, в 1850-х годах назначен был один день в неделю, в который по вечерам собирались у него молодые художники, отличавшиеся талантами, чтобы вместе рисовать альбомные и другие рисунки, каждый в своем роде {Альбом с собранием этих рисунков хранится в семействе покойного графа. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}. На эти же вечера бывали приглашаемы знакомые литераторы, музыканты и хорошо образованные люди; все они, как и художники, украшали эти. вечера своими талантами, одни -- чтениями лучших произведений русской литературы и поэзии, другие -- музыкой и исполненными интереса разговорами. Таким образом, молодые художники, знакомясь с литературой и музыкой, приобретали понятия, тон и манеры хорошего общества. Все присутствовавшие на этих художественных вечерах, продолжавшихся много лет, сближаясь между собою, образовывали самое приятное и самое полезное общество.

ГЛАВА 45

В РИМЕ В 1815 ГОДУ

В 1845 году граф Федор Петрович Толстой сильно заболел ревматизмом; когда он стал поправляться, то чувствовал себя до того ослабевшим от лекарств, что медики советовали ему ехать за границу и в продолжение шести недель пользоваться грязями и водами Франценсбада, потом путешествовать по Европе.

Граф получил отпуск на год. Вместе с отпуском ему дано было поручение от правительства относительно папского мозаического заведения и находившихся в Риме пенсионеров нашей Академии

художеств, о которых их начальник, генерал-майор Киль, до того дурно отозвался министру двора, князю Петру Михайловичу Волконскому {В 1829 году Академия художеств была перечислена из министерства народного просвещения в министерство императорского двора. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}, находившемуся в то время в Риме по болезни, что тот не только что не хотел, но даже и опасался их видеть.

Граф отправился за границу вместе с своей супругою. Окончивши курс лечения на водах, они объехали Германию, Францию, Швейцарию и осенью прибыли в Рим.

В продолжение этого путешествия граф постоянно вел "Путевые записки", которые составили двенадцать книг, каждая из них содержит в себе до двухсот листов исписанной им бумаги. В этих интересных записках граф, кроме ежедневных событий жизни своей, говорит как просвещенный художник, вполне обладающий своим. предметом, о примечательных зданиях, картинах, статуях, с их историей и цивилизацией того периода времени, к которому они принадлежат. Протекшие века восстановляются перед ним по арке, колонне, разбитому барельефу.

Эти "Путевые записки", сами по себе имеющие большое историко-художественное значение, так ярко очерчиваюх действия графа Ф. П. Толстого по отношению его к Академии художеств, что, коснувшись в предыдущих главах моих "Воспоминаний" жизни и деятельности нашего знаменитого художника-медальера, я нашла не лишним поделиться с читателями "Русской старины" наиболее характеристическими из них отрывками, дорисовывающими его личность. Сокративши в "Путевых записках" графа многие из его описаний, занимающих десятки листов, я в то же время пополнила некоторые из них слышанными мною от графа рассказами из жизни его в Италии1. Разговоры же замечательных лиц сохранены у меня в точности, как переданы графом в его "Путевых записках".

В Риме граф узнал от художника Росси, что учеников нашей Академии можно видеть каждый день в ресторации Лепри, где как они, так и иностранные художники постоянно обедают, за отдельными столами, по нациям. Гфаф тотчас же отправился к Лепри; не заставши там пенсионеров, оставил записку к Рамазанову, в которой извещал о своем приезде. Он особенно любил Рамазанова за ум и талантливость и нередко журил за пылкость и ветреность.

Вечером пришли к Федору Петровичу пенсионеры Михаил Эльсон и Кракау, а наутро и Рамазанов.

В этот приезд граф и графиня пробыли в Риме только несколько дней; несмотря на это, виделись со всеми пенсионерами и осмотрели некоторые примечательные места; они спешили побывать в Неаполе до прибытия в Рим императора Николая Павловича, которого туда ожидали из Палермо.

Художники Рамазанов, Эльсон, Скотти, Солнцев и Макрицкий {Макрицкого граф нашел в крайности, несмотря на скромную жизнь и неутомимое трудолюбие. В распоряжении графа находилась небольшая сумма для вспомоществования нуждающимся художникам, по его усмотрению. Из этой суммы граф выдал Макрицкому тысячу франков. *(Прим. Т. П. Пассек.)*} проводили их в контору дилижансов.

За заставою Рима графа увлекают картины развалин, зубчатая линия акведуков, пропадающая в опаловой дали, пустыня с синеющими горами на горизонте, с бурыми полями, на которых встречаются то стадо баранов с пастухом в бараньей шкуре, мехом наружу, то вьючный осел со звонком на шее, поселянка в ярком наряде, с кувшином на голове, двухколесная крестьянская тележка, и на всем какая-то широкая дума, какая-то величественная печаль. Граф Федор Петрович миновал окрестности Рима с их водопроводами и пустынные окрестности Понтийских болот с их изнурительными лихорадками; в Альбано и Велетри граф был поражен грацией и красотою жителей. Дикая, унылая полоса прекращается за Террачиной; за Террачиной шумит Средиземное море и высится одинокая скала; там в народе ходят легенды о знаменитом кондотьере, жившем на ее вершине, и слухи, что Цампы и Фра-Дьяволы с своими поэтическими драмами и печальными концами еще не перевелись в этих местах2. Как бы в подтверждение истины этих слухов, ночью, не доезжая Террачины, граф был разбужен шумом, происходившим около их дилижанса. Он взглянул в окно и увидал человек двадцать мужчин, вооруженных ружьями, пистолетами и палками, окруживших их экипаж. На некоторых, были накинуты короткие плащи, а на головах надеты остроконечные шляпы с широкими полями. Ночь была ясная, при свете луны можно было видеть, как эти люди с угрожающими жестами громко говорили с кондуктором. Главный из них стоял впереди, облокотясь на ружье; он иногда грозил кулаком и

повелительно говорил: "Sortate" {Выходите *(итал.)*.}. Кондуктор, не выходя с своего места, возражал ему словами: "Signori conti russo" {Господа русские графы *(итал.)*.}, -- и, по-видимому, объяснял, что, обобравши их, получат не много, а если что случится с дилижансом, то розыски будут строгие, тем более что в настоящее время в Италии находится русский император и его ждут из Палермо в Неаполь и Рим. После этих толков говоривший с кондуктором махнул рукою, в минуту стоявшие на земле почтальоны, вскочили на лошадей и гнали их без отдыха около получаса. В одиннадцать часов ночи они прибыли в Террачину.

За Террачиною их встретила смеющаяся природа, игривые, оживленные взоры женщин, подвижные, шутливые, подобострастные приемы простого народа; в Неаполе -- улицы, кипящие народом, звуки разных инструментов, шутки, песни, пляска, цветы, раскрытые окна, растворенные балконы, упоительный воздух...

"Тут-то бы, кажется, и развиваться человечеству, -- заметил один известный русский писатель, говоря о Неаполе, -- так нет, судьба этому краю выпала самая жалкая. Неаполь лишен даже тех блестящих воспоминаний, которыми себя утешали другие города Италии во времена невзгод. Неаполь имел эпохи роскоши, богатства, но эпохи славы не имел. Старый Рим бежал умирать в его объятия и, разлагаясь в его упоительном воздухе, он заразил, он развратил весь этот берег" 3.

В Неаполе граф увидался с пенсионерами Михайловым и Орловым; последний при них уехал в Палермо снимать портрет великой княгини Ольги Николаевны, сюрпризом государю. В Палермо находились наши художники Воробьев и Серебряков, к которым император был очень милостиво расположен, в особенности к Воробьеву.

С Михайловым граф и графиня осмотрели Неаполь, его окрестности, Помпею, Геркуланум, лазоревый грот и всходили на Везувий. В выступивших из-под земли городах граф весь проникался их жизнию, утекшею в вечность. Там все говорило понятным ему языком.

Ночью наш путешественник граф Федор Петрович восхищался рдеющим дымом Везувия; днем -- темно-синим заливом Средиземного моря с рассыпанными по нем островами, с обнимающей его горой, застроенной домами.

Граф снял несколько видов Неаполя и его окрестностей -- карандашом, сепией и водяными красками -- с самых живописных точек зрения; некоторые из них приложены к его "Путевым запискам".

Насколько Неаполь произвел на графа поэтическое, светлое впечатление, настолько правительство и народ -- противоположное. Он с негодованием рассказывает, как в Неаполе, ожидая императора Николая Павловича, к приезду его чистили, красили, поправляли школы, казармы и прочие общественные места, до того запущенные, что для приведения их в порядок, -- замечает он, -- сверх поправок, надобно другое правительство, другое правление и другой народ. Чтобы скрыть от нашего государя нищенство и бедность народа, правительство предписало полиции забрать всех нищенствующих в городе и запереть в отдаленном скрытом здании; там они, битком набитые, полуголодные, валялись вместе -- мужчины, женщины и дети. Бедняки взбунтовались и, чтобы освободиться, стали ломать двери и окна. Полиция взяла свои меры, и их усмирили. "Жаль, -- добавляет граф,-- что неаполитанскому правительству не пришло в голову более глубокомысленное средство: чтобы скрыть от высокого посетителя народную нищету -- перетопить бы всех бедняков, -- и кончает восклицаниями: -- Как грустно, что в таком волшебном крае, в таком восхитительном климате -- такое беспутное правительство4 и такой жалкий народ!"

"И как было не образоваться подобному народу, -- говаривал мне Саша о народе Неаполя, -- это помесь всех рабов, низший слой всего побитого, осадок десяти народностей, перепутавшихся, выродившихся".

Из "Путевых записок" графа Федора Петровича видно, что император своим посещением всполошил весь Неаполь. "Король уже в городе, -- пишет граф, -- я его еще не видал и никакой охоты нет видеть. Неаполь принял вид военного города; по улицам то и дело проходят полки с барабанным боем и музыкой. К приезду государя собрано до 25 000 войска для маневров".

29 ноября 1845 года Толстые возвратились в Рим. Отдохнувши, они отправились посмотреть приисканную им квартиру, а оттуда обедать к Лепри, где спросили себе отдельную комнату. Когда они кончали обед, к ним вошло около двадцати пяти человек русских художников с бокалами шампанского в руках и поздравили графа и

графиню с приездом. Граф, в свою очередь, спросил шампанского и поблагодарил их. Когда графиня уехала от Лепри, художники попросили графа в комнату, известную под названием "комната русских художников". Там собрались все наличные пенсионеры Академии времени вице-президентства графа. Он любил их как отец; в доме его они приняты были как дети. Усевшись кругом стола, в излияниях радости свидания и взаимных чувств, в воспоминаниях прошедшего и рассказах житья-бытья настоящего забывали, что они на чужбине. Время текло незаметно в оживленной, задушевной беседе, среди разговоров, шуток и песен. Временами вырывались трогательные выражения привязанности и уважения к графу. Когда разыгрались чувства, кровь юношей зажглась -- зазвенели рюмки, зашипело, заискрилось звездочками клико *со звездочкой*, и пошли тосты и желания, пили даже в честь медальерных и скульптурных произведений графа.

"Этот импровизированный прием, -- записано у Федора Петровича, -- сделанный для меня нашими пенсионерами, доставил мне столько счастия, сколько никакие почести, никакие награды доставить не могут. Этот вечер я никогда не забуду". Ораторами выражения чувств были Рамазанов и Иордан. После тостов смех, песни, разговоры стали еще горячее. Песни пелись большею частию народные, русские и итальянские. Пирушка кончилась далеко за полночь. Молодые люди на руках донесли графа до кареты, хотели было нести до квартиры, но граф кое-как уговорил их оставить его ехать в экипаже. Они согласились, но толпа отправилась провожать его. Так как в карете не помещалось больше четырех человек, то одни засели с кучером, другие на лошадей, кто на запятки, кто на империал, которым не удалось нигде пристроиться -- те шли пешком, и почти все с горевшими факелами в руках и с криками "ура!". Сидя в карете, граф думал: "Будь это в Петербурге, не доехать бы мне до дома, а здесь никто не обращает и внимания".

Пенсионеры проводили графа не только что до его квартиры, но даже и до его комнаты, где он простился с ними совсем растроганный.

На следующий день граф Федор Петрович посетил князя П. М. Волконского, который принял его чрезвычайно приветливо, говорил, что познакомился с нашими пенсионерами, посещает их мастерские и принимает их у себя; хвалил картину Иванова и добавил: "Да когда же

она кончится?"5 При этом пожаловался, что наши воспитанники вообще, сравнительно с другими художниками, сделали очень мало. На это граф сказал, что пенсионеры наши приезжают в Италию учиться, и на короткое время, поэтому и работы их нельзя сравнивать с работами художников, живущих в Риме по десяти.-- двадцати лет, как Тенерани, Бьен-Эме и другие, и что если они сделают по одной хорошей картине или статуе, то и достаточно.

Между прочими разговорами князь сказал, что не может понять, с чего составилось дурное мнение о наших пенсионерах, между тем как он, узнавши их, нашел очень милыми и благовоспитанными.

Граф объяснил ему, что виною этого их директор, генерал Киль, человек недоброжелательный и не понимающий ни своего значения, ни молодых людей, над которыми поставлен начальником {Киль был лишен места начальника пенсионеров и вскоре уехал из Рима. Секретарь его забрал у банкира семьдесят тысяч казенных денег да всю серебряную посуду своего дяди и бежал неизвестно куда, -- полагали, что в Америку; его нигде не отыскали. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}. Сверх всего -- ненавидящий все русское. Он не познакомился ни с одним из пенсионеров, не был ни в одной студии и трактовал их как школьников. Такие бестактные, возмутительные отношения возбудили в воспитанниках справедливое негодование, которое и выражалось при всяком удобном случае. Это Киля раздражало -- из мести он не только что распространял о них дурную славу, но, желая уронить их, к приезду государя затеял выставку из оборышей, оставшихся у них от посланных ими работ в Академию. Неоконченные же их работы и этюды готовил выставить в большой зале palazzo Farnese {дворца Фарнезе *(итал.)*.}6, превосходно расписанной. Сверх того, письменно разослал предложения итальянским и иностранным художникам выставить свои работы в локале обыкновенных выставок, где свет и стены приспособлены. "Все это,-- говорил граф, -- не показывает ли явное желание, вредить?"

Князь Волконский согласился с доводами графа и хотел переговорить с Килем, но Киль уже водворил двуглавого орла на palazzo Farnese с надписью: "Выставка русских пенсионеров", и приставил к дверям швейцара с русскою кокардой. Он понимал, како впечатление должны были произвести работы воспитанников, сопоставленные с прославленными мастерами.

1 декабря, в четыре часа утра, приехал в Рим император Николай Павлович, остановился в доме русского посланника Бутенева, где переодевшись, поехал с визитом к папе; от папы посетил принца Ольденбургского, а от него приехал в Ватикан, прямо в церковь св. Петра, куда тотчас отправился и граф Федор Петрович Толстой, предварительно сказав пенсионерам, чтобы и они там находились. В церкви граф узнал, что государь уже там, находится у гроба св. Петра, перед которым, говорили, он положил три земные поклона. Граф взял на себя право представить императору пенсионеров Академии. Поставивши их всех вместе в стороне, сам стал против лестницы, по которой государь должен был выходить в церковь. Вошед наверх, государь тотчас увидал графа, остановился и, протянув обе руки вперед, сказал:

"Как! и ты здесь, Толстой, какими судьбами, никак не ожидал тебя видеть, -- потом подошел к графу и крепко пожал ему руку, говоря: -- Как я рад, что с тобой здесь встретился".

Граф попросил у государя позволения представить ему наших пенсионеров. Государь подошел к ним и, ласково приветствуя, сказал: "А, это наши? рад вас видеть, -- и, обратись к графу, смеясь заметил. -- Надеюсь, не ленятся?" Граф отвечал, что все трудятся прилежно. "Хорошо, -- сказал государь, -- увидим и определим,-- потом, взявши графа через плечо, пошел с ним осматривать церковь, говоря: -- Я рад, очень рад, что тебя вижу; у меня тебе будет много работы".

С другой стороны государя шел приставленный к нему папою ученый антикварий Висконти. Дорогой государь повторял графу, как он рад, что видит его в Риме, и спрашивал: был ли он в Палермо? На отрицательный ответ сказал:

"Тебе надобно видеть еще многое, поезжай в Палермо и непременно осмотри там все, особливо Monte Reale: там пропасть прекрасного"7.

Затем рассказал графу, что он был в монастыре св. Мартына, видел Эспоньолетто, с которого копирует Михайлов, и что эту картину он находит лучше всего виденного им там, и добавил: "Тебе, Толстой, много будет работы у меня".

Ходя по церкви и рассматривая капеллы, император заказывал копии с образов и вещей, которые ему нравились; со всем этим

обращался к мнению графа и был к нему бесконечно милостив и приветлив.

В свите государя находился и Киль, но он не обратил на него ни малейшего внимания.

Заказы, сделанные в базилике св. Петра, были следующие: а) В капелле délia Pietâ8 скопировать фризы, орнаменты, находящиеся на лицевой стороне престола, б) Скопировать мозаикой мозаичный образ св. Петра, помещенный налево от престола, над малым алтарем, только без ангелов наверху и с славянской надписью, а не с латинской, в) В первой капелле, с левой стороны от входа в церковь, скопировать картину крещения, г) Во второй капелле, с той же стороны, списать запрестольный образ, д) Образ распятия св. Петра, е) и ж) Два грудных овальных образа с колоссальными головами Петра и Павла.

Осмотревши все внутри базилики, государь раскланялся со всеми и уехал с посланником в его коляске. Когда он вышел из церкви, какой-то несчастный итальянец хотел подать ему просьбу, но бедняка удержали, несмотря на его сопротивление, и утащили куда-то; зато внизу лестницы, когда царь сел в коляску, двое других бедняков успели подать свои просьбы, которые он принял и передал посланнику.

Государь осматривал церковь в партикулярном сюртуке и, выходя, надел сероватый плащ.

Граф из церкви поехал к П. Н. Жеребцовой; зная ее участие в наших пенсионерах, он рассказал ей о своей встрече с государем. От нее же узнал, что государь был у папы в полной казацкой форме и в ленте, и когда входил в комнату, в которой должно было происходить их свидание, то папа вышел из своего кабинета, и они сошлись посередине комнаты; государь подошел к папе, чтобы поцеловать его руку, но тот не допустил, -- они обнялись и поцеловались. Папа спросил государя через переводчика, что, вероятно, он устал от дороги? Государь отвечал:

-- Нисколько.

Затем папа выразил сожаление, что его величество ехал в ночь и не видал прелестных видов, находящихся по этой дороге.

Это замечание папы осталось без ответа. Кардинал, служивший переводчиком, не передал царю слов папы, а простоял молча, опустя глаза в землю. Папа пригласил государя к себе в кабинет, куда за ними из наших вошел только один посланник Бутенев. В кабинете

присутствовало шесть кардиналов, кроме кардинала, главного начальника Ватикана, а у дверей стоял маркиз или герцог {В рукописи фамилии не обозначено. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}, начальник папской гвардии.

В воскресенье государь слушал обедню в посольской церкви; с ним были князь Волконский, граф Орлов, В. Ф. Адлерберг и посланник. Как государь, так и вся свита его были в мундирах. Граф Толстой также находился в церкви. К нему подошла Софья Петровна Апраксина, и, когда с ним разговаривала, вошел государь; подойдя к Апраксиной, он взял ее за руку, спросил о здоровье и поздоровался с некоторыми из других дам; более всех говорил с княгиней Трубецкой и ее дочерью, Столыпиной. После обедни со всеми раскланялся и пошел в свои покои, пригласивши туда и дам. Графу сказано было, чтобы он тотчас ехал в Ватикан и дожидался царя на крыльце Ватикана, куда он, переодевшись, прибудет. На площади, на лестнице базилики, в самой церкви и на крыльце было такое огромное стечение народа, что когда приехал государь, то трудно было до него добраться. Гвардия в своих костюмах, вполне гармонировавших со старинным зданием церкви, и карабинеры, не привыкшие распоряжаться большим стечением публики, не могли удержать напора толпы. Проводником при царе был тот же Висконти; он повел государя прямо на крышу базилики. Кроме свиты, за императором пошли князь Волконский, его сын, посланник, граф А. Ф. Орлов, секретарь посольства, граф Ф. П. Толстой и с ним три пенсионера -- Иванов, Моллер и Сверчков; граф хотел провести и других туда же, но, кроме этих трех, вблизи никого из воспитанников не оказалось. Перед входом на крышу царя встретил кардинал, начальник Ватикана, и сопровождал его во все время осмотра. С государем вошло на крышу до двадцати человек. С крыши он любовался открывшимися видами и со всеми замечаниями обращался к графу Федору Петровичу, который должен был находиться постоянно подле него. По удобным каменным лестницам они вошли на галерею, с которой их повели по внутренней лестнице на самый верх купола в стоящий на нем фонарик, внутри которого идет также кругом галерея. Граф Федор Петрович последовал за царем на эту галерею, такую узенькую, что два человека едва могут разойтиться на ней. С этой высоты ничего нельзя было различить внизу, -- виднелись только движущиеся точки. На верх фонарика за царем вошли: граф,

посланник и один из адъютантов. Государь с Висконти поднялся в яблоко, написал там свое имя и тотчас же возвратился; граф едва успел взглянуть вовнутрь огромного Шара и прочесть его подпись. Возвратясь, государь сказал, что, подписываясь под начертанными там именами, он случайно подписался под именем *наследника цесаревича.* В галерее купола государь увидал Моллера, который носил огромные усы и бакенбарды, и спросил:

-- Что это за усач?

Граф отвечал:

-- Это наш художник Моллер.

Тогда царь подошел к Моллеру и, между прочим, сказал:

-- А ты худо сделал, что бросил батальную живопись; я ее люблю, и она очень нужна: у нас есть довольно того, что можно передать потомству, -- подвиги на Кавказе и много другого, а с тех пор как не стало нашего Зауервейда, некому этого поручить: Коцебу не может, а другому нельзя, надобно быть военному, чтобы уметь писать эти сюжеты.

Сошед на кровлю, государь много шутил над теми, которые были не в состоянии подняться выше. На крыше он сказал графу:

-- Я всегда бранюсь с нашими молодыми архитекторами, что они худо кладут кирпичи, не связывают их плотно и оставляют слишком большие швы; вот тебе доказательство, что я прав: посмотри, как здесь положен кирпич.

Граф отвечал, что твердость этих зданий зависит не от кирпичей и не от кладки, а от здешнего цемента и климата; что с здешним цементом и плашмя поставленный кирпич к кирпичу, высохнувши, будут крепко держаться.

Государь с этим, не согласился.

На крыше начальник Ватикана пригласил государя и всех бывших с ним в домик, или, скорее, беседку, временно устроенную, к приготовленному там завтраку. Домик этот состоял из двух отделений. В одном, за столом, довольно роскошно убранным, завтракал государь с начальником Ватикана, Висконти и двумя приглашенными учеными. В другом отделении, за столом, также роскошно убранным, сидели кн. Волконский, принц Ольденбургский, граф Орлов, посланник, граф Ф. П. Толстой, В. Ф. Адлерберг и остальные.

Завтрак состоял из бульона в чашках, с маленькими пирожками, майонеза из рыбы, превосходно приготовленного, и множества всякого рода сладких пирожных, фруктов, конфект, варений, разных вин и шампанского.

С крыши они отправились в античные галереи Ватикана -- в эти пышные палаты, украшенные картинами и статуями гениальных художников, куда люди со всего мира стекаются на поклонение изящным произведениям, перед которыми останавливаются с благоговением и от которых отходят тронутыми, восхищенными. Государь обошел все галереи и был в восторге от находившихся там картин и статуй; он поручил графу заказать с некоторых статуй формы для нашей Академии и скопировать несколько картин, именно: а) В коридоре Chiaramonti9 сформовать статую под No 655. б) La salle des animaux -- статую под No 115. В Galerie des statues сформовать статуи следующих номеров: в) No 268. г) No 325. д) No 361. е) Нимфу с вазой, No 405. ж) Флору, No 410. з) Нил, No 119, в musée Chiaramonti Braccio Nuovo--колоссальную фигуру с шестнадцатью маленькими детьми, и) В cabinet des masques сформовать Фавна en rouge antique {красного цвета *(франц.).*}, No 433. к) Диану Lucifera {светоносную *(лат.).*}, No 431. л) La Venus pudique {Венера стыдливая *(франц.).*}, No 427; настоящее ее название -- Danzatrice {Танцовщица *(итал.).*}. м) В зале муз срисовать мозаичный пол с медузиной головой в средине, н) В Rotonda della tuzza сформовать статую под No 348--14. No 550 о) В Salla della croce greca скопировать мозаичный пол. п) Сформовать статую под No 574. р) Сформовать статую под No 610. с) В Galerie des candélabres сформовать статую под No 111. т) Сформовать статую ребенка с лебедем, No 248 {В Таврическом дворце есть копия с этой мраморной статуи. *(Прим. Т. П. Пассек.)*}. у) Сформовать барельеф, представляющий маленького фавна с кубком в руках, из которого он пьет, No 117. ф) Сформовать статую под No 117. х) В musée étrusque приобрести один экземпляр машинки, посредством которой можно рассматривать плоские небольшие вазы и блюда со всех сторон, для примера, чтобы таковые же завести в Петербурге, ц) В musée Egyptien сформовать статую Нила Rigio antique -- почти повторение знаменитой группы Нила {Почти все упомянутые художественные копии находятся в императорской Академии художеств и частию в Эрмитаже, там же находятся произведения тех иностранных скульпторов, у

которых работа куплена императором Николаем Павловичем в 1845 году, *(Прим. Т. П. Пассек.)*}.

Осмотревши все, государь откланялся и уехал с посланником.

Когда они были еще на крыше, Орлов сказал графу Федору Петровичу, что государь приглашает его к своему обеду. В пять часов Федор Петрович отправился во дворец; там уже находились князь П. М. Волконский, граф Орлов, Адлерберг и некоторые из свиты. Когда вошел в залу государь, граф подал ему небольшой "Путеводитель по Риму", сделанный для него нашими архитекторами, с видами церквей и особенно примечательных памятников, с ясным, кратким текстом. Государь принял благосклонно, благодарил, внимательно рассмотрел и сказал:

-- Подарок этот очень мил, я его передам жене.

-- Для ее величества они готовят другой, -- сказал граф.

-- Нет, -- возразил государь,-- я отдам ей этот.

Вскоре приехал неаполитанский посланник; император был с ним чрезвычайно ласков и внимателен. За столом посадил его на первое место, сам сел по левую сторону, подле него князь П. М. Волконский, затем граф Орлов и другие; по правую руку посланника сидел В. Ф. Адлерберг, подле него граф Толстой, возле Толстого флигель-адъютант Астафьев, далее князь Ливен, некоторые из свиты его величества и доктор Енохин, сопровождавший государя в его путешествии. Тут же находился и Киль. Все были в сюртуках.

"За столом император больше всех говорил с посланником, -- рассказывал, как он приятно провел время в Палермо и Неаполе и как доволен приемом их короля; упоминал о прелестных видах Неаполя и его окрестностей, о Помпее и Геркулануме, об устроенных для него маневрах, похвалив их; восхищался Ватиканом и хвалил его, разумеется, искреннее, нежели маневры. Когда посланник заметил, что, вероятно, его величество утомился от прогулки в Ватикане, государь отвечал:

-- Совсем нет, я готов сейчас же повторить этот поход, только немного клонит ко сну.

После обеда, напившись кофе, посидевши в гостиной и поговоривши с полчаса, государь раскланялся и ушел во внутренние покои. Все разошлись по домам.

3 декабря 1845 года, в девять часов утра, граф Федор Петрович отправился во дворец посланника, где остановился император, чтобы сопровождать его в Palazzo Farnese, где Киль сделал выставку из оборышей картин и этюдов наших пенсионеров. В десять часов утра государь выехал в коляске с Висконти; граф Федор Петрович поехал за ним, ожидая большого нагоняя за эту выставку, но государь, осматривая ее, не сказал ничего, только отнесся недурно о картине Раева, изображавшей Рим {Картина Раева "Рим" ныне находится в превосходном собрании картин русской школы Николая Дмитриевича Быкова, *(Прим. Т. П. Пассек.)*}; говорил, что она ему нравится больше других работ его, которые он видал прежде, да остановился на картинах Орлова, состоявших из небольших поясных фигур, и спросил про одну обнаженную женскую фигуру:

-- Они так с голых и пишут их? Остальное осмотрел молча.

Из Palazzo Farnese поехали опять в Ватикан смотреть *Рафаэлевы ложи* и его комнаты. Государь очень сожалел, что ложи почти совсем пропали. Кто-то заговорил, что теперь они находятся в Петербурге {"Благодаря великой Екатерине, -- говорит граф Федор Петрович, -- у нас тоже будут существовать ложи Рафаэля. Она приказала их скопировать для Эрмитажа. Еще часть Рафаэлевых лож превосходно скопирована масляными красками по заказу графа Александра Сергеевича Строганова", *(Прим. Т. П. Пассек)*}. На это государь сказал:

-- Лучше, если бы они остались здесь.

В комнатах Рафаэля он отметил списать некоторые фигуры потолка, а в картинной галерее -- стоящие там три картины Рафаэля.

-- Когда Бруни окончит работы Исаакиевской церкви, -- сказал государь, -- то пусть скопирует мне их.

В других залах его величество также повелел скопировать некоторые картины и опять всем восхищался, особенно же работою Микель-Анжело в Сикстинской капелле 10. Когда государь выходил из Сикстинской капеллы, какой-то художник с картиной в руке остановил его и предложил ее купить. Государь заметил ему, что его картина не окончена. "Ежели вашему величеству угодно купить, то я ее кончу". Государь серьезно посмотрел на него и молча отошел прочь.

Императору показывали все, что только стоило видеть в Ватикане, водили по залам, которые никогда никому не открывали даже и по

билетам. Проходили залу *ковров,* галерею *географических карт,* свод которой украшен с таким вкусом, что государь велел срисовать его нашим архитекторам; кроме того, любовался собранием этрусских ваз и египетских древностей. Из залы географических карт перешли в библиотеку--одну из значительнейших в свете. Кроме книг и рукописей, в ней видели старинные образа с греческими и славянскими надписями.

Из библиотеки снова обошли все капеллы церкви св. Петра. Граф Ф. П. Толстой не мог отлучиться ни на минуту от государя, который постоянно обращался к нему с вопросами и распоряжениями. Когда они подошли к бронзовому балдахину над главным алтарем, государь сказал Толстому:

-- Я нахожу, что эта вещь здесь неуместна и вредит величию церкви, так же как и стекло над алтарем, с прозрачным изображением св. духа. Оно неприлично такой базилике, как базилика св. Петра.

"Его величество был совершенно прав", -- замечает Толстой.

Когда граф Федор Петрович сказал государю, что этот бронзовый балдахин одной величины с Зимним дворцом, то он не хотел верить. Висконти подтвердил слова Федора Петровича.

Из Ватикана все отправились во дворец Цезарей11; государь долго рассматривал со вниманием богатые, величественные остатки дворцов римских императоров.

Вторичные заказы, сделанные императором Николаем Павловичем в музеуме Ватикана, были следующие: а) В галерее картин Madonna di Foligno: "Когда Бруни кончит работы, пусть ее скопирует". (Она уже была скопированная в Академии.) б) L'incarnazione della Madonna di Julio Romano di Raphaelo et del Fattore {Рождество Мадонны Джулио Романо, Рафаэля и Фатторе *(итал.).*}. в) Salla della Biga12. -- "Снять рисунок с этой залы". д) Библиотека Ватикана и комната di papiris.-- "Снять рисунок с залы papiris и с фресков Рафаэля Менгса. е) В библиотеке и комнате pandecti di Justiniani13 -- снять рисунок плафона и ж) скопировать два фреска en ogives {в стрельчатых арках *(франц.).*}, з) В библиотеке, в sacristie, в капелле les Beneficiate14 скопировать картину Тициана, и) В капелле св. Николая срисовать архитектурным образом стену с частию плафона, где находится мозаичный образ св. Николая, тот самый, что накануне велено сделать мозаикою, к) В церкви св. Петра, в sacristie,

скопировать L'Esperence {Надежду *(франц.).*} de Guido, л) В мозаичной мастерской Микель-Анжело Барбери куплен мозаичный круглый стол, на нем на черном фоне изображен амур, которого везут тигры, кругом гирлянда из плюща. Заплачено 1000 скуди. м) Куплена за 1200 скуди Жана Беллини Божия Матерь со Спасителем, н) Заказаны два мозаичные стола. Один в воспоминание путешествия по Италии вообще, с медальоном императрицы, о) дру; гой -- в воспоминание Сицилии и Неаполя, с медальоном ее высочества Ольги Николаевны. Рисунки обоих столов граф видел у князя П. М. Волконского.

Из дворца Цезарей государь поехал к себе. Графу Толстому сказали, что он будет еще что-то осматривать, поэтому граф остался в приемной комнате, которой императору надобно было проходить. Киль находился тут же. Вскоре государь вошел и мимоходом сказал Килю очень серьезно:

-- L'exposition est mauvaise, c'est une horreur! {Выставка плоха, просто ужас! *(франц.).*}

С этими словами вышел и поехал один прогуляться.

4 декабря, в десять часов утра, император поехал с графом Федором Петровичем в мастерскую художника Иванова (живописца). Студия Иванова была обширна, хороша и с прекрасным освещением. Он писал тогда свою огромную картину, изображающую Иоанна Крестителя в пустыне, проповедующего толпе народа "жизнь новую"; фигуры на первом плане в рост человеческий, Иоанн и окружающая его группа фигур, в том числе две совсем обнаженные, подвигались к окончанию; многое было в подмалевках, остальное еще в контурах. "Вся картина очень умно и хорошо скомпонована, -- говорит в "Путевых записках" граф, -- рисунок в картине превосходный, особенно в фигуре Иоанна. Пейзаж, прекрасный, был уже много подвинут вперед. По стенам мастерской было развешано множество этюдов с изображениями деревьев, кустарников, камней, снятых им в разных местах Италии для пейзажа его картины, также и этюды голов. Государь был очень доволен картиною Иванова, рассматривал его этюды, и обошелся с ним чрезвычайно милостиво. Когда кто-то из присутствовавших заметил, что тут слишком много наделано этюдов, то государь сказал:

-- Иначе и нельзя, чтобы написать хорошо картину.

Выходя из мастерской, государь сказал Иванову:

-- Оканчивай, -- картина будет славная.

От Иванова они поехали в студию художника Ставассера. Государь пришел в восхищение от вылепленной Ставассером статуи Нимфы с сатиром и спросил его:

-- Неужели у тебя натурщица так хороша и грациозна?

Рассматривая долго эту статую, он обратился к стоявшему тут флигель-адъютанту Васильчикову и, закрыв ему рукою глаза, проговорил:

-- Тебе не надобно на нее смотреть, это опасно.

Затем император рассматривал и хвалил Русалку, которую тогда Ставассер рубил в мраморе, также и эскизы, и всем остался доволен. Уходя, он еще остановился против Нимфы, долго любовался ею и, обратись к Ставассеру, сказал:

-- Прекрасно! сделай мне ее из мрамора, только прошу не залениться, а работы у меня будет много15.

Прежде, нежели заехать к Ставассеру, император посетил выставку иностранных художников. На эту выставку, из работ трехсот художников разных наций, живших в то время в Риме, выбрано было только сто лучших картин. Киль это затеял с намерением поставить произведения иностранных художников в параллель с работами наших пенсионеров и тем уронить последних в глазах царя. Он знал, что лучшие произведения пенсионеров отосланы были в Петербург, оставались оборыши, неоконченные работы и этюды. Государь выбрал себе несколько картин и акварелей. "Выбор их был не совсем удачен", -- замечает граф.

От Ставассера проехали в мастерскую Климченко. Государь остался доволен вылепленным им из глины и отлитым в гипсе Нарциссом, которого он рубил в мраморе.

-- Теперь судить о Нарциссе много еще нельзя, -- сказал государь, -- оканчивай, должно быть, будет хороша.

Видели у Климченко еще эскиз небольшой статуи вакханки с кистью винограда16.

"Наши четыре скульптора, -- пишет граф, -- Ставассер, Рамазанов, Климченко и Иванов, хотя и не успели еще сделать многого, но с тем немногим, что у них есть, они могут смело выступить на арену художеств".

По пути от Климченки, проезжая мимо Капитолия, остановились и любовались этим величественным зданием; потом, объехавши кругом Foro Romano {Римский форум *(итал.).*}, выбрались за город, где осмотрели церковь St. Paulo, строившуюся каторжными в цепях; один из них, опустясь на колени, подал прошение государю; этого несчастного мгновенно схватили, и он исчез. Прошение государь принял и передал графу В. Ф. Адлербергу. Каждый выезд царя подавали ему просьбы, даже бросали в коляску. Просьбы эти по его повелению принимались генералами и флигель-адъютантами свиты его величества. Не раз случалось принимать просьбы и графу Ф. П. Толстому и передавать дежурному флигель-адъютанту или графу Адлербергу. Свита его величества, приехавшая с ним из Палермо, состояла из генерал-адъютантов: графа Орлова, графа Адлерберга, генерал-майора Ливена, флигель-адъютантов: Баранова, князя Меншикова и Васильчикова и действительного статского советника доктора Енохина.

Затем заехали они в церковь St. Giovanni Laterano и осмотрели находящийся в Латеранском дворце музеум; далее осмотрели базилику Maria Maggiorei7. Проезжая Колизей, император и все бывшие с ним вышли из коляски взглянуть на эти великолепные развалины. В базилике Колизея царя встретил кардинал (имя его граф позабыл) со всеми священниками, показал ему церковь и все, что там есть примечательного. Император поручил графу Ф. П. Толстому сделать некоторые заказы.

Из Колизея государь хотел посетить мастерские иностранных художников, а у Рамазанова быть после обеда. Это сообщил графу князь Петр Михайлович Волконский и при этом попросил устроить так, чтобы у Рамазанова находилась и модель, с которой он лепит свою статую (находившаяся у него натурщица считалась лучшею в Риме). Волконский еще с утра говорил, что государю хочется видеть, как работают скульпторы с модели, о чем граф тогда же сообщил Рамазанову. Услыхавши, что государь располагает быть в студии Рамазанова вечером, граф очень встревожился и говорил, что как ни освети мастерскую, все не будет возможности видеть красоту модели, стало быть, и оценить работы художника. Так как мастерская Рамазанова была недалеко, то граф послал сказать ему, чтобы он не отлучался из студии и не отпускал натурщицу, а сам попросил князя

Волконского доложить государю, что лучше ехать днем в студию Рамазанова.

-- Как же это сделать, -- отвечал князь, -- государю хочется видеть и модель?

Граф Ф. П. Толстой сказал, что модель будет там, но что при свете огня нельзя хорошо осмотреть ни скульптурного произведения, ни верно сличить его с моделью.

-- Ну, делай как знаешь, -- сказал Петр Михайлович графу, -- а я говорить государю не буду; я устал и еду домой, -- и тотчас же уехал.

Граф адресовался к Адлербергу, потом к Бутеневу, просил их доложить царю о его предложении ехать к Рамазанову и объяснил, почему он этого желает. Оба они отвечали, что не смеют докладывать об этом государю, так как он устал и сам назначил ехать к иностранным скульпторам. Отказ их взбесил графа Федора Петровича, и он отвечал:

-- Если вы не смеете, то я смею, -- и пошел к государю, шедшему впереди с Висконти к своей коляске. Граф догнал его, остановил за руку, попросил прощения в этой дерзости и объяснил причину, побудившую его остановить его величество.

-- Ваше величество, -- сказал он, -- Рамазанов -- один из наших даровитейших пенсионеров; вы не были еще в его мастерской, а так как при свете ламп скульптурная работа много теряет, особливо в глине, то лучше теперь, при дневном свете, пожаловать в его студию.

-- Хорошо,-- отвечал государь, -- все это так, да не далеко ли его мастерская, я очень устал.

-- Очень близко, -- ответил граф.

-- Ну, так пойдем к нему, -- сказал государь.

Подъехавши к мастерской, император сказал, чтобы, кроме его и графа, никого не впускать в студию, -- вся свита осталась за дверями. Когда они вошли в комнату, Рамазанов запер дверь на замок. Прежде всего государь обратил полное внимание на работу Рамазанова и ни малейшего на натурщицу, стоявшую в позе нимфы, которая ловит у себя на плече бабочку. Рассматривая работу художника, он очень хвалил и мысль, и позу, и отделку. Фигуру нашел грациозной, голову прелестной, потом стал сравнивать работу с оригиналом и нашел, что натура не так хороша, как ее представил скульптор: "Ты ее украсил и

облагородил,-- заметил он,-- а следы ног, кажется, надобно сделать пополнее".

Натурщицу государь нашел хорошо сложенной, только немного толстоватой и недостаточно рослой" "Что и действительно было так, -- сказано в "Записках" графа; -- личико же у нее, -- говорит он, -- было прекрасно, глаза большие, черные, взор выразительный, черты лица правильные, но Рамазанов в своей статуе сделал голову в другом роде: он дал ей красоту более нежную и более античную, и для самой фигуры брал на чисто натуру, а смотря по красоте и правильности форм частей тела". Государь, подойдя к натурщице и посмотревши на нее, велел Рамазанову передать ей, что он находит ее прекрасной, потом, снова сравнивши статую с натурою, пошел рассматривать эскизы; он обратил особенное внимание на группу Нимфы и сатира, просящего у нее поцелуя, похвалил эту группу и заметил: "Она у тебя уж слишком выразительна, ты ее смягчи, а то мне нельзя будет поставить в моих комнатах", -- и приказал произвести ее в мраморе; подойдя опять к натурщице, которая во все время продолжала стоять в позе статуи, изображающей нимфу, ловящую у себя на плече бабочку, приказал Рамазанову повторить ей, что находит ее прекрасной, приказал ей выдать тридцать скудий и заказал ему произвести ее в мраморе18; затем, низко поклонившись модели, пошел к дверям мастерской, повелев, прежде нежели отворят дверь, подать ей закрыться, что Рамазанов тотчас и исполнил.

Из мастерской Рамазанова государь проехал в студию скульптора Вольфа -- не слишком талантливого художника; несмотря на это, сделал у него некоторые заказы.

От Вольфа проехали к довольно даровитому скульптору Тенерани; государю понравилась у него сделанная им женская фигура, держащая в подоле платья цветы. Сделавши и здесь несколько заказов, отправились к скульптору Bien-aimé; у него обратила на себя внимание императора чрезвычайно грациозная фигура, изображающая амура, который стоит на одном колене и поит двух голубков из небольшой чаши.

После этого они посетили студию нашего пенсионера, скульптора Иванова; государь остался очень доволен его мраморного статуей "Ломоносов в молодости"19, находил, что в юном лице статуи много сходства с портретом Ломоносова в старости. Он изображен в русской

рубашке, сидящим с книгою в руке. Про начатую Ивановым и еще не совсем приведенную в порядок статую простого молодого человека, замахнувшегося правою рукою, чтобы убить камнем змею, государь сказал: "Теперь нельзя многого сказать о ней, она не кончена, а, кажется, будет хорошая вещь; оканчивай с богом и присылай".

От Иванова государь заехал в другую студию Тенерани, а оттуда отправился к себе.

На выставке иностранных художников государем куплено было: а) Скульптурная группа, изображающая благодарность, -- Bensoni de Begram, б) Картина масляными красками, представляющая костюм Сори -- работы Зекера. в) Акварель -- сцена из простонародного быта -- Генриха, г) Акварель -- вид озера Комо, взятый с Villa Sommariva, швейцарца Sal Corrodi, лучшего акварелиста того времени, д) Молодая девушка из Сорренто -- Лемана. е) Процессия детей -- Теодора Веллер, из Бадена. ж) Зима -- итальянский костюм римлянина -- Пиццоле. з) Весна -- его же. и) Акведук в окрестностях Рима -- Гмелина. к) Вид Палермо -- Кателя, велено сделать в большом виде, л) Tableaux de genre {Жанровые картины *(франц.)*.} -- Валласа.

В мастерской Иванова -- окончить его большую картину -- Явление Спасителя в пустыне во время проповеди там Иоанна Крестителя.

В студии Климченко -- окончить в мраморе начатую им вырубать статую Нарцисса.

У скульптора Ставассера -- сделать в мраморе вылепленную им статую Нимфы с сатиром, снимающим с нее сандалии.

В студии Рамазанова -- сделать в мраморе вылепленную им Нимфу, ловящую бабочку у себя на плече; вылепить и произвесть в мраморе по сделанному им заказу группу Нимфы и сатира, просящего у нее поцелуя.

У скульптора Bien-aimé -- куплена мраморная статуя Иоанна Крестителя, заказаны в мраморе: Телемак, Диана, танцующая вакханка, Амур, стоящий на одном колене и поящий двух голубей из чаши.

У скульптора Тенерани -- Венера, у которой Амур вынимает занозу.

В мастерской иностранного художника Вольфа -- две амазонки и статуя Дианы в покое.

В мастерской иностранного скульптора Ингофа -- группа младенца Моисея с матерью, опускающей его в корзинке в Нил.

Вечером в восемь часов приготовили для государя освещение в галерее статуй в Ватикане,

На вопрос, сделанный императору еще с утра начальником Ватикана, монсеньером Люциди, -- допускать ли в Ватикан во время его там присутствия посторонних, император отвечал:

-- Я бы желал, чтобы только русских.

Граф вместе с графинею, вечером, поехали в Ватикан. Государь приказал привести туда всех наших пенсионеров; некоторые из них приехали вместе с графом. Толпа была так велика, что они только при помощи директора скульптурного музеума Ватикана, Фабриса, и монсеньера Люциди, добрались до первых галерей, где должны были дожидаться прибытия государя. При караульном офицере граф оставил художника Монигетти, чтобы он указывал ему наших пенсионеров и художников, которые будут подходить, и пропускал бы их. Вместе с графом и графинею прошел с большим трудом наш канцлер граф Нессельроде с своим семейством. В галерее набралось довольно дам и мужчин, из которых иные были во фраках. Вскоре прибыл и государь с своею свитой; по обе стороны шли с факелами люди, назначенные освещать галерею, одетые в средневековый костюм -- малиновые полукуртки с откинутыми назад длинными рукавами. Все коридоры галерей освещались высокими восковыми свечами. Когда пришли в галерею античных статуй, то каждую статую стали освещать порознь приготовленными светильниками из нескольких восковых свечей с полированными сзади жестяными реверберами. Граф Федор Петрович находил это освещение неудовлетворительным и говорил, что газом было бы много лучше; сверх того, действию освещения сильно мешала набившаяся толпа посетителей. Комната египетского музеума, в глубине которой стоит вырубленная из красноватого порфира статуя Изиды, освещена была эффектнее всех остальных комнат. Налюбовавшись этим зрелищем, стали разъезжаться. Государь уехал первый, за ним и остальные.

5 декабря архитекторы и граверы положили свои работы в кабинет его величества для рассмотрения их.

Поутру государь, в казачьем мундире, ездил прощаться с папой.

В этот день граф Федор Петрович отправился в приемную императора, где находились и наши архитекторы. Вернувшись от папы, император переоделся в сюртук, призвал архитекторов к себе в кабинет, расхвалил их действительно превосходные работы и высказал им столько приветствий, что они были вне себя от радости. Выразивши им свое удовольствие, что они не теряли времени и употребили его с пользою прекрасно, и похвалив их, государь сказал:

-- Молодцы, вы и скульпторы меня очень порадовали.

Переговоривши с архитекторами, император поехал в Пантеон в сопровождении Висконти, графа Федора Петровича и двух наших молодых архитекторов, Резанова и Бенуа. Пантеон государю чрезвычайно понравился, несмотря на то что это величественное древнее здание испорчено фанатиками-папами20. Обратись к графу Федору Петровичу, государь сказал:

-- Не правда ли, что что ни делай с зданием, построенным в хороших пропорциях, оно всегда останется прекрасным?

От Пантеона проехали к термам Каракаллы21. Осматривая огромные развалины его дворца и бань, государь снова начал говорить о прочности строений, и что у нас не умеют класть кирпичи, что спайка очень толста и что он всегда бранится за это с нашими архитекторами; спросил графа Федора Петровича, нет ли с ним кого-нибудь из наших молодых архитекторов. Граф вызвал Н. Л. Бенуа, смелого, образованного молодого человека, отлично знавшего свое дела, как и прочие наши молодые архитекторы. Бенуа свободно, основательно, прекрасно стал опровергать обвинения государя, на стенах развалин доказал, как наружность обманчива и что кладка в них не систематическая, а совершенно произвольная, но что превосходная материя связки и климат дают эту крепость зданиям. Потом подвел государя к одной развалившейся арке, большая половина которой висела на воздухе, и показал, что в этом своде нет никакой кладки, ни камней, ни кирпичей, а они просто приставлены друг к другу, смазаны дивною здешнею смазкою, называемою pozzolano22, в доказательство ее крепости взобрался на висящий на воздухе конец арки, стал на нем прыгать и ни один камень не отвалился от свода. С своей стороны Резанов так дельно и хорошо объяснял все царю, что он остановился спорить и стал внимательно слушать его доказательства. Потом заметил, что у нас валятся здания, потому что архитекторы сделались

подрядчиками. "Я хотел было сказать государю, -- говорит в своих "Записках" граф Федор Петрович, -- что у нас валятся те дома и церкви, которые строились и строятся инженерами путей сообщения, но побоялся этим повредить хорошему расположению государя к нашим академическим архитекторам и промолчал, только сильно стал защищать наших академиков-архитекторов от стачки с подрядчиками, в особенности же молодых художников".

Император говорил с Резановым и Бенуа очень долго и милостиво, внимательно их выслушивал. Они объясняли ему все подробности этих развалин со времен Каракаллы, по остаткам, представляли, какое расположение было этих терм и бань и что частию соответственно вкусу духа времени, частию по образцу других зданий того же исторического периода можно было довольно верно определить самые фасады этих зданий. Объясняя постройку терм Каракаллы, они говорили и вообще о древних остатках Рима так основательно и хорошо, что показали себя не только знающими свое дело, но и вполне образованными людьми. Некоторые из молодых флигель-адъютантов обступили юных художников с вопросами; они отвечали умно и дельно, не только о термах, в которых находились, но и о древнем состоянии самой Римской империи, ее столице, Неаполе и других городах Италии, примечательных памятниками истории, археологии и искусств.

Граф Федор Петрович Толстой слушал их с восторгом.

Выходя из терм, государь, по-видимому, еще занятый заступничеством графа за наших архитекторов, обратясь к нему, сказал:

-- А все-таки я скажу, что наши архитекторы входят в стачки с подрядчиками.

Сказавши это, он сел в коляску и все, кроме молодых архитекторов, отправились к весьма плохому скульптору Фабрису, по милости папы -- директору скульптурного музеума Ватикана. Они оба были из одной деревни, учились вместе в одной школе и остались приятелями. По заказу папы Фабрис работал колоссальную статую Милона Кротонского, назначенную быть поставленной на горе Пинчио, над аркадами величественной лестницы, спускающейся в Piazza del popoli {Площадь народа *(итал.).*};23 но статуя эта так плоха, говорил граф, что едва ли ее там поместят.

После студии Фабриса осмотрели студию скульптора Финелли, у которого видели несколько хороших работ.

От Финелли проехали в монастырь и церковь St. Maria degli Angeli, построенную известным Буонаротти на остатках терм Диоклетиана24. Государь любовался, кроме живописи в церкви, обширным четырехугольным двором в стенах строений, по которым идут галереи из продолговатых арок различных прекрасных форм; тут находится монастырский огород с фонтаном посреди параллелограммного бассейна из белого мрамора, по углам которого растут четыре огромные кипариса, посаженные Микель-Анжелом.

Из монастыря проехали в виллу Albano -- прекрасную дачу, богатую древними произведениями в мраморе. Там государю понравилась ваза из белого мрамора на трех ножках, украшенная барельефом; он велел кому-нибудь из наших молодых художников снять с нее верный рисунок.

Из Альбано, по площади Monte cavallo, въехали во двор папского летнего дворца, Квиринала, куда никто не имеет права въезжать в экипаже, кроме папы, а их въехало за государем больше пяти колясок. Шагом объехавши кругом двора, государь уехал к себе; граф же Федор Петрович Толстой отправился прокатиться на Monte Pincio. Спустя немного времени приехал туда и государь, в коляске, с посланником; проехав palazzo Borgese, они исчезли из вида25.

Государь каждый день делал эту прогулку перед обедом.

5 декабря, в час ночи, император Николай Павлович выехал из Рима. Наши художники пришли к крыльцу посланникова дома, чтобы поклониться государю и пожелать ему счастливого пути, но им сказали, что он желает уехать тайно, и они удалились.

Повсюду, где граф Толстой сопровождал государя по Риму, кроме экипажей с его свитой, он замечал следующую за ними коляску с четырьмя одними и теми лицами итальянского типа, никому из сопровождавших царя не известными. Везде, где останавливался государь, останавливались и они, тотчас выскакивали из коляски и невдалеке от него помещались перед толпившимся народом. Где бы ни был царь -- и они были тут же. Поступки эти возбудили в графе любопытство, и он узнал, что это были переодетые в штатское платье лучшие и надежнейшие офицеры из карабинеров, назначенные от правительства повсюду следовать за царем и охранять его; а так как

правительству всегда было заранее известно, когда, куда и в какое время государь поедет, то в тех местах, где в какой день государь должен был быть, там, между столпившимся народом, размещены были переодетые в разные костюмы карабинеры, которые, в случае надобности должны были исполнять приказания сопровождавших государя офицеров.

Был слух, что правительство заметило злостные намерения, что сам папа боялся за царя; говорили даже, будто бы открыт какой-то заговор и что государь, узнавши об этом, был очень огорчен.

Как по дороге из Неаполя в Рим, так и из Рима во Флоренцию и Болонью, во время проезда императора по этим местам по всем дорогам были размещены карабинеры.

Граф говорит в "Записках": "Я не верю, чтобы у итальянцев могло быть что-нибудь против нашего царя, а что в Италии не совсем спокойно, то это верно".

Спустя несколько времени по отъезде императора из Рима граф Федор Петрович Толстой отправил в Петербург президенту Академии, герцогу Лейхтенбергскому, опровержение ложных доносов Киля на пенсионеров и письмо к конференц-секретарю В. И. Григоровичу, в котором сообщал ему о приезде в Рим государя и как он представлял ему воспитанников Академии26.

Письмо это, как значительный материал для биографии графа Федора Петровича Толстого и для истории Академии художеств, дружески передано было мне Николаем Дмитриевичем Быковым для пополнения моих воспоминаний о графе Толстом. Оно напечатано в "Русской старине" издание 1878 года, том XXI, стр. 347--356.

ГЛАВА 46

ПО ОТЪЕЗДЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

1845--1846

6 декабря 1845 года, в день тезоименитства императора, граф Ф. П. Толстой с нашими пенсионерами поехал к герцогу Ольденбургскому -- поздравить его с общим праздником русских, а от герцога к князю Петру Михайловичу Волконскому; везде они были приняты отлично. Волконский после продолжительного разговора с графом и пенсионерами, обратись к последним, сказал: "Государь остался вами совершенно доволен; благодарю вас за то, что трудитесь с успехом, и за то, что ведете себя, как прилично благовоспитанным молодым людям".

Раскланявшись с князем, они пошли в церковь; туда же приехал и князь Волконский.

Во все время пребывания императора Николая Павловича в Риме погода стояла ясная; со дня же его отъезда полил дождь, сделалась слякоть, холод. Несмотря на это, некоторые из художников отпраздновали этот день за городом. Вечером они рассказали графу, что праздник их был самый скромный, -- что они выпили только по бокалу шампанского за здоровье государя, пели "Боже царя храни" и церковные кантаты, затем с факелами и пением прошлись по соседним горам.

На другой день именин императора, утром, к графу Федору Петровичу приехал князь Григорий Петрович Волконский с секретарем Киля Сомовым, чтобы сверить и привести в порядок список заказов, сделанных государем. Графу Федору Петровичу было до крайности неприятно это вмешательство в дело, касавшееся единственно его.

Художники наши продолжали по-прежнему часто собираться у графа Федора Петровича и сообщили ему, что дали между собою слово не пировать, а работать как можно усерднее: так благотворно отразилось на них милостивое отношение к ним государя. Кроме разговоров, у графа вечерами происходили и чтения; на одном из вечеров Рамазанов читал написанную им сказку "Красота и искусство"1; он развивал в ней довольно верно идею, как от действия красоты вызвалось к жизни искусство; мысль эта, замечает граф Федор Петрович, не новая: ее проводили и древние греки, как живописцы, так

и скульпторы -- в образе юного грека, очерчивающего профиль лица любимой женщины по тени, отбрасываемой луною на ствол дерева.

Так же как и до прибытия в Рим императора, граф и графиня Толстые продолжали посещать студии художников и с величайшим вниманием и подробностию осматривали все достойное примечания в Риме. Посещая знакомых, граф бывал и у антиквария Висконти; однажды Висконти сказал графу, что он получил в подарок прекрасную бронзовую медаль, по его мнению, сделанную в Париже, и чрезвычайно хвалил ее. Показывая медаль, стал объяснять Федору Петровичу, что она изображает. Граф тотчас узнал в ней одну из своих бронзовых медалей, изображающую освобождение Москвы. Висконти был чрезвычайно изумлен и даже выразил некоторое сомнение, что эта медаль была сделана в России. Когда же граф сказал ему, что медаль эта одна из коллекции, состоящей из двадцати таких же медалей, сочиненных и резанных им по случаю войны 1812--1814 годов, то Висконти рассыпался в восторженных приветствиях. При этом граф показал Висконти слепки с своих барельефов из "Одиссеи" Гомера; он долго рассматривал их и сказал, что ему известно все выходившее в этом роде, но подобного не встречалось как по идее, верности рисунка, вполне античного стиля, так и по красоте и искусству в выполнении. С восторгом и изумлением он рассматривал выгравированные рисунки "Душеньки"2, осыпал похвалами рисунок всех фигур, вкус, с каким все трактовано, драпировку, мебель, вазы и прочие аксессуары, дивился обширному знанию графа древнего греческого мира и с этого времени изменил свой взгляд на искусства в России. Вскоре после того Висконти привел к графу лучшего резчика на твердых камнях в Риме, итальянца Бонтинчио Боканино, чтобы показать ему вырезанные графом в меди барельефы "Одиссеи". Боканино был не художник, он сам не сочинял, не лепил, как и прочие медальеры в Европе, а только резал с вещей на стали, на твердых камнях, а больше на раковинах--чисто и хорошо; занимался также и гальванопластикой в небольшом объеме. Его поразили барельефы графа как сочинением и резьбой в металле, так и отлитые с них в меди слепки гальванопластическим способом. Он долго расспрашивал графа об этом искусстве и никак не предполагал, чтобы было возможно гальванопластикой делать такие сложные барельефы, со множеством фигур, греческих зданий, внутренних украшений, с драпировками, вазами, канделябрами и

другими украшениями, вырезанными на барельефах графа. Они еще не знали гальванического способа осаждать из раствора синего купороса медь в медные формы, а производили это только в восковые, стеариновые или гипсовые формы, напитанные тем или другим, с медалей и других небольших вещиц, натертых графитом. Граф показал ему, как он делает свои слепки простым способом в стеарине, воске и глине, покрытой графитом, но не открыл, как это делают в медные формы, оставляя им самим догадаться. Итальянский медальер не хотел верить, когда граф сказал ему, что у нас этим способом отливают большие античные статуи.

В праздник рождества Христова граф Федор Петрович был с поздравлением у князя Волконского. Между прочими разговорами князь попросил Федора Петровича поторопиться отливкою форм с отмеченных царем статуй, снятием копий и работами, назначенными им нашим художникам. Вместе с этим просил определить плату за их работы, прибавляя: "Ведь нельзя же им работать даром; назначьте такую плату, за которую взялись бы здесь посторонние художники". Граф Федор Петрович никак не ждал этого и был чрезвычайно обрадован.

В этот же день праздника все наши пенсионеры пригласили графа и графиню Толстых с ними отобедать. Обед был устроен в квартире Рамазанова. Всех было двадцать два человека, считая в том числе и четырех не пенсионеров: Бецкого, Розенберга, Сокольского и Моллера; первые два даже и не художники. Когда граф и графиня вошли в комнату, их встретили с пением под фортепьяно написанных на этот случай Рамазановым следующих стихов:

В день славы бога, славы русских,
Мы празднуем здесь, в рождество,
Изгнанье вражьих сил французских
И славы русской торжество.

Хвала защитникам России,
Ура! сынам ее всегда,
Мы под защитою мессии
Не посрамимся никогда!

Гремите битвы за отчизну,
Лети, герои, по полям:
Толстой по вас исправил тризну,
Бессмертью предал вас векам.

Хвала тебе, художник славный,
Сердца ты славой весели,
Тебе венец, бессмертью равный,
За труд и подвиги твои.

Идеей грека восхищенный,
Взяв карандаш волшебный свой,
Красою "Душеньки" плененный,
Стяжал ты вновь венец другой.

Хвала тебе, повсюду чтимый,
Хвала и "Душеньке" твоей,
Живи еще -- всеми любимый
На славу родины твоей!

"Встреча таким приветствием, -- говорит в "Путевых записках" граф, -- чистосердечие, любовь приема до того сильно тронули меня, что я не мог передать полноты чувств, теснившихся в моей душе; но уверен, что на лице моем они прочли мою радость и признательность за их драгоценную мне дружбу и привязанность. Затем сели все за стол -- обед был прост, но хорошо приготовлен, вино -- римских виноградников". Графу Федору Петровичу это было приятно, ему было бы тяжело, если бы они ради его вошли в лишние издержки. Сверх того, устраивая этот пир, они держались сделанного ими условия избегать всякого рода роскоши и излишеств. Единственная роскошь этого обеда состояла во множестве прекрасных, у нас очень дорогих цветов, только что нарванных с гряд. Над камином была развешана гирлянда из мирт, цветов и зелени, а над ней из роз и лилий сплетенные буквы Ф. Т. В это время цветы в Риме стоили безделицу. Там, где было защищено от ветра Montano3, цветы распускались на воздухе, и при свете солнца можно было сидеть у растворенного окна. В средине обеда Резанов встал и прочел сочиненные им стихи:

Здесь, друзья, мы собралися
В праздник рождества Христова,
Пой, ребята, веселися:
С нами видим мы *Толстого!*

Он ребятами нас знал,
Нянчил нас, как деток родных,
И всегда в нас помогал
Чувств развитые благородных.

Каждый вырос и путь свой
По призванию направил,
Здравствуй, батюшка *Толстой!*
Ты нас всех на путь поставил.

Вот куда тот путь привел
Твоих деток, слава богу!
В Риме нас отец нашел,
Там, куда казал дорогу!

Славно, если бы год весь
Было рождество Христово,
Лишь бы нам его провесть
Возле батюшки *Толстого!*

Вот и нам пришла пора
В праздник рождества Христова
Грянуть дружное ура!
Здравью батюшки *Толстого!*

Когда Резанов сел на свое место после общего громогласного "ура", встал Бецкий и экспромтом сказал:

Нам Богданович милую поэму написал,
Но Пушкина стихи ее убили;
К ней граф Толстой рисунки начертал,

И "Душеньку" рисунки воскресили.

В конце обеда пили за здоровье графа и графини Толстых и их детей, остававшихся в России. Когда встали из-за стола, художники подошли к фортепьяно и хором пропели графу "многая лета". Тронутый граф, обратясь к ним, сказал: "К несчастию моему, я не владею искусством красноречия и не берусь выразить ни моих чувств, ни моей благодарности за высказанные мне пожелания; пусть от искреннего сердца, от полноты души моей, обниму каждого из вас -- это выразит вам то, что я чувствую". Тогда все, один за другим, обошли кругом стола с пением "многая лета" и, поочередно подходя к графу, обнимали его. После обеда под фортепьяно повторили стихи Рамазанова и поднесли графу огромный лавровый венок. Затет", пропевши еще раз стихи Рамазанова, затянули "чарочки по столику похаживают", Бецкий взял перо, тут же написал и прочитал:

Пойте, братцы, веселитесь,
Пришла славная пора,
Вы Толстому поклонитесь,
Гряньте дружное "ура"!
Академья воспитала
Русских добрую семью,
Хоть меня она не знала,
В вашем не был я раю, --
Но я чувствовать умею, --
И приветы вам даю;
Пред талантом я немею,
А художников люблю.
Пойте, братцы, веселитесь,
Пришла вам на то пора
Все Толстому поклонитесь,
Гряньте гению "ура"!

Многократное усердное "ура" раскатилось по комнате, где быдо все полно искренности и теплоты души собеседников.

После обеда пели русские и итальянские народные песни и так же, как, бывало, в доме у графа в Петербурге, начались разные затеи,

переодеванья в различные костюмы, танцевали национальные танцы, разыгрывались карикатурные представления; в них особенно были прелестны Монигетти и Вени, и смешили всех до слез. Толстые пробыли на этом празднике до десяти часов вечера. Художники всей толпой проводили их на улицу с зажженными свечами и фонарями, а когда они спустились с лестницы, то, по образцу карнавала, осыпали их множеством роз и других цветов.

Вечером на своей квартире граф записал этот праздник. Он сделал на него такое же радостное, светлое впечатление, как и тот, который дан был ему при его прибытии в Рим.

Посещая студии художников, граф в мастерской Бенуа и Резанова не мог налюбоваться прелестными произведениями этих молодых талантливых архитекторов. Ими сделано было множество превосходных рисунков акварелью всех деталей церкви Орвиетского собора4, как его внутренности, так и наружности, и мастерски нарисованный вид главного фасада как Орвиетского собора, так и многих других древних церквей.

Резанов, Бенуа и Эпингер прожили в Орвиете почти три года втроем. Начальство монастыря поручило им реставрировать в церкви места, пострадавшие *от* времени. Они исполнили это с таким успехом, что заслужили всеобщую благодарность и расположение. В память сделанного ими начальством города вырезана была медаль и каждому из них поднесено по медали.

В студии Шурупова внимание графа обращала им сочиненная и вылепленная ванна с прекрасными скульптурными украшениями; она была до половины вырублена из мрамора. Чаще всех граф посещал студии Ставассера, Иванова и Рамазанова.

В студии Макрицкого, между прочим, графа заинтересовали этюды Штернберга, доставшиеся Макрицкому по смерти его товарища, и Федор Петрович очень жалел, что ничего не было конченного, особенно, что он не успел окончить начатой им большой картины, изображающей "Рынок в Неаполе"5.

Мастерская Солнцева привлекала графа множеством прелестных этюдов -- пейзажей с натуры, костюмов, чертежей и проч. В эскизах Ломтева различного содержания граф находил дарование, ум и воображение в композиции. Этот молодой человек много читал и

хорошо знал историю. К большому сожалению графа, он повел себя не так, как следовало.

Из иностранных художников граф Федор Петрович посещал иногда знаменитого акварелиста Вернера. Он не мог насмотреться на его превосходную картину, изображающую внутренность палаццо мавританской постройки, находящегося в двух милях от Палермо-Солнечный луч, проникающий в окно, освещает ярким лучом сидящие за шахматной доской две мужские фигуры в средневековой одежде; один из них, постарше, углублен в игру, другой -- молодой человек, пьет из рюмки вино, поднесенное ему женщиной, и засматривается на нее. В тени видны пирующие солдаты; посредине комнаты -- дверь мавританской формы. "Подобной акварели, -- замечает граф, -- я еще не видывал". В студии венского живописца Амерлинга, лучшего портретиста того времени, графу больше всего нравилась картина, представляющая в настоящую величину двух спящих прелестных детей, девочку и мальчика. "Сон их так натурален, -- говорит граф, -- что боишься громко говорить, чтобы не разбудить их и не нарушить сладкого покоя, в который они погружены".

У живописца Риделиб его заинтересовала одна картина, содержание которой взято было из индийской поэмы "Locconda". Изображена пустыня, где юноше отшельнику является нимфа под вуалем, сияющим лучами солнца, данным ей Вишну. Ветер распахнул вуаль, отшельник пленяется нимфой, вследствие чего является на свет ребенок, которого мать отдает на воспитание орлу, называемому Locconda.

Довольно часто граф и графиня посещали театр. Видели в балете Фанни Эльслер и Тальони, слушали в опере нашего певца Иванова и находили голос его выше и приятнее любимца римской публики Колини. Сверх того, Иванов знал хорошо музыку и в пении обладал прелестною методою. Игра драматической артистки Ристори восхищала графа--любителя и знатока сценического искусства. "Все, что я до сих пор видал в драматическом мире, -- говорит граф в "Записках",-- не может и приблизиться к Ристори. Что за грация, что за изумительная правда в ее игре! Она не играет роль, она в самом деле действует, она чувствует, она вся жизнь и благородство; простота, игры, все ее движения, все позы прелестны, сложена она дивно хорошо, в милом лице доброта и самодостоинство".

Здоровье князя Волконского не поправлялось, болезненное состояние отражалось в характере нерешительностию и крайней робостью, доходившими до того, что, говоря в один день одно и согласившись на предъявленное ему предложение, на другой день говорил совсем противное. Сам ни на что не решаясь, не давал и графу Ф. П. Толстому формального права действовать по его убеждению, что навлекало графу пропасть хлопот и неприятностей.

Однажды князь Волконский сообщил графу, что секретарь Киля скрылся. Когда у него отобрали все бумаги по делам директорства, он уехал в Тиволи. Как-то понадобилось послать почему-то на его квартиру -- к удивлению, она оказалась совершенно пустою, все до последней мебели из нее было вывезено; это нашли странным, но по беспечности оставили без внимания. Когда же для понадобившихся справок послали к Сомову в Тиволи, то его там уже не было, и куда он скрылся, никто не знал. Вскоре открылось, что директорство Киля задолжало банкиру Торлони около пятидесяти тысяч рублей серебром. О Киле составилось общее мнение, что он не способен занимать место директора русских художников. Пост этот, оставшись свободным, сделался предметом происков и интриг. Между искателями этого места находился первый секретарь русского посольства Устинов и даже Григорий Петрович Волконский. Увидавшись с Григорием Петровичем, граф высказал, что, по его мнению, в Риме никаких директоров воспитанникам Академии не надобно, тем более что нередко на такие места назначаются люди, которые не имеют никакого понятия ни об искусствах, ни о нуждах художников и заботятся не о пользе наших пенсионеров, а только о своих удовольствиях, между тем правительству становятся чрезвычайно дорого. Князь сказал, что он вполне разделяет это мнение.

11 января 1846 года граф с первым курьером отправил герцогу Лейхтенбергскому заранее приготовленный им рапорт, в котором сделал подробное описание образа жизни и поведения наших пенсионеров в Риме и всех поступков с ними и клевет на них бывшего их директора и его секретаря. К рапорту своему он приложил поступавшие к нему просьбы воспитанников нашей Академии, находившихся в Риме7.

1 февраля верховые в куртках малинового цвета, обшитых желтым басоном, играя на трубах, объявили па всех площадях и

перекрестках и перед всеми палаццами вельмож о начатии карнавала. Семь вершников, по числу дней карнавала, везли на длинных значках большие куски материй, назначенные для призов за тех лошадей, которые останутся на скачке победителями. Скачками начинался каждый день карнавала. Издержки по карнавалу возложены были на евреев. В старину несчастные евреи были жестоко угнетены и унижены в Риме и во время карнавала служили бесчеловечной забавой римской черни: из среды евреев избиралось несколько человек, которых по горло завязывали в мешки из грубой парусины и заставляли бежать вперебежку по Корсо от Piazza di popolo до Капитолия; тех же, которые отставали, жестоко били палками. Наконец евреи за огромную сумму откупились от этого бесчеловечного унижения. Бег евреев по Корсо заменили бегом лошадей. "Несмотря на нравы, смягченные цивилизацией, -- говорит граф Федор Петрович, -- зверская кровь римского народа и в христианстве не перецедилась в более благородную: они и теперь готовы гонять несчастных евреев в мешках по Корсо. Но так как впоследствии уже нельзя было всенародно оскорблять нацию, ни в чем не виноватую, то они допустили жестокое оскорбление в Капитолии. Накануне карнавала, в полном присутствии сенаторов, евреи обязаны приносить, согласно постановлению, по случаю праздника, подарки папе и разным начальственным лицам. В присутствии всего сената евреи церемониально приносили подарки и, преклонивши колена, вручали их старшему из сенаторов. Сенатор, принявши подарки, представителю евреев ставил на голову ногу в знак их покорности и унижения, и этот обряд совершался в XIX веке, по постановлению папы, главы католического христианства! И это делалось перед огромным стечением народа, в виду всей Европы!" Когда в Риме был граф Толстой, то при депутации евреев президент-сенатор уже не ставил ноги на голову представителю евреев Рима. Он ожидал депутацию сидя на троне, окруженный свитою и пажами. Глава евреев, в черном фраке, войдя в залу аудиенции, низко кланялся, давал клятву исполнять верно постановления по договору и просил позволения евреям остаться еще на год в Риме. Президент дал разрешение, начертанное на медной дощечке, -- тем и кончилась вся церемония; приношения и подарки доставлены были заранее,

Затем открывается карнавал.

Улица Корсо преображается. Дома, окна, балконы драпируются розовыми, белыми, пурпуровыми, голубыми, оранжевыми материями с серебряными и золотыми бахромами, шнурками, кистями, убираются дорогими коврами, цветами, в устроенных для карнавала ложах прелестные женщины -- в домино и без домино, в легких полумасках и с открытыми лицами. Веселые группы масок затопляют широкую улицу -- музыка, песни, жизнь, слышатся шутки, остроты, сыплются мука, цветы, маколетти.

"Чтобы узнать, чтобы оценить Рим, надобно в него вжиться, -- говорил граф Федор Петрович. -- Чем дольше остаешься в нем, тем больше сосредоточиваешься на его природе, на хранящихся в нем великих художественных произведениях, на протекшей по нем жизни. Многие неудобства нового Рима становятся все незаметнее, величественные стороны Рима древнего -- все яснее. Поражаешься царственным отпечатком, лежащим на его каменных остатках, -- что за фантазия, что за размах, что за широта жизни, так цельно, так полно выразившей все свое содержимое. Полустертый след мира языческого еще могущественно выдвигается из-за мира христианского, внесшего в жизнь обновляющее начало, совершенно противоположное всему древнему порядку вещей".

"Древний мир,-- говорит один из наших писателей, сравнивая мир языческий с миром христианским8, -- чувственный, художественный, все принимавший с легкостию, с юношескою улыбкой, везде пробивался к мысли и нигде не умел идти до крайних выводов. Его наука была поэма, его художество было религией, его понятие о человеке не разделялось с понятием гражданина, его республика поддерживалась страшно задавленной кариатидой невольничества, его нравственность состояла из юридических обязанностей. Он уважал в согражданине монополию, привилегию, но не человеческую личность его {Из числа мыслителей, перешедших предел древнего воззрения о нравственности, Сенека стоит на самом краю древнего мира. *(Прим. А. И. Герцена.)*}; юношеский мир этот был увлекательно прекрасен и с тем вместе непростительно легкомыслен; философствуя, он отталкивал важнейшие вопросы, потому что они не так легко разрешались, или удовлетворялся легкими решениями их; утопая в роскоши и наслаждениях, он не думал о темном подвале, в котором стонут в колодках рабы, возвратившиеся с поля. Вдруг прелестные

декорации, ограничивавшие горизонт древнего мира, исчезли, открылась бесконечная даль, которой и не подозревал мир гармонической соразмерности; основы его показались мелки в этом безбрежии, а лицо человека, потерянное в гражданских отношениях древнего мира, выросло до какой-то недосягаемой высоты, искупленное словом божиим. Непосредственные и гражданские определения оказались второстепенными; личность христианина стала выше сборной личности города; ей раскрылось все бесконечное достоинство ее. Евангелие торжественно огласило права человека, и люди впервые услышали, что они такое.

Как было не измениться всему!

Христианство запечатлело себя в Риме пролитого кровью мучеников, храмами, базиликою святого Петра, великими художественными произведениями;, не стесняемое жесткой, сухой схоластикой, волнуемое борьбой с отходящим духом древности, нашедшим средство пробраться в стан победителей, -- не могло раскрыться во всей широте своей и стало развиваться в народах новых -- в формах более свободных, более соответственных своему внутреннему содержанию".

Великие памятники, оставленные в Риме протекшими по нем веками, бесчисленные произведения искусств, художнический образ жизни, все больше и больше привлекали, привязывали графа Федора Петровича к Риму. Все было ему там понятно, всему он сочувствовал. Самая природа возбуждала в нем поэтическое настроение, смешанное с картинами протекшей жизни, как это видно из его многих очерков природы и из сравнения Италии с Швейцарией. "Итальянскими видами любуешься, -- говорит граф, оканчивая картину природы Италии,-- с чувством чего-то величественного, но земного, в них главную роль играют памятники древности, а природа -- второстепенную. Память представляет воображению действия людей мира древнего и ослабляет впечатление природы. В природе же Швейцарии, с ее мирными долинами, с горами, покрытыми вечным снегом, с морями льдов, с скалами, как бы упирающимися в небо, с низвергающимися в бездны потоками вод, с отвесными утесами, на вершинах которых, как бы под облаками, виднеются развалины мрачных, страшных средневековых рыцарских замков,-- природа преобладает; развалины замков, крепостей, рассыпанных по горам

Швейцарии, -- аксессуары, они теряются за красотами, за величием природы -- смотришь на них и забываешь все земное".

Перечитывая эти очерки, вспомнилось мне, как несколько лет тому назад, в июле месяце, спускались мы с Сен-Готарда. Ночь была ясная. Альпы, покрытые снегами, под лучами полного месяца сияли алмазами, отбрасывая резкие тени. Кругом скалы, пропасти, лес, водопады, река рвется через громады камней. С каждым шагом вниз виды меняются, то едешь краем пропасти, то под арками скал, там под ногами тихая долина и та же река мирно журчит по камушкам, и новая цепь гор открывается, на высоте алеет альпийская роза; еще шаг ниже -- селенье, группы кленов и тополей, что ниже, то природа пышней, роскошней; вот повеяло теплом, влагой -- и перед нами Лаго Маджиоре -- неподвижное, как зеркало, обрамленное восхитительными виллами, потонувшими в группах азалий, в розах, миртах -- в наших оранжерейных растениях. Что за утро зазолотилось над озером! Что за темно-синее небо! Что за упоительный воздух! Такие виды, такое утро наполняют сердце счастием, душу -- небом и любовью.

ГЛАВА 47

В АНГЛИИ

1861

1861 года, в первых числах августа1, поехала я в Англию с сыном моим Владимиром и товарищем моих детей, офицером генерального штаба Сергеем Михайловичем Мезенцевым. Мы выехали из Парижа утром в Булонь, а вечером вошли на английский пароход. Ночь была темная, небо покрыто облаками; свистел порывистый ветер, волновал море и колебал пароход. Матросы, готовясь к отплытию, торопливо

ходили по палубе; капитан отдавал приказания. Слышался язык только английский и изредка французские слова. Я спустилась в дамскую каюту, -- там прислуга делала приготовления, предвещавшие качку. Раздались слова команды, пароход шумно тронулся с места и под сильным ветром с проливным дождем пошел при жестокой боковой качке. В нашей каюте почти все заболели и разместились по койкам. Казалось, пароход то катится с горы, то взбирается на гору, ложится на один бок, на другой и снова летит в бездну. Я страшно страдала и дошла до галлюцинаций, -- мне ярко представлялось, будто я в Париже, в нашей диванной; на раскрытых окнах цветы, из-за них выглядывает неизвестное мне лицо, лицо это то вытягивается выше окна, то сжимается ниже цветов, тает, тает, вот, думаю, пропадет, а оно снова тянется кверху. Вижу детей, домашних, слышу их голоса -- вдруг страшный толчок, треск и все куда-то проваливается. Я в лихорадке раскрываю глаза -- тесная каюта, тускло светят свечи, свистит ветер, трещит пароход, крик команды, суетливый топот матросов, стоны больных. Я опять впадаю в горячечное забытье, и грезится мне родная сторона: вот они близкие, знакомые лица, а это шумит роща... Кто-то поет вдалеке... песня русская... Мне грустно, тяжелая плита давит грудь... Страшные страданья будят из волшебного мира -- и так вся ночь.

Рано утром я почувствовала себя свежее, несколько образумилась, осмотрелась, но приподняться не смела.

Качки как будто не было. Одни из находившихся в каюте еще лежали на койках, другие умывались и одевались. В дверь к нам тихонько постучали, спрашивая позволения войти. "Войдите", -- отвечали из каюты. Вошел мой сын. Он был еще бледен, но очень весел.

-- Что ты не встаешь, мама, -- сказал он, -- утро дивное, качки нет -- мы вошли в Темзу.

-- Думаю, -- отвечала я, -- мне не устоять на ногах, так я измучилась. Боюсь приподняться.

-- Полно, -- возразил он, -- это тебе со страха кажется. Ты здорова, слабость на воздухе сейчас пройдет.

Я попробовала спуститься на пол и к удивлению своему могла довольно твердо ходить.

Умывшись и одевшись, я пошла на палубу, но едва ступила на нее -- и остановилась вне себя от восторга. Мне открылось безграничное пространство воды, слившееся с голубым пространством неба, из глубины которого вдалеке поднималось солнце, рассыпая огненные лучи по лазури, неподвижной как зеркало. Слуга принес на палубу стол и стулья, накрыл его чистой скатертью и подал чай, лимоны, белый хлеб, красное вино. Свежий утренний воздух и горячий чай с вином совершенно восстановили мои силы.

Я придвинула стул к перилам, как очарованная смотрела на величественную картину и отыскивала взорами Англию. Спустя немного времени на горизонте вырезалась узенькая темная черточка. "Англия!" -- сказали мне, указывая на нее. Черточка мало-помалу превращалась в берега, в полувоздушные очертания коттеджей, в селенья с красивыми домиками, потонувшими в зелени, в церкви, группы деревьев, в ярко-зеленые луга... Живописные, большей частию однообразные пейзажи выступали одни за другими. Берега обеих сторон реки вырезывались ясней и ясней, сближались все теснее; суда встречались чаще; пароходы, точно ласточки, искрещивали реку во всех направлениях. Вот показался Гренвич, арсенал Вульвич, лес мачт, с флагами всех наций, сжатый в широком канале, и развернулся необъятный Лондон. Сквозь распростиравшийся над ним пар, как бы сквозь наброшенную дымку виднелись здания, перекинутые через реку мосты, доки, церкви, монументальные трубы фабрик. Вся эта поражающая смесь картин и ощущений волновала душу и подавляла громадностию, сравнительно с которой Париж представлялся в памяти блестящей игрушкой.

Пароход остановился у пристани, и мы вышли на берег Лондона. Это было воскресенье. Нас встретила тишина и малолюдство. Такая же тишина и малолюдство были и на улицах, по которым мы ехали до Реджент-стрит, где и остановились в одном из пансионов, рекомендованных нам еще в Париже. Мы заняли две просторные комнаты, комфортабельно убранные, с чистыми постелями. С. М. Мезенцев взял себе отдельную комнату. Сверх того, в общем распоряжении постояльцев находилась прекрасная гостиная с балконом на улицу. Устроившись у себя, я вышла на балкон. Какая-то влажная теплота и запах каменного угля охватили меня. Сквозь тонкий пар виднелось бледно-голубое небо, нежное, палевое солнце, широкая

улица, чуть не в полулицы тротуары и темного цвета дома. Темный колорит однообразно покрывает все предметы в Лондоне; это не тот мрачный цвет, который время набрасывает на здания древних и новых веков, а точно какая-то неосязаемая свинцовая пыль, которая ко всему прилипает, все проникает, от которой нет спасенья.

Молодой слуга, с приличными манерами образованного человека, накрыл в нашей комнате стол перед диваном скатертью блестящей белизны и поставил на него на большом серебряном подносе чайник с чаем, другой с кипятком, сливки, масло, душистый прозрачный мед, яйца всмятку, сыр, ломтики поджаренного свиного сала и белый хлеб.

Так как он хорошо говорил не только по-английски, но по-французски и по-немецки, то мы заинтересовались им и узнали от него, что он из Берлина, сын пастора, слушал лекции в университете, по особым обстоятельствам не мог окончить курса, терпел нужду и вздумал поискать счастия в Лондоне, где в ожидании лучшего доволен занимаемой им должностью.

Насколько был хорош завтрак, настолько обед неудовлетворителен, а может, мы находили его таким от непривычки к английским блюдам. Суп -- какая-то жидкость из пряностей -- палила рот. Полусырого окровавленного ростбифа я не могла проглотить куска и питалась больше картофелем и сыром. Иногда к этому menu прибавлялся тяжелый мучной пудинг. Все блюда подавались под жестяным колпаком, чтобы не простыли, и хозяйка, приподнимая колпак, бросала на всех восхищенную улыбку.

Саша и Ник жили тогда в Лондоне вместе. На другой день нашего приезда сын мой поехал к ним.

Его встретил находившийся у них в услужении старый гарибальдиец2, который объявил ему, что Саша с семейством переехал на дачу в Торквей, а Ник на охоте и возвратится не прежде двух или трех дней.

Мы решили эти три дня употребить на осмотр Лондона.

С гидом в руках мы вышли из дома, раздумывая, с чего начать путешествие.

Внимание наше обратили широкие, удобные тротуары, широкие улицы, политые чуть не до грязи. По улицам неслись блестящие экипажи, запряженные великолепными лошадьми. Кучера не кричали, слышался только топот лошадей и стук колес. На тротуарах не

толкались, не было ни крика, ни давки. Виднелось уважение к общественному спокойствию и к приличию.

Прочные железные решетки строгого стиля перед окнами нижних этажей отделяли пешеходов от домашнего очага. Нам сказали, что в нижних этажах находятся кухня, людские и хозяйственные принадлежности. Так как большая часть домов не имеет ни двора, ни ворот, то через окна нижнего этажа передается провизия и хозяйственные запасы. Много было домов двух- и трехэтажных с двумя и тремя окнами на улицу. Входная дверь выкрашена под дуб и на ней медная дощечка с именем хозяина дома или жильца. Архитектура домов лордов и людей богатых грандиозна, со множеством колонн, фронтонов, с гербами владельцев.

Мы взяли экипаж и поехали в Реджент-парк. Из Реджент-парка Лондон представляется бесконечным собранием городов, разделенных парками. Осмотревши в парке виллу и пасущееся стадо баранов, прошли, в зоологический сад, где видели редкие экземпляры животных.

В следующие дни мы посетили церковь св. Павла и Вестминстерское аббатство. Колоссальные размеры этого величественного памятника былого, тесно связанного с настоящим, его стрельчатые окна с цветными стеклами, местами полумрак и белые мраморные статуи великих людей в нишах производили сильное впечатление. В отделе поэтов остановились перед памятниками Шекспира, Мильтона; в капелле Генриха VII -- у гробницы малюток Ричарда и Эдуарда и Марии Стюарт3.

Из Вестминстерского аббатства мы перешли в парламент; оттуда в Британский музеум с колоссальным собранием древностей и мраморов. Видели небогатую картинную галерею, роскошные кабинеты естественных произведений и публичную библиотеку.

На четвертый день нашего пребывания в Лондоне, утром рано приехал к нам Ник. Мы обнялись в слезах,-- какие это были слезы -- радости или грусти -- бог их знает. Мы плакали. Ник только что возвратился с охоты и, узнавши, что мы в Лондоне, не отдохнувши, поспешил видеться с нами. Он сказал нам, что Саша в Торквее, нездоров и, вероятно, приехать в Лондон не может, а будет звать нас к себе, и хотел тотчас писать ему о нашем приезде в Англию. Уходя, Ник пригласил нас к себе вечером.

Как только стемнело, мы с Володей отправились к Нику. Нас встретил у экипажа гарибальдиец с приветливой улыбкой старого приятеля. Помогая мне выйти из коляски, он восторженно говорил:

-- Allons! la voilà! c'est la chère cousine! que je la connais, que je la connais! Et nous vous attendions, comme nous vous attendions! {Приехали! Вот так! Это дорогая кузина! А я ее знаю, а я ее знаю! А мы вас ожидали, как мы вас ожидали! *(франц.).*}

Бережно поддерживая, он ввел меня на невысокое крыльцо. В передней нас встретил Ник. Мы вошли в гостиную, освещенную лампами. Это была довольно большая, продолговатая комната в три окна, с которых спускались до пола тяжелые занавесы. Хорошая мебель была расставлена в артистическом беспорядке. Налево вела дверь в кабинет Саши. Ник предложил нам посмотреть его. Я вошла в кабинет с безотчетно грустным чувством. Кабинет освещала одна лампа. Он был просторен и прост, сколько помнится, в два окна с одной стороны и в два -- с другой, с опущенными на них занавесами. Почти посреди комнаты, ближе к двери, стоял большой письменный стол, на нем лежало много бумаг, книги и листки газеты, издаваемой Сашей и Ником. У стены диван, несколько кресел, кресло перед письменным столом, шкаф с книгами -- и никаких украшений. Ник обратил наше внимание на висевшую на стене, около двери, большую картину, писанную масляными красками, содержания, видимо, аллегорического, напомнившего мне "Die Glocke" {"Колокол" *(нем.).*} Шиллера4. Ник объяснил идею картины, она была многосложна, и сказал, что ее прислали Саше из России. В этом кабинете в памяти моей оживал другой кабинет, -- маленькая комнатка в Москве, -- учебный приют наших ранних лет; днем освещает его полуденное солнце, вечером в единственное окно тихо светит звездочка, ее заменяет муромская сальная свеча -- покупки Шкуна. Муромские сальные свечи освещают и длинную анфиладу комнат, открывающуюся из растворенных дверей маленького кабинета; раскинутый ломберный стол перед турецким диваном играет роль письменного стола; над диваном два гравированные портрета: Байрон и Пушкин; у окна -- лимонного цвета столик, изрезанный перочинным ножичком, точно гиероглифами; шкаф с книгами; два плетеные стула и электрическая машина -- любимая забава отрока с раскинутым

воротником рубашки-- и передо мной на чужбине оживает ряд лиц и картин "из дальних лет".

Кроме нас, Ник пригласил к себе на вечер несколько близких им людей. Мало-помалу посетители собрались, большей частью тем или другим образом участники литературной деятельности Саши. Ник всех представлял мне, -- все имели обо мне понятие и отнеслись к нам чрезвычайно симпатично. Мне как-то странно казалось видеть себя в этом кругу, где, не видавши меня никогда, меня уже знали и желали видеть, а между тем общего между нами почти ничего не было.

Я стеснялась, и только присмотревшись ко всему, сделалась несколько свободнее и стала принимать участие в общем разговоре. Иногда ко мне обращались с расспросами о детстве и юности Саши, большей же частью разговор касался предметов мне малоизвестных и чуждых.

Ник, как и в прежнее время, тихий, скромный оставался больше в стороне, слушал, молчал и задумывался. В стороне от гостиной находилась столовая, Ник пригласил всех туда, сам разливал чай, угощал десертом и в первом часу ужином со множеством дорогих вин. Предметы разговоров были до крайности разнообразны и живы, а после ужина перешли в задушевные. Мы уехали почти на рассвете.

Некоторые из бывших у Ника просили позволения на следующий день быть у нас вечером, так как днем мы хотели еще посмотреть Лондон. Двое из самых близких Саше предложили сопровождать нас. Мы приняли с благодарностию. Осматривая магазины, мы останавливались в изумлении перед грудами великолепных тканей, фарфора, хрусталя, бронзы, серебра, драгоценных камней. Богатство, роскошь, вкус поражали и даже подавляли воображение.

В лавках с съестными припасами меня удивляло страшное количество и разнообразие сортов кругов сыра чудовищной величины. Лавки ими были завалены. Смотря на изобилие во всем, на роскошь, невольно думалось, отчего бы быть дороговизне в Лондоне? а между тем жизнь в Лондоне чрезвычайно дорога.

При выходе из магазина стальных вещей мне показалось, что что-то вроде стены загородило свет. Против дверей стоял князь Голицын и так радостно смотрел на нас, как будто увидал старых друзей; он тотчас отрекомендовался нам, называя меня корчевской кузиной,

другом детских лет Александра, и вместе с нами двинулся на дальнейший обзор Лондона5.

Вечером все бывшие у Ника пили у нас чай. Человека два, три из них до того сошлись с нами, что рассказали не только настоящую жизнь свою, но и прошедшую, свои надежды, радости, свое горе, и до того расположились к нам, что пожелали проводить нас на пароход в день отъезда нашего из Лондона.

Ник привез мне письмо от Саши; он писал, что нездоров, звал к себе в Торквей, говорил, что ждет нетерпеливо.

Утром Ник проводил меня на железную дорогу (Володя с Сергеем Михайловичем остались в Лондоне), усадил покойно в вагон и поручил ехавшим вместе со мною какой-то даме и ее мужу.

Поезд шел чрезвычайно быстро. Замелькали миловидные селения, улыбающиеся луга и рощи. Чем ближе к Торквею, тем местность гористей. Железная дорога пошла берегом моря, у самой воды, прерываемая туннелями.

Едва поезд выбежит из туннеля, с левой стороны сверкнет море, позлащенное лучами солнца, с правой -- живописный ландшафт, как снова скрывается в туннель, и снова выбегает к морю, -- и так туннель да море чуть не до Торквея.

ТОРКВЕЙ И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ

Внутри северного мыса небольшой, глубокой бухты Торбэ, обрамленной горами, две глубокие долины обнимают городок Торквей6. Округлые холмы, покрытые изумрудной муравою, богатые поля и пажити, по которым пасется скот по колено в траве, отвесно спускаются к морю. В нескольких шагах от утесистой набережной зеленеют парки и фруктовые сады; ряды высоких вязов, склоняя ветви к водяной окраине, разделяют их вроде изгороди; тишина воздуха нарушается только морскими приливами. Волны, проникнутые солнечным светом, орошают алмазными брызгами всю растительность, которая едва знает, что такое снег и морозы, и цветы осени встречаются с цветами весны.

Мягкий воздух, почва, вода привлекают в Торквей все больше и больше жителей, и, вероятно, в непродолжительном времени этот городок охватит все окрестные селения, -- и теперь уже новые здания мешаются с старинным Торквейским аббатством, основанным в 1196 году. А давно ли на месте, где теперь цветущий город, было только несколько рыбачьих хижин, с неустроенной пристанью, к которой причаливали рыбаки и вытаскивали на берег свои лодки. Еще есть в живых люди, которые помнят те времена.

По другой стороне Торбэ белеют дома Бриксгама и виднеется замок сэра Гемфри, адмирала времен Елисаветы.

В полумиле от Торквея к северу местечко Ков почти сливается с местечком Крессент, а над ними простирается долина Доддэ-з-Холл, обвивая плющом ближайшие утесы.

Противоположно Кову, среди лесистой местности, деревня Баббикомб окружает берег другой прелестной бухты, соединяясь с Торквеем перешейком. Мирты, алоэ, лимоны, фуксии, олеандры и другие экзотические растения цветут, не заботясь ни об уходе, ни о защите от непогоды, и свежий плющ вьется над увядающей розой.

Роскошь цветов и леса раскидывается до окраин океана, между ними виднеются сельские домики и местами сквозят серые скалы.

Разнообразие видов характеризуется оттенками листвы. Местами она как бы исчезает -- открывается море и снова скрывается за листвой.

По мере приближения к Долишу утесы серого цвета сменяются алыми и принимают самые причудливые формы. Долиш расположен в центре двух долин; от него во все стороны до самого моря рассыпаются прелестные виллы. Пологий песчаный морской берег делает это место чрезвычайно удобным для купанья.

Один из медиков Девоншира написал поэтическое послание к Долишу.

"Долиш!-- говорит он. -- Твоим чистым, нежно объемлющим волнам я буду вверять и робкую деву и больную мать с слабым ребенком, ты возродишь их в жизнь новую -- здоровую и счастливую".

Внутри Торбэ, на южном мысу его, расположен Брикетам, укрытый от юго-западных морских ветров местечком Беррэ-Хед. Брикетам считается одним из важных рыболовных мест Англии. По прибытий судов с удачным ловом открывается аукцион на рыбу;

купленная рыба тотчас укладывается и отправляется во внутренние рынки местными агентами.

Из Беррэ-Хед взор далеко обнимает широкое, голубое пространство вод, и корабли, покойно стоящие у его глубоких, утесистых берегов, защищены от яростных бурь Атлантического океана. Беррэ-Хед видел и слышал, как Наполеон, стоя на шканцах "Беллерофона", воскликнул, окидывая взором Торбэ: "Какая прекрасная страна! как она похожа на Порто-Феррайо!"

Саша ожидал меня на станции железной дороги, и мы вместе поехали к нему на дачу. Расстояние было небольшое. У крыльца нас встретили две дочери Александра: Наташа и Оленька, в комнатах Наталья Алексеевна -- жена Ника с двухлетней дочерью Лизой. Мы поднялись на лестницу в приготовленную мне комнату,-- там во всем заметна была дружеская заботливость. Пока я умывалась и переменяла платье, Александр несколько раз осведомлялся у двери, можно ли войти. Войдя, он обнял меня и сказал: "Ну вот, наконец ты у меня, я рад сердечно, благодарю, что приехала,-- будь же как у себя". Мы вдруг почувствовали, что стали друг к другу ближе, какая-то свежесть, какая-то радость охватила нас, и, бог знает, из какой-то дали прихлынула юность, -- все озарила, на всем и на всех отразилась. Мы с жаром вспоминали былое, говорили, перебивая друг друга, торопились высказываться, -- я забывала усталость. Затем Саша предложил осмотреть его жилище. "А завтра, -- добавил он, -- я покажу тебе здешние прелестные места". Мы пошли осматривать его помещение. Из коридора против двери в мою комнату была дверь в довольно просторную комнату Александра. В конце коридора-- комната Наташи и Оленьки; все самое простое. Из окон их комнаты виднелось море, оно было так близко, что они купались в нем в день раза по два. Эта близость моря и низкий песчаный берег, удобный для купанья, заставляют меня предполагать, что дача Саши находилась в окружности Долиша.

В нижнем этаже расположение комнат было такое же, как и наверху. Прямо из коридора небольшая комната, в которой стоял рояль Наташи. Налево кабинет Александра, в нем посредине большой письменный стол, заваленный бумагами и книгами, диван, небольшое кресло и, кажется, шкаф или этажерка. Противоположная дверь вела в гостиную, она же была и столовой: посреди стоял продолговатый

обеденный стол. Стеклянная дверь отворялась в сад, с ярко-зеленой лужайкой перед домом. Дальше кусты мирт, олеандров и других нежных растений. Вокруг род аллеи из молодых деревьев. Вдали море. Мне сказали, что здесь растения теплого климата зимуют не укрытые и зима бывает едва заметна, так как вода в море, беспрестанно притекая к берегам Африки, возвращается оттуда согретою, что и поддерживает в этой местности ровную, теплую температуру.

Вечер был тихий, прекрасный. В открытую дверь в сад светил полный месяц и доносился запах цветов. Мы помещались кругом стола. В верхнем конце сидел Саша, с правой руки от него -- я, слева -- Наташа и так далее. Малютка Лиза уже спала. Засветили лампу и подали кипящий русский самовар, -- с принадлежностями по-английски, между которыми находился бурачок зернистой икры. Наталья Алексеевна разливала чай. "Видишь,-- сказал Саша, обращаясь ко мне, -- мы живем совсем по-русски, говорим и едим по-русски, каждый день получаем письма из России -- даже и излишние". Говоря это, он взял лежавшие подле него на столе только что поданные ему письма, пробежал их глазами, передал мне довольно интересное содержание одного из этих писем, жалуясь, что часто получает неверные сведения, и добавил: "Что за недобросовестность! и зачем!"

Угощая меня икрой, он сказал: "Икра у меня не переводится, -- друзья, зная, что я икру люблю, постоянно доставляют мне ее из России".

Задушевная беседа, большею частию о России, продолжалась за полночь. Саша с жаром говорил о своей любви к родной стороне, о своем страстном влечении к ней. "Хотелось бы взглянуть еще на ее поля, на ее рощи, подышать родным воздухом", -- говорил он.

Мы разошлись поздно. Наташа проводила меня в мою комнату, сама раскрыла мне постель; когда я легла, она поместилась у меня в ногах на кровати, и я еще несколько времени поговорила с этой милой, исполненной благородства шестнадцатилетней девушкой.

Саша умел ценить нравственные достоинства Наташи и смотрел на нее, как на друга, способного понимать его.

Оленька большей частию жила розно с семейством. Находили, что для нее климат Англии вреден, поэтому она оставалась с своей гувернанткой то во Франции, то в Италии.

Двадцатилетний сын Саши -- Александр в это время слушал лекции в Бернском университете и жил в доме профессора Фогта -- отца известного натуралиста Карла Фогта.

Проснувшись рано утром, я едва верила сама себе, что нахожусь в Девоншире и у Саши. Накинувши на себя блузу, я прошла в комнату детей; они были уже вставши и приготовленной водою подавали одна другой умываться, -- дали умыться и мне. Наташа помогла Оленьке одеться, причесала ей волосы и предложила мне идти с нею купаться в море, указывая из окна, как это близко, -- и. у песчаного берега совсем мелко. Я отказалась и осталась с Оленькою, которая занялась уборкой вещей и постели. Горничной я не видала в глаза. Все, что только возможно, они делали сами.

Саша рано утром уезжал в город, где отправил Нику в Лондон бумаги и письмо, взял полученные на его имя журналы и возвратился на дачу, когда мы уже отпили чай; дети сидели на лужайке против двери и играли с маленькою Лизой, валявшейся по траве, а мы с Натальей Алексеевной ходили по аллее и говорили о многом; но самый близкий для нее предмет был обойден, хотя, по-видимому, она и желала поделиться им со мною7. Я поняла это впоследствии, но в то время, не зная ничего,-- не догадывалась и смотрела на все так, как этого желали.

Кроме писем и журналов, Саша привез Лизе игрушку -- кудрявую собачку. Так артистически сделанных игрушек, как в Лондоне, я нигде не видала. При виде этих изящных игрушек мне вспомнились игрушки моего детства, каменная утка, похожая на козла, и вообще зверки и птицы, походившие на неведомых животных; а привезенная Сашей собака чуть не лаяла. Он издали показал ее Лизе, и ребенок, смотря на нее, пришел, по-видимому, в такой же восторг, какой производили во мне каменная утка со свистулькой и змей трудов Володьки.

После завтрака Саша пригласил меня в свой кабинет пить кофе. Там он прочитал мне несколько статей, приготовленных для его периодического издания, и довольно обширную философскую статью -- для отправки в Россию8.

Затем разговор, переходя от предмета к предмету, коснулся предполагаемого мною издания для отроческого возраста, программа которого была одобрена Грановским, а по приезде нашем в чужие края послана была и Саше.

-- План вашего издания широк, -- сказал Саша, -- программе вашей я сочувствую вполне. Это систематическая, живописная энциклопедия, целое мировоззрение; но есть ли у вас сотрудники, подобные Даламбертам и Дидеротам?

-- Мы так высоко не заносимся, Саша, -- отвечала я. -- Зачем такие великие имена! готового материала роскошь, надобно уметь только воспользоваться им соответственно плану издания. При этом два-три участника специалиста по входящим в программу предметам наук -- и достаточно.

-- Я от всей души желаю обширного успеха твоему изданию и готов, сколько будет возможно мне, в нем участвовать. Если выдержишь обещаемое в программе, это будет *полное здание*, выражающее одну мысль9.

Затем разговор перешел к главной цели нашей поездки в Англию. Кроме интереса, возбуждаемого самой страною, мне надобно было видеться с Александром по нашему личному делу.

Вскоре после нашего выезда за границу брат Василий Васильевич Пассек, заведовавший нашим имением в Малороссии вместе со своим, -- помешался. Помешательство его развивалось постепенно, жил он вдалеке от родных, в своей деревне, окруженный только прислугой, которая не замечала его положения, а может, и замечала, но находила выгоднее об этом молчать. В начале помешательства он продал шерсть своих и наших овец, ягнят, сено, пшеницу и прочий хлеб и получил значительные деньги. Когда же родные узнали о его болезненном -состоянии, то приняли в нем участие, но не нашли у него в доме ни денег, ни бывших у него ценных вещей.

Вместо ожидаемых денег мы получили письмо, в котором все это нам сообщали и советовали ехать в деревню, чтобы не допустить имение до полного упадка, тем более что наше дело сошлось с освобождением крестьян. Не получивши из имения денег, мы не имели возможности и выехать. Видя в этом необходимость, я написала Саше и просила его дать нам взаймы до весны семьсот рублей серебром. Он отвечал, что желал бы повидаться со мною и если мне можно, то приехала бы в Лондон.

Переходя в разговоре к главной цели моего приезда в Англию, Саша сказал:

-- Ты писала мне, что имеешь надобность в семистах рублях; по какому это случаю? и скоро ли надобно? Не подумай, что я отказываюсь, -- но желал бы знать, что такое случилось.

Я рассказала ему о помешательстве брата. Он также нашел, что ехать нам в Россию следует, и, не выходя из кабинета, дал мне записку на дом Ротшильда в Париже на получение семисот рублей. При этом сказал: "Ты писала, что уплатишь мне весной, -- этого ненадобно; сто рублей прошу тебя дать из них Вере Артамоновне, а остальные могут идти в уплату нашего тебе долга10. Ведь мы еще не сочлись за уступленную тобою твою часть в Васильевском, ради нашей пользы, втрое ниже стоимости. Остальное до свиданья -- в России".

Я молча вздохнула.

-- Что ж ты грустна?

-- Бог знает, увидимся ли? Благодарю, Саша, я была уверена, что не откажешь. Зачем же ты звал меня в Лондон -- и даже дальше?

-- А ты сожалеешь?

-- Нет. Я так спросила.

После обеда Саша поехал со мной и детьми показать мне некоторые красивые окрестности и свое избранное место. Это была глубокая зеленая долина, местами поросшая кустарником и деревьями, с которой виднелось море. Оставивши коляску в тени, мы пошли к берегу и остановились на самой высокой окраине. Под ногами у нас громоздились скалы над скалами, а перед нами синел Атлантический океан. Из-под горизонта выплывал корабль. Вечер был восхитительный.

-- Помнишь ли ты, -- сказал Саша, -- Васильевское, голубую ленту Москвы-реки, ее живописные берега, тихие, ясные сумерки, и как находишь этот вид?

-- Те виды сжились с моей душой, там я чувствую себя у себя; эта величественная картина прекрасна, но она почти угнетает меня, -- отвечала я.

Опершись на обломленное дерево, Саша, задумавшись, смотрел на океан. Выражение лица его было печально.

Вблизи меня сидела Наташа. Оленька резвилась у какого-то развесистого дерева и громко смеялась,

Мы возвратились домой поздно.

Я пробыла у Александра четыре дня. Рано утром он сам отвез меня на вокзал железной дороги. У вокзала к нам подошел какой-то пожилой человек. Саша отрекомендовал меня ему. "А, так вот она, кузина корчевская", -- сказал он по-английски и широкой рукой крепко пожал мне руку. Мальчик предложил нам купить виды Торквея и его окрестностей, -- Саша купил и отдал их мне, говоря: "Вот тебе на память обо мне". Виды Торквея я сохраняю, они напоминают мне его. Это было наше последнее свиданье.

Обнявши меня, Александр сказал сквозь слезы: "Прощай, увидимся ли еще! половина жизни прошла в боли и борьбе, вторая вряд ли будет радостней. Поймет ли, оценит ли грядущее поколение всю трагическую сторону нашего существования; между тем как наше страдание -- зерно, из которого разовьется их счастие. Поймут ли, отчего в минуты восторга не забывали мы тоски? вера в будущее спасает нас от отчаяния, а любовь влечет выразиться благими делами. Пусть же они остановятся с мыслью и грустью перед теми камнями, под которыми мы уснем. Мы заслужили их грусть!"11

ПРИМЕЧАНИЯ

Глава 26

QUAL CUOR TBADISTI

1 Слова из заключительной арии Нормы в одноименной опере Беллини (1831). В "Былом и думах" Герцен закончил ими рассказ о своем вятском романе с П. П. Медведевой (Г, т. VIII, стр. 350), отсюда и заимствовала их Пассек.

2 Весь текст от начала этого абзаца и до слов "...разучившие писать удобочитаемо" Пассек взяла из повести "О себе" (см. ЛН, т. 63, стр. 36--38).

3 Первую золотую медаль получил А. Н. Драшусов, впоследствии видный астроном; первую серебряную -- Н. М. Сатин. Герцен получил вторую серебряную медаль. О своем разочаровании в связи с этим он писал 5 июля 1833 г. Огареву и на следующий день-- Н. А. Захарьиной (Г, т. XXI, стр. 18),

4 Точное заглавие кандидатского сочинения Герцена -- "Аналитическое изложение солнечной системы Коперника" (Г, т. I, стр. 36--51).

5 *"Испанские башмаки"* -- одно из наиболее распространенных в средневековой Европе орудий пытки. Это образное определение университетской науки Герцен заимствовал из первой части "Фауста" Гете: в сцене 4-й "Кабинет Фауста" Мефистофель говорит: "Там как следует вымуштруют ваш дух, зашнуруют его в испанские башмаки".

6 От начала этого абзаца и до слов "...как и чувств моих" Пассек использовала повесть "О себе"; в первых четырех абзацах текст Герцена был ею, очевидно, несколько переделан (см. ЛН, т. 63, стр. 39--42). Марией Герцен называет здесь Людмилу Пассек (об увлечении ею было рассказано в главе 24 первого тома "Из дальних лет").

7 О своей детской влюбленности в Машеньку Наумову Огарев рассказал в "Моей исповеди" (ЛН, т. 61, стр. 696--700) и в третьей главе "Записок русского помещика" (см. наст, том, стр. 613--615).

8 Неточная цитата из главы 8 поэмы Огарева "Зимний путь" (1855).

9 О "Путевых записках Вадима *" см. в первом томе наст. изд., прим. 11 к главе 24.

10 Роман Жана Альфонса Карра "Sous les tilleules" вышел в свет во Франции в 1832 г. Был ли напечатан его перевод, выполненный Пассек, установить не удалось.

11 *"Дети аббатства"* (1797)--сентиментально-нравоучительный роман английской писательницы Марии Регины Рош (Roche).

12 "Гадательный, древний и новый всегдашний оракул, найденный по смерти стошестилетнего старика Мартына Задеки" был напечатан в 1800 г. и затем неоднократно переиздавался. Пушкин упомянул его в "Евгении Онегине" (глава пятая, строфа 22).

13 "Людмила", написанная Жуковским по мотивам баллады немецкого поэта Бюргера "Ленора", появилась в 1808 г. и быстро приобрела широкую известность.

14 Из стихотворения Батюшкова "Разлука" (1812--1813), ставшего распространенной народной песней.

15 В РС (1874, No 3, стр. 562--563) было напечатано только одно письмо Ермолова к А. И. Кучину, от 17 февраля 1843 г.

16 Эти рассказы Пассек привела в главе 1 своих воспоминаний.

17 В ИРЛИ хранится письмо Людмилы Пассек к Герцену (единственное, сохранившееся от их переписки), которое близко по содержанию к этой записке Герцена. Его опубликовал Лемке (ГЛ, т. I, стр. 130--131).

18 В последних двух абзацах Пассек частью цитирует, частью свободно излагает текст "Былого и дум" (Г, т. VIII, стр. 330 и 332).

19 См. прим. 1 к наст. главе.

20 Неточная цитата из 21 главы "Былого и дум" (Г, т. VIII, стр. 333), где Герцен говорит о своих отношениях к Н. А. Захарьиной. В РС Пассек обозначила ее тремя звездочками, а в отдельном издании заменила звездочки инициалом Р., под которым Герцен подразумевал Медведеву. Исправляем эту ошибку по РС.

21 И. И. Лажечников был директором тверской гимназии и народных училищ "с 1831 по 1837 г. Его первый исторический роман "Последний Новик" (1831--1833) принес автору известность, которая упрочилась после выхода в свет в 1835 г. второго и наиболее значительного его романа "Ледяной дом".

22 *"Добродушный чудак"* -- тайный советник Щурков, выведенный в "Ледяном доме" (часть II,

глава 5).

23 Начало абзаца восходит к тексту "Былого и дум" (Г, т. VIII, стр. 151); его окончание от слов "Можно встретить старика..." Пассек составила на основе "Капризов и раздумья" (Г, т. II, стр. 83--84).

Глава 27

АРЕСТ И СИМПАТИЯ

1 Эпиграф из стихотворения Е. П. Ростопчиной "Где мне хорошо" (1838).

2 Граф А. Н. Панин, дальний родственник Пассеков, был помощником попечителя Харьковского учебного округа с 1833 по 1838 г.

3 Излагая здесь кратко текст "Былого и дум" (Г, т. VIII, стр. 203--204), Пассек повторяет ошибку Герцена в дате ареста. 24 июня состоялась пирушка у Е. П. Машковцева по случаю окончания университета; вторая пирушка, спровоцированная полицейским агентом, состоялась 8 июля, когда все присутствовавшие на ней и были арестованы. Огарева арестовали 9 июля. Сатина в это время не было в Москве, и его арестовали позднее.

4 О пожарах в Москве летом 1834 г. рассказано в "Былом и думах" (Г, т. VIII, стр. 190--194).

5 Рассказ о празднике на Ходынском поле и о прогулке по Ваганьковскому кладбищу Пассек заимствовала из повести "О себе" (см. ЛН, т. 63, стр. 42--44). Здесь, как и позднее в "Былом и думах", Герцен неточно назвал дату прогулки: она состоялась 20 июля.

6 По церковной легенде, апостол Павел, проповедовавший христианское учение, был осужден по приказанию Нерона и обезглавлен в Риме около 65 г. н. э.

7 Дата ареста также неточна: нужно -- в ночь на 21 июля. В рассказе об аресте Пассек держится довольно близко к тексту "Былого и дум" (Г, т. VIII, стр. 180--181).

8 О судьбе ранних писем Герцена к Т. П. Кучиной см. Г, т. XXI, стр. 440.

9 Перифраз двустишия из поэмы Огарева "Юмор": "Из дальних стран, из жизни дальней, // Из дальней жизни ранних снов". Вариант этих стихов Пассек использовала как заглавие при печатании первых глав своих воспоминаний в РС 1872--1873 гг.: "Из ранних лет, из жизни дальней".

10 Сцена из допроса на следственной комиссии восходит, вероятно, к устным рассказам Герцена после его возвращения из ссылки. В следственных материалах, которых Пассек знать не могла, эта часть допроса 23 августа, связанная с конфискованным письмом Герцена к Огареву от 19 июня 1833 г., изложена так:

"<...> поясните весь смысл письма вашего, и кого вы называете Вадимом <...>, где проживает лицо, называемое Вадимом, не находится ли в службе, каких лет и какой имеет образ мыслей?"

Ответ: "Вадим Васильевич Пассек, титулярный советник и ныне служащий при императорском Харьковском университете, лет 26, человек весьма образованный, преимущественно занимающийся отечественною историею и издатель книги ("Путевые записки", 1834), Мы с ним были весьма дружны и желали, как сказано, посвятить свою жизнь наукам; впоследствии он часто отлучался из Москвы, и около года наше короткое знакомство с ним расстроилось" (Г, т. XXI, стр. 422).

О Пассеке далее говорится: "Дружественною связию с Огаревым и Герценом навлекает на себя сомнение в рассуждении одинакового с ними образа мыслей; но без собственного его объяснения и других ясных улик нельзя еще его признать прямо прикосновенным к настоящему делу". Тут же приведено мнение председателя комиссии кн. Голицына: "Подвергнуть секретному наблюдению в том месте, где откроется его пребывание, не лишая права заниматься службою, и ежели он по верным сведениям окажется неподозрительным, то устранить и самый надзор за ним" (там же, стр. 590--591).

11 См. в первом томе наст. изд. прим. 2 к главе 23.

12 Текст от слов: "Часов в восемь..." до "...20 мая вечером" извлечен Пассек из повести "О себе", а предваряющая его глухая ссылка на заметки, найденные между дневником, была введена для маскировки герценовского текста (см. ЛН, т. 63, стр. 44--47).

13 Речь идет о законоучителе В. В. Боголепове. Воспоминания Герцена о нем приведены в главе 14 "Дружба" (первый том наст. изд.,

стр. 260--261).

14 Н. А. Захарьина вместе с Луизой Ивановной посетила Герцена в Крутицких казармах накануне его отправления в ссылку, 9 апреля 1835 г. Этот день, ставший одним из счастливейших в их жизни, оба они многократно вспоминали в своей переписке (см. также в "Былом и думах" -- Г, т. VIII, стр. 329--330).

15 *Терентьич* -- старый солдат Филимонов, приставленный к Герцену во время его заключения в Крутицких казармах. О нем более подробно рассказано в "Былом и думах" (Г, т. VIII, стр. 197--201).

16 В отдельном издании Пассек произвольно заменила это латинское изречение строкой из Данте, которую она взяла из следующего далее герценовского отрывка. Изъятый же текст она поставила в качестве эпиграфа к соседней главе "Вятка", Источник изречения установить не удалось, Ошибочное написание первого слова (Potento) исправляем на наиболее вероятное: Potentia.

17 Из русской песни "Тройка" на слова Ф. Н. Глинки.

18 В этой шутке Герцен имеет в виду приблизительное соотношение кислорода и азота в земной атмосфере.

19 *Болонский камень* -- минерал, названный по имени г. Болоньи, где он был впервые найден. Еще в XVII в. было обнаружено его свойство слабо светиться в темноте, после того как он был выставлен на солнце.

20 Соседом Герцена по заключению был его университетский товарищ И. А. Оболенский.

21 Текст, взятый в кавычки, -- несколько сокращенное начало письма Герцена к Н. А. Захарьиной, написанного утром 10 апреля, перед самым выездом из Москвы (Г, т. XXI, стр. 39). Работая в 1838 г. во Владимире над повестью "О себе", Герцен перечитывал свою переписку с невестой.

22 В генерал-губернаторский дом на Тверской ул. (ныне здание Моссовета на ул. Горького). Университетский товарищ Герцена А. К. Лахтин, не будучи арестован, был осужден по тому же делу на ссылку в Саратовскую губернию.

23 Первым губернским городом на пути Герцена был Владимир.

24 Огарев, высланный в Пензенскую губернию под надзор отца, был отправлен из Москвы на день раньше Герцена.

25 Первые два стиха из песни третьей "Ада" -- ими начинается надпись на вратах, ведущих в ад.

26 Медведь с евангелием и крестом -- фигура на гербе Перми. О встрече с партией арестантов Герцен рассказал в письме к Н. А. Захарьиной от 6--12 июня 1835 г. (Г, т. XXI, стр. 42).

27 Герцен пробыл в Перми немногим более двух недель -- с 28 апреля до 13 мая 1835 г., когда он выехал на новое место ссылки -- в Вятку.

28 В. Пассек был причислен к статистическому комитету министерства внутренних дел в 1836 г. и считался откомандированным в Харьковскую губернию. Выполненные им работы -- статистическое описание Харьковской губернии и описание городов этой же губернии -- были напечатаны в издании: "Материалы для статистики Российской империи", т. I, отд. II и III., СПб. 1839. Первая часть "Очерков России" была издана Пассеком в 1838 г.

29 Этот эпизод Пассек взяла из воспоминаний Астраковой (см. главу 30).

30 Под заглавием "Мартиролог святой Феодоры" Пассек напечатала (со значительными сокращениями) повесть Герцена "Легенда", написанную им в Крутицких казармах в 1835 г, Ссылка на то, что она записала ее по памяти еще в 1840-х годах, должна была служить для отвода глаз цензуры. В действительности она взяла ее из так называемой "Записной тетради 1836 года", которая была куплена Е. С. Некрасовой в 1872 г. В конце того же года эта тетрадь оказалась (через Семевского) в распоряжении Пассек. В настоящее время тетрадь хранится в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина (см. ЛН, т. 63, стр. 618--620). Источником для написания повести послужили Герцену Четьи-Минеи, в которых жизнеописание святой Феодоры дано под 11 сентября. В аллегорической форме христианской легенды Герцен пытался раскрыть высокий смысл жизни во имя идеи. В 1836 г. он собирался переделать повесть, но не выполнил этого намерения, потому что замысел и художественная форма ее не соответствовали уже новой фазе идейного развития Герцена и его литературным взглядам (см. Г, т. I, стр. 490--491; там же на стр. 81--106 полный текст "Легенды").

31 *Неоплатонизм* -- мистическая философия, возникшая в период распада античного общества. Видными представителями ее были

Плотин, Прокл, Аполлоний Тианский, Одним из центров развития неоплатонизма была Александрия. Грандиозный храм, посвященный богу Серапису, был построен в III в. до н. э. В 391 г. этот крупный центр язычества был разрушен христианской церковью.

32 *Арианизм* -- течение внутри христианства, возникшее в IV в. и после долгой борьбы осужденное господствующей церковью, которая признала его еретическим.

Глава 28

ВЯТКА

1 Эпиграф взят из повести "О себе" (см. прим. 16 к предыдущей главе,

2 Письма Герцена к отцу и матери остаются неизвестными. Переписка его с Н. А. Захарьиной, продолжавшаяся до мая 1838 г., была полностью опубликована в Собр. соч. Герцена, изд. Павленкова, СПб. 1907, т. VII. Все письма Герцена к невесте вошли в т. XXI, изд. АН СССР, ответные письма широко цитируются в примечаниях этого тома.

3 Начальные три фразы этою абзаца в известной мере совпадают с текстом "Былого и дум" (Г, т. VIII, стр. 344 и 346). Остальная его часть, не имеющая аналогий в "Былом и думах", возможно, заимствована из главы "Вятка" повести "О себе".

Молоденькая немка -- Полина Тромпетер, родственница жены вятского аптекаря. О дружбе с нею Герцен говорит ниже, в этой же главе (ср. в "Былом и думах" -- Г, т. VIII, стр. 346--348).

4 Рассказ о встрече с Витбергом и беседах с ним, а также о дружбе с Полиной (до слов "...и она ее, незнаемую -- любила"), Пассек заимствовала из "брошенных листков", а именно, из очерка "Симпатия", над которым Герцен работал с июля 1837 по январь 1838 г. Некоторые части текста Пассек отмечает кавычками -- это, очевидно, выписки из герценовского рассказа; между ними вставлены абзацы, в которых Пассек, вероятно, своими словами кратко излагала содержание опускаемых частей текста (см. ЛН, т. 63, стр. 47--54). 23 ноября -- день именин Герцена. В этот день, на вечере, устроенном в его честь, он и познакомился с Витбергом, который прибыл в Вятку 26 октября 1835 г.

5 Имеется в виду борьба за независимость Греции, начавшаяся в 1821 г. восстанием против турецкого владычества и закончившаяся в 1830 г. провозглашением Греции независимым государством.

6 Из "Посвящения" к "Фаусту" Гете.

7 *"Das Mädchen aus der Fremde"* -- романс Шуберта (1815) на слова одноименного стихотворения Шиллера. *"Фенелла"* -- измененное по требованию цензуры при постановке в России название оперы Д. Обера "Немая из Портичи" (1828), написанной по либретто Э. Скриба и К. Делавиня. *Баркаролла* -- ария Мазаньелло из 2-го акта или ария Пьетро из 5-го акта этой оперы. *"Фра-Дьяволо, или Гостиница в Террачине"* -- опера того же композитора по либретто Скриба. *Молитва* -- заключительная часть арии Церлины из 2-го акта.

8 О письмах Герцена к Витбергу см. ниже вводное примечание к главе 32.

9 О состоявшемся переводе во Владимир Герцен узнал 28 ноября 1837 г. 29 декабря он выехал из Вятки, провожаемый до станции Вахты друзьями, и 1 января 1838 г. прибыл в Нижний-Новгород.

10 Это первое письмо Герцена после отъезда из Вятки, датированное 1 января 1838 г., адресовано его вятским друзьям -- А. Л., А. В., В. А. Витбергам, П. П. Медведевой, Полине Тромпетер и ее жениху А. Е. Скворцову. В конце письма Герцен вспоминает Н. А. Захарьину.

Глава 29

ДОМ ИВАНА АЛЕКСЕЕВИЧА ЯКОВЛЕВА

1 Эпиграф из поэмы Огарева "Матвей Радаев" (часть первая,

глава 1).

2 *"Старый дом"*, купленный И. А. Яковлевым в 1824 г., был расположен в Б. Власьевском переулке, позднейший номер 14 (не сохранился). *"Ростопчинский дом"* занимал угол Сивцева Вражка и М. Власьевского пер. (нынешний No 25/9). В 1839 г. Иван Алексеевич купил еще "Тучковский дом" -- ныне No 27 по Сивцеву Вражку. Герцен с семьей жил в нем после возвращения из ссылки, а после смерти отца переселился в "Ростопчинский дом".

3 Из поэмы Огарева "Матвей Радаев" (часть первая,

глава 1). Ниже Пассек приводит еще четыре отрывка из той же главы. Включив сюда выдержки из этой поэмы, Пассек дала повод думать, что в ней Огарев описал И. А. Яковлева и его дом; однако такое мнение ошибочно (см.: Н. П. Огарев, Стихотворения и поэмы, т. II, Л. 1938, стр. 430).

4 О личности Е. И. Герцена и об отношении к нему отца см. в публикации "Письма Е. И. Герцена" (ЛН, т. 63, стр. 416--418).

5 Из опасений перед цензурой Пассек не говорит здесь прямо о ссылке Герцена.

6 Пассек приводит начало воспоминаний М. К. Рейхель, полученное ею в 1873 г. (см. об этом во вступительной статье к настоящему изданию),

7 Герцен приехал из Владимира в Москву 7 декабря 1839 г., в Петербурге он пробыл с 14 по 23 декабря; вернулся во Владимир 31 декабря. Около 25 марта 1840 г. Герцен с семьей окончательно покинул Владимир. "Мы с сожалением покидали..." -- неточная цитата из "Былого и дум" (Г, т. IX, стр. 9). Далее Пассек приводит из "Полярной звезды на 1858 год", кн. III, исключенное впоследствии Герценом окончание главы XXIII (см. Г, т. VIII, стр. 433).

8 Огарев с женой приехал в Москву 13 или 14 сентября 1839 г.

9 "Былое и думы" (Г, т. IX, стр. 16). Имя Бакунина у Пассек обозначено буквой Б*. Под двумя прежними друзьями, которых Герцен застал в Москве, подразумеваются, очевидно, Кетчер и Сатин.

10 См. в первом томе наст. изд. прим. 13 к главе 22.

11 Станкевич уехал за границу в августе 1837 г. Умер он в Италии в 1840 г.

12 Текст, заключенный в кавычки, соответствует рассказу Герцена в "Былом и думах" (Г, т. IX, стр. 18--20), который Пассек значительно сократила.

13 Пассек упоминает о спорах Герцена с Белинским, пользуясь текстом "Былого и дум" (Г, т. IX, стр. 22--23). Споры эти разгорелись в сентябре 1839 г., когда Герцен приезжал из Владимира в Москву. В конце октября Белинский уехал в Петербург; там в декабре произошла его новая встреча и спор с Герценом. Рецензия Белинского на "Бородинскую годовщину" Жуковского ("Отечественные записки", 1839, No 10), его статьи "Очерки Бородинского сражения. Соч. Ф. Глинки, автора Писем русского офицера" (там же, No 12) и "Менцель, критик Гете" (там же, 1840, No 1) знаменовали крайнюю степень "примирения с действительностью", к которому призывал тогда Белинский. Уже в начале 1840 г. он отказался от этих ошибочных воззрений. Определившийся на рубеже 1839--1840 гг. распад кружка Станкевича вызван был философскими разногласиями: в то время как Герцен и Белинский овладевали материалистическим мировоззрением, другие члены кружка (Бакунин, Катков) оставались на идеалистических позициях,

14 Предписание министра внутренних дел А. Г. Строганова о переводе Герцена на службу в Петербург, подписанное им 29 февраля 1840 г., было получено во Владимире 22 марта. Герцены сразу же выехали в Москву, а 10 мая отправились в Петербург. Примирение Герцена с Белинским произошло летом 1840 г.

15 Герцен был редактором "неофициальной части" "Владимирских губернских ведомостей" с конца января 1838 до июля 1839 г. До сих пор в этой газете выявлено только семь небольших заметок, достоверно принадлежащих ему (см. Г, т. I, стр. 373--379, 527 и 529--530).

15 "Записки одного молодого человека" были напечатаны со значительными цензурными купюрами в "Отечественных записках" 1840, No 12, и 1841, No 8. О работе Герцена над этой автобиографической повестью см. в книге В. А. Путинцева "Герцен -- писатель", М. 1952, стр. 27--35.

17 О религиозных настроениях Герцена в вятскую пору и о последующем их преодолении см. прим. 2 и 63 к главе 32.

18 Рукопись отрывка "Из римских сцен" Пассек нашла в доме Е. И. Герцена вместе с другими остававшимися там бумагами Герцена (см. об этом во вступительной статье к наст. изд.). Позднее рукопись была утрачена, и текст, напечатанный у Пассек, остался единственным его источником. По первой публикации отрывка в РС мы восполнили случайный пропуск строк и исправили несколько ошибок, оказавшихся в отдельном издании книги Пассек и перешедших из нее в т. I Собрания сочинений Герцена, изд. АН СССР (см. ЛН, т. 63, стр. 620-- 621).

19 Имеются в виду "Анналы" римского историка Тацита, которые заканчиваются рассказом о Нероне. Герцен заимствовал у Тацита ряд фактов для своих "сцен" (заговор Пизона, имена его участников, ненависть патрициев к Нерону) и на этом историческом материале развил философскую тему гибели одряхлевшего языческого Рима и начала новой, христианской эры. Эта тема осознавалась Герценом в ее связи с современной ему эпохой: он и позднее не раз высказывал мысль о разительном сходстве между императорским Римом и буржуазным строем, глубочайшее загнивание которого стало особенно ясным Герцену в период после поражения революции 1848 г. во Франции (см., например, в его письме к Огареву от 10 июня 1849 г. -- наст. том, стр. 536--537). Подробнее об отрывке "Из римских сцен", см.: В. А. Путинцев, Герцен -- писатель, М., 1952, стр. 18--19, а также: Г, т. I, стр. 505--507.

20 В "Деяниях апостолов", входящих в состав библии ("Новый завет"), излагаются легенды о проповеди в разных странах учения Христа его первыми последователями -- апостолами.

21 Найти источник, откуда Герцен мог заимствовать эту мысль Платона, не удалось.

22 *"Возмутившийся дерзкий Титан"* -- Прометей. Согласно одному из древнегреческих мифов, он создал людей, вылепив их из глины и вдохнув в них дыхание жизни.

23 В Древней Греции Клепсидра -- водяные часы и, вместе с тем, метафорическое обозначение времени.

24 В поэме "Теогония" Гесиод рассказывает, как титан Хронос хитростью лишил власти своего отца Урана. Боясь, что его

собственные дети также восстанут против него, он пожирал каждого ребенка, которого рождала ему его жена Рея.

25 Город Фивы, бывший столицей Египта в эпоху Среднего и отчасти Нового царства, славился в древности своими сокровищами и храмами. "Стовратными" Фивы названы в "Илиаде". *Мемнон* -- один из героев Древней Греции, убитый Ахиллом под Троей. Его спутники были превращены в огромных птиц -- мемнонов. Две колоссальные статуи мемнонов находились в Фивах перед храмом фараона Аменофиса III.

26 *Cloaca maxima* -- самая большая в древнем Риме подземная каменная труба для стока вод в Тибр.

27 *Нус* -- понятие, введенное древнегреческим философом Анаксагором для обозначения "мирового разума", бывшего, по его взглядам, первоначальной силой, придавшей материи во вселенной вихревое движение. Философия Анаксагора не оставляла места для божественного промысла.

28 Речь Цицерона в защиту греческого поэта Авла Лициния Архия была произнесена в 62 г. до н. э. Архий был обвинен в незаконном присвоений прав римского гражданства. Благодаря речи Цицерона он был оправдан.

29 В древнегреческом языке "логос" имел несколько значений: слово, речь, понятие, закон, разум. В философии термин "логос" использовался многократно, наполняясь каждый раз новым содержанием. Это и создавало сложность понятия, о которой говорит Лициний, *Логос-профорикос* -- высказанное, произнесенное слово,

30 История об осуждении рабов за убийство одним из них Педания Секунда рассказана у Тацита ("Анналы", XIV, 42--45). Однако об отмене казни Нероном Тацит не упоминает.

31 *Латиклава* -- украшенная пурпуром туника, которую носили римские сенаторы.

32 Древнеримский поэт Марк Анней Лукан был участником заговора Пизона. Как известно, Нерон считал себя великим поэтом и любил выступать публично с чтением своих стихов.

33 Имеется в виду древнейший свод римских законов, так называемые "XII таблиц".

34 Как рассказывает Плутарх в "Жизнеописании Цицерона", знаменитый римский оратор был убит в 43 г. до н. э. по приказанию

Антония, который распорядился выставить отрубленные голову и руки Цицерона на площади Римского форума. Одну из подробностей этого события, отсутствующую у Плутарха, Герцен мог заимствовать из книги П. Бланшара "Плутарх для юношей...", где рассказывалось, что жена Антония, "увидев голову Цицерона, во многих местах исколола ему язык золотою иглою" (часть 3, СПб. 1808, стр. 217).

35 *Форум Аппия* -- один из военно-торговых центров, созданных на важнейших торговых и военных путях Италии. Он находился на Аппиевой дороге, ведшей из Рима в Капую.

36 Имеется в виду апостол Павел (см. выше прим. 6 к главе 27).

Глава 30

РЕКЛАМА

Название этой главы не покрывает всего ее содержания. Пассек, начиная здесь публикацию написанных по ее инициативе воспоминаний Т. А. Астраковой, заполнила ими большую часть главы. И только в конце она обращается к тому шуточному объявлению Герцена об "эманципирующем порошке", на которое указывало название главы.

Пассек ошибочно отнесла написание "Рекламы" ко времени первого приезда Герцена в Москву, то есть к осени 1839 г. В действительности она была написана в 1844 г. и тогда же напечатана в No 11 "Отечественных записок", а не в "Русском инвалиде" и не в "Северной пчеле", как указывает Пассек. Задумав ввести в свои записки эту юмореску Герцена, о которой она лишь смутно помнила, Пассек обратилась в феврале 1873 г. к М. К. Рейхель. Та быстро откликнулась на эту просьбу, и уже 6 марта Пассек благодарила ее за присылку "игривой" статьи. Остается неясным, чем располагала Рейхель -- печатным оттиском из "Отечественных записок" с авторскими исправлениями, автографом или, что вероятнее всего, копией с автографа. По тексту, сообщенному Рейхель, Пассек напечатала "Рекламу" дважды: в РС (1874, No 2, стр. 401--406) и в отдельном издании второго тома "Из дальних лет".

Местонахождение автографа до сих пор остается неизвестным, и первоисточником считается текст "Отечественных записок". Между ним и текстом Пассек имеются разночтения, которые могут быть сведены к двум группам, первая -- стилистические варианты, возникшие, очевидно, во время правки автором журнальной корректуры, вторая -- изменения, внесенные автором или редакцией "Отечественных записок" по цензурным соображениям в связи с тем,

что то или другое место статьи могло навлечь обвинение в оскорблении религиозного чувства, в неуважительном отношении к правящему сословию и т. п. Мы насчитываем четыре таких вынужденных изменения и думаем, что во всех перечисленных ниже случаях у Пассек оказался сохраненным подлинный авторский текст и что эти ее варианты должны быть введены в основной текст юморески. Вот эти варианты: 1) в журнале: "они раздавались во тьме ночной и исчезали в ней", у Пассек: "они раздавались во тьме ночной и неизвестно было, отчего на другой день рушились браки, брались решительные меры против других -- словом, переменялась жизнь"; 2) в журнале: "уничтожить ваше человеческое достоинство", у Пассек: "уничтожить ваше человеческое достоинство, несмотря на дворянскую грамоту, которую вы, вероятно, имеете"; 3) в журнале: "с задумчивым видом квакера", у Пассек: "с задумчивым и благочестивым видом квакера"; 4) в журнале: "тень молчаливого старца явилась в воздухе"; у Пассек: "тень молчаливого старца явилась на небе". Мы считаем также, что журнальный вариант французской фразы "et ils crèveront comme des critiques" содержит опечатку и что текст Пассек позволяет восстановить правильное, вполне согласующееся со стилистическим характером всей юморески чтение: "comme des hérétiques".

1 При подготовке отдельного издания Пассек подвергла текст воспоминаний Астраковой некоторым изменениям. В соответствии с принятыми для всего издания текстологическими принципами, мы печатаем их здесь по РС (1876, No 11).

2 Это стихотворение Сатина известно только по настоящей публикации в книге Пассек.

3 Герцен приехал в Москву к Кетчеру 16 апреля 1838 г. без разрешения начальства, по паспорту отставного поручика Богданова. К Астраковым он пришел 18 апреля (см. в этой же главе письмо Герцена к Н, И, и Т. А. Астраковым от 18 апреля 1839 г.),

4 Герцен венчался 9 мая 1838 г. Об увозе Н. А. Захарьиной и об их свадьбе подробно рассказано в "Былом и думах" (Г, т. VIII, стр. 361--379).

5 Текст письма напечатан у Пассек с мелкими неточностями. По публикации в ЛН (т. 64, стр. 486--487) нами исправлена одна фраза, измененная несомненно у Пассек по цензурным соображениям: "добро

бы в Воронеж молиться..." (у Пассек было: "добро бы куда-нибудь..."). Шутка Герцена имеет в виду воронежский Митрофаниевский монастырь, привлекавший много богомольцев.

6 Я. И. Голубев привез Герцену от Кетчера книги, в том числе труд немецкого историка Раумера "Die Geschichte Europas seit dem Ende des XV Jahrhunderts" ("История Европы от конца XV столетия"). Из восьми томов этого труда к 1839 г. вышло в свет именно шесть томов. Мы считаем менее вероятным предположение, что это была шеститомная история Гогеншгауфенов того же автора, изданная в 1823--1825 гг. (см. ЛН, т. 64, стр. 487).

7 Незадолго до этого в своем владимирском имении умер князь Иван Сергеевич Одоевский, отец поэта-декабриста А. И. Одоевского.

8 В 1838--1839 гг. Н. И. Астраков сотрудничал в "журнале современного сельского хозяйства" "Русский земледелец", который издавался в Москве проф. М. Г. Павловым. В книжках этого журнала нами обнаружено семь статей, подписанных Астраковым. Посвященные главным образом вопросам лесоводства, они содержат много математических выкладок, формул и таблиц.

9 Сын Герцена Александр родился 13 июня 1839 г.

10 Здесь Астракова, а за нею и Пассек допустили ошибку: первая жена Огарева была племянницей пензенского губернатора, и свадьба их состоялась в Пензе (в 1836 г.). Н. П. и М. Л. Огаревы пробыли у Герценов во Владимире с 15 по 19 марта 1839 г. Отсюда Огарев уехал в свое рязанское имение село Верхний Белоомут, а его жена отправилась в Москву и оттуда в Петербург хлопотать о возвращении Огарева из ссылки. В конце апреля она на обратном пути вновь заезжала во Владимир. Таким образом, описанные далее Астраковой эпизоды знакомства М. Л. Огаревой с московскими друзьями ее мужа следует отнести к концу марта -- апрелю 1839 г.

11 Эти письма Герцена и его жены к Астраковым были написаны между 15 и 18 марта 1839 г. Местонахождение их автографов неизвестно.

12 Герцены пробыли в Москве с 23 августа до 30 сентября 1839 г., 13--14 сентября в Москву приехали и Огаревы. Герцены окончательно оставили Владимир в марте 1840 г. О покупке отцом дома, принадлежавшего генералу Тучкову, Герцен писал Витбергу 7 июня 1839 г. (Г, т. XXII, стр. 32).

13 Здесь память несколько изменила Астраковой: Огаревы уехали в Петербург, а затем за границу весной 1841 г. Герцены выехали в Петербург годом раньше -- в мае 1840 г., как правильно указывает Астракова ниже,

14 По свидетельству самого Герцена, он познакомился с Бакуниным в 1839 г. Их знакомство могло произойти только в декабре этого года (см.: А. А. Корнилов, Молодые годы Михаила Бакунина, М. 1915, стр. 615 и 675).

15 "Они *жили"* -- выражение, употреблявшееся римлянами в отношении умерших, чтобы избежать зловещего слова "смерть". После казни участников заговора Катилияы Цицерон, руководивший исполнением приговора, обратился к собравшемуся народу со словами: "Они жили". С октября 48 г. до сентября 47 г. Цицерон вынужден был пробыть в городе Брундисии на Адриатическом побережье, ожидая от Цезаря разрешения уехать в свое поместье. Отсюда им было написано много писем к родным и близким. Ниже речь идет о философском трактате Цицерона "О природе богов".

16 Восклицание Ричарда III из трагедии Шекспира "Ричард Ш" ^действие V, сцена 4).

Глава 31

АЛЕКСАНДР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ВИТБЕРГ

В 1872 г. в "Русской старине", No 1, 2 и 4, с пометой: "Сообщ. Т. П. Пассек", были опубликованы "Записки академика Витберга, строителя храма Христа Спасителя в Москве". Оригинал этих "Записок" -- черновик, писанный рукой Герцена, -- Пассек нашла в 1861 г. в московском доме Е. И. Герцена. По этой же рукописи, находящейся ныне в ИРЛИ, "Записки" напечатаны в Собр. соч. Герцена, изд. АН СССР, с комментариями, определяющими время и обстоятельства их написания и степень авторского участия Герцена в этой работе (Г, т. I, стр. 531--534). В 1876 г. "Русская старина" предприняла еще одну публикацию, посвященную Витбергу, которая и появилась в No 9, 10 и 12 под заглавием: "Александр Лаврентьевич Витберг, академик, строитель храма Христа Спасителя в Москве". В предисловии редакция напоминала о публикации 1872 г., в которой рассказ был доведен до 1820 г., и далее так характеризовала новые документы, извлеченные из архива Витберга и сообщенные редакции журнала его детьми:

"Ныне предлагаемые бумаги принадлежат большею частью перу самого Витберга: в первой из них, повторяя вначале вкратце то, что читателям уже известно, автор излагает ход интриги, его погубившей. Из этого рассказа читатели до некоторой степени ознакомятся с сущностью экономической и хозяйственной стороны построения храма и, вместе с сим, узнают, что главным пауком, соткавшим паутину, в которую запутался Витберг, был не кто другой, как Аракчеев. Оказывается, что Витберг был жертвою борьбы двух партий: кн. А. Н. Голицына, с одной стороны, и гр. Аракчеева, с другой.

Предлагаемая записка обнимает время с 1817 по 1826 год; документ, видимо, написан для подачи кому-либо из влиятельных лиц, у которого Витберг надеялся найти защиту. Время написания -- между 1836 и 1840 гг.

Вслед за этим рассказом мы передаем вкратце главнейшие факты дальнейшей борьбы Витберга с его противниками, известия о пребывании его в ссылке, переписку с одним из лучших его друзей, с которым он сблизился в Вятке, и, наконец, подробности последующей его жизни по возвращении из изгнания до кончины..." (РС, 1876, No 9, стр. 109).

Хотя имя Пассек в публикации 1876 г. нигде не названо, не приходится сомневаться, что она принимала деятельное участие в подготовке к печати материалов, полученных от детей Витберга, в частности, писем Герцена к нему. В 1879 г., когда вышел в свет второй том "Из дальних лет", читатели нашли в нем две главы (31 и 32), в которых рассказывалось о Витберге и приводились письма к нему Герцена. Изучение текста этих глав показывает, что при их написании Пассек опиралась на обе предшествующие публикации -- как 1872, так и 1876 г.

Настоящая глава начинается страницами о детстве Витберга, заимствованными из предисловия к публикации 1872 г. В большей же части главы Пассек основывается на тексте "Записок", писанных Герценом. Следуя уже усвоенному ею методу, она то делает относительно точные выписки из этого источника, то прибегает к сокращенному изложению, иногда весьма свободному. При этом она не сохраняет порядка изложения "Записок": стремясь, видимо, соблюсти хронологическую последовательность рассказа, она объединяет куски текста, взятые из разных мест, переходит от последних страниц к первым, отсюда к середине и т. д. Но при этом она всюду придерживается подлинника, почти не внося в него ничего своего. Окончание главы восходит к публикации 1876 г.

1 Эпиграф -- несколько измененная фраза из "Записок А. Л. Витберга" (Г, т. I, стр. 390).

2 У Пассек: "Лаврентий Самойлович привстал". Из контекста очевидно, что речь идет не об отце, а о деде Витберга. Исправляем это место по "Запискам". Двумя строками ниже заменяем "отец его" на "

<сын> его" (в "Записках", изложенных от первого лица, -- "батюшка мой").

3 Школа с пансионом, которая находилась при лютеранской церкви св. Анны в Петербурге. Из Горного корпуса Витберг был взят в 1798 г.

4 Александр Сергеевич Строганов был президентом Академии художеств с 1800 до 1811 г. Витберг был принят в Академию в 1802 г.

5 Первую серебряную медаль "за лепление с натуры" Витберг получил в 1806 г. В 1807 г. за картину на библейский сюжет о трех отроках он получил первую золотую медаль, аттестат первой степени и стал пенсионером Академии. Права на путешествие за границу в это время он не получил, так как еще не окончил Академию, Первую золотую медаль и право на заграничную поездку Витберг получил в 1809 г. за картину "Андромаха, оплакивающая Гектора", Тогда же он был оставлен при Академии (В. Л. Снегирев, Архитектор А. Л. Витберг, М. -- Л. 1939, стр. 9--12).

6 Испытав в молодости сильное влияние кружка московских масонов Н. И. Новикова и И. Е. Шварца, А. Ф. Лабзин с 1800 по 1822 г. был руководителем одной из масонских лож. Он издавал религиозно-мистический журнал "Сионский вестник", перевел и издал множество книг мистического характера, в том числе сочинения западноевропейских мистиков Юнга-Штиллинга и Эккартсгаузена. Служебная деятельность Лабзина протекала в Коллегии иностранных дел и в Академии художеств (с 1799 г. конференц-секретарем, с 1818 г.-- вице-президентом). В 1822 г. за острое выступление на заседании Академии против избрания в почетные академики Аракчеева, Кочубея и Гурьева был сослан в г. Сенгилей Симбирской губ., потом переведен в Симбирск, где и умер в 1825 г. (Б. Л. Модзалевский, Статья в "Русском биографическом словаре", том "Лабзина -- Ляшенко", стр. 2--12).

7 Правильное название "Беседа любителей русского слова". Это общество, бывшее оплотом традиций классицизма, существовало с 1811 по 1816 г.

8 Ф. В. Ростопчин, бывший Московским главнокомандующим с мая 1812 до августа 1814 г., задумал издать за свой счет роскошное описание Отечественной войны с портретами отличившихся ее

участников. Для подготовки к этому изданию рисунков, портретов и картин он привлек Витберга. Издание не состоялось.

9 После освобождения из Шлиссельбургской крепости в 1796 г, Новиков поселился в своем подмосковном именьице, селе Авдотьине-Тихвинском Бронницкого уезда, где и прожил безвыездно до смерти.

10 Приводим это высказывание Вибекинга: "Величайший храм нового времени будет построен вне города, близ реки, на ее высоком берегу, по плану архитектора Витберга. Сейчас готовят террасу и ведут предварительные работы. План мне неизвестен" (Carl Friedrich Wiebeking, Theoretisch-practische bürgerliche Baukunde.... III Band" München, 1825, S. 399).

11 В отчете Академии художеств за 1835 г. упоминания о проекте Витберга нет (см. прибавление второе к номеру "Художественной газеты" от 15 октября 1836 г.).

12 По сравнению с "Записками", Пассек значительно сократила изложение идеи храма и описание его плана.

Глава 32

ПЕРЕПИСКА

В этой главе Пассек поместила большинство писем Герцена к Витбергу, подлинники которых были предоставлены ей детьми архитектора. В течение долгого времени публикация Пассек сохраняла значение первоисточника, так как местонахождение подлинников не было известно. В I--III томах Собр. соч. Герцена под редакцией Лемке эти письма были напечатаны по книге Пассек. И только после революции, когда архив Витберга поступил в Пушкинский дом, Лемке смог заново напечатать их по подлинникам. В настоящее время все они вошли в тт. XXI--XXII Собр. соч. Герцена, изд. АН СССР. Пассек печатала письма, как правило, в сокращении или давала только отрывки из них. Она исключала бытовые мелочи, места, относящиеся к имущественным делам Витберга и Медведевой, к неладам Витберга с его второй женой и т. п. Эти редакторские сокращения Пассек мы сохраняем, отсылая интересующихся полными текстами писем к изданию АН СССР. Там же, где обнаруживались случайные ошибки, затемняющие или искажающие смысл, мы вносили необходимые исправления. Ответные письма Витберга находятся в ИРЛИ (ф. 265, оп. 2, ед. хр. 443 и 444). Большая часть их опубликована в РС, 1897, No 12, и в ЛН, т. 41--42.

1 Эпиграф из стихотворения Огарева "Твое письмо меня нашло..." (1857--1858).

2 В РС о начале дружбы Герцена и Витберга было рассказано значительно подробнее. Приводим этот журнальный текст, представляющий известный биографический интерес:

"Средства к жизни остались у Витберга самые скудные. Но если материальная сторона жизни Витберга-изгнанника была очень

печальна, зато со стороны духовной он совершенно неожиданно нашел поддержку в дружбе одного весьма образованного молодого человека, так же, как и он, невольного обитателя Вятки.

23 ноября 1835 г. они встретились на одном вечере, обменялись взглядами и убеждениями, и с тех пор будущие друзья сблизились. С горячностию истинно верующего Витберг высказывал другу свои задушевные мысли и убеждения. Пораженный глубоко религиозными, строгими воззрениями Витберга, его твердостью в несчастии, непоколебимой верой в провидение, N. N. привязался к нему всей душой. До приезда семейства Витберга они поселились в одном доме и стали проводить целые дни в оживленных, нескончаемых беседах. Беседы Витберга произвели на его молодого друга сильное впечатление. Сила веры и религиозного убеждения, строгая догматическая речь увлекли и покорили N. N. религиозному влиянию на некоторое время.

До какой степени были глубоки чувства любви и уважения, возбужденные к себе Витбергом в душе молодого человека, всего лучше видно из его писем к Александру Лаврентьевичу; письма эти любопытны как свидетельство нравственной силы Витберга.

К сожалению, мы не имеем ответов Витберга на эти письма; поэтому только по некоторым намекам N. N. можем догадываться о их содержании.

5 февраля 1836 г. друг Витберга писал из Вятки его жене, не прибывшей еще туда:

"Милостивая государыня, Авдотья Викторовна!

Вы были так добры, что изъявили желание, чтобы я и по приезде вашем в Вятку жил вместе с Александром Лаврентьевичем; это дает мне право, не имея чести лично вас знать, обратиться к вам с моею благодарностию. Единство несчастия сначала сблизило нас; потом, когда я ближе узнал достоинства Александра Лаврентьевича, о которых нужно ли вам говорить, чувство искреннейшего уважения еще более соединило меня с ним. Вы повторили в вашем письме мои слова из письма к батюшке, что приезд Александра Лаврентьевича сделал

мне вполовину легче ссылку. Вы видите, что не лесть заставила меня говорить это. Ежели бы ваш приезд долженствовал нас разлучить, это было бы грустно для меня, это была бы другая ссылка.

Теперь вы видите, сколь много обрадовало меня ваше согласие. Благодарю душевно:

Позвольте мне письменно и самому рекомендовать себя в ваше благорасположение. Прав на оное я никаких не имею, кроме несчастий, с которыми так рано ознакомился", и проч.

Увлечение нравственною личностью Витберга молодой друг его передал своей невесте, жившей в Москве, откуда та писала Витбергу в декабре 1837 г. следующее:

"Александр Лаврентьевич! Не приличие света заставляет меня писать к вам, а беспредельное уважение, которое внушает величие ваше, и благодарность, какую только может вместить моя душа. За все то, что вы дали Александру, один бог может вам воздать. Что было бы с изнуренным, больным изгнанником в мертвой пустыне! в вас он нашел все. Может быть, несчастие подавило бы его. Вы собственным примером доказали, что страдание есть лестница, ведущая к совершенству, к блаженству высочайшему. Вы, как солнце, животворили его своими лучами, взлелеяли, возрастили его душу. Да благословит вас провидение.

Сколько раз слезами восторга были облиты письма, в которых он писал о вас! как он благодарил бога за встречу с посланником его. Измерьте же мою благодарность, мою молитву.

До конца жизни вы будете первым в воспоминаниях наших. При малейшей возможности я перейду тысячи верст, чтобы пожать ту руку, которая на бумаге одушевила черты Александра, которая сохранила его. Счастливым, священным будет тот день, в который я увижу Великого -- без него жизнь моя будет неполна, несовершенна.

Вы смотрите на душу прямо, вам знаком ее голос, и потому я уверена, что вы не сочтете слова мои пустыми. *Наташа"* (РС, 1876, No 10, стр. 273--275):

Письмо к жене Витберга от 5 февраля 1836 г. напечатано здесь без окончания, полный текст его -- Г, т. XXI, стр. 66--67. О декабрьском письме 1837 г. Н. А. Захарьиной к Витбергу см. в письме Герцена к ней от 27--28 декабря 1837 г. (там же, стр. 245).

3 Это письмо написано после 4 марта, когда Герцен вернулся из тайной поездки в Москву для свидания с невестой, с которой он виделся 3 марта.

4 Намек на стихотворение Жуковского "Ночной смотр" (1836).

5 После перевода во Владимир Герцен не знал, сохранен ли над ним надзор. Вопрос этот первое время был неясным и для владимирского губернатора И. Э. Куруты. Только 5 февраля 1838 г. он получил разъяснение из Петербурга и отдал распоряжение об учреждении над Герценом полицейского надзора.

6 Намек на слова Чацкого: "И дым отечества нам сладок из приятен",

7 Текст этой аллегорической записи в альбом В. А. Витберг см.: Г, т. I, стр. 331. Самый альбом, долго считавшийся утраченным, приобретен в недавнее время Государственным Литературным музеем.

8 Трагедию Шиллера "Орлеанская дева" (1801).

9 Герцен отвечает на письмо Витберга от 15 февраля 1838 г. Ответ Витберга был написан им 15 марта.

10 В опущенной части письма речь идет о брате жены Витберга А. В. Пузыревском. Витберг переслал Герцену письмо Пузыревского, о возвращении которого и сообщает Герцен.

11 В РС к этому месту Пассек дала сноску; "Вятский друг Витберга пишет о положении своей невесты в доме одной старой княгини и о намерении похитить ее оттуда" (РС, 1876, No 10, стр. 278).

12 Алексеевский женский монастырь, находившийся на берегу Москвы-реки, близ Каменного моста, подлежал сносу в связи с решением строить на его месте храм Христа Спасителя по проекту Тона. К строительству храма приступили в 1838 г.

13 *"I Maestri"* -- несохранившаяся повесть Герцена, написанная в Вятке, в 1837 г. В одной из частей ее рассказывалось о встрече с Жуковским, посетившим Вятку вместе с наследником, будущим Александром II. Рукопись повести Герцен посылал Жуковскому для ознакомления. В письме от 15 февраля Витберг писал Герцену: "Не знаю, угадал ли я, но думаю, что вымаранные Жуковским слова должны быть те, которыми описали вы карикатурность Тюфяева. Я по крайней мере их считал слишком некстати и слишком желчными" (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, ед. хр. 443, No 3).

14 Герцен пишет о встрече с знакомым его отца, членом Государственного совета П. И. Озеровым, который в 1837 г. вошел в состав новой комиссии по строительству храма Христа Спасителя в Москве.

15 Повесть "Его превосходительство", в которой давался сатирический портрет Тюфяева, до нас не дошла.

16 Об этом священнике И. Остроумове Герцен вспоминает в "Былом и думах" (Г, т. VIII, стр. 370--375).

17 Отрывок "Из римских сцен" Пассек напечатала в главе 29" Другие сцены этого цикла, упомянутые в настоящей сноске, до нас не дошли. Известно только краткое изложение их, написанное Герценом в 1861 г. (Г, т. I, стр. 337--340).

18 История женитьбы Герцена подробно рассказана в воспоминаниях Т. А. Астраковой (наст, том, стр. 80--89).

19 О древнем византийском обычае, по которому кольцо невесты должно было быть серебряным, Герцен писал Н. А, Захарьиной 8 апреля 1838 г, (Г, т. XXI, стр. 356).

20 В этом месте в подлиннике чернильное пятно и подле него написано: "Извините. Laqus proponticus" (латинское название Мраморного моря).

21 Вторая приписка, отсутствующая в отдельном издании, восстановлена нами по РС.

22 Это недатированное письмо по содержанию должно быть отнесено к концу мая 1838 г. Следовательно, оно написано до помещенного перед ним письма (см. Г, т. XXI, стр. 378).

23 Жуковский виделся с Витбергом и Герценом в Вятке в мае 1837 г. Он обещал тогда ходатайствовать за них обоих в Петербурге.

24 Герцен, по-видимому, занял эти деньги у Огарева, чтобы помочь нуждавшемуся Витбергу. Об этом своем намерении он писал 10 сентября 1837 г. Кетчеру (Г, т. XXI, стр. 207).

25 К этому месту в РС была помещена подстрочная сноска: "До какой степени митрополит Филарет был предубежден и даже озлоблен против Витберга, видно, между прочим, из резкого укора, брошенного митрополитом уже после тяжкой опалы, постигшей художника. Так, 20 июня 1838 г., при перенесении предметов прежнего заложения храма Христа Спасителя для приготовления к заложению оного на новом месте, митрополит Филарет всенародно сказал, между прочим,

следующее: "Бог низлагает гордость нечестивых, разрушая создания их без надежд восстановления; бог смиряет и усовершает благочестивых, приводя благие их намерения к исполнению не теми путями, которые предначертал самомудрствующий человеческий разум" ("Слова и речи синодального члена Филарета, митрополита московского", изд. 2-е, 1848, стр. 237). Сообщил И. Д. Павловский" (РС, 1876, No 10, стр. 283).

26 О Гогарте, правильно Хогарте, см. в первом томе наст. изд., прим. 7 к главе 13.

27 В феврале 1838 г. в Вятку был назначен новый губернатор И. П. Хомутов.

28 О поездке Герцена с женой в Покровское для свидания с отцом и о посещении ими места клятвы на Воробьевых горах см. в первом томе наст. изд., в главе 16.

23 Весь этот эпизод Пассек изложила по брошюре П. Алабина "Александро-Невский собор в Вятке". Вятка, 1864. Из нее же взята заключающая абзац цитата.

30 В "Журнале министерства внутренних дел", 1838, *No* 5, был помещен рисунок памятника Сусанину в Костроме (в журнале, он был назван памятником царю Михаилу Федоровичу, хотя это и не соответствовало композиции проекта: на пьедестале -- фигура Сусанина, под нею -- барельефное изображение его гибели),

31 Имеются в виду "Записки А. Л. Витберга", писанные в Вятке Герценом (см. вводное примечание к главе 31).

32 22 ноября 1838 г. Витберг писал Герцену: "Теперь только благодарю за доброе желание ваше дать мне понятие о проекте Тона -- я ожидал хоть сколько-нибудь лучшего, тут не видно ничего изящного, ничего гениального, совершенно бесталантно" (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, ед. хр. 443, No 4).

33 Обещание Витберга прислать Герцену рисунок со своего проекта Александро-Невского собора в Вятке.

34 Один из величайших памятников древнерусской архитектуры, Дмитриевский собор во Владимире был построен в 1194--1197 гг., при князе Всеволоде III. Успенский собор строился при князе Андрее Боголюбском в 1158--1160 гг. Кроме русских мастеров, в его создании участвовали западноевропейские зодчие и византийские живописцы

(Н. Н. Воронин, Владимир. -- Боголюбов. -- Суздаль. --Юрьев Польский, М. 1958).

35 Кельнский собор был заложен в 1248 г. и строился до середины XVI в., однако остался незавершенным. Строительные работы возобновились в 1842 г. и были закончены в 1880 г.

36 Пассек соединила здесь почти полный текст письма от 8 декабря и отрывок из письма, написанного между 18 и 20 декабря (см.: Г, т. XXI, стр. 399--400).

37 *Меньшой брат* -- Петр Александрович Захарьин; упоминаемый ниже его родной брат -- А. А. Яковлев ("Химик"), получивший все наследство после их отца Александра Алексеевича Яковлева.

38 Отрывок из поэмы "Лициний", над которой Герцен в это время работал. Поэма до нас не дошла (см. Г, т. I, стр. 505--507).

39 Пассек привела лишь два отрывка из большого письма, писавшегося от 10 до 17 января 1839 г. Полный текст см.: Г, т. XXII, стр. 7--9).

40 Гравюра, представляющая общий вид храма Христа Спасителя по проекту Витберга, и статья о нем были помещены в журнале "Живописное обозрение достопамятных предметов из наук, искусств, художеств, промышленности и общежития", 1838 г., ч. IV, лист 23. Там же, лист 25, была напечатана статья о проекте Тона и гравюра с изображением храма по этому проекту.

41 В письме к Н. А. Захарьиной от 13--20 января 1837 г. Герцен рассказал о том, как 15 января, в день рождения Витберга, были поставлены живые картины, в которых он представлял Данте (Г, т. XXI, стр. 137--138).

42 *Хиротонисать* -- принятый в церковном обиходе греческий термин: посвящать в сан священника или дьякона.

43 Речь идет об И. П. Хомутове.

44 По русским законам (до 1845 г.) чин коллежского асессора давал право на потомственное дворянство. Высказывая это намерение, Герцен следовал желанию отца, не разрешавшего ему оставить службу до получения права на дворянство.

45 См. выше прим. 15 к главе 29.

46 Упоминаемый отрывок -- из поэмы "Лициний".

47 Выражение из евангельской притчи о трех рабах (Матфей, 25, 15--30).

48 Герцен говорит о возможной амнистии в связи со свадьбой дочери царя Марии Николаевны и герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Об этом же упоминается ниже, в письме от 7 июля 1839 г.

49 Ходатайство И. Э. Куруты о снятии надзора с Герцена, поддержанное министром внутренних дел, было 1 февраля отклонено Бенкендорфом, который отказался даже представить его царю.

50 О первой после ареста встрече друзей см. прим. 10 к главе 30.

51 В письме от 11 марта 1839 г. Витберг, откликаясь на поэму "Лициний", писал, что считает неприличным включать в "вольную поэзию" имя апостола Павла, и предлагал вместо этого сказать: "святого мужа, человека божия и т. п." (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, ед. хр. 444, No 10).

52 Над поэмой "Вильям Пен" Герцен работал весной и летом 1839 г. Очень неясно представляя себе в те годы сущность квакерства, Герцен в своей поэме об основателе квакерской колонии в Америке развивал идеи утопического социализма (см. Г, т. I, стр. 196--250 и 508--509).

53 В подлиннике этому письму предшествует письмо Огарева к Витбергу. В отдельном издании оно оказалось выпущенным. Мы восстанавливаем его по РС (1876, No 10, стр. 292), так как письмо Герцена органически с ним связано. Огарев приехал во Владимир 2 мая и уехал через три-четыре дня. Поэтому его письмо следует датировать 5--6 мая. Дата "18 мая 1839 г.", отнесенная в РС к обоим письмам, в действительности указывает только время написания письма Герцена (в автографе она вписана его рукой).

54 Медведева должна была выехать во Владимир, чтобы занять в доме Куруты место воспитательницы. В сентябре 1839 г. она переехала из Владимира в Москву для устройства детей в учебные заведения, в чем ей обещал содействие через своих московских знакомых Герцен. Поселилась она в доме И. А. Яковлева.

55 Письмо Витберга от 24 мая 1838 г., написанное в ответ на известие о свадьбе Герцена (ЛН, т. 41--42, стр. 483--484).

55 О рождении 13 июня первого ребенка Герценов Александра см. следующее письмо.

57 В подлиннике сказано иначе: "...явился на свет Александр Герцен II" (Г, т. XXII, стр. 32).

58 В подлиннике письмо не имеет даты. Начинается оно фразой: "Письмо ваше от 11 июля, почтеннейший друг Александр Лаврентьевич, мы получили". Пассек сняла эту фразу, а число "11 июля" вынесла в начало письма. В действительности оно было написано 25--28 июля. Письмо Витберга для Огарева было приложено к письму от 11 июля.

59 О замысле диссертации Герцен писал в октябре 1838 г. Кетчеру (Г, т. XXI, стр. 392). Текст ее до нас не дошел. Труд, изданный в Берлине, -- книга одного из последователей Гегеля -- A. von Cieszkowski. "Prolegomena zur Historiosophie" ("Введение в историософию"), 1838 г.

60 13 июля 1839 г. Бенкендорф, по ходатайству владимирского губернатора и министра внутренних дел, представил царю доклад, в котором испрашивал для Герцена освобождение от полицейского надзора. 16 июля Николай I наложил резолюцию: "Согласен".

61 Этот абзац заимствован из брошюры П. Алабина, стр. 23--24.

62 Новая закладка храма Христа Спасителя (по проекту Тона) состоялась 10 сентября 1839 г. На это торжество в Москву прибыл Николай I и весь двор, в том числе и Жуковский.

63 Здесь отразилось начало расхождений между Герценом и Витбергом, остававшимся на почве мистических идей, в то время как его молодой друг стоял уже на пути критического пересмотра своих религиозно-социальных воззрений.

64 Герцен отвечает на письмо Витберга от 5 сентября, в котором тот сообщал об утверждении его проекта собора для Вятки и о состоявшемся торжестве закладки. Примечания в скобках принадлежат Пассек.

65 В дате у Пассек ошибка: письмо написано 10--12 октября.

6S Герцен отвечает на письмо от 17 октября, в котором Витберг сообщал о полученном им 15 октября разрешении покинуть Вятку и добавлял при этом, что из-за недостатка средств он вынужден отложить свой выезд. Витберг смог выехать из Вятки только осенью 1840 г.

67 То есть будет созданием, которое останется в памяти человечества, как осталась "Божественная Комедия" Данте.

68 Об этом Герцен узнал из письма Витберга от 14 ноября 1839 г,

69 Рапорт о переводе в министерство внутренних дел Герцен подал 21 декабря 1839 г., когда был в Петербурге. Приказ о его переводе был подписан Строгановым 29 февраля 1840 г.

70 Герцены покинули Владимир около 25 марта 1840 г., направившись в Москву. 10 мая они выехали в Петербург,

71 В письме от 27 февраля 1840 г. Витберг сообщал о рождении у него дочери Софьи.

72 В РС после этих слав следовал более пространный текст, который рисовал присущую Витбергу нравственную стойкость и непреклонность характера: "Видя бедственное положение художника, князь посоветовал ему написаТь пожалобнее письмо и просить вспомоществования, уверяя, что через В. А. Жуковского можно будет выхлопотать рублей 1000. Витберг отказался от этого предложения: он находил, что, не доказавши своей невинности, не следует принимать помощь от правительства, что это будет милостыня, а не вознаграждение невинно обвиненного, и остался почти без всяких средств к существованию с многочисленным семейством" (1876, No 12, стр. 763).

73 Герцен выехал из Петербурга в Новгород -- место новой ссылки -- 30 июля 1841 г.

74 Художник Карл Христиан Филипп (по-русски -- Христиан Яковлевич) Рейхель родился в 1788 г., был товарищем Витберга по Академии художеств и кончил курс одновременно с ним в 1809 г. Находился в заграничной командировке в 1810--1811 гг. Рейхель был женат на падчерице декабриста А. П. Юшневского и был знаком со многими декабристами, что, вероятно, усиливало интерес к нему Герцена. В альбоме Герцена 1840-х годов есть несколько портретов работы Рейхеля (см. ЛН, т. 63, указатель иллюстраций). Умер Рейхель в конце 1857 или в начале 1858 г. {Выражаем благодарность Н. Д. Эфрос за разрешение воспользоваться данными из ее еще не опубликованной работы о Х. Я. Рейхеле.}.

75 Герцен получил 5 сентября разрешение на отпуск, который ему было позволено провести с семьей в Москве. Они выехали через несколько дней и вернулись в Новгород в начале октября.

73 Дочь Герцена Наталья родилась 22 декабря, умерла 24 декабря 1841 г.

77 Имеется в виду Я. И. Голубев, зять Витберга.

78 После того как царь 14 июня 1842 г. отказал Герцену в разрешении жить в Москве, Огарев, хлопотавший по этому делу в Петербурге, посоветовал Наталье Александровне обратиться к императрице. 9 июля было получено извещение Бенкендорфа о том, что Герцену в связи с болезнью его жены разрешен переезд в Москву с сохранением, однако, полицейского надзора над ним (см. об этом в "Былом и думах" -- Г, т. IX, стр. 90). В дневнике 1842 г., запись 9 июля, Герцен отметил помощь в этом деле М. Ю. Вьельгорского и В. А. Соллогуба (Г, т. II, стр. 218).

79 Намек на историю с письмом к отцу в ноябре 1840 г., в котором Герцен рассказывал о случившемся в Петербурге убийстве будочником какого-то прохожего. Письмо было перехвачено полицией и послужило причиной высылки Герцена в Новгород. Об этом подробно рассказано в "Былом и думах" (Г, т. IX, стр. 53--76).

80 Неточность: Герцен был отправлен в первую ссылку 10 апреля 1835 г.

81 *Григорий Иванович* -- Ключарев, московский чиновник, ведавший имущественными делами И. А. Яковлева.

82 Лето 1843 г. Герцены провели в Покровском, там они жили и летом следующего года.

83 Это недатированное письмо относится к апрелю -- маю 1845 г. Упомянутое в нем письмо, посланное с Самариным, до нас не дошло.

84 О своих занятиях естествознанием Герцен писал в дневнике 1844--1845 гг. Итогом этих занятий явился цикл статей "Письма об изучении природы" -- одно из значительнейших произведений Герцена-материалиста. Первые два "письма" были напечатаны в "Отечественных записках", 1845, No 4, -- об этой публикации и упоминается в письме.

85 Герцен был в Петербурге с 4 до 14 октября 1846 г.

86 Рисунок иконостаса для вятского собора был закончен Витбергом в 1850 г. По-видимому, им же был создан проект церкви св. Георгия, построенной в Тифлисе в 1850 г., но документальное подтверждение его авторства отсутствует (см. об этом в книге В. Л. Снегирева "Архитектор А. Л. Витберг", М. -- Л. 1939).

87 В РС, 1876 г., No 12, стр. 770, за этим следовало два абзаца, отсутствующие в отдельном издании: "Александр Лаврентьевич Витберг вполне заслуживает, чтобы, наконец, была отдана

справедливость его дарованию, его возвышенному миросозерцанию и его честному, благородному, неподкупному характеру.

Если одолеваемый бедностию, многочисленным семейством, всякого рода лишениями и недостатками, оскорбленный в своем чувстве правды, лишенный честного имени, он при всем этом не соглашался ни на какую, даже самую мелочную уступку, могущую набросить на него хотя бы легкую тень сомнения, и, несмотря ни на что, с идеальным простосердечием хранил веру в торжество истины и невинности, то, конечно, имеет полное право на то, чтобы его знали и помнили".

88 Из письма к Витбергу от 10 января 1839 г, (текст его см. в наст. главе).

Глава 33

УКРАИНА

Для этой главы Пассек широко использовала книгу Вадима Пассека "Путевые записки Вадима *", М. 1834, в которой много места было отведено истории Украины, быту и песенному творчеству украинского народа. В этой книге Пассек опирался на летописные памятники, исторические труды Д. Н. Бантыша-Каменского, "Описание Украины" Боплана, сборники И. И. Срезневского "Запорожская старина" и др. Несомненное влияние на него оказал и Гоголь. Романтическая приподнятость, свойственная книге Вадима Пассека, нашла отражение и в данной главе. Т. П. Пассек по-разному привлекала материал книги: в виде цитат, сокращенного изложения, монтажа кусков, взятых из разных ее мест, и т. п. По "Путевым запискам" нами устранено в тексте главы несколько случайных ошибок и очевидных опечаток.

1 Эпиграф -- неточная цитата из "Путевых записок" (стр. 137). В своей книге Вадим Пассек Малороссией называет правобережную Украину, особенно сильно испытавшую гнет панской Польши, а Украиной -- левобережную, так называемую Слободскую Украину.

2 Относя события эпохи Киевской Руси и создание таких литературных памятников, как "Слово о полку Игореве", к деятельности "малороссиян", Вадим Пассек впадал в ошибку, которую разделяли и другие современные ему историки. В действительности, формирование украинской народности произошло лишь в XIV--XV вв., а до этого существовала древнерусская народность, бывшая единым корнем трех народов -- великорусского, украинского и белорусского.

3 Последняя фраза в результате сокращения стала неясной по смыслу. В книге В. Пассека сказано: "И если название великого князя

не имело большой значительности в Киеве, то приобрело ее во Владимире и Москве" (стр. 129).

4 В примечании к этому абзацу В. Пассек называет источники, из которых он почерпнул сведения о жизни Сагайдачного, -- "Историю Малороссии" Бантыша-Каменского и "Запорожскую старину" Срезневского ("Путевые записки", стр. 75--76).

5 Харьковский университет был открыт в 1805 г.

6 Остается неясным, существовали ли в действительности такие письма Вадима Пассека, или автор "Из дальних лет" применила и здесь привычный прием превращения литературного документа в личное письмо. Во всяком случае, текст "писем" очень близок к "Путевым запискам": письмо I -- стр. 54--63; письмо II -- стр. 137--145; письмо III -- стр. 145--147; письмо IV -- 150--162.

7 Имеется в виду труд академика П.-С. Палласа, опубликованный в 1792 г. по-французски и затем переведенный на русский язык: "Краткое физическое и топографическое описание Таврической области, сочиненное на французском языке Петром Палласом... и переведенное Иваном Рижским". СПб. 1795.

Глава 34

ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ ПАССЕК

1 М. М. Лунин занимал в Харьковском университете кафедру всеобщей истории с 1835 по 1844 год.

2 Сборник "Литературный вечер" был издан в память Вадима В., Пассека в Москве, в 1844 г. Кроме статьи "Странное желание", которую Пассек воспроизвела не вполне точно, в сборнике была напечатана статья В. Пассека "Малороссийская свадьба", оставшаяся незаконченной и доработанная по собранным им материалам Н. А. Ригельманом.

3 "Прощение" царя было объявлено Вас. В. Пассеку в 1824 г.

4 Отрицательная рецензия на "Путевые записки" была помещена в "Библиотеке для чтения", 1834, No 9, "Литературная летопись", стр. 24.

5 Имеется в виду книга: "Рахиль. Сочинение Евгении Фоа. Перевод с французского Т -- ы П..с..нъ. Москва, 1835". Очевидно, к ноябрю 1834 г. книга уже вышла в свет (цензурное разрешение 17 июля 1834 г.), и Лажечников хотел помочь ее распространению через тверских книгопродавцев. В мае 1835 г. в "Молве", ч. IX, No 18, появилась рецензия Белинского на эту книгу. Отметив, что собранные в ней повести "не первоклассные, даже не художественные в высшем значении", критик признавал, что "тем не менее они достойны всякого внимания по своему внутреннему достоинству". В конце отзыва Белинский писал: "Перевод хотя сделан и дамою, но обличает руку мужскую, твердую и вообще так хорош, что не к чему придраться, кроме разве типографических ошибок, вкравшихся потому, что книга печаталась за глазами переводчицы. Этих ошибок довольно: даже самое имя переводчицы искажено: вместо П..с..нъ, надобно б П..с..къ" (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., изд. АН СССР, т. 1, М. 1953, стр. 189).

6 Далее и до конца главы Пассек частью цитирует, частью свободно излагает текст "Путевых записок", произвольно соединяя куски из разных мест книги.

Глава 35

В ХАРЬКОВЕ

1 Этот отрывок из записок Вас. В. Пассека вошел в первую часть "Очерков России", СПб. 1838, стр. 117--124.

2 О жизни Вас. В. Пассека уже было коротко рассказано в главе 21 "Из дальних лет" (том первый). Помещая здесь более полный рассказ о нем, Пассек излагает и частью цитирует его записки: "Отрывок жизни Василия Пассека, им самим сочиненный в Санктпетербургской градской тюрьме в 1803 году" (было напечатано в "Русском архиве", 1863, NoNo 5--6, 7, 8--9).

3 Тайная экспедиция, созданная Екатериной II в 1762 г. взамен упраздненной Тайной канцелярии и также ведавшая делами политического сыска, была уничтожена Александром I в 1801 г.

Глава 36

В СЕЛЕ СПАССКОМ

1 Эпиграф -- неточная цитата из стихотворения Пушкина "Деревня" (1819).

2 Из незаконченной поэмы Некрасова "Мать" (1877).

3 Из стихотворения Некрасова "Великое чувство! у каждых дверей..." (1877).

4 Права дворянства были возвращены Пассекам в 1836 г.

5 Статья Вадима Пассека "Киево-Печерская обитель" (с датой: 6 сентября 1836 г. Киев) была напечатана в "Очерках России", часть 1, СПб. 1838, стр. 26--79. Статья "Киевские Златые врата" -- там же, часть II, М. 1840, стр. 139--150.

6 О поездке в Англию и о встрече там с Герценом Пассек подробно рассказывает в главе 47.

7 См. в наст. томе прим. 10 к главе 47.

Глава 37

ОДЕССА

1 Эпиграф из "Евгения Онегина" ("Отрывки из путешествия Онегина").

2 См. в наст. томе прим. 28 к главе 27.

3 "Украинский альманах" был издан Срезневским в Харькове в 1831 г. Его же сборники фольклорных, исторических и этнографических материалов "Запорожская старина" вышли в свет в двух частях: часть 1, вып. 1--3, Харьков, 1833--1834; часть 2, вып. 1--3, Харьков, 1838.

4 Рассказ Срезневского "Майор, майор!" появился в "Московском наблюдателе", 1836, ч. VI. В "Очерках России" были напечатаны следующие статьи Срезневского: "Мартын-пушкарь" (ч. 1, стр. 201--218), "Сеймы" (там же, стр. 226--239; в составе этой статьи им была опубликована извлеченная из древней Краледворской рукописи чешская песня о суде Любуши), "Изборники" (там же, стр. 240--250), "Казаки-гайдамаки униатской войны 1595--1654" (ч. III, стр. 121--138).

5 В конце 1837 г. совет Харьковского университета предложил Срезневскому, тогда адъюнкт-профессору по кафедре политической экономии и статистики, отправиться в заграничную командировку для подготовки к занятию кафедры славяноведения. В связи с работой над докторской диссертацией его отъезд задержался. 7 января 1839 г. диссертация была отвергнута университетом, а в сентябре того же года Срезневский выехал за границу, откуда вернулся через три года. С 1842 по 1846 г. он читал в Харьковском университете лекции по истории и литературе славянских языков, с 1847 г. перевелся в Петербургский университет.

6 Пассек приводит далее в свободном изложении текст из "Путевых записок" Вадима Пассека, рукопись которых сохранилась в

ее бумагах (ИРЛИ, ф. 430, ед. хр. 28). В книгу 1834 г. текст этой рукописи не вошел.

7 Письмо это, относящееся к 1837 г. (до июля, когда Пассеки выехали в Одессу), остается неизвестным.

8 Назначенный генерал-губернатором Новороссийского края в 1823 г., М. С. Воронцов занимал эту должность до 1844 г.

9 Из "Евгения Онегина" ("Отрывки из путешествия Онегина").

10 Эпидемия чумы в Одессе началась 22 сентября 1837 г. Последний случай заболевания в городе был отмечен 4 декабря. Карантин был снят 24 февраля 1838 г. Подробное описание этой эпидемии, подтверждающее точность рассказа Пассек, см. в книге Ф. А. Дёрбека "История чумных эпидемий в России с основания государства до настоящего времени". СПб. 1905, стр. 300--311.

11 Описанное у Пассек землетрясение 11/23 января 1838 г. принадлежало к числу очень мощных. Оно охватило обширную территорию от Курской и Харьковской губерний на востоке до Балканского полуострова на западе (см.: И. Мушкетов и А. Орлов, Каталог землетрясений Российской империи. СПб. 1893, стр. 253--265),

Глава 38

ТАВРИДА

1 Эпиграф из "Евгения Онегина" (глава первая, строфа 18).

2 Следующее ниже описание Бахчисарая и татарского женского: праздника (до слов: "Как хороши твои ночи, Таврида!") представляет собой сокращенный текст очерка самой Пассек "Приезд в Бахчисарай. Увеселения и обычаи татарок" ("Очерки России", ч. III, стр. 197--220).

3 Мавзолей Дильара в ханском дворце в Бахчисарае был сооружен ханом Керим Гиреем над могилой его пленницы -- по преданию, польской красавицы Марии Потоцкой.

4 Парадный вход ханского дворца через портал, оформленный итальянским мастером Оливизом Фрязиным Новым, ведет через внутренний дворик, названный у Пассек "сенями", к фонтану, который был построен в 1737 г. ханом Каплан Гиреем.

5 Из поэмы Пушкина "Бахчисарайский фонтан" (1822).

6 Пассек приводит далее сокращенный текст главы "Тепекермен", входящей в "Отрывки из путешествия по Крыму" Вадима Пассека ("Очерки России", ч. IV, стр. 97--102).

7 Описание Мангупа взято из того же источника ("Очерки России", ч. IV, стр. 102--118). Пещерный город и крепость Мангуп существовали в VI--XV вв. и были населены потомками тавро-скифов и сармато-аланов. Предположение Вадима Пассека о греческом происхождении города современной наукой не подтверждается.

8 Сокращенный текст главы "Байдары и Мердвень", из того же источника (стр. 118--120). *Шайтан-Мердвень* -- по-татарски Чертова лестница.

Глава 39

МОСКВА

1 Это письмо Е. И. Герцена, который был свидетелем происходившего в доме кн. Хованской после увоза Н. А. Захарьиной, дополняет рассказ в "Былом и думах" и в воспоминаниях Астраковой, приведенных в главе 30.

2 У Пассек была указана ошибочная дата рождения сына Герцена -- 20 июня.

3 В письмах Н. А. Захарьиной 1838 г. этих слов нет. В письме от 25--31 октября 1837 г. есть сходные строки: "Вот платье, вот наряд к завтраму, а там -- образ, кольца, хлопоты, приготовленья, и ни слова мне!" (А. И. Герцен, Сочинения, изд, Павленкова, т. VII, М. 1907, стр. 370). Эту именно цитату привел Герцен в "Былом и думах" (Г, т. VIII, стр. 354).

4 Речь идет о Людмиле Пассек (о ней см. выше, в главе 26).

5 В 1837 г. Вадим Пассек напечатал в "Журнале министерства внутренних дел", No 9, статью "Курганы и городища в Харьковской губернии". Позднее он продолжал заниматься этой темой и разработал план широкого изучения курганов на всем протяжении России, от Дуная до Забайкалья. Недостаток средств и ранняч смерть не позволили ему осуществить этот план (см. об этом в неизданных письмах Вадима Пассека к М. П. Погодину -- ЛБ, Пог/П, 23.77).

6 Графиня А. Р. Чернышева (1744--1830) была двоюродной сестрой Вас. В. Пассека. Богатая помещица, приближенная Екатерины II, она отличалась вспыльчивостью и своенравием, которые доводили ее до крайней жестокости в отношении к крепостным.

7 Местонахождение автографа этого письма неизвестно.

6 В 1837 г. в Петербурге была издана брошюра П. И. Кеппена "Список известнейшим курганам в России".

9 Герцен вспоминает книги, увлекавшие его и "корчевскую кузину" в годы их юности: "Путешествие молодого Анахарсиса в Грецию" (1788)--сочинение французского археолога и писателя Жан-Жака Бартелеми; "Страдания молодого Вертера" (1774) Гете; трагедии В. А. Озерова -- "Эдип в Афинах" (1804), "Фингал" (1805), "Димитрий Донской" (1807) и др.

10 Из "Евгения Онегина" (глава шестая, строфа 44).

11 Речь идет, видимо, о приезде Герценов в Москву 23 августа 1839 г. Обратно во Владимир они выехали 30 сентября.

12 Пассек имеет в виду запись Герцена в дневнике 1842 г. о смерти Вадима (Г, т. II, стр. 235). Дневники Герцена 1842--1845 гг. были впервые напечатаны в первом томе женевского издания его сочинений (1875). По этой публикации Пассек и могла познакомиться с упомянутой записью.

13 В известных нам письмах Огарева к Пассек таких строк нет,

14 См. выше прим. 70 к главе 32.

15 "Письма об изучении природы" печатались в "Отечественных записках" с апреля 1845 г. по апрель 1846 г. В них Герцен развивал материалистические идеи применительно к вопросам естествознания. В эти же годы в тесном единстве с Белинским формировалось его революционное мировоззрение. Расхождение их обоих с Грановским и другими московскими друзьями вырастало на почве философских и политических разногласий. Переписка Герцена с Грановским в 1847--1855 гг. свидетельствует об их искренней симпатии друг к другу, но вместе с тем и об углублявшемся идейном разладе (см. публикацию Я. З. Черняка писем Грановского к Герцену -- ЛН, т. 62, стр. 86--104).

16 Говоря о сближении Герцена с Белинским и характеризуя статьи последнего, Пассек использовала текст "Былого и дум" (Г, т. IX, стр. 28--29). Однако она при этом извратила мысль Герцена, который отметил в статьях Белинского "оригинальное сочетание идей философских с революционными". Вместо этого Пассек пишет об "оригинальном слиянии идей философских с религиозными".

17 Этот краткий рассказ о ссылке Герцена в Новгород и затем о полученном им разрешении жить в Москве Пассек составила на основе "Былого и дум" (Г, т. IX, стр. 53--91).

18 Цитаты из "Былого и дум" (Г, т. IX, стр. 112 и 113).

19 Из названных стихотворений Сатина три ("Рейн", "Lauro dell'Isola bella" и "Три поры") были напечатаны в альманахе "Литературный вечер", М. 1844. Перевод в стихах "Бури" Шекспира вышел в свет отдельным изданием в Москве в 1840 г. Здесь шекспировской трагедии было предпослано "Посвящение", строки из которого цитирует Астракова.

20 Сохранившиеся письма Герцена к Астраковым за 1832-- 1851 гг. вошли в Собр. соч., изд. АН СССР; там же напечатана большая часть писем Н. А. Герцен к Т. А. Астраковой, однако среди них нет того, которое цитирует здесь Астракова.

21 Сын Герцена Иван родился в середине февраля 1841 г. и через три дня умер. См. об этом в "Былом и думах" (Г, т. IX, стр. 56).

22 Сатин приехал в Новгород в июле 1841 г. и пробыл у Герцена около двух недель. Огарев навестил Герцена гораздо позже -- он был в Новгороде с 31 мая до 10 июня 1842 г.

23 Эта дата неточна: дочь Герцена Наталья родилась 22 декабря. Умерла она 24 декабря 1841 г., как правильно сказано в конце письма.

24 Местонахождение автографа этого письма Н. А. Герцен с припиской Герцена неизвестно. Письмо Астраковой о смерти мужа, последовавшей 12 февраля 1842 г., хранится в ЦГАЛИ, отрывок из него см.: Г, т. XXII, стр. 343. Там же, на стр. 131 напечатано письмо Герцена к ней от 23 февраля, о котором упомянуто ниже.

25 Герцены жили в Покровском с 12 июня по 26 августа 1843 г" Точная дата приезда к ним С. И. и Т. А. Астраковых неизвестна.

25 Слуга Герцена Матвей утонул 14 июня 1843 г. См, запись в дневнике Герцена под этим числом (Г, т. II, стр. 284--288).

27 Сын Иван родился у Герценов 30 ноября и умер 5 декабря 1842 г. (см. там же, стр. 248--249), Отнеся это событие к осени 1843 г., Астракова ошиблась.

28 Проводы Кетчера состоялись 23 октября 1843 г.

29 Астраковы происходили из крепостных крестьян А. И. Бунина, деда Елагиной (см. ЛН, т. 63, стр. 541).

30 Кетчер возвратился из Петербурга только весной 1845 г., до этого он приезжал в Москву в мае 1844 г. Сын же Герцена Николай родился 30 декабря 1843 г., следовательно, упоминаемый разговор Н. А. Герцен с Кетчером мог произойти лишь до его отъезда в Петербург.

Глава 40

УТРАТЫ

1 Эпиграф -- неточная цитата из стихотворения Е. П. Ростопчиной "Ночной мотылек" (1840).

2 Подлинник этого письма от 7 октября 1840 г. хранится в ИРЛИ (ф. 430, ед. хр. 21, лл. 5--6). Приводим полностью части письма, использованные Пассек в сокращении. Образ Петербурга начала 40-х годов, нарисованный Вадимом Пассеком, не лишен известного литературного и исторического интереса:

"Вот я и в Петербурге, мой верный друг! Приехали сюда на рассвете во вторник. Дорога была довольно скучная. Видел Торжок, Вышний Волочок, Валдай и Новгород. Валдайские горы -- то же самое, что и наш Валковский уезд, только больше камня и нет фруктовых лесов. Новгород проехали ночью. Крепость невелика, но почти вся уцелела. Волхов широк и глубок. Все стихло и стало ручьем Великого моря. Верст за сто до Петербурга пустыня -- леса и болота, даже деревень почти нет, одни ямские дворы; холодно, сыро, пасмурно, нет надежды на приют человека -- и вдруг Петербург. Громада зданий, прекрасные улицы, каналы, корабли, паровозы, монументы, войско -- все это, помноженное само на себя, будет Петербург.

Я видел Зимний дворец -- это чудо архитектуры; описывать его не могу, лучше оставим до разговора, перед ним Александровская колонна. Ангел как будто склонился перед дворцом и указывает на небо. Видел памятник Кутузова, Барклая -- и Петра. Был раза три на Невском проспекте. Это широкая улица версты на четыре длиною, один конец примыкает к Главному штабу -- к зданию, кажется в 175 окон в одном фасаде, -- другой конец идет к стороне взморья. Тут есть и трех- и пятиэтажные дома -- все занято вывесками и магазинами.

Ночью освещена улица и магазины газом. Один фонарь освещает ярче десяти обыкновенных. Видел соборы: Троицкий, Казанский и Исакиевский. Последний весь из гранита и мрамора; колонны мраморные, чугунные и бронзовые; на высоте, кажется, 24 ангела в колоссальном виде; вышина собора 47 сажен; внутри помещается 12 000 человек.

Прокатился по железной дороге в Царское Село и в Павловск. Сначала дико немножко, а назад ехал и дремал под вечерок. Удобств много. Ездило до Царского Села человек 200, а в Павловск -- человек 10; назад же -- до 300. При хорошей езде в 20 минут 25 верст. Теперь ты спокойна: я уже не поеду более, чтобы ты не тревожилась. Впрочем, здесь ездят три раза в день, и все много народа. Машина бежит, как будто в сказках: искры сыплются на дороге, белый пар стелется дугою, как грива, -- и этот великан дрожит и ходит ходнем и тащит за собою пудов тысячи две и три.

Ты видишь, что я много сделал в полтора дня. Был у *всех* книгопродавцев. Не знаю, удастся ли сбыть: надежды мало. А впрочем, что бог даст. С литераторами еще не видался, надеюсь завтра. У министров буду дня через два -- надобно приготовить бумаги и еще поговорить кое с кем".

3 Подлинник этого письма не сохранился. О встречах с Вадимом в Петербурге в 1840 г. Герцен упомянул в дневниковой записи 1842 г., посвященной смерти Пассека (Г, т. II, стр. 238).

4 Предложение Греча связано было с организацией им нового журнала "Русский вестник", начавшего выходить с января 1841 г. и принадлежавшего к реакционному крылу тогдашней русской журналистики. О своих встречах с петербургскими литераторами Вадим Пассек подробно писал А. Ф. Вельтману в письмах от 14, 19 и 24 октября 1840 г. (ЛБ, Вельт./II. 4. 51, NoNo 3, 4 и 5).

5 Картина К. И. Рабуса "Вид Кремля при лунном свете" находится в Оружейной палате Московского Кремля.

6 Пассек ошиблась: Я. И. де Санглен был начальником канцелярии "министерства полиции в 1812--1816 гг. О нем упоминается в "Былом и думах" (Г, т. VIII, стр. 58 и 99).

7 С Погодиным В. Пассека связывали общие научные и литературные интересы, что отразилось и в письмах Пассека к Логодину (ЛБ, Пог./II, 50. 54; 52. 72; 23. 77).

8 Пассеки жили на Остоженке (ныне Метростроевская ул., дом No 29).

9 Отрывок из исторической повести Лажечникова "Колдун на Сухаревой башне" появился в "Отечественных записках", 1840, No 6. Повесть не была закончена Лажечниковым.

10 Драматический очерк в четырех актах "Христиерн II и Густав Ваза" был закончен Лажечниковым в 1842 г. и тогда же появился в печати -- сначала в сборниках "Дагерротип", затем отдельным изданием.

11 Подлинник этого письма неизвестен. Дело по обвинению Герцена в распространении "неосновательных слухов" началось в декабре 1840 г. Очевидно, в конце января 1841 г. Герцен уже знал о предстоящей ссылке в Новгород, куда он выехал 30 июня.

12 В 1840 г. в Петербурге было впервые напечатано (по рукописи XVII в.) сочинение Григория Котошихина "О России в царствование Алексея Михайловича", в котором обличались господствовавшие в Московском государстве деспотические порядки.

13 Речь идет, видимо, о не дошедшей до нас статье о проекте храма Христа Спасителя, а не о "Записках А. Л. Витберга", писанных Герценом в Вятке, как предполагает Пассек.

14 Намек на раннюю дружбу с "корчевской кузиной".

15 Первая часть "Записок одного молодого человека", в которую вошли воспоминания о "меленковской кузине", то есть о Т. Кучиной.

16 В октябре 1840 г. Вадим Пассек по поручению Вельтмана продал С. Л. Львицкому за 1000 рублей перевод комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь". Почти одновременно с Вельтманом эту комедию перевел и Сатин (его перевод был напечатан в "Современнике", 1851, No 10). О продаже перевода Пассек известил Вельтмана в письме от 24 октября 1840 г. (ЛБ, Вельт./II, 4. 51. No 5). Поручение Львицкого, передаваемое Герценом, связано с этой сделкой, которая была позднее, по-видимому, расторгнута. Перевод Вельтмана под заглавием "Волшебная ночь" был напечатан в сборнике "Литературный вечер", М. 1844, стр. 35--143. Трагедия Сумарокова "Гамлет" (переделка шекспировской трагедии) была написана в 1748 г.

17 См. выше прим. 2 к главе 38.

18 Статистическое описание Московской губернии было закончено Пассеком в 1841 г., но осталось ненапечатанным.

19 "Московская справочная книжка, изданная Вадимом Пассеком", вышла в свет в 1842 г.

20 Работа Вадима Пассека "Историческое описание Московского Симонова монастыря" была первоначально напечатана в Прибавлениях к "Московским губернским ведомостям", 1842, NoNo 1--12; в 1843 г., уже после смерти автора, она вышла отдельным изданием. Рецензия на эту книгу появилась в "Современнике", 1843, т. 32, No 10, стр. 90--91,

21 Герцены приехали из Новгорода в Москву 17--19 июля 1842 г.

22 О смерти М. Ф. Орлова Герцен узнал 25 марта, еще в Новгороде. Он посвятил ему обширную запись в дневнике (26 марта -- Г, т. II, стр. 201--203). На основе этой записи Пассек и построила свое изложение "рассказов" Герцена (см. также: Г, т. VIII, стр. 175--178).

23 Пассек имеет в виду запись в дневнике Герцена от 29 июля 1842 г. (Г, т. II, стр. 220--5221).

Глава 41

ПО ПРИЕЗДЕ ИЗ НОВГОРОДА

1 В качестве эпиграфа взят рефрен из стихотворения Беранже "Les étoiles qui filent" (1820).

2 О сборнике "Литературный вечер" см. выше, прим. 2 к главе 34., Пассек приводит не вполне точно рецензию, помещенную в "Современнике", 1844, т. 35, No 8, стр. 204--205. В перечне участников сборника Пассек исправила ошибку рецензии (Энгельман вместо правильного Ригельман) и вставила фамилию Н. Д. Неелова, отсутствующую как в рецензии, так и в оглавлении сборника. Ему, очевидно, принадлежит повесть "Быль не быль, да и не выдумка", -- единственная вещь в сборнике, помещенная анонимно.

3 В дневнике 1842 г., запись 26 октября, Герцен с большим чувством характеризует Е. Г. Черткову (сестру декабриста З. Г. Чернышева) и отмечает ее дружеское, сердечное отношение к семье умершего Вадима Пассека (Г, т. II, стр. 236--237; см. также в "Былом и думах" -- т. VIII, стр. 143).

4 Эта полоса семейной жизни Герцена отразилась во многих записях его дневника 1842--1843 гг.

5 Первый текст, взятый в кавычки, Пассек составила на основе дневниковой записи Герцена от 18 января 1843 г. (Г, т. II, стр. 262). Второй текст в кавычках также восходит к дневниковой записи -- от 9 мая 1843 г. (там же, стр. 280).

6 По просьбе Герцена С. Г. Строганов в марте 1843 г. обратился к Бенкендорфу с письмом о разрешении ему поездки за границу. 18 апреля Герцен узнал об отказе царя.

7 В "Отечественных записках" 1843 г. был напечатан цикл статей Герцена "Дилетантизм в науке".

8 Неточная цитата из дневника Герцена, запись от 28 февраля 1843 г. (Г, т. II, стр. 268).

9 Перечень авторов сочинений, прочитанных Герценом, и краткие характеристики некоторых из них Пассек заимствовала из дневника Герцена за 1842--1845 гг. (см. Г, т. II, по указателю имен).

10 С октября 1844 г. и до весны 1845 г. Герцен посещал в Московском университете лекции И. Т. Глебова по сравнительной анатомии, интересовавшие его в связи с работой над "Письмами об изучении природы".

11 В 1844 г. Грановский хлопотал о разрешении издавать журнал исторического и критического содержания "Ежемесячное обозрение", в котором обещали принять участие многие его друзья. В 1845 г. ему сообщили ответ царя на просьбу о новом журнале: "Не нужно" (см.: "Т. Н. Грановский и его переписка", т, 1. Биографический очерк А. Станкевича. М. 1897, стр. 134--136, а также Г, т. XXII, стр. 366--367).

12 Устный рассказ Щепкина послужил Герцену основой для создания повести "Сорока-воровка" (1847).

13 Заключительный абзац не является письмом Герцена: Пассек составила его на основе дневниковой записи от 16 июня 1843 г. (Г, т. II, стр. 286--287).

Глава 42

ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ГРАНОВСКИЙ

Первая половина настоящей главы посвящена крупному событию в общественной жизни Москвы 40-х годов -- публичным лекциям Грановского по истории Западной Европы в средние века. Эти лекции не случайно привлекали многочисленных слушателей из кругов московской интеллигенции. Будучи ученым-просветителем, Грановский на материале истории средневековья развивал передовые идеи. По словам Герцена, "его сила была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительном нравственном влиянии, ... в чистоте его характера и в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России" (Г, т. IX, стр. 122). Пассек перепечатала в этой главе полный текст двух статей Герцена о лекциях Грановского, воскресив их тем самым в сознании русского общества. В рассказе о лекциях и об их успехе у публики Пассек использовала вполне достоверные свидетельства Т. А. Астраковой, которая слушала Грановского и вспоминала о его лекциях по личным впечатлениям.

На воспоминаниях Астраковой построена в основном и вторая половина главы -- рассказ о московском периоде жизни Герцена, о начавшемся разладе с друзьями и о его решении ехать за границу. Не напечатанное по цензурным причинам продолжение этих воспоминаний -- описание прощального вечера у Грановского и проводов Герцена на станции Черная Грязь -- сохранилось в рукописи и печатается во втором приложении к настоящему тому.

В отдельном издании Пассек несколько сократила и переделала текст Астраковой. Эти части главы мы печатаем по РС, где они были даны в более близком к первоисточнику виде.

1 Эпиграф из второй статьи Герцена "О публичных чтениях г-на Грановского" (Г, т. II, стр. 123).

2 Чтение первого курса публичных лекций в Московском университете Грановский начал 23 ноября 1843 г. и закончил 22 апреля 1844 г. Текст их в Печати не появлялся, до нас они дошли в записях некоторых слушателей (хранятся в Государственном Историческом музее в Москве). Грановский читал курсы публичных лекций и позднее -- в 1845/46 и в 1851 гг.

3 Первый абзац почти точно воспроизводит слова Герцена из *его* первой статьи о лекциях Грановского.

4 Часть главы от начала второго абзаца и до строк, подводящих к статье Герцена, Пассек взяла из воспоминаний Астраковой. К этим же воспоминаниям восходит, очевидно, текст, находящийся между первой и второй статьями Герцена.

5 К этому месту в РС было дано примечание: "Помещаем это письмо и следующее с печатных оттисков, полученных Т. П. Пассек от самого автора. Оттиски, сохранившиеся в библиотеке П. А. Ефремова, также весьма любезно сообщены им "Русской старине".-- *Ред."* (РС, 1877, No 7, стр. 447). Рукопись статьи неизвестна. Пассек напечатала ее вполне исправно, за исключением немногих мелких неточностей, которые устранены нами. Свои впечатления от лекций Герцен записывал в дневник (см. Г, т. II, стр. 316--320; о них он писал также в Петербург Кетчеру -- т. XXII, стр. 159--160 и 182--183).

6 Грановский был командирован в Берлинский университет для подготовки к профессорской деятельности в 1836 г. В Москву он вернулся в августе 1839 г.

7 Французские просветители (Монтескье, Вольтер и др.) односторонне рассматривали средние века как период невежества и варварства, и не умели правильно объяснить значение этой эпохи в европейской истории. Автор ряда трудов по истории средневековья, опубликованных в 30-х годах, Генрих Лео (1799--1878), стоял на реакционных позициях как в своих исторических исследованиях, так и в публицистических статьях, на что и намекает Герцен.

8 Герцен имеет в виду произведения, в которых воссоздавались образы героев поэм Гомера и трагедий Софокла: трагедии Сенеки ("Геркулес на Эте", "Агамемнон"), Расина ("Андромаха", "Федра"), Альфиери ("Орест", "Антигона", "Агамемнон"), Гете ("Ифигения").

9 *Архитектура огивы* -- готическая архитектура с ее стрельчатыми арками (от франц. ogive -- стрелка).

10 "Письма об эстетическом воспитании" Шиллера появились в 1795 г. В начале этого трактата автор сам указывает на связь своей системы с философией Канта. Идея историзма отличает эстетические взгляды Шиллера от взглядов других теоретиков искусства XVIII в.

11 Немецкий ученый-теолог Генрих Паулус опубликовал без разрешения автора лекции Шеллинга, читанные им в Берлинском университете в 1841--1842 гг., после чего Шеллинг возбудил против него судебный процесс.

12 В "Москвитянине" (1843, ч. VI, No 12, стр. 521--530), в разделе "Московская летопись" была помещена статья Шевырева о лекциях Грановского. Признавая, по необходимости, многие достоинства этих лекций, Шевырев упрекал Грановского в односторонности, в том, что он "добровольно стал в ряды западных мыслителей, там приковал себя к одному чужому знамени и обещал нам быть эхом одной только стороны исторического учения". Упрека в том, что Грановский "ничего не сказал о России", в статье нет. Его Пассек взяла из записи в дневнике Герцена от 11 декабря 1843 г. (Г, т. II, стр. 319).

13 Ответ Грановского приведен почти точно по записи в дневнике Герцена от 21 декабря 1843 г. (там же, стр. 320).

14 Вторую статью о лекциях Грановского Герцен закончил в середине декабря 1843 г., но С. Г. Строганов отказался напечатать ее в "Московских ведомостях". До последнего времени текст статьи считался утраченным. В 1961 г. И. Г. Птушкиной была найдена сохранившаяся в фонде Свербеевых (ЦГАЛИ) рукописная копия этой статьи, скрепленная подписью Герцена и датированная им 15 декабря 1843 г. Очевидно, это тот экземпляр, который был приготовлен для набора в "Московских ведомостях". Текст новонайденной статьи опубликован в журнале "Новый мир", 1962, No 3; он войдет в том XXX собр. соч. Герцена, изд. АН СССР.

Летом 1844 г. Герцен написал новую статью, посвященную окончанию курса лекций Грановского, и тогда же напечатал ее в июльской книжке "Москвитянина". По тексту этой публикации Пассек и перепечатала ее в настоящей главе.

15 Вслед за Грановским с публичными лекциями выступали и другие профессора Московского университета -- С. П. Шевырев по

истории древней русской словесности (1844/45 г.), К. Ф, Рулье по зоологии (1845/46 г.), и др.

16 Имеется в виду заключительная сцена трагедии Шекспира "Гамлет, принц датский",

17 Из стихотворения Гете "Соединенным Штатам" (1827).

18 См. об этом запись в дневнике Герцена от 24 апреля 1844 г. (Г, т. II, стр. 350--351),

19 Эту мысль Герцен высказал в "Былом и думах" (Г, т. IX, стр. 132).

20 В 1844 г, Герцены выехали в Покровское 24 июня. Работать над "Письмами об изучении природы" Герцен начал в июле. Текст в кавычках -- не вполне точная цитата из первой статьи этого цикла "Эмпирия и идеализм" (Г, т. III, стр. 91),

21 Е. Ф. Корш с женой приехали в Покровское в августе. Герцен отметил в дневнике приезд многих друзей и знакомых, навестивших Покровское в связи с именинами Н. А. Герцен 25 августа (Г, т. II, стр. 370 и 374).

22 Завещание И. А. Яковлева неизвестно. О его содержании мы можем судить по ряду источников: свидетельство Е. И. Герцена, приведенное по памяти (РС, 1876, No 4, стр. 809--810), поправки к нему Д. Д. Голохвастова, располагавшего самим документом ("Русский архив", 1876, No 6, стр. 235--236) и рассказ Герцена в "Былом и думах" (Г, т. IX, стр. 181--182).

23 Ошибка Пассек: Герцен получил после смерти отца имение в Костромской губернии (дер. Лепехино Чухломского уезда). Так как он не был законным наследником И. А. Яковлева, то последний еще в 1840 г. оформил фиктивную продажу имения Герцену ("Звенья", т. IX, М. 1951, стр. 516--517).

24 О ссоре И. А. Яковлева с Д. П. Голохвастовым подробно рассказано в "Былом и думах" (Г, т. IX, стр. 177--182; см. также т. XXII, стр. 233). Некоторые новые данные для понимания этой ссоры вносит неизданное письмо Пассек к ее тетке Е. П. Смаллан от декабря 1844 г.: "Об Иване Алексеевиче можно сказать только, что он день ото дня становится блаженнее -- а на его блажь день ото дня все смотрят меньше. Ссора его была с Дмитрием Павловичем, которому, отдавая остальные от продажи 700 душ, он наделал столько условий, что Д. П. едва не оставался в убытке. Огорченный такой недобросовестностью

Ивана Алексеевича, он ото всего отказался, выговоривши Ивану Алексеевичу все их прежние дела, и тут сделал ему жестокий, но справедливый упрек в их поступке с детьми Петра Алексеевича, высказал ему все, о чем они думали, что знает только их нечистая совесть, истина вечно жива, и через много лет, на конце его дней, предстала перед ним, да еще из уст родного и любимого племянника. Вследствие этой ссоры и желая помириться с Дмитрием Павловичем, Иван Алексеевич назначил нам 10 тысяч, но примирения еще нет. Когда Саша по желанию Ивана Алексеевича приехал к Д. П. с предложением мира и объявлением о назначении 10 т. нам, то Д. П. отвечал: я не поверю им, по своему обыкновению обманут, а скажи от меня, что я сам своим обеспечиваю эти 10 т.; если дядя опять обманет, то я их вместо него выплачу Т. П. Саша хочет столько же из своей доли Анночке, дочери Алеши" (ИРЛИ, ф. 430, ед. хр. 8, No 3).

Это письмо подкрепляет достоверность рассказа Пассек о судьбе наследства ее деда П. А. Яковлева (см. в лервом томе главу 2) и дает дополнительный материал для комментария к "Былому и думам".

25 И. А. Яковлев не мог передать при жизни керенское имение С. Л. Поленовой, так как она не была его наследницей. Это имение было завещано Д. П. Голохвастову, но особым письмом И. А. просил его передать имение дочери сенатора.

26 Философские и социально-политические разногласия между Герценом и Огаревым, с одной стороны, и их московскими друзьями, с другой, начались вскоре после возвращения Герцена в Москву, но особенно резко выявились летом 1846 г. в Соколове, где в последний раз собрались друзья Герцена. См. об этом в "Былом и думах" (Г, т. IX, стр. 207--212).

27 Речь идет о написанных в 1844 г. реакционно-славянофильских стихотворениях Н. М. Языкова ("К не нашим", "Константину Аксакову", "К Чаадаеву"), направленных против лагеря "западников" и изобиловавших обвинениями, напоминавшими полицейский донос. См. об этом в "Былом и думах" (Г, т. IX, стр. 167 и 321--322).

28 Магистерскую диссертацию "Волин, Иомсбург и Винета" Грановский защитил в Московском университете 21 февраля 1845 г. В биографическом очерке "Тимофей Николаевич Грановский" (М. 1869) А. В. Станкевич писал о том, как проходила эта защита: "Тем, которые присутствовали на этом диспуте, памятны еще умеренность и

спокойствие, с какими Грановский отвечал на более чем горячие возражения оппонентов. Слушатели и студенты при этом случае выказали свое сочувствие автору диссертации и не воздержались от выражений неодобрения некоторым из его противников. Друзья последних начали толковать, что в университете был бунт. Толки такого рода могли быть тогда небезопасны для университета. Желая охранить юношей от неприятностей ... Грановский пред началом одной из своих лекций обратился к ним с словами благодарности и вместе совета" (стр. 146). Здесь же, в более полном виде, приведено обращение Грановского к студентам.

29 Неточная цитата из статьи Белинского "Русская литература в 1845 году" (В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. IX, М. 1955, стр. 396). Эта мысль высказана критиком в связи с разбором первой части романа "Кто виноват?", напечатанной в "Отечественных записках", 1845, No 12.

30 Отсюда и до конца главы с небольшими перерывами идет текст воспоминаний Астраковой. Находящееся в начале следующего абзаца сокращенное обозначение фамилии "А -- ой" раскрываем предположительно как "Аксаковой" (дочери С. Т. Аксакова Веры Сергеевны).

31 В РС за этим следовала общая характеристика обстановки, в которой начались лекции Грановского. Готовя отдельное издание, Пассек перенесла этот текст в начало главы (см. прим, 4). От такой перестановки композиция главы, несомненно, выиграла, почему мы не сочли нужным возвращаться к менее удачному варианту РС.

32 Мать Н. А. Герцен Аксинья Ивановна Захарьина (по другим данным -- Фролова) была, по-видимому, крепостной в шацком имении А. А. Яковлева.

33 Шутливая записка Герцена приведена здесь не вполне точно (см. ЛН, т. 64, стр. 509).

34 Дочь Герценов Елизавета родилась 30 декабря 1845 г. и умерла 27 ноября 1846 г.

35 Как видно из рукописи Астраковой, ее замечание о "роковом влиянии" относилось к М. Ф. Корш.

Глава 43

ЗА ГРАНИЦЕЙ

Рукопись настоящей главы сохранилась в бумагах "Русской старины" (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, ед. хр. 1977, лл. 1--16 об.). По сравнению с журнальной публикацией (РС, 1877, No 10, стр. 277--300) рукописный текст содержит ряд интересных вариантов, наиболее существенные из которых приводятся в примечаниях. В основном тексте по рукописи восстанавливаются только те купюры, в которых явственно обнаруживается наличие цензурной правки или автоцензуры. Все такие случаи оговариваются в примечаниях. О заграничной поездке Пассек 1859--1861 гг. см. во вступительной статье к настоящему изданию, где указаны также неточности, допущенные Пассек в ее рассказе.

1 Эпиграф из поэмы Огарева "Юмор" (часть вторая,

глава 9).

2 Весь текст от слов: "Больше и говорить не стал" до "...бояться нечего", восстанавливаем по рукописи, так как очевидно, что он был исключен по цензурным соображениям.

3 В рукописи слово "негодование" зачеркнуто и сверху рукой Пассек вписано: "недоумение". Этот смягченный ради цензуры вариант вошел в оба печатных текста.

4 Черновик этого письма Пассек к шефу жандармов и начальнику III Отделения кн. В. А. Долгорукову сохранился в ее бумагах (ИРЛИ, ф. 430, ед. хр. 4). См. об этом во вступительной статье к настоящему изданию.

5 "Русский вестник", основанный М. Н. Катковым в 1856 г., занимал первоначально умеренно-либеральные позиции. Большому успеху журнала в первые годы его существования способствовало участие в нем лучших писателей -- Тургенева, Толстого, Салтыкова-Щедрина, Островского, Аксакова и др. После 1861 года, в связи с переходом Каткова в лагерь реакции, журнал стал утрачивать свое прежнее значение.

6 Скульптура работы Ф. П. Толстого "Нимфа, льющая воду из кувшина" находится в центре водоема "Львиный каскад" в Нижнем парке Петродворца (б. Петергофа).

7 Четыре барельефа на темы "Одиссеи" были выполнены Ф. П. Толстым в 1816--1822 гг. Оригиналы их находятся в Государственной Третьяковской галерее в Москве. Описание барельефов Пассек заимствовала из составленного самим Толстым обзора его художественной деятельности (РС, 1873, No 4, стр. 524).

8 Оригиналы двадцати медальонов, созданных Ф. П. Толстым в память Отечественной войны 1812--1814 гг., находятся в Государственном Русском музее в Ленинграде. О работе над ними, продолжавшейся с 1814 по 1836 г., Толстой рассказал в "Записках" (РС, 1873, No 2, стр. 139--143; см. также -- 1873, No 4, стр. 518--519).

9 Скульптура Морфея (мрамор, 1852), работы Ф. П. Толстого, находится в Государственной Третьяковской галерее. Его же картина

"Семейный портрет" (1830) хранится в Государственном Русском музее.

10 В кратком изложении фактов биографии Шевченко Пассек допустила ряд ошибок. Освобожденный от крепостной зависимости 22 апреля 1838 г., он в том же году был принят в Академию художеств, которую окончил в 1845 г. со званием свободного художника, после чего уехал на Украину. Арестован он был 5 апреля 1847 г. по делу Кирилло-Мефодиевского общества. У поэта при обыске были найдены стихи "возмутительного и преступного содержания", вследствие чего он был отдан в солдаты и сослан в Оренбург, а оттуда в Орскую крепость; в No 50 г. за то что он, вопреки запрещению, писал стихи и рисовал, его выслали в Ново-Петровское укрепление на берегу Каспийского моря. Весной 1857 г. Шевченко по ходатайству Ф. П. Толстого получил разрешение выйти в отставку; 2 августа того же года он покинул Ново-Петровское укрепление.

11 Письма Шевченко к А. И. Толстой Пассек напечатала по подлинникам с пропуском незначительных приписок, довольно исправно, если не считать немногих мелких неточностей. Точное воспроизведение по автографам всех напечатанных ею писем см. в издании: Тарас Шевченко, Повне зібрання творів, т. VI, изд. АН УРСР, КиГв, 1957, стр. 107--109, 124--126, 149--150, 158--159 и 178.

12 Имеется в виду приятель Шевченко, художник Николай Осипович Осипов.

13 Имеется в виду скульптор И. Т. Тимофеев. О нем см. в книге Н. А. Рамазанова "Материалы для истории художеств в России", т. I, М. 1863,

14 Президентом Академии художеств с 1852 по 1876 г. была дочь Николая I в. к. Мария Николаевна.

15 У Пассек это письмо было напечатано "с соблюдением правописания подлинника". В настоящем издании все письма Шевченко печатаются в соответствии с современными нормами орфографии,

16 Перевод "Замогильных записок" Шатобриана печатался в "Отечественных записках" с ноября 1848 г. до конца 1849 г. Одновременно их печатала и "Библиотека для чтения".

17 По возвращении из ссылки Шевченко много занимался гравированием. За офорты с картин Рембрандта, Мурильо, Брюллова и

др. Академия художеств присвоила ему в 1860 г. звание академика.

18 "Русский инвалид" -- официальная военная газета, издававшаяся военным министерством. О чтении Шевченко этой газеты см. в книге: Ф. Я. Прийма, Шевченко и русская литература XIX века, М. -- Л. 1961, стр. 132--133.

19 О дружбе Шевченко со Щепкиным и о приезде последнего в Ннжний-Новгород см. в книге: А. Б. Дерман, Московского Малого театра актер Щепкин, М. 1951, стр. 231--235.

20 В Нижнем-Новгороде Щепкин дал три спектакля, в которых были исполнены "Ревизор" Гоголя, "Бедность не порок" Островского, "Москаль-чаривник" Котляревского и переведенный с французского водевиль Соважа и Делорье "Матрос".

21 Первое издание книги С. Т. Аксакова "Детские годы Багрова-внука" вышло в свет в Москве в начале 1858 г. Обширный документальный материал о дружеских взаимоотношениях Шевченко и С. Т. *Аксакова* собран в брошюре: "Т. Г. Шевченко и С. Т. Аксаков", под ред. Н. П. Пахомова, М. 1961 (издание музея "Абрамцево").

22 Шевченко приехал в Петербург 2? марта 1858 г.

23 Этот абзац мы даем по рукописи. В РС он был заменен более безопасным с точки зрения цензуры текстом: "Вслед за письмом я получила от него ящик книг и печатный листок". Так осталось и в отдельном издании.

24 То есть, что "он звонит в колокол". Шутливый намек на издание "Колокола". Детям Пассек Герцен приходился троюродным дедом.

25 Рассказ Каролины Павловой "За чайным столом" был напечатан в "Русском вестнике", 1860, декабрь, кн. 2 (см. также Собр. соч. К. Павловой, т. II, М. 1915).

26 Сообщение Пассек о встрече Каткова с Герценом в Лондоне в 1859 г. подтверждается заявлением самого Каткова, который писал в 1862 г. в полемической "Заметке для издателя "Колокола"": "Пишущий эти строки, еще три года тому назад, в бытность свою в Лондоне, встретился с этими господами в одном доме как с старыми анакомыми, из которых с одним был довольно близок в молодости. Перед своим отъездом из Лондона он заглянул к ним не без некоторой наивной надежды перемолвиться с ними добрым словом об их направлении. Но с самого начала он увидел всю тщету своей надежды, и разговор их

ограничился общими местами" ("Русский вестник", 1862, No 6, стр. 836).

Слова "Тебе бог попрыскал очи..." Пассек взяла из письма Герцена к Огареву от 15 мая 1868 г. (ГЛ, т. XX, стр. 274--276).

27 Столетие со дня рождения Шиллера торжественно праздновалось в Германии 10 ноября 1859 г.

28 Этот конфликт между отцом и сыном нашел отражение во многих письмах Герцена к А. А. Герцену 1860 г. См. об этом в предисловии Л. И. Матюшенко к публикации писем Герцена к сыну Александру (ЛН, т. 64, стр. 539--549).

29 Для рассказа о Карле Фогте Пассек использовала "Былое и Думы" (Г, т. X, стр. 166--169, 172).

30 Сын Герцена отправился с К. Фогтом в путешествие по Норвегии и Исландии 12 мая 1861 г. Вернулись они в октябре того же года.

31 О посещении летом 1861 г. этих лекций Исидора Жоффруа Сент-Илера, крупного зоолога, одного из предшественников Дарвина, рассказывает дочь Ф. П. Толстого (Е. Ф. Юнге, Воспоминания, М, б/г, стр. 318--321).

32 Вслед за этим в рукописи шли слова: "...их было не очень много, содержания самого невинного". Там же, после окончания абзаца, следовала зачеркнутая фраза: "[Через несколько времени] Впоследствии я их сожгла без всякой надобности, сама не знаю зачем" (ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, ед. хр. 1977, л. 15 об.). На основании печатных источников и неизданных материалов нами установлено, что писем Герцена к Пассек за 1859--1861 гг. было не менее восемнадцати (см. о них: Г, тт. XXVI и XXVII). Я. Н. Толстой был советником русского посольства и, вместе с тем, заграничным агентом III Отделения в Париже, о чем вряд ли знала Пассек.

33 Младшая дочь Герцена Ольга жила в это время в Париже с Мальвидой фон Мейзенбуг. Старшая его дочь Наталья (Тэта) приехала из Лондона вместе с отцом. Упомянутый здесь родственник -- двоюродный брат Герцена С. Л. Левицкий (Львицкий).

34 "Римский клуб" ("Circolo Romano") -- политическая организация, созданная в 1847 г. Он объединял представителей либерального дворянства и буржуазии, стремившихся направить народное движение в Италии по реформистскому пути. "Tribune des

Peuples" -- газета, издававшаяся в Париже с марта 1849 г, при участии политических деятелей разных национальностей. Главным редактором газеты был Адам Мицкевич. В июне 1849 г. газета подверглась репрессиям со стороны французских властей, а в октябре того же года издание ее прекратилось.

Глава 44

ГРАФ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ ТОЛСТОЙ

Главное место в настоящей главе занимают обширные выдержки из "Записок" Ф. П. Толстого (1783--1873), над которыми он работал в последние десятилетия своей жизни. Начало их -- рассказ о детстве и юности -- было напечатано в РС, 1873, NoNo 1 и 2, а в No 4 за тот же год был опубликован составленный самим Толстым краткий обзор всей его художественной деятельности. В 1878 г. Пассек, получившая от вдовы и дочери Толстого рукопись его "Записок", продолжила их публикацию, напечатав в составе своих воспоминаний "Из дальних лет" рассказы Толстого, охватывающие время от 1815 до 1826 г. (РС, 1878, No 2). Готовя главу "Ф. П. Толстой" для отдельного издания своей книги, Пассек во многом отступила от ранее ею опубликованного подлинного текста "Записок" Толстого: она нарушила правильную хронологическую и смысловую последовательность отрывков, поместив рассказ о масонских ложах и о ланкастерских школах после страниц, посвященных "Обществу Зеленой книги"; кроме того, она сильно сократила текст Толстого и во многих местах заменила его собственным пересказом. Подлинный текст фрагментов из мемуаров Толстого оказался, таким образом, забытым на страницах журнала. Между тем автограф "Записок" за ранние годы был утрачен и их отрывки, напечатанные в 1878 г., приобрели значение первоисточника. На основании сказанного мы печатаем в настоящем издании весь текст главы, относящийся к Толстому, по публикации РС,

Ф. П. Толстой был видным деятелем Союза Благоденствия, который именуется в его "Записках" "Обществом Зеленой книги" ("Зеленой книгой" по цвету переплета назывался устав Союза Благоденствия, существовавшего с 1818 до 1821 г.). Имя его стоит в списке членов Коренного совета Союза, то есть его основателей. Он

возглавлял масонскую ложу "Избранного Михаила", которую, по предположению некоторых исследователей, Союз Благоденствия использовал как арену своей деятельности. Он был председателем "Вольного общества учреждения училищ по методе взаимного обучения", основанного по инициативе Союза Благоденствия. На известном совещании Коренной управы Союза в январе 1820 г., на котором обсуждался вопрос, какая форма правления -- монархическая или республиканская -- более пригодна для России, Толстой был председателем и вместе со всеми участниками совещания голосовал за республику. В дальнейшем, с 1820 или 1821 г., Толстой отошел от декабристского движения и не принимал никакого участия в деятельности Северного общества, созданного после ликвидации Союза Благоденствия, хотя и сохранял дружеские связи со многими декабристами (Муравьевыми, Бестужевыми и др.). Вопрос об отношении Толстого к движению декабристов подробно рассматривается в статье Н. Н. Коваленской "Художник-декабрист Ф. П. Толстой" (сборник "Очерки из истории движения декабристов", М. 1954, стр. 518--560).

Несмотря на то, что Толстой писал свои записки в преклонном возрасте, его рассказ насыщен множеством конкретных деталей и отличается фактической достоверностью. Однако за частными фактами и случайными эпизодами он не всегда умеет раскрыть подлинный смысл исторических событий, свидетелем которых ему пришлось быть. Особенно это относится к его рассказу о 14 декабря 1825 г., когда он оказался, в сущности, в роли постороннего наблюдателя совершавшейся на его глазах исторической драмы. Эпизоды с разоружением спасавшихся во дворе Академии художеств солдат и с письмом к Бенкендорфу о раненом унтер-офицере Московского полка показывают, что в решающий момент Толстой, при всей его личной доброте и гуманности, оказался на стороне самодержавного деспотизма. Но, учитывая эту особенность его "Записок", мы должны все же признать, что сохраненные в книге Пассек фрагменты воспоминаний Толстого должны быть введены в декабристскую историографию в качестве одного из источников для изучения раннего этапа освободительного движения, которое закончилось восстанием на Сенатской площади,

1 Об этом обеде и о других парижских встречах с Герценом Пассек более подробно рассказала в письме к Н. Ф. Щербине от 3 июля 1861 г. (приведено во вступительной статье к настоящему изданию).

2 Пассек ошиблась: Герцен пробыл в Париже две недели -- с 21 июня до 5 или 6 июля.

3 Кн. П. В. Долгоруков, замешанный в ряде бесчестных поступков (так, его рукой был написан оскорбительный пасквиль, ставший непосредственной причиной дуэли и смерти Пушкина), принадлежал к одному из древнейших княжеских родов России; его карьера складывалась неудачно, и это поставило его в оппозицию к самодержавию и правящим кругам дворянства. В 1859 г. Долгоруков эмигрировал, а в следующем году выпустил памфлет "Правда о России" и начал издавать журнал "Будущность", в котором помещал биографические очерки русских сановников, наполняя их скандальными подробностями. Герцен был знаком с Долгоруковым и печатал в "Колоколе" его разоблачительные статьи. "Записками" Долгорукова Пассек называет, вероятно, его мемуары, первый том которых был напечатан на французском языке в Женеве в 1867 г. ("Mémoires du prince Dolgoroukow").

4 "Письма об Испании" В. П. Боткина печатались в "Современнике" в 1847--1849 гг.; в 1857 г. они вышли отдельным изданием.

5 О содержании этого прощального разговора между Герценом и Пассек см. во вступительной статье к настоящему изданию.

6 Приурочивая присылку фотографии Герцена и Огарева к данному времени, Пассек допустила ошибку: о получении этой карточки она сообщала сыну еще 8 марта 1861 г. (ИРЛИ, ф. 430, ед. хр. 5, письмо No 23).

7 Н. Ф. Щербина привез с собой за границу тетрадь с русскими песнями, предполагая издать их в Лондоне с целью ознакомления западноевропейской публики с песенным творчеством русского народа. Герцен сочувственно отнесся к этому проекту, который, однако, по неизвестным причинам, не осуществился. См. подготовленную Е. В. Гиппиусом публикацию письма Щербины к Герцену (ЛН, т. 62, стр. 730--734).

8 Масонство, возникшее в России еще в середине XVIII в. и насчитывавшее в своем составе много различных систем, в целом играло реакционную роль. Однако в первой четверти XIX в. в масонские ложи вступило немало прогрессивных деятелей, стремившихся использовать масонские организационные формы для пропаганды идей социальной справедливости. Многие из таких масонов принадлежали к декабристским организациям.

9 В указанном томе РС была напечатана обширная документальная публикация "Уничтожение масонских лож в России".

10 Ланкастерская система взаимного обучения (старшие ученики под наблюдением учителя обучали младших чтению, письму и счету) возникла в Англии на рубеже XVIII--XIX вв. и была названа по имени ее создателя Джозефа Ланкастера. В первой половине XIX в. эта система получила известное распространение в России, где ее применяли передовые дворяне, в том числе многие декабристы, для просвещения народа. О создании и деятельности "Вольного общества учреждения училищ по методе взаимного обучения", председателем которого был Ф. П. Толстой, см. в трудах М. В. Нечкиной ("Движение декабристов", т. 1, М., 1955, стр. 263--267) и В. Г. Базанова ("Вольное общество любителей российской словесности", Петрозаводск, 1949, стр. 61--76).

11 Ланкастерская школа была создана в начале 1820 г., когда, следовательно, Толстому было уже 36 лет.

12 Село Грузино, Новгородской губернии, с двумя тысячами крестьян было подарено Аракчееву еще Павлом I. Военные поселения создавались с 1816--1817 гг. в ряде губерний, в том числе в Новгородской. Внимание Аракчеева к ланкастерской школе было вызвано, по-видимому, тем интересом, который проявлял к этой системе Александр I: по его желанию в 1817--1819 гг. метод взаимного обучения был применен в некоторых военных школах, а в 1820 г. в Петербурге был создан "Комитет для учреждения училищ взаимного обучения".

13 Ошибка Пассек: над медалями в память Отечественной войны Толстой начал работать с 1814 г.

14 Эта неловко построенная фраза в "Записках" Толстого могла дать повод к выводу, будто он относил слова "бесчинства, злоупотребления" к народным массам. В отдельном издании Пассек

исправила это место: "...многие из этих молодых людей, видя невежество народных масс и злоупотребления лиц, занимавших правительственные должности, вздумали образовать тайное общество".

15 Данное здесь толкование причин, породивших движение декабристов, и целей, которые оно преследовало, отражает либеральную концепцию декабризма, развитую А. Н. Пыпиным в его труде "Общественное движение в России при Александре I" (1870).

16 Слово "реакция" употреблено здесь не в смысле современного политического термина, а для обозначения того, как "молодые реформаторы" реагировали на отказ Александра I от либеральных идей, которыми характеризовалось начало его царствования.

17 Старшая дочь Толстого М. Ф. Каменская в своих воспоминаниях передает этот эпизод по-другому -- раненый унтер-офицер говорил о солдатах, оставшихся верными Николаю I: "Они, предателя, по своим стреляли... срамота какая, от родной руки умереть, точно преступник..." ("Исторический вестник", 1894, кн. 4, стр. 31--32). Возможно, что ей запомнились устные рассказы отца о дне 14 декабря.

18 В РС, 1873, No 3, стр. 361--370, был напечатан отрывок из записок И. О. Сухозанета -- рассказ о 14 декабря и о действиях артиллерии, сыгравшей решающую роль в подавлении восстания.

19 Толстой ошибся: Адлерберг тогда еще не был графом; он получил этот титул только в 1847 г.

20 Толстой, несомненно, был знаком с Пестелем, но никакой близости между ними, по-видимому, не было, Об этом свидетельствуют и показания Пестеля. На вопрос о Толстом, поставленный ему 26 января 1826 г., он отвечал: "Где находится сей граф Толстой, как его зовут, служит ли он или нет, -- все сие мне совершенно неизвестно. С тех пор (то есть со времени совещания Коренной управы в начале 1820 г. -- *А. Д.)* я ничего о нем более не слыхал. Тогда же видел я его весьма редко" (ЦГИАМ, ф. 48, оп. 1, ед. хр. 232, л. 2).

21 В бумагах Следственной комиссии по делу декабристов сохранились письменные вопросы, предъявленные Ф. П. Толстому 15 февраля 1826 г., и его ответы на них (ЦГИАМ, ф. 48, оп. 1, ед. хр. 232, лл. 3--6). Этот документ свидетельствует, что Толстой был крайне

сдержан в своих показаниях. Избегая даже названия "Союз Благоденствия", он именует его "одним благотворительным обществом" и уверяет, что целью его было "благотворение, поощрение и распространение наук и художеств". Он назвал имена нескольких известных ему членов "общества" (Долгорукого, Трубецкого, Глинку, Никиту Муравьева, Сергея Муравьева-Апостола и некоторых других), но уклонился от ответа на вопрос, "кто были первоначальные основатели сего общества". По главному пункту допроса -- о совещании Коренной управы Союза в январе 1820 г. -- Толстой занял позицию полного отрицания: "Об упомянутых в пятом пункте собраниях я никогда не знал и никогда на оных не находился..." Несмотря на то что роль Толстого как участника и председателя этого совещания была подтверждена показаниями Пестеля, Якушкина, С. Муравьева-Апостола и других декабристов, он, в числе прочих членов Союза Благоденствия, "не участвовавших в возникших после 1821 года тайных обществах", был "оставлен без внимания" (ЦГИАМ, ф. 48, оп. 1, ед. хр. 28, лл. 16--18).

Глава 45

В РИМЕ В 1845 ГОДУ

Во время заграничного путешествия 1845--1846 гг. Ф. П. Толстой вел подробнейшие записи, которые составили несколько объемистых рукописных томов (находятся в Государственном Русском музее в Ленинграде). Пребывание его в Риме в дни приезда туда Николая 1, осмотр художественных памятников Рима и мастерских работавших там художников, встречи с русскими художниками -- пенсионерами Академии художеств -- все это составило содержание седьмого тома "Путевых записок". Этим томом и пользовалась Пассек при подготовке этой и следующей глав. Они были впервые опубликованы ею в РС (1878, No 5, стр. 93--116, и No 7, стр. 369--380). В отдельном издании Пассек несколько сократила обе главы, опустив перечни заказов, сделанных царем в Риме, и исключив ряд подробностей. Вместе с тем она ввела в главу 45 сокращенный текст статьи Герцена "А. Иванов", впервые появившейся в "Колоколе", лист 22, от 1 сентября 1858 г. В настоящем издании обе главы -- 45 и 46 -- печатаются по тексту РС. В отделе рукописей ИРЛИ (ф. 265, оп. 1, ед. хр. 20, лл. 179--190) сохранились корректурные листы главы 45 с пометами, сделанными рукой искусствоведа П. Н. Петрова, привлеченного редакцией журнала в качестве консультанта. Им сделано, в частности, несколько бесспорных исправлений в написании итальянских названий художественных памятников Рима и т. п., принятых нами.

1 Эти элементы, восходящие к устным рассказам Толстого, выявить в настоящей главе не удалось.

2 Намек на героев романтических опер о "благородных разбойниках": "Цампа, или Мраморная невеста" (1831), французского

композитора Ф. Герольда, и "Фра-Дьяволо, или Гостиница в Террачине" (1830), французского композитора Д. Обера.

3 Пассек неточно цитирует "Письма из Франции и Италии" Герцена, письмо седьмое (Г, т. V, стр. 111). Ниже она приводит вторую цитату из того же источника уже с прямой ссылкой на "Сашу".

4 С 1815 г. и до воссоединения Италии (1860) Неаполь и прилегающая к нему область (Неаполитанское королевство) вместе с Сицилией составляли Королевство Обеих Сицилии, которым правила династия испанских Бурбонов, проводивших реакционную политику и жестоко подавлявших многочисленные восстания против их деспотического режима.

5 По окончании Академии художеств А. А. Иванов в 1830 г. был послан в Италию, где он до 1858 г. работал главным образом над одной картиной -- "Явление Христа народу" (находится в Государственной Третьяковской галерее).

6 *Palazzo Farnese* -- дворец XVI в., построенный для кардинала Фарнезе, впоследствии ставшего папой Павлом III.

7 *Morne Реале* (правильно -- Монреале) -- городок в Сицилии, близ Палермо. Среди его художественных памятников особенно примечательны собор и бенедиктинский монастырь, в которых собрано много ценных произведений искусства.

8 Имеется в виду капелла в соборе св. Петра, названная по находящейся в ней скульптуре Микеланжело "Пиета", которая изображает плач мадонны над телом снятого с креста Христа (1501).

9 *Музей Киарамонти* -- один из крупнейших в Ватикане. Он состоит из трех музеев: музей Киарамонти, музей камней и Braccio Nuovo (Новая пристройка). К ватиканскому музею Пио Клементино относится большинство названных ниже галерей, залов и кабинетов: La salle des animanx (зал животных), Galerie des statues (галерея статуй), Cabinet des masques (кабинет масок), зал муз, Salla della cröce greca (зал греческого креста), Galerie des candélabres (галерея канделябров), Musée étrusque (этрусский музей), Musée Egyptien (египетский музей).

10 Фрески Микеланжело в Сикстинской капелле в Ватикане были выполнены им в 1508--1512 гг.

11 Имеются в виду развалины дворцов римских императоров на Палатинском холме в Риме.

12 *Мадонна ди Фолиньо* -- картина Рафаэля (1512), названная по городу Фолиньо в провинции Умбрия, где она ранее находилась. Далее названа картина "Рождество Мадонны", выполненная Рафаэлем и его ближайшими учениками -- Джулио Романо и Фран-ческо Пенни, прозванным Фатторе. *Salla della Biga* (зал колесниц) находится близ музея Пио Клементино. Ниже назван зал папирусов в Ватиканской библиотеке.

13 *Пандекты Юстиниана* -- свод римских законов, изданный в 533 г. по распоряжению византийского императора Юстиниана. По этому своду назван один из кабинетов библиотеки Ватикана.

14 По-видимому, имеется в виду картина Тициана "Мадонна и шесть святых", находящаяся в настоящее время в картинной галерее Ватикана, а не в ризнице (sacristie) одной из капелл библиотеки.

15 Скульптурная группа П. А. Ставассера "Нимфа и сатир" (мрамор, 1849) была выполнена им в двух вариантах: один из них находится в Государственном Русском музее, другой -- в Государственной Третьяковской галерее. Бронзовая копия ее установлена в Нижнем парке Петродворца (б. Петергофа). Его же "Русалка" (1847) находится в музее Академии художеств в Ленинграде.

16 Мраморная статуя "Нарцисс" работы К. М. Климченко была установлена на Царицыном острове в Колонистском парке Петергофа (ныне Петродворец). Его же "Вакханка" находится в Государственном Русском музее.

17 Древняя Латеранская церковь, много раз подвергавшаяся разрушениям, была отстроена в последний раз в XVII в. К ней примыкает Латеранский дворец -- прежняя резиденция римских пап, позднее здесь был размещен музей, в котором представлены преимущественно памятники христианского искусства. Церковь Santa Maria Maggiore (IV в.), имеющая форму базилики (удлиненный прямоугольник, разделенный продольными рядами опор на три части), принадлежит к числу крупнейших памятников древнехристианской архитектуры в Риме.

18 Статуя "Нимфа, ловящая у себя на плече бабочку" была выполнена Н. А. Рамазановым в мраморе, но при перевозке в Петербург разбилась. Местонахождение группы "Нимфа и сатир, выпрашивающий у нее поцелуй при фонтане" неизвестно.

19 Статуя "Ломоносов в виде молодого рыбака" А. А. Иванова находится в Государственном Эрмитаже.

20 *Пантеон* -- храм, посвященный всем богам, -- один из наиболее сохранившихся памятников античной архитектуры в Риме. Он многократно подвергался ограблениям, в частности, в XVII в. папа Урбан VIII приказал выломать из фронтона портика бронзовые балки.

21 *Термы* (общественные бани) *Каракаллы*, сооруженные в III в., были разрушены готами в VI в. Их развалины принадлежат к числу крупнейших архитектурных памятников древнего Рима.

22 *Pozzolano (итал.)* -- продукт вулканических извержений, при смешении с известью дает под действием воды прочную, хорошо затвердевающую смесь. Крупные залежи пуццоланов находятся близ Неаполя.

23 Работа Джузеппе Фабриса над колоссальной статуей "Милон Кротонский, борющийся со львом" не была закончена.

24 Микеланжело в XVII в. перестроил часть развалин крупнейших в Риме терм Диоклетиана (IV в.) в церковь Santa Maria degli Angeli.

25 *Вилла Альбани* -- загородный дворец, построенный в XVIII в. для кардинала Альбани; в ней помещался музей античной скульптуры. *Квиринал* -- папский дворец XVI в., позднее был королевским дворцом. *Палаццо Боргезе*--музей, расположенный во дворце, принадлежавшем знатному римскому роду Боргезе.

26 Письмо-отчет Толстого к В. И. Григоровичу было напечатано в РС, 187?, No 2, стр. 347--356.

Глава 46

ПО ОТЪЕЗДЕ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА

1 Автограф сказки Рамазанова "Красота и искусство" хранится в Государственном Историческом музее (ф. 457, ед. хр. 3).

2 63 гравюры к поэме И. Ф. Богдановича "Душенька" были выполнены Ф. П. Толстым по его же рисункам в 1820--1840 гг. и изданы в 1850 г. Оригиналы их хранятся в Государственной Третьяковской галерее.

3 *Монтано*, или трамонтано -- итальянское название холодного северного ветра, дующего в Италии с гор.

4 Крупнейшую достопримечательность городка Орвието, расположенного к северо-востоку от Рима, составляет собор XIV в., замечательный образец итальянской готики. Молодые русские архитекторы -- А. И Резанов, Н. Л. Бенуа, К. И. Росси, Ф. И. Эппингер и А. И. Кракау, -- осуществившие реставрацию собора, позднее издали о нем во Франции книгу: "La Monographie de la cathédrale d'Orvieto", Paris, 1877.

6 О содержании незаконченной картины В. И. Штернберга "Рынок в Неаполе" подробно говорится в письме художника к Н. Л. Бенуа от 6 января 1845 г.: "Я теперь пишу "Рынок"... Там, накануне больших праздников, собирается тьма-тьмущая разных торговцев; там режут куриц на месте и жарят, едят рыбу, зелень в огромных размерах. Посреди улицы -- фонтан, хотя не очень изящной работы, но делает довольно красивую массу в картине. На первом плане осел, нагруженный зеленью, зацепил своею ношею за корзины одной толстой торговки и опрокинул их; через это произошла ужасная суматоха; торговка начала вопить благим матом на человека, который вел осла, народ оступил, и таким образом составилась группа. Направо, под навесом, едят макароны, которые своим вкусным запахом

и теплым паром привлекают бедняков, и проч. Вдали -- много народу, галиматья. Эффект или освещение может быть очень приятное, если бы его выполнить хорошо" (В. В. Стасов, Живописец Штернберг. -- "Вестник изящных искусств", т. 5, вып. 5, СПб. 1887, стр. 415).

6 Имеется в виду, очевидно, живший постоянно в Риме немецкий художник Август Ридель (Riedel), который интересовался древнеиндийской поэзией. Известна его картина "Сакунтала" (1841), написанная по мотивам одноименной драмы Калидаса.

7 Герцог Максимилиан Лейхтенбергский, зять Николая I, был в это время президентом Академии художеств.

8 Не совсем точная цитата из "Писем об изучении природы" Герцена (письмо пятое, "Схоластика".-- Г, т. III, стр. 220--221).

Глава 47

В АНГЛИИ

В РС публикация этой главы заканчивалась обширным примечанием от редакции, в котором говорилось, что "Воспоминания" Пассек завершены и что все появившиеся в течение последних трех лет на страницах журнала главы, дополненные рядом новых, вошли в только что вышедший в свет второй том "Из дальних дет". Охарактеризовав содержание этого тома, редакция продолжала: "Главные достоинства книги--прекрасный язык, живость и поэзия описаний. Достойно замечания, что автору идет *восьмой десяток* лет; таким образом, это -- старейшая из современных русских писательниц, и "Русской старине" принадлежит честь вызова Татьяны Петровны взяться за перо: г-жа Пассек впервые выступила на поприще писательницы (как беллетристка) на страницах нашего издания. Свежестью таланта, поэзиею, глубоким и искренним чувством проникнуты многие и многие страницы ее воспоминаний" (РС, 1879, No 10, стр. 256--257).

По-видимому, Пассек действительно считала в это время свою работу завершенной. Однако не прошло и трех лет, как в том же журнале печатание ее воспоминаний возобновилось: новые главы образовали впоследствии третий том "Из дальних лет".

1 В рассказе Пассек о поездке в Англию содержится ряд неточностей: в Лондон она приехала не в начале, а в конце августа (она пробыла там с 26 августа до 2 сентября); с Огаревым она увиделась на другой же день после своего приезда, а не на четвертый; денежное письмо в Париж к Ротшильду о выдаче ей трех тысяч франков было отправлено Герценом по почте еще до ее прибытия в Англию: в Торквее она пробыла не четыре, а два дня.

2 Имеется в виду итальянский эмигрант Валериано Тассинари, живший в доме Герцена в качестве повара.

3 *Вестминстерское аббатство*, один из древнейших архитектурных памятников Лондона, включает в свой ансамбль ряд зданий, в том числе церковь св. Петра, которая служит усыпальницей королей и государственных деятелей Англии. Здесь же находится "Угол поэтов" с памятниками Шекспиру, Мильтону и другим великим писателям.

4 Картина маслом А. П. Боголюбова "Апофеоз "Колокола" и "Полярной звезды"" была подарена художником Герцену в 1860 г. В настоящее время картина хранится в Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина.

5 О композиторе-дилетанте и хоровом дирижере кн. Ю. Н. Голицыне Герцен рассказал в "Былом и думах" (Г, т. XI, стр. 313--324).

6 Торквей находится на берегу Ламанша, близ Плимута.

7 Намек на гражданский брак Герцена и Тучковой-Огаревой, о котором Пассек в 1861 г. не знала.

8 Известна только одна статья Герцена 1861 г., которую он переслал для опубликования в России, -- "Из воспоминаний об Англии", напечатана в "Искре", 1861, На 24, с подписью Н. Огурчиков. Однако ни время ее напечатания (12 июля н. ст.), ни ее содержание не позволяют связать с нею настоящее сообщение Пассек,

9 Этот план энциклопедического издания для детей не был осуществлен Пассек. В известной степени ей удалось воплотить его позднее в основанном ею в 1880 г. детском журнале "Игрушечка",

ia Утверждение Пассек, что 600 рублей Герцен дал ей безвозвратно, в уплату "долга" за ее долю в Васильевском, не соответствует действительности. Оно опровергается, в частности, письмом Герцена к Рейхель от 9 октября 1869 г. (ГЛ, т. XXI, стр. 500),

11 Неточная цитата из дневника Герцена 1842 г., запись 11 сентября (Г, т, II, стр. 226--227),